

Мак

ТВЕИ

•
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной
литературы



Марк ТВЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 12 ТОМАХ

Под общей редакцией
А.А. ЕЛИСТРАТОВОЙ
М.О. МЕНДЕЛЬСОНА
А.И. СТАРЦЕВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва

Марк ТВЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВОСЬМОЙ

ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

О ЖАННЕ Д'АРК

СЬЕРА ЛУИ ДЕ КОНТА, ЕЕ ПАЖА И СЕКРЕТАРЯ

•

ТОМ СОЙЕР — СЫЩИК

Переводы с английского



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 9 6 0

MARK TWAIN
PERSONAL RECOLLECTIONS OF JOAN OF ARC
BY
THE SIEUR LOUIS DE CONTE
1895—1896
TOM SAWYER, DETECTIVE
1896

Художник
Е ГАННУШКИН

**ЛИЧНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
О ЖАННЕ Д'АРК**

*сьера Луи де Конта, ее пажа
и секретаря*

ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
СО СТАРОФРАНЦУЗСКОГО

Перевод

АЛЕКСАНДРОВОЙ

Обратим внимание на одну важную особенность. С тех пор как пишется история, Жанна д'Арк является единственной среди женщин и мужчин, кто когда-либо занимал в семнадцать лет пост главнокомандующего вооруженными силами страны.

Л А Й О Ш К О Ш У Т

Источники, по которым проверялась достоверность повествования:¹

Ж. - Э. - Ж. К и ш е р á, Осуждение и оправдание Жанны д'Арк.

Ж. Ф а б р, Осуждение Жанны д'Арк.

Г. - А. В а л л о н, Жанна д'Арк.

М. С е п э, Жанна д'Арк.

Ж. Ми ш л е, Жанна д'Арк.

Б е р р и а д е С е н - П р и, Семья Жанны д'Арк.

Г р а ф и н я А. д е Ш а б а н н, Девственница из Лотарингии.

М о н с е н ь ё р Р и к а р, Блаженная Жанна д'Арк.

Д ж о н О'Х а г а н, Жанна д'Арк.

Д ж э н е т Т а к и, Дева Жанна.

¹ Твен предпосылает своему роману этот список использованных им источников.

Чтобы правильно оценить знаменитую личность, надо подходить к ней с меркой не нашей эпохи, а той, когда она жила. Самые благородные личности былых веков в значительной степени блекнут, и ореол их тускнеет, если смотреть на них с точки зрения иных, позднейших времен; едва ли хоть один из людей, прославившихся четыре-пять столетий назад, мог бы выдержать проверку по всем пунктам, если бы мы стали судить о нем согласно сегодняшним нашим взглядам. Но Жанна д'Арк — личность исключительная. Ее смело можно мерить меркой любых времен. Согласно любому критерию и всем им взятым вместе, она остается безупречной, остается идеалом совершенства и вечно будет стоять на высоте, не достигаемой ни для кого из смертных.

Если вспомнить, что ее век известен в истории как самый грубый, самый жестокий и развращенный со времен варварства, приходится удивляться чуду,

¹ Согласно своему замыслу — описать жизнь Жанны д'Арк от лица ее современника — Твен выступает как «переводчик» якобы найденной им французской рукописи; свои примечания он подписывает поэтому: «примечания переводчика». (Ред.)

вырастившему подобный цветок на подобной почве. Она и ее время противоположны друг другу, как день и ночь. Она была правдива, когда ложь не сходила у людей с языка; она была честна, когда понятие о честности было утрачено; она держала свое слово, когда этого не ожидали ни от кого; она посвятила свой великий ум великим помыслам и великим целям, в то время когда другие великие умы растрачивали себя на создание изящных безделиц или на удовлетворение мелкого честолюбия; она была скромна и деликатна среди всеобщего бесстыдства и грубости; она была полна сострадания, когда вокруг царила величайшая жестокость; она была стойкой там, где стойкость была неизвестна, и дорожила честью, когда честь была позабыта; она была непоколебима в своей вере, как скала, когда люди ни во что не верили и над всем глумились; она была верна, когда вокруг царило предательство; она соблюдала достоинство в эпоху низкого раболепства; она была беззаветно мужественна, когда ее соотечественники утратили мужество и надежду; она была незапятнанно чиста душой и телом, когда общество, даже в верхах, было развращено до мозга костей, — вот какие качества сочетались в ней в эпоху, когда преступление было привычным делом вельмож и государей, а столпы христианской религии ужасали даже развращенных современников своей черной жизнью, полной неописуемых предательств, жестокостей и мерзостей.

Из всех личностей, известных светской истории, она, вероятно, является единственной абсолютно чуждой своекорыстия. Ни в одном ее слове или поступке мы не находим и следов эгоистических стремлений. Когда она спасла своего бесприютного короля и возложила на его голову корону, ей были предложены

награды и почести; но она все их отвергла и ничего не захотела принять. Все, чего она просила для себя, — если будет угодно королю, — это дозволения вернуться в свою деревню и снова пасти овец, вернуться в объятия матери и по-прежнему ей помогать. Вот все, о чем мечтал этот неиспорченный успехом вождь победоносного войска, соратник принцев, кумир восхищенного и благодарного народа.

Дела, свершенные Жанной д'Арк, могут быть причислены к величайшим в истории подвигам, если учесть условия, в каких она действовала, препятствия, какие ей встретились, и средства, какими она располагала. Цезарь завоевал немало земель, но с ним были испытанные и бесстрашные римские ветераны, да и сам он был опытным воином. Наполеон сметал на своем пути лучшие армии Европы, но и он был опытен в военном деле и начал свои походы с войском патриотов, воспламененных и вдохновленных новым, чудотворным дыханием Свободы, которым дохнула на них Революция; с пылкими юношами, жадно постигавшими великолепную науку войны, а не со старыми, разбитыми, отчаявшимися солдатами, уцелевшими от нескончаемых поражений. А Жанна д'Арк, ребенок по годам, невежественная, неграмотная деревенская девочка, никому не известная, без всяких связей, застала свою великую страну в оковах, беспомощно простертую под пятой чужеземца; казна была пуста, солдаты разбежались, умы оцепенели, отвага угасла в сердцах за долгие годы чужеземного ига и междоусобной борьбы, король был запуган, покорился своей участи и готовился бежать за рубеж. Жанна возложила руки на этот труп нации — и он воскрес, поднялся и последовал за ней. Она повела французов от победы к победе, она повернула ход Столетней войны, нанесла смертельный

удар английскому могуществу и погибла, заслуженно
нося звание **ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЫ ФРАНЦИИ**, ко-
торое принадлежит ей и поныне.

И вместо награды французский король, которого
она возвела на трон, безучастно смотрел, как фран-
цузские попы схватили благородную девушку — самое
невинное, самое прекрасное и удивительное создание,
когда-либо являвшееся в мир, — и сожгли ее живою на
костре.

ОСОБЕННОСТЬ ИСТОРИИ ЖАННЫ Д'АРК

Жизнеописание Жанны д'Арк имеет одну особенность, отличающую ее от всех других биографий: *это единственная история человеческой жизни, дошедшая до нас в свидетельских показаниях, данных под присягой.* Официальные протоколы Великого Судилища 1431 года и Оправдательного Процесса, состоявшегося четверть века спустя, донныне хранятся в государственных архивах Франции и с необычайной полнотой отражают все события ее жизни. Ни одна человеческая жизнь тех отдаленных времен не известна нам с такой достоверностью и такой полнотой.

Сьер Луи де Конт в своих «Личных воспоминаниях» не расходится с ее официальной биографией, и все содержащиеся в ней факты подтверждают правдивость его повествования; что же касается множества сообщаемых им дополнительных подробностей, то здесь мы вынуждены полагаться лишь на его слово.

ПЕРЕВОДЧИК

Сейчас у нас 1492 год. Мне восемьдесят два года. То, что я вам расскажу, я видел своими глазами в детстве и юности.

Во всех песнях, рассказах и хрониках о Жанне д'Арк, которые вы и весь свет поете, читаете и изучаете по книгам благодаря новому искусству книгопечатания, упомянуто мое имя — имя Луи де Конта. Я был ее пажом и секретарем, я был с ней от начала до конца.

Мы с ней выросли в одной деревне. Когда мы были детьми, я каждый день играл с ней, как вы играете с вашими сверстниками. Теперь, когда мы поняли все ее величие, когда ее имя гремит по всему миру, мои слова могут показаться странными. Это все равно как если бы грошовая свечка сказала о вечном солнце, сияющем в небесах: «Мы с ним дружили, когда еще оба были свечками». И все же это правда. Я был товарищем ее игр, а потом сражался рядом с нею. Я до сих пор ясно сохранил в памяти ее милую маленькую фигурку: пригнувшись к шее коня, она ведет в бой французские войска; волосы ее развеваются на ветру; серебряные доспехи мелькают в самой гуще боя, скрываясь по временам за разметавшимися конскими гривами, поднятыми мечами, пышными султанами на шлемах и заслонами из щитов. Я был с нею до конца. В тот

черный день, который лег вечным позором на ее убийц — на французских попов, продавшихся англичанам, — и на Францию, ничего не сделавшую для ее спасения, моя рука была последней, которую она пожала.

С тех пор прошли годы и десятки лет; теперь, когда образ необыкновенной девушки — яркого метеора, пролетевшего по небу Франции, чтобы угаснуть в дыму костра, — отступает все дальше и дальше в глубь прошлого, становясь все более таинственным, волнующим и чудесным, я наконец постиг вполне, что это было самое благородное подвижничество, которое когда-либо было на земле, кроме только Одного.

В ДОМРЕМИ

Глава I

КОГДА ПО ПАРИЖУ РЫСКАЛИ ВОЛКИ

Я, сьер Луи де Конт, родился в Нефшато, 6 января 1410 года, то есть ровно за два года до того, как родилась в Домреми Жанна д'Арк. Родители мои бежали в это захолустье из окрестностей Парижа в первые годы нашего столетия. По своим политическим убеждениям они были арманьяками — то есть патриотами; они стояли за нашего, французского короля, хотя он и был слабоумный. Бургундская партия, которая стояла за англичан, начисто обобрала моих родителей. У отца моего отняли все, кроме дворянского звания, и он добрался до Нефшато нищим и духовно сломленным человеком. Зато тамошний политический дух ему понравился, и это было уже немало. Он нашел относительное спокойствие, а оставил край, населенный фуриями, бесноватыми и дьяволами, где убийство было обычным делом и где никто не чувствовал себя в безопасности. В Париже каждую ночь грабили, жгли и убивали беспрепятственно и безнаказанно. Солнце всходило над дымящимися развалинами; на улицах валялись изуродованные трупы, догола раздетые ворами, которые собирали свою жатву следом за убийцами. Никто не осмеливался хоронить эти тела — и они разлагались, заражая воздух и порождая болезни.

Действительно, вскоре появилась и моровая язва. Люди гибли как мухи, и их хоронили тайком, по но-

чам; хоронить открыто было запрещено, чтобы не обнаружить подлинных размеров бедствия и не вызвать еще большей паники. В довершение всего зима выдалась необычайно суровая, какой Франция не знала лет пятьсот. Голод, мор, резня, стужа, снег — все это разом обрушилось на Париж. Мертвецы горами лежали на улицах, а *волки приходили в город средь бела дня и пожирали их.*

Да, Франция переживала тяжелое время! Уже более трех четвертей века английские клыки глубоко вонзались в ее тело, а войско ее до того пало духом от постоянных поражений, что было принято считать, будто один вид английских солдат обращает французов в бегство.

Мне было пять лет, когда Францию постигло страшное бедствие — поражение при Азенкуре. Английский король отправился к себе домой праздновать победу, оставив Францию во власти бродячих «вольных шаек», служивших бургундской партии; одна из них однажды ночью появилась в Нефшато и подожгла наш дом; в зареве пожара я видел, как убивали всех моих близких, — кроме старшего брата, вашего предка, который находился в то время при дворе. Я слышал, как они молили о пощаде, а убийцы насмехались над их мольбами. Меня не заметили, и я уцелел. Когда злодеи ушли, я выполз из своего укрытия и всю ночь проплакал на пожарище; я был один среди трупов и раненых — все остальные убежали или попрятались. Потом меня отдали в Домреми, к священнику; его ключница заменила мне мать. Священник обучил меня грамоте; мы с ним были единственными грамотеями на всю деревню.

Мне шел шестой год, когда меня приютил добрый священник Гийом Фронт. Мы жили возле церкви; а позади церкви находился огород, принадлежавший родителям Жанны. Их семья состояла из отца — Жака д'Арк, его жены Изабель Ромэ, трех сыновей: десятилетнего Жака, восьмилетнего Пьера и семилетнего Жана, и дочерей — четырехлетней Жанны и годовалой малютки Катерины. Эти дети стали постоянными товарищами моих игр. Были у меня и еще приятели,

особенно четверо мальчишек: Пьер Морель, Этьен Роз, Ноэль Рэнгессон и Эдмон Обри — его отец был в деревне мэром, — и две девочки, сверстницы Жанны и любимые ее подруги: одну звали Ометта, вторую — Маленькая Менжетта. Это были простые крестьянские девочки, как и сама Жанна. Обе они вышли впоследствии замуж за простых крестьян. Как видите, они были самого низкого звания; но настало время, когда каждый проезжий, как бы он ни был знатен, шел поклониться этим двум смиренным старушкам, которые в юности имели счастье быть подругами Жанны д'Арк.

Все они были славные, самые обыкновенные крестьянские ребятишки, не слишком развитые, — этого трудно было ожидать, — но добрые и общительные; они слушались родителей и священника, а подрастая, без раздумий переняли от старших все их предрассудки. И религиозные верования и политические убеждения они получили по наследству. Ян Гус и его приверженцы объявили в то время войну Церкви, но в Домреми это никого не заботило; а когда произошел раскол — мне было в ту пору четырнадцать лет — и у нас стало сразу трое пап, в Домреми не возникло ни малейших сомнений: кто в Риме — тот и настоящий, а папа вне Рима вовсе не считался нами за папу. Все жители нашей деревни были арманьяками — патриотами, и для нас, детей, самыми ненавистными словами были «англичанин» и «бургундец».

Глава II

ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО ДОМРЕМИ

Деревня Домреми ничем не отличалась от других деревушек тех давних времен. Кривые и узкие улочки вились в тени нависших соломенных кровель, между домов, похожих на сарай. Свет скудно пробивался в них через окошки, вернее — отверстия в стенах, прикрытые деревянными ставнями. Полы были земляные, а мебели не было почти никакой. Главным занятием

жителей было разведение овец и коров; все дети пасли стада.

Местность была очень живописна. Перед деревней, до самой реки Мёз, расстилалась цветущая долина; позади подымался пологий травянистый холм, поросший наверху густым дубовым лесом; этот темный лес особенно манил к себе нас, детей: там когда-то жили разбойники и совершались убийства, а еще раньше там водились огромные драконы, извергавшие из ноздрей пламя и ядовитый дым. Один из них дожил до наших дней. Он был длиной с дерево, а толщиной в хорошую бочку и покрыт чешуей, как черепицей; у него были ярко-красные глаза, каждый величиною с широкополую шляпу, и хвост, раздвоенный наподобие якоря, величиной — не знаю во что, но только очень большой; такой редко встречается даже у дракона, как говорили сведущие люди. Говорили также, будто цветом этот дракон был лазурный, в золотую крапинку; наверное сказать было нельзя, так как никто его не видел, но такое составилось о нем мнение. Я его не разделял; я считаю, что бессмысленно составлять о чем-нибудь мнение, когда не имеешь никаких фактов. Можно смастерить человека без костей и даже красивого на вид, но, раз держаться ему не на чем, он будет валиться набок; так и с мнениями: для них тоже нужен костяк, — иначе говоря, факты. Как-нибудь в другое время я еще вернусь к этому вопросу и постараюсь доказать свою мысль. Что касается дракона, то я всегда считал, что он золотой, без всякой лазури, — как полагается быть дракону. Бывало, что этот дракон выходил почти на опушку, — однажды Пьер Морель был там и распознал его по запаху. Страшно подумать, до чего близка бывает смертельная опасность, а мы и не подозреваем о ней.

В старину сотни рыцарей из дальних краев пошли бы в лес один за другим, чтобы убить дракона и получить положенную награду, но в наши дни это уже было не принято; истреблением драконов ведали священники. Нашим драконом занялся отец Гийом Фронт. Он прошел по опушке с крестным ходом, со свечами, кадилами и хоругвями и изгнал дракона особым закля-

тием; после этого дракон исчез, хотя многие считали, что запах остался. Не то чтоб его кто-нибудь ощущал, просто было такое мнение, — но и этому мнению недоставало фактов. Я знаю, что дракон жил в нашем лесу до заклятия, а остался ли он там после — этого я сказать не могу.

На холме, обращенном к Вокулеру, на поляне, выстланной пышным травяным ковром, рос могучий бук с раскидистыми ветвями, дававшими густую тень, а возле него бил из земли чистый и холодный родник; в летние дни сюда собирались дети, — так повелось уже лет пятьсот; они часами пели и плясали вокруг дерева, пили свежую воду из родника и чудесно проводили время. Они часто сплетали венки из цветов и вешали их на дерево и над ручьем — в подарок лесовичкам, которые там обитали. Тем это нравилось, потому что лесовички, как и феи, большие причудники и любят все красивое, например венки из полевых цветов. В благодарность за это лесовички оказывали детям много услуг: они заботились, чтобы родник не иссяк и всегда был чист и холоден; они отгоняли от него змей и всяких кусачих насекомых. Целых пятьсот лет, — предание говорит, что даже тысячу лет, — ничто не нарушало согласия между детьми и лесовичками; у них царила взаимная любовь и полное доверие. Когда кто-нибудь из детей умирал, лесные человечки горевали о нем не меньше его товарищей, и вот как они это выражали: на рассвете в день похорон они вешали иммортели над тем местом, где умерший обычно сидел под деревом. Это я знаю не по слухам, а видел собственными глазами. Мы знали, что это делали лесовички, потому что цветы были черные, какие не водятся во Франции.

С незапамятных времен все дети, выросшие в Домреми, назывались Детьми Дерева и любили это название, — оно давало им некое таинственное преимущество, какого не имеет больше никто в целом мире: когда наступал для них смертный час, то среди смутных видений, встававших перед их угасающим взором, являлось Дерево во всей его красе; но только тем, кто умирал со спокойной совестью. Так говорили

одни. Другие говорили, что дерево является дважды: в первый раз — года за два до смерти, как предостережение тому, кто погряз в грехах, — при этом дерево являлось обнаженным, каким оно бывает зимой, и грешника охватывал ужас; если он после этого раскаивался, дерево являлось ему снова, одетое пышной летней листвой, а если нет — видение не повторялось, и грешник умирал, зная, что обречен на вечные муки. А иные говорили, что видение является только раз и только тем праведным, которым приходится умирать на чужбине, в тоске по родине. Что может лучше напомнить им родные края, как не Дерево — любимый товарищ их игр в счастливые, невозвратные дни детства.

Таковы были местные предания; одни верили одному, другие — другому. Я-то знаю, что достовернее всех последнее. Я ничего не хочу сказать против других, — может быть, и в них есть доля правды; но уж про последнее я знаю точно; а я считаю, что лучше держаться того, что знаешь, и не браться судить о вещах, в которых ты не уверен, — так-то будет надежней. Я знаю, что когда кто-либо из Детей Дерева умирает на чужбине и перед смертью примиряется с богом, он обращает мысленный взор к далекой родине, и тогда небесная завеса приоткрывается для него, и ему является Волшебный Бук, одетый золотым сиянием; он видит цветущий луг, сбегающий к реке, и вдыхает сладостный аромат родных цветов. Потом видение бледнеет и гаснет, но умирающий уже знает — и, глядя на его преобразившееся лицо, вы тоже поймете, — что ему было небесное знамение.

Мы с Жанной были об этом одинакового мнения. Но Пьер Морель, Жак д'Арк и многие другие верили, что видение является дважды — и только грешнику. Они уверяли, что это известно им достоверно. Должно быть, так думали их отцы и так им внушили, — ведь почти все в этом мире мы получаем из вторых рук.

Кое-что действительно говорит за то, что видение является дважды. С незапамятных времен у нас в деревне повелось, что если кто-нибудь вдруг бледнел и цепенел, точно от тайного страха, о нем говорили шепотом: «Видно, он согрешил, и ему было предостере-

жение». А собеседник содрогался и отвечал тоже шепотом: «Да, бедняга! Он увидел Дерево».

Это, конечно, веские доказательства, и от них так просто не отмахнешься. Если что-нибудь повелось от века, оно постепенно становится все достовернее и в конце концов превращается в бесспорную истину, а уж бесспорная истина — это такая твердыня, которая стоит нерушимо.

За мою долгую жизнь мне несколько раз приходилось видеть, как Дерево задолго предвещало человеку смерть, но ни в одном из этих случаев человек не был грешником. Видение было, напротив, особым знаком божьей милости; благую весть об искуплении грехов, обычно возвещаемую душе лишь в смертный час, видение приносило заранее, а с нею приходил блаженный покой. Я сам, старый и немощный, жду своего часа с миром в душе: я видел Дерево, и я спокоен.

С незапамятных времен дети водили вокруг Волшебного Древа хоревод и пели песню, которая так и называется «Волшебный Бурлемонский Бук». Она поется на особый мотив — причудливый и приятный, который всегда слышится мне, когда я засыпаю, чем-нибудь опечаленный или измученный, и убаюкивает меня, и словно переносит на родину сквозь даль и ночную мглу. Чужому человеку не понять, чем была в течение столетий эта песня для Детей Древа, скитавшихся в чужих землях, среди чуждых им языков и обычаев. Вам она может показаться простой и незатейливой. Но вспомните, чем она была для нас и какие картины вызывала в нашей памяти, — тогда вы поймете, почему при последних словах этой песни наши глаза туманятся слезами, а голос дрожит:

В годину бед, в краю чужом
Явись нам, старый друг!

Вспомните также, что Жанна д'Арк ребенком пела эту песню вместе с нами, когда ходила в хороводе вокруг Древа, и что она всегда ее любила. А это делает ее священной.

Что так свежа твоя листва,
Волшебный Бурлемонский Бук?
От детских слез ты зелен стал!
Ты наши слезы осушал,
Ты наше горе врачевал;
И где струился слез поток,
Ты влажный раскрывал листок.

Откуда мощь твоих ветвей,
Волшебный Бурлемонский Бук?
Питала их любовь детей!
Из века в век в тени твоей
Плясал и пел их дружный круг;
Тебе он сердце веселил,
Тебе он юность сохранил.

Навеки зеленей для нас,
Волшебный Бурлемонский Бук!
Напоминай нам в трудный час
О нашем детстве золотом.
В годину бед, в краю чужом
Явись нам, старый друг!

Во времена нашего детства лесовички еще водились в наших местах, но мы их никогда не видели, потому что за сто лет до нас приходский кюре отслужил под деревом молебен, проклял лесовичков — как кровную родню дьявола, которой отказано в спасении, — и под страхом вечного изгнания запретил им показываться на глаза людям и вешать на дерево венки из иммортелей. Все дети просили тогда за лесовичков и говорили, что это их друзья, которые никогда не делали им ничего худого, но кюре не стал и слушать: он сказал, что иметь таких друзей грешно и стыдно. Дети были безутешны; они условились по-прежнему вешать на дерево венки, чтобы лесные человечки знали, что их еще помнят и любят, хотя и не видят.

Но однажды ночью стряслась большая беда. Мать Эдмона Обри проходила мимо нашего Древа, а лесовички украдкой вышли поплясать, думая, что их никто не увидит, — и так увлеклись пляской, до того охмелели от радости и от медвяной росы, что ничего не замечали. А матушка Обри дивилась и умплялась на

уморительных крошек — их там собралось более трехсот, и они, взявшись за руки, водили хоровод шириной с полкомнаты, и закидывали головки, и хохотали, и громко пели, широко разевая рты, и вскидывали пожатками на целых три дюйма от земли, — до того они разошлись! Такой потешной и удалой пляски матушка Обри в жизни своей не видала.

Но прошла минута-другая, и бедные маленькие создания увидали ее. Они испустили громкий вопль ужаса и горя и бросились врассыпную, плача и прижимая к глазам крошечные смуглые кулачки, — и все исчезли.

Злая женщина — нет, вернее — глупая; тут была не жестокость, а легкомыслие — пошла домой и все рассказала соседкам; а мы, друзья лесовичков, спали и не чуяли беды, не знали, что надо встать и унять кумушек. Наутро все уже знали о происшествии, и беда была непоправима; когда знают все — знает, конечно, и кюре. Мы толпой пошли к отцу Фронту со слезами и мольбами; он и сам заплакал при виде нашего горя, потому что был человек добрый. Он был бы рад не изгонять лесовичков, — он нам так и сказал, — но ничего не мог поделать; ведь так было постановлено: если они покажутся на глаза людям, то должны навеки уйти из наших мест. И надо же было случиться, что Жанна в ту пору болела лихорадкой и лежала в жару, а что могли сделать мы, — разве мы умели убеждать, как она? Мы гурьбой прибежали к ее постели и закричали: «Очнись, Жанна! Встань! Время не терпит! Иди заступись за лесовичков, спаси их, ты одна это можешь!»

Но она была в бреду и не слышала нас, и мы ушли ни с чем, понимая, что все пропало. Да, пропало, погибло навеки! Те, кто пятьсот лет были верными друзьями детям, должны были теперь уйти и больше не возвращаться.

Горький это был для нас день, когда отец Фронт совершил богослужение под нашим деревом и изгнал лесовичков. Мы не смели надеть траур, — если бы это заметили, нам бы не позволили, — пришлось просто привязать черные лоскуты к одежде там, где это было

незаметно; но в сердце у нас царил настоящий, глубокий траур. Сердца были наши; туда никто не мог вторгнуться и не мог нам ничего запретить.

Наше Дерево — его звали так красиво: Волшебный Бурлемонский Бук — после этого уже не было прежним, но все еще было дорого нам. Оно мне дорого и теперь, в старости, и я каждый год прихожу посидеть в его тени; я воскрешаю в памяти давно ушедших друзей моего детства, собираю их вокруг себя, гляжу на них сквозь слезы и горюю. Боже мой!.. И все же наше любимое местечко очень изменилось. И не мудрено: без присмотра лесовичков родник потерял свою чистоту и свежесть и почти иссяк, а изгнанные змеи и кусачие насекомые вернулись и расплодились; они там кишат и до сих пор.

Когда наша умница Жанна выздоровела, мы поняли, чего нам стоила ее болезнь: мы оказались правы — только она могла бы отстоять лесовичков. Услыхав о случившемся, она так рассердилась, что это было даже удивительно для маленькой девочки; она пошла прямо к отцу Фронту, стала перед ним, поклонилась и сказала:

— Лесовички должны быть изгнаны, если покажутся на глаза людям, верно?

— Да, милое дитя.

— А если кто-нибудь тайком заберется к человеку в дом ночью и увидит его раздетым, неужели вы скажете, что этот человек нарочно показался нагишом?

— Нет, этого не скажешь. — Тут добрый кюре несколько смутился.

— Будет ли грех грехом, если он совершен неумышленно?

Отец Фронт воздел руки к небу и воскликнул:

— Да, дитя мое, я был не прав, я это теперь вижу! — И он привлек ее к себе и обнял за плечи, пытаясь помириться с ней, но она так негодовала, что не могла сразу успокоиться. Она спрятала голову у него на груди, заплакала и сказала:

— Значит, лесовички не согрешили: они ведь не желали этого и не знали, что их кто-то видит; но они маленькие, они не могли за себя постоять и объяснить,

что наказывать надо за злой умысел, а не за невольный проступок; у них не нашлось друга, чтобы сказать эту простую вещь в их защиту, — и вот их навеки изгнали из родных мест, и это было злое, злое дело!

Добрый старик крепче обнял ее и сказал:

— Устами младенцев обличаются безрассудные. Видит бог, я хотел бы вернуть крошек ради тебя. И ради себя также, ибо я поступил несправедливо. Перестань плакать. Твой старый друг жалеет о случившемся больше всех. Перестань же, душенька.

— Я не могу перестать сразу, мне надо выплакаться. Ведь это не пустяк — то, что вы сделали. И разве сожалеть — это уже все равно что искупить свою вину?

Отец Фронт отвернулся, скрывая улыбку, которая могла бы обидеть ее, и сказал:

— Нет, мой суровый, но справедливый обвинитель, этого недостаточно. Я надену власяницу и посыплю главу пеплом. Довольно с тебя этого?

Рыдания Жанны стали стихать; она взглянула на старика сквозь слезы и сказала со своей обычной прямотой:

— Да, довольно, если это очистит вас.

Отец Фронт снова готов был рассмеяться, но вовремя вспомнил, что уговор есть уговор, хоть и неприятный, и его надо выполнять. Он встал и направился к очагу, а Жанна внимательно следила за ним. Он зачерпнул полный совок остывшей золы и уже готовился осыпать ею свою седую голову, но тут его осенила счастливая мысль, и он сказал:

— Не поможешь ли ты мне, дитя мое?

— Как, отец мой?

Он опустил на колени, низко нагнул голову и сказал:

— Возьми золы и сама посыпь ею мою голову.

Разумеется, на том дело и кончилось. Кюре сумел вывернуться. Можно представить себе, каким кощунством это должно было показаться Жанне, как и любому из деревенских детей.

Она бросилась на колени рядом с ним, восклицая:

— О, это ужасно! Я не знала, что значит посыпать главу пеплом. Встаньте, отец мой, прошу вас!

— Не могу, покуда ты не простишь меня. А ты прощаешь?

— Я? О отец мой, *мне* вы ничего дурного не сделали. Это вы *у себя* должны просить прощения за то, что обидели бедных крошек. Встаньте, прошу вас!

— Ну, теперь мое дело совсем плохо. Я считал, что должен заслужить прощение *у тебя*, а если у себя самого — тут я не могу оказывать никакого снисхождения. Это мне не пристало. Что же делать? Укажи мне выход, мудрая головка.

Кюре все еще не подымался с колен, несмотря на мольбы Жанны. Она готова была снова заплакать, но тут ее осенило: она схватила совок, щедро осыпала золою свою собственную голову и проговорила, заикаясь и захлебываясь:

— Ну вот, теперь дело сделано! О, встаньте, отец мой, встаньте!

Старику было смешно, но в то же время он был тронут. Он обнял ее и сказал:

— Ах ты удивительное дитя! Пусть это не настоящее мученичество и не столь живописно выглядело бы на картине, но тут был истинный дух подвижничества, это я могу засвидетельствовать.

Он вычесал золу из ее волос, помог ей вымыть лицо и шею. Он снова повеселел и готовился продолжать диспут. Он уселся, опять привлек к себе Жанну и спросил:

— Жанна, верно ли, что ты и другие дети завивали венки под Волшебным Деревом?

Вот так он всегда начинал и со мной, когда хотел на чем-нибудь поймать: ласково и словно невзначай. Так легче всего одурачить человека: он и не увидит, куда ступает, пока капкан не захлопнется. Отец Фронт любил это проделывать. Я понял, что он расставил Жанне ловушку. Она ответила:

— Да, отец мой.

— Ты их вешала на Дерево?

— Нет, отец мой.

— Нет, говоришь?

— Нет.

— А почему нет?

— Не хотела.

— Вот как? Не хотела?

— Нет, отец мой, не хотела.

— Что же ты делала с ними?

— Я их вешала в церкви.

— А почему не на Дерево?

— Потому что нам сказали, будто лесовички — родня нечистому, и почитать их грешно.

— Ты так и считала, что грешно?

— Да, я думала, что это дурно.

— Ну, раз почитать их грешно и они — родня нечистому, то они могли научить детей худому, не так ли?

— Выходит, что так.

Он немного помедлил; и я ждал: вот сейчас он захлопнет западню. Так он и сделал. Он сказал:

— Значит, дело обстояло так: эти осужденные создания — родня нечистому духу; они могли научить детей дурному. Теперь объясни мне, если сумеешь: почему несправедливо было их изгонять и почему ты хотела помешать этому? Тебе-то что за дело?

Ну не глупо ли было так испортить дело? Будь он мальчишкой, его следовало бы за это отодрать за уши. Все у него шло отлично, а он взял да все и испортил. «Тебе-то что за дело?» Неужели он не знал, что такое Жанна? Неужели не понимал, что о собственных своих потерях или прибыли она не печалилась? Неужели еще не постиг, что единственным верным способом воспламенить ее был рассказ о *чужих* утратах, обидах и горестях? А так он ничего не добился — только сам себе расставил ловушку.

Едва он произнес эти слова, как она загорелась, глаза ее наполнились слезами негодования, и она накинулась на него с пылом, который удивил его, — но не меня: я-то знал, какой фитиль он поджег, когда так неудачно выбрал свой главный довод.

— О отец мой, как можно так говорить! Скажите, кто владеет Францией?

— Господь бог и король.

— А не сатана?

— Что ты, дитя! Это — подножие престола всевышнего. Сатана не владеет тут ни одной пядью земли.

— А если так, кто дал бедным крошкам приют на нашей земле? Бог. Кто хранил их сотни лет? Бог. Кто столько лет позволял им играть и плясать, не находя в том ничего худого? Бог. А кто не одобрил того, что одобрено самим богом, и пригрозил им? Человек. Кто подстерег их невинные забавы, на которые не было божьего запрета, а только людской? Кто выполнил угрозу и прогнал бедняжек из дома, который милосердный бог давал им целых пятьсот лет, грея их солнцем, питая дождиком и благодатной росой? Это был их дом, данный им богом в его великой благости, и никто не имел права их изгонять! Они были детям самыми верными друзьями, они с любовью служили им пятьсот лет и ни разу не причинили зла; и дети их любили, а теперь горюют, и ничем их не утешить. А чем провинились дети, чтоб причинять им такое горе? Вы говорите, что бедные лесовички *могли* научить детей дурному? Но ведь этого не было, а «могли» — это еще не довод. Вы говорите, что они — родня нечистому? Что ж из этого? Даже у родни дьявола есть *права*, и у этих тоже. И у всех детей есть права, значит и у нас тоже. Будь я тогда здесь, я вступилась бы и за детей и за нечисть. Я удержала бы вашу руку и спасла их. А теперь — теперь все пропало; все пропало и ничем нельзя помочь!

Больше всего ее возмущало, что люди не должны водить дружбу с нечистью и проявлять к ней сострадание, потому что ей отказано в вечном спасении. Она сказала, что именно поэтому лесовичков надо особенно жалеть и стараться лаской и заботой облегчить страшную участь, на которую они обречены не за грехи, а только за то, что такими уродились.

— Бедняжки! — сказала она. — Жестокое надо иметь сердце, чтобы жалеть человеческое дитя и не пожалеть дитя дьявола, ведь оно в тысячу раз больше *нуждается* в жалости!

Она отвернулась от отца Фронта и горько плакала, прижимая кулачки к глазам и яростно топая маленькими ножками; потом бросилась вон из комнаты, прежде чем мы опомнились от этого потока слов и бури негодования.

К концу ее речи священник встал и несколько раз провел рукою по лбу, словно был ошеломлен, а потом пошел к двери своей маленькой рабочей комнаты и на пороге проговорил с грустью:

— Увы, бедные дети, бедная нечисть! Да, и у них есть права, это она верно сказала, а я об этом не подумал. Я виноват, да простит мне бог!

Услышав это, я понял, что был прав: он попался в собственную ловушку. Да, так прямо и угодил в нее. Меня это порадовало; я возмечтал и сам подстроить ему такую же. Но, поразмыслив, я не решился попробовать: я понял, что нет у меня на это сноровки.

Глава III

НАШИ СЕРДЦА ГОРЯТ ЛЮБОВЬЮ К ФРАНЦИИ

Многое в этом роде я мог бы еще рассказать, но сейчас, пожалуй, не стану. Сейчас мне хочется воскресить на миг нашу тихую и простую деревенскую жизнь в те мирные дни, особенно в зимнюю пору. Летом мы, дети, с рассвета дотемна пасли скот на холмах, где гулял ветер, и, конечно, затевали там шумные игры; а зимой у нас бывало уютно и тихо. Мы часто собирались у старого Жака д'Арк в просторной горнице с земляным полом, у горящего очага и до полуночи играли в разные игры, пели песни, гадали или слушали, как старики рассказывают были и небылицы.

Раз мы собрались там зимним вечером — в ту зиму, которую долго потом называли «голодной», — а вечер был на редкость ненастный. На дворе завывала буря, но нам было весело слушать ее: нет звука радостней и прекрасней, чем боевые трубы ветра, когда сам ты сидишь в надежном укрытии. Так было и с нами. Часов

до десяти мы сидели у пылающего огня; в трубе приятно шипел тающий снег, а мы наперебой болтали, смеялись и пели, а потом с аппетитом поужинали горячей кашей, бобами и лепешками с маслом.

Маленькая Жанна сидела в сторонке, на ящике; возле нее, на другом ящике, стояла ее миска и лежал хлеб, а вокруг расселись ее любимцы, готовые ей помочь. У нее их всегда было больше, чем подсказывала разумная экономия. К ней льнули все бездомные кошки; прознав об этом, приходили и другие заброшенные и неприглядные животные и еще дальше разносили молву о ее доброте. Птицы и другие пугливые жители леса несколько не боялись ее и считали за друга; завидев ее, они старались получить приглашение к ней в дом, так что они всегда имелись у нее в большом разнообразии. Она их всех привечала, и все живые твари были ей равно дороги, без различия породы и положения в обществе. Она не признавала клеток, ошейников и веревок и оставляла своих питомцев на свободе, чтобы каждый мог приходить и уходить когда ему вздумается; и это так им нравилось, что они приходили охотно, но уходили очень редко и порядком надоедали всем домашним. Жак д'Арк ворчал и бранился, но жена его говорила, что это господь вложил в душу ребенка такую любовь к животным; а господь знает, что делает, и мешаться в его дела не следует, если вас об этом не просят. Поэтому питомцев Жанны никто не трогал, и в тот вечер они все собрались вокруг нее — кролики, птицы, белки, кошки и прочие твари, не спуская глаз с ее ужина и усердно помогая съесть его. Крохотная белка, сидя у нее на плече, вертела в узловатых лапках кусок окаменелой каштановой лепешки и отыскивала в ней менее затвердевшие места; найдя такое место, она поводила пушистым хвостом и острыми ушками в знак удивления и благодарности и принималась точить его двумя длинными передними зубами, которые для того и имеются у белки, а вовсе не для красоты, — это может подтвердить всякий, кто их видел.

Было много смеха, и все шло отлично, как вдруг раздался стук в дверь. Это оказался оборванный бро-

дыга, — нескончаемые войны расплодили их великое множество. Он был весь в снегу и, входя, потопал ногами и отряхнулся; потом притворил за собой дверь, снял намокшую рваную шапку, смахнул с нее снежный ворс, хлопнув ею о бедро, радостно обернул к нам исхудалое лицо, бросил голодный взгляд на нашу снедь и, смиренно, искательно поклонившись, сказал:

— Как хорошо тому, у кого в такую ночь есть жаркий огонь в очаге, крыша над головой, сытный ужин на столе и дружеский кружок. Истинная правда! И да поможет бог всем бездомным и всем, кому приходится месить дорожную грязь в такое ненастье!

Никто ему не ответил. Бедняга смущенно обводил всех глазами, напрасно ища сочувствия. Улыбка на его лице понемногу гасла; он потупил взгляд, лицо его передернулось, и он закрылся рукою, чтобы скрыть слабость, неподобающую мужчине.

— Сядь!

Это прогремел старый Жак д'Арк, обращаясь к Жанне. Пришелец вздрогнул и отнял руку от лица: перед ним стояла Жанна и протягивала ему свою миску с овсяной кашей. Он сказал:

— Благослови тебя бог, милое дитя! — По щекам у него потекли слезы, но он не осмеливался взять миску.

— Сядь, говорят тебе!

Не было ребенка послушнее Жанны, но не так надо было с ней разговаривать. Отец ее не умел этого и так и не научился. Жанна сказала:

— Отец, я вижу, что он голоден.

— Пусть идет зарабатывать свой хлеб. Нас уж и так кругом объели бродяги вроде него. Я сказал, что больше этого не потерплю, и я свое слово сдержу. По лицу видно, что негодяй и мошенник! А ты ступай на свое место! Кому говорю?!

— Я не знаю, негодяй он или нет, но он голоден. Я отдам ему свою кашу; я уже сыта.

— Посмей только ослушаться! Честные труженики не обязаны кормить бродяг. В этом доме он ни куска не получит, ни глотка. Слышишь, Жанна?

Она поставила миску на ящик, подошла к разгневанному отцу и сказала:

— Раз ты не велишь, я должна слушаться. Но подумай, рассуди — и ты увидишь, что несправедливо наказывать одну его половину за грехи другой. Если он и совершил что дурное, так в том повинна его голова, но голодна-то не голова, — желудок! Ну а желудок в чем может быть виноват? Позволь мне...

— Еще что выдумала! Отроду не слыхал такой чепухи!

Но тут вмешался наш мэр Обри, большой любитель порассуждать и признанный мастер красноречия. Поднявшись с места и опершись руками о стол, он самодовольно огляделся, как заправский оратор, и начал вкрадчиво и убедительно:

— Вот тут я с тобой не согласен, кум, и берусь доказать (при этом он снова самоуверенно поглядел на нас), что в словах девочки есть крупица истины. Достоверно известно, что всем телом человека управляет именно голова. Этого, я полагаю, никто не станет отрицать? — Он оглядел собравшихся; все выразили согласие. — А ежели так, то ни одна часть тела не может считаться ответственной, когда выполняет приказ, отданный головою; следовательно, голова одна отвечает за грехи рук, ног или желудка. Ясно ли я выразил свою мысль? Прав я или нет?

Все восторженно подтвердили его правоту, а некоторые заметили друг другу, что мэр нынче в ударе; услышав это, мэр сверкнул глазами от удовольствия и продолжал столь же красноречиво:

— Рассмотрим теперь самое понятие ответственности применительно к нашему случаю. Ответственность делает человека ответственным, но только за то, за что он действительно ответстен... — Тут он описал ложкой широкий круг, как бы очерчивая границу той ответственности, которая делает человека ответственным; и несколько голосов восхищенно воскликнули:

— До чего верно! Вы послушайте, как он ловко все объяснил! Удивительно!

Сделав некоторую паузу, чтобы возбудить еще больший интерес, он продолжал:

— Ну-с, отлично. Предположим теперь, что человеку упала кочерга на ногу и сильно ее ушибла,

Можно ли предъявить обвинение этой кочерге? На ваших лицах я читаю ответ: такое обвинение было бы нелепым. Почему оно было бы нелепым? А потому, что кочерга, будучи лишена способности рассуждать, а следовательно, и способности отдавать приказания, не может нести ответственности за свои действия. А где нет ответственности, там не может быть и наказания. Прав я или нет?

В ответ раздались дружные рукоплескания.

— Возьмем теперь желудок. Заметьте, как сходно его положение с положением кочерги. Может ли желудок замышлять убийство? Нет. Может ли он замышлять кражу? Нет. Может ли он замышлять поджог? Нет. А теперь скажите: способна ли на все это кочерга? (Тут послышались восхищенные возгласы «Ясно, что нет!», «А ведь верно, что схоже!», «Ишь ведь как рассудил!») Итак, друзья и соседи, раз желудок не в состоянии замышлять преступление, то он не может и совершить его, — это нам ясно. Исключив эту возможность, последуем далее, также действуя методом исключения: может ли желудок быть хотя бы пособником преступления? И на это мы отвечаем «нет», — ибо и тут видим отсутствие способности к размышлению и воли к действию, как и в случае с кочергой. Не ясно ли, что желудок не несет никакой ответственности за преступления, совершенные, частично или полностью, при его участии? (В ответ раздались рукоплескания.) Каково же будет наше решение? Оно ясно: виновных желудков не бывает. В теле самого отъявленного негодяя пребывает чистый и невинный желудок, и что бы ни совершил его обладатель, желудок в наших глазах должен быть непорочен и свят. Покуда господь внушает нам благие помыслы и побуждения, мы должны считать не только долгом, но и честью для себя питать голодный желудок, пребывающий в теле негодяя, жалеть его в его нужде и крайности и делать это со всею охотой, видя, как он стоек посреди множества соблазнов и как свято блюдет свою невинность в среде, столь враждебной его возвышенной природе. На этом я кончу.

Надо было видеть, какой успех имела эта речь! Все поднялись с мест и громко рукоплескали, превознося оратора до небес; а потом, не переставая рукоплескать, стали тесниться к нему, чтобы пожать ему руку, иные даже со слезами на глазах; и наговорили ему такого, что он сиял счастьем и гордостью, но боялся выговорить слово — голос у него наверняка прервался бы. Все говорили, что он никогда еще не подымался до подобных высот красноречия и вряд ли подымется. Великая сила — красноречие, что и говорить! Даже старый Жак д'Арк на этот раз поддался ей и крикнул:

— Ладно уж, Жанна, дай ему каши!

Она была смущена и промолчала, не зная, что сказать: потому что она уже давно отдала пришельцу свою кашу и он ее съел. Когда ее спросили, почему она не дождалась решения, она ответила, что желудок пришельца был очень голоден и ждать было неразумно, — ведь неизвестно, к какому решению могло прийти собрание. Согласитесь, что это было мудро для ребенка ее лет.

А пришелец вовсе не был негодяем. Это был очень славный парень, просто ему не везло, а это никак нельзя было считать преступлением в те времена. Как только невиновность его желудка была доказана, ему оказали отличный прием; а когда желудок насытился, язык пришельца развязался и заработал вовсю. Парень немало повоевал, и его рассказы зажгли всех любовью к родине и заставили биться все сердца; потом он незаметно перевел разговор на былую славу Франции, и перед нами из тумана прошлого встали двенадцать паладинов и вышли навстречу своей судьбе. Нам слышался топот бесчисленных полчищ, которые двинулись на них; мы, казалось, видели, как этот мощный поток отступал вновь и вновь и таял перед горсточкой храбрецов; перед нами прошли все подробности незабываемого горестного — и все же самого славного дня во всей легендарной истории Франции. Нам виделось обширное поле брани; то там, то здесь над горами мертвых тел подымались один за другим паладины, вздымали мощную длань для сокру-

пительного удара, а потом падали, пока не остался один — несравненный, давший свое имя нашей Песне Песней, той песне, которую ни один француз не может слышать без волнения и гордости. А потом мы увидели последнюю, самую величественную картину — его славную гибель; и в комнате наступила тишина, подобная той, какая, должно быть, воцарилась на поле битвы, когда отлетела ввысь последняя из героических душ.

В этой торжественной тишине пришелец погладил Жанну по голове и сказал:

— Милое дитя, да хранит тебя бог! Ты сегодня вернула меня к жизни — и вот тебе в благодарность.

И в этот миг всеобщего умиления, как нельзя более подходящий, он красивым и проникновенным голосом запел великую «Песнь о Роланде».

Не забудьте, что песнь слушали французы, и без того уже разгоряченные его рассказами. Но что значило словесное красноречие в сравнении с этим? И как он был хорош, когда пел! Могучая песнь, которая лилась из его уст и сердца, преобразила и его самого и его убогие лохмотья.

Все поднялись и слушали его стоя; у всех лица разгорелись, глаза сияли, а по щекам текли слезы; все невольно начали раскачиваться в такт песне; у многих рвались из груди стоны и взволнованные восклицания. Но вот он дошел до последней строфы, когда умирающий Роланд, обратив лицо к полю, где полегли его соратники, слабеющей рукой протянул к небесам боевую рукавицу и помертвелыми губами произнес свою трогательную молитву, — все громко зарыдали. Когда же замер последний торжественный звук песни, все кинулись к певцу, обезумев от любви к нему и любви к Франции, от гордости за ее великую древнюю славу! Все мы стремились обнять его, но Жанна всех опередила; прижавшись к его груди, она осыпала его лицо пламенными поцелуями.

На дворе бушевала буря, но теперь она была не страшна пришельцу: он нашел у нас дом и приют и мог остаться навсегда, если бы пожелал этого.

ЖАННА УКРОЩАЕТ БЕСНОВАТОГО

У детей всегда бывают прозвища — были они и у нас. У каждого имелось по одному, и они крепко к нам пристали; а Жанна была всех богаче — для нее мы придумывали все новые прозвища, и их набралось чуть не полдюжины. Некоторые остались за нею надолго. Крестьянские девочки обычно застенчивы, но Жанна особенно выделялась среди других — так легко краснела и так смущалась перед чужими людьми, что мы прозвали ее «Скромницей». Все мы любили родину, но именно Жанну называли «Патриоткой», потому что по сравнению с ее любовью наша была ничто. А еще мы называли ее «Красавицей» — и не за одну лишь редкостную красоту ее лица и стройного стана, но и за красоту души. Все эти прозвища остались за нею, а кроме того, еще одно: «Бесстрашная».

Так мы росли в нашем глухом и мирном краю и превратились в юношей и девушек. Мы уже не меньше старших знали о войнах, которые непрерывно велись к западу и северу от нас, и не меньше их тревожились вестями, доходившими с этих кровавых полей. Иные из тех дней я помню очень ясно. Однажды во вторник мы толпою собрались поплясать и попеть под Волшебным Буком и повесить на него венки в честь друзей-лесовичков, как вдруг Маленькая Менжетта крикнула:

— Глядите! Что это там?

Если крикнуть с таким испугом, все поневоле прислушаются. Запыхавшиеся танцоры остановились и обратили раскрасневшиеся лица в сторону деревни.

— Черный флаг!

— В самом деле?

— Неужели не видишь?

— Да, черный флаг. Вот невиданное дело!

— Что бы он мог значить?

— Что-нибудь страшное, а что же еще?

— Это мы и без тебя знаем, да что именно? — вот в чем вопрос.

— Пожалуй, тот, кто несет его, знает побольше нашего. Так уж потерпи, куда он дойдет.

— Он и так бежит бегом. А кто же это?

Один назвал одно имя, другой — другое, но скоро все разглядели, что это был Этьен Роз, прозванный «Подсолнухом» за рыжие волосы и круглое рябое лицо. Предки его были выходцами из Германии. Он бегом взбирался на холм, то и дело подымая над головой черный символ скорби и взмахивая им; а мы не сводили с него глаз, не переставали говорить о нем, и сердца наши бились все тревожнее в ожидании вестей. Наконец он очутился среди нас и воткнул флаг в землю, говоря:

— Стой тут и представляй Францию, а я покамест отдышусь. Нет у нее отныне другого знамени.

Наша болтовня мигом смолкла. Казалось, он объявил о чьей-то смерти. В наступившей тишине слышалось только частое дыхание гонца. Отдышавшись, он заговорил:

— К нам дошли черные вести. В Труа подписан договор с англичанами и бургундцами. Он связывает Францию по рукам и по ногам и выдает ее врагу. Все это натворил герцог Бургундский и эта дьяволица — наша королева. По этому договору Генрих Английский женится на принцессе Екатерине...

— Как? Дочь французских королей отдадут за Азенкурского палача? Не может этого быть! Ты, верно, ослышался!

— Если ты и этому не веришь, Жак д'Арк, трудно тебе придется: ведь ты еще не знаешь самого худшего. Ребенок, рожденный от их брака — пускай даже дочь, — наследует оба престола — Англии и Франции, и оба остаются за его потомством навечно.

— Ну, тут уж явная ложь! Ведь это против нашего Салического закона, а значит, не может иметь силы, — сказал Эдмон Обри, прозванный «Паладином» за то, что постоянно хвастал своими будущими победами. Он хотел еще что-то сказать, но его голос потонул в общем шуме; все негодовали и говорили разом, и никто никого не слушал, пока Ометта не убедила нас помолчать:

— Нельзя же так! Дайте ему досказать. Вы недовольны его рассказом, потому что все это кажется ложью. Если это ложь, так надо бы радоваться. Продолжай, Этьен!

— Мне немного осталось добавить: наш король Карл Шестой будет царствовать до смерти, а после него Францией будет править Генрих Пятый, король Англии, пока его ребенок не подрастет настолько, чтобы...

— Он будет править нами? Палач? Ложь! Все ложь! — закричал Паладин. — А как же наш дофин? Что сказано о нем в договоре?

— Ничего. По договору он лишается престола и становится изгнанником.

Тут все разом закричали, что это ложь, и заговорили уже весело.

— Договор недействителен без подписи нашего короля, а он разве пойдет против собственного сына?

На это Подсолнух сказал:

— А как по-вашему, королева подписала бы договор во вред своему сыну?

— Эта змея? Конечно. Про нее и говорить нечего. От нее ничего другого ждать нельзя. Она по злобе своей пойдет на любую подлость; а сына своего она ненавидит. Но ее подпись не имеет силы. Подписать должен король.

— А теперь дайте я еще спрошу. Наш король объявлен сумасшедшим, верно?

— Да, но народ только больше полюбил его за это. Через свои страдания он стал нам ближе. Кого жалеешь, того любишь.

— Правильно, Жак д'Арк! Но что спросишь с безумного? Разве он знает, что делает? Нет. И разве трудно другим заставить его сделать что угодно? Очень легко. Он уже подписал, говорю вам.

— А кто его заставил?

— Это вы и сами знаете: королева.

Тут все снова зашумели и заговорили разом, осыпая королеву проклятиями. А Жак д'Арк сказал:

— Многие слухи оказывались ложными. А таких позорных и горьких вестей, таких обидных для Франции

мы еще не слыхали. Значит, можно надеяться, что и это ложные слухи. Кто их принес?

У Жанны вся кровь отлила от лица: она боялась услышать ответ и чутьем уж угадывала его.

— Их принес кюре из Макси.

Все горестно ахнули. Мы знали его как человека надежного.

— А сам-то он верит им?

Мы ждали ответа с замирающим сердцем.

— Да. И мало того. Он сказал, что наверняка знает, что это правда.

Некоторые из девочек заплакали, мальчики угрюмо смолкли. Лицо Жанны выражало тоску, какую мы видим в глазах подстреленной насмерть серны. Она страдает без жалоб; так и Жанна — не произнесла ни слова. Ее брат Жак нежно погладил ее по волосам, желая утешить, и она благодарно поцеловала ему руку, все так же молча. Но вот наконец мы опомнились, и мальчики заговорили. Ноэль Рэнгессон сказал:

— Когда же наконец мы будем взрослыми? Ох, как медленно мы растем! А Франция никогда еще так не нуждалась в солдатах, чтобы смыть наш позор.

— Несносный возраст! — сказал Пьер Морель, прозванный «Кузнечиком» за выпуклые глаза. — Нам еще ждать да ждать. Война идет уже сто лет, а мы всё не можем себя показать! Как мне не терпится стать солдатом!

— А я дольше ждать не буду, — сказал Паладин. — И уж когда пойду, вы обо мне услышите, вот погодите! Есть такие, что при штурме крепости норовят оказаться позади, а я согласен быть только в первых рядах! Никого не пущу вперед себя, кроме командиров!

Даже девочки исполнились воинственного пыла, и Мари Дюпон сказала:

— Как я хотела бы быть мужчиной! Я бы сию минуту пошла воевать! — И, гордая своей храбростью, она огляделась, ожидая похвал.

— Я тоже, — сказала Сесиль Летелье, раздувая ноздри, точно боевой конь, почуявший битву. — Я ру-

чаюсь, что не убежала бы с поля, хотя бы на меня шла вся Англия!

— Ха! — сказал Паладин. — Девчонки только и умеют, что хвастать, а больше ни на что не годны. Будь их хоть тысяча, а как повстречаются с отрядом солдат — сразу покажут пятки. Чего доброго и крошка Жанна захочет идти в солдаты?

Такое предположение очень всех насмешило, но Паладину этого показалось мало, и он продолжал:

— Могу себе представить: так и ринется в бой, как заправский вояка! Да еще, пожалуй, не пойдет простым солдатом, вроде нас грешных, а офицером, в доспехах, в стальном шлеме с забралом, — чтобы не было видно, как она краснеет. Шутка сказать: целая армия, и все незнакомые! Да что там офицер! Она у нас будет капитаном. Да, да! Поведет за собой сотню солдат... или, может быть, девчонок? Нет, не пойдет она простым солдатом! А уж как двинется на врага, так точно вихрем его сметет!

Он еще долго потешал нас, и мы прямо покатывались со смеху. Еще бы не смеяться: подумать только, что эта кроткая девочка, которая и мухи не обидела бы, которая пугалась одного вида крови и всегда так робела и смущалась, — что эта девочка могла пойти в бой и повести за собой солдат!

Наш смех совсем смутил бедняжку; а между тем в эту самую минуту готовилось нечто такое, отчего все переменялось, и молодежь увидела, что смеется тот, кто смеется последний. Из-за Волшебного Бука на нас глянуло знакомое и страшное лицо, и мы тотчас поняли, что это Бесноватый Бенуа вырвался из клетки и всем нам пришел конец! Оборванное, обросшее и страшное чудовище вышло из-за дерева с топором в руке. Девочки громко закричали, и все мы кинулись бежать кто куда. Нет, не все: Жанна не побежала; она не тронулась с места. Добежав до спасительной опушки леса, окружавшего поляну, некоторые из нас оглянулись: посмотреть — не настигает ли нас Бенуа, и увидели, что Жанна все еще стоит, а сумасшедший крадется к ней с поднятым топором. Это было ужасное зрелище. Мы замерли на месте, дрожа и не в силах двинуться.

Я не хотел видеть, как свершится убийство, но не мог отвести взгляда. И вдруг я увидел, не веря своим глазам, как Жанна шагнула ему навстречу. Он остановился; я видел, как он погрозил ей топором, словно запрещая приближаться, — но она не послушалась и твердо шла к нему, пока не подошла прямо под топор. Мне показалось, что она заговорила с ним. Я почувствовал дурноту и головокружение, все поплыло перед моими глазами, и я уже ничего не мог различить. Не знаю, сколько времени это длилось. Когда я снова взглянул на них, Жанна шла к деревне, ведя Бесноватого за руку. В другой руке она держала топор.

Мальчишки и девчонки один за другим вылезли из своих убежищ и стояли разинув рты, пока те двое не дошли до деревни. С того дня мы и прозвали Жанну Бесстрашной.

Мы оставили черный флаг на траурной вахте; у нас была теперь другая забота. Мы бегом бросились в деревню, чтобы поднять тревогу и спасти Жанну, хотя мне после всего виденного казалось, что, пока топор у нее, она сумеет за себя постоять. Когда мы прибежали, опасность уже миновала — Бесноватый был водворен в клетку. Народ сбегался на маленькую площадь перед церковью подивиться такому чуду; даже постыдный договор был на время позабыт.

Женщины наперебой обнимали и целовали Жанну, хвалили ее и плакали, а мужчины гладили по голове и сожалели, зачем она не родилась мужчиной: они отправили бы ее воевать, и она бы прославилась, будьте уверены! Ей пришлось вырваться и убежать, так тягостны были похвалы для застенчивой девочки.

Нас, конечно, стали расспрашивать обо всех подробностях происшествия. Мне было нестерпимо стыдно; я поспешил под каким-то предлогом ускользнуть и потихоньку вернулся один к Волшебному Дереву, чтобы избежать расспросов. Там оказалась и Жанна, только она, наоборот, хотела избежать похвал. Скоро и остальные тоже ускользнули от любопытных и присоединились к нам. Мы окружили Жанну и стали спрашивать, как она могла отважиться на такое дело. Она держалась очень скромно и сказала:

— По-вашему, это было невесть как трудно, но только вы ошибаетесь. Если бы еще он мне впервые встретился... А то ведь я его знаю давно, и он меня знает и любит. Я много раз кормила его через прутья клетки; а прошлой зимой, когда ему отрубили два пальца, чтобы отучить его хватать проходящих, я ему каждый день перевязывала их, пока раны не зажили.

— Все это так, — сказала Маленькая Менжетта, — но ведь он сумасшедший, и когда на него находит, разве он помнит добро и узнает своих? Ты пошла на опасное дело.

— Конечно, — сказал Подсолнух, — разве он не пригрозил тебе топором?

— Да.

— И даже не раз?

— Да.

— Неужели ты не боялась?

— Нет, то есть не очень.

— Почему же ты не боялась?

Она задумалась, а потом ответила просто:

— Сама не знаю.

Все рассмеялись. Подсолнух сказал, что это похоже на ягненка, который и сам не поймет, как это он сумел съесть волка.

Сесиль Летелье спросила:

— Почему ты не убежала вместе с нами?

— Надо же было отвести его в клетку, ведь он мог кого-нибудь зарубить. А тогда его тоже убили бы.

Заметьте, что этот ответ, показывающий, насколько Жанна забывала о себе и собственной безопасности и думала только о других, никого не удивил, не вызвал никаких возражений и был принят как должное. Значит, ее характер определился уже тогда и всем был хорошо известен.

Некоторое время мы молчали и, должно быть, думали об одном: как неприглядно выглядело наше поведение рядом с поступком Жанны. Я пытался придумать какое-нибудь подходящее объяснение тому, что я убежал и оставил девочку одну с бесноватым, воору-

женным топором, но все возможные оправдания показались мне до того убогими и жалкими, что я смолчал. Другие не были столь благоразумны. Ноэль Рэнгессон помялся, а потом вдруг сказал, — как видно, и он думал о том же:

— Уж очень все вышло неожиданно. Вот в чем причина. Будь у меня хоть минута на раздумье, разве я убежал бы? Ведь это все равно что бежать от младенца. Если разобраться, кто таков Теофиль Бенуа, чтобы я его боялся? Нашли, кого бояться — несчастного горемыку! Пусть бы он сейчас пришел — уж я бы вам доказал.

— И я тоже! — вскричал Пьер Морель. — Я бы взял да и загнал его вон на то дерево! А то в самом деле — застал врасплох! Да я вовсе и не хотел бежать; я ведь не всерьез побежал, просто так, для смеха; а когда я увидел, что Жанна там осталась и он ей грозит, я чуть было не повернул назад. Я бы из него всю душу вытряс! Ведь я именно это и хотел сделать... Попадись он мне опять, уж я бы... уж я бы... Пусть только попробует еще раз показаться! Я его...

— Эх вы! — сказал Паладин с презрением. — Послушать вас, так можно подумать, что это и впрямь геройство — напугать такое чучело! Да что тут особенного? Невелика честь — справиться с ним! Я готов повстречаться с сотней таких, как он. Если б он сейчас подошел, я бы и глазом не моргнул — пошел бы на него, будь у него хоть тысяча топоров! Уж я бы...

И он долго еще расписывал чудеса храбрости, которые он показал бы, а другие тоже вставляли по временам словечко о том, какие подвиги они совершили бы, если бы Бесноватый еще раз посмел встать на их пути; теперь-то уж они к этому готовы, и если он думает еще раз застичь их врасплох, пусть на это не рассчитывает!

Так они снова обрели самоуважение и даже с процентами; когда мы разошлись, все были о себе лучшего мнения чем когда-либо прежде.

О ТОМ, КАК ДОПРЕМИ РАЗГРАБИЛИ И СОЖГЛИ

Дни нашей юности текли мирно и счастливо, то есть большей частью мирно, потому что война была от нас далеко; но иной раз бродячие шайки дезертиров приближались к нам, и по ночам в небе стояло зарево: это горела какая-нибудь деревня или ферма. Мы чувствовали, что когда-нибудь они подойдут еще ближе, и тогда настанет наш черед. Этот страх лежал на нас тяжким гнетом. Он особенно усилился года через два, после договора в Труа.

То был поистине тяжелый год для Франции. Однажды мы, как это бывало нередко, отправились за реку дать бой мальчишкам из деревни Макси, принадлежавшей к ненавистной бургундской партии; нас побили, и в сумерках мы перебирались через реку домой, усталые и изукрашенные синяками, как вдруг услышали набат. Мы бежали всю дорогу, а когда добежали до площади, она была уже заполнена возбужденным народом и причудливо освещена дымными факелами.

На паперти стоял чужой человек — священник из бургундцев; он держал речь, а люди, слушая его, то плакали, то яростно ругались. Он говорил, что наш помешанный король скончался и теперь мы и вся Франция являемся собственностью английского младенца, который еще лежит в колыбели в Лондоне. Он призывал нас принести присягу этому младенцу и служить ему верой и правдой; он говорил, что отныне у нас наконец будет сильная и прочная власть, а английская армия скоро предпримет свой последний поход, и он будет очень недолгим: ведь остается захватить последние клочки земли, где еще развевается жалкий лоскут французского знамени.

Люди бушевали и проклинали его; над морем лиц, освещенных факелами, то и дело угрожающе вздымались кулаки. Это была потрясающая картина; но всего более поражал в ней священник: он взирал на разъяренную толпу благодушно и невозмутимо; и, как ни

хотелось нам бросить его в огонь, мы невольно удивлялись этому оскорбительному спокойствию. Самым наглым был конец его речи. Он сказал, что на похоронах нашего короля французский шталмейстер преломил свой жезл «над гробом Карла VI и всего его рода» и тут же громко провозгласил: «Да здравствует наш повелитель — Генрих, король Франции и Англии!»

Тут священник предложил нашим поселянам произнести вслед за ним «аминь!».

Все лица побелели от гнева; на мгновение гнев даже сковал языки, и никто не мог вымолвить ни слова. Но Жанна, стоявшая близко к священнику, взглянула ему в лицо и сказала спокойно и серьезно, как всегда:

— Голову бы тебе отсечь за такие речи! — И, перекрестясь, добавила: — Если на то есть божья воля.

Это стоит запомнить, и вот почему: то была единственная жестокая речь, сказанная Жанной за всю ее жизнь. Когда я расскажу, какие невзгоды ей пришлось пережить и какие гонения достались ей на долю, вы удивитесь, что у нее только раз вырвались гневные слова.

С того дня, как к нам дошли эти печальные вести, мы не знали покоя: шайки мародеров подходили порой к самым нашим порогам, и мы жили в постоянном страхе, хотя бог долгое время миловал нас. Наконец настал и наш черед. Это было весной 1428 года. Бургундцы с шумом ворвались к нам среди ночи, и нам пришлось спасаться бегством. Мы в беспорядке бросились бежать по дороге в Нефшато; все старались очутиться впереди и тем мешали друг другу. Одна лишь Жанна сохранила хладнокровие; она взялась вести нас и водворила в этом хаосе порядок. Она действовала быстро, решительно и точно — и скоро превратила паническое бегство в правильное отступление. Согласитесь, что для такой юной девушки это было немалое дело.

Жанне минуло в то время шестнадцать лет. Она была стройна, грациозна и так необычайно красива, что, какие бы слова я ни выбрал для ее описания, я не боюсь погрешить против истины. На лице ее отражались кротость и чистота ее высокой души. Она была глубоко религиозна, а это нередко кладет на лицо от-

печаток уныния; но у Жанны этого не было. Ее вера приносила ей внутреннее удовлетворение и радость; бывало, конечно, что она печалилась и печаль отражалась на ее лице, но единственной причиной были бедствия ее родины, а вовсе не ее набожность.

Большая часть нашей деревни была разрушена, и когда мы решились туда вернуться, мы поняли, что выстрадал народ в других частях Франции за эти годы — или, вернее, десятилетия. Мы впервые увидели черные, обуглившиеся развалины домов и валяющиеся всюду трупы домашних животных, перебитых ради потехи. Здесь были и телята и ягнята — любимцы детей; и жалко было смотреть, как дети горько плакали над ними.

А тут еще подати! Эта мысль угнетала каждого: после такого разорения они лягут непосильным бременем; и все помрачнели, задумавшись над этим. Жанна сказала:

— Платить подати, когда платить нечем, — вся Франция делает это уже много лет, и только нам пока еще не доводилось. Теперь придется и нам.

Она продолжала говорить об этом, и видно было, что она очень озабочена.

Тут мы наткнулись на нечто особенно страшное. Это был Бесноватый, зарубленный насмерть в своей железной клетке на площади. Ужасное кровавое зрелище! Едва ли кто из нас, молодых, видел до тех пор человека, погибшего насильственной смертью; поэтому труп имел для нас какую-то жуткую притягательную силу, мы не могли отвести от него глаз. Так было со всеми, кроме Жанны. Она отвернулась в ужасе и ни за что не хотела подойти. Все, оказывается, дело привычки. Заметьте также, до чего сурова и несправедлива бывает к нам судьба: ей было угодно, чтобы те из нас, кого больше всего притягивало зрелище крови и убийства, прожили свою жизнь мирно; а той, которая испытывала при одном виде крови врожденный глубокий ужас, суждено было ежедневно видеть ее на поле боя.

У нас было теперь о чем поговорить, потому что разорение нашей деревни казалось нам куда более важным

событием, чем все, что до тех пор случалось на свете; хотя крестьяне и имели некое смутное понятие о многих исторических событиях, которые принято считать важными, ничто из этого, как видно, не проникало по-настоящему в их толстые черепа. Малое событие, свершившееся на их глазах и близко их коснувшееся, поразило их больше любого отдаленного события мировой истории, известного им только понаслышке. Забавно вспоминать разговоры наших стариков. Как они негодовали и выходили из себя!

— Дожили, нечего сказать! — говорил старый Жак д'Арк. — Надо немедленно известить обо всем короля. Пора ему встряхнуться и взяться за дело!

Это говорилось о нашем молодом короле Карле VII, скитальце, лишенном престола.

— Правильно, — говорил мэр. — Надо дать ему знать, и притом немедленно. Мыслимое ли дело: допускать такие беззакония? Мы не можем спать спокойно, а ему и горя мало! Нет, мы этого так не оставим. Пусть узнает вся Франция!

Послушать их, так можно было подумать, что десять тысяч ранее разграбленных и сожженных селений Франции были досужим вымыслом, и только наша беда — несомненным фактом. Так оно всегда бывает: если в беду попадает сосед, можно отделаться словами, но если попадешь ты сам, тут уж пора королю браться за дело.

Молодежь тоже без конца толковала о случившемся. Мы пасли стада и вели нескончаемые беседы. Мы считали себя уже взрослыми. Мне было восемнадцать, а другим юношам — на год, на два и даже на четыре больше; пожалуй, что мы и в самом деле были взрослые. Как-то раз Паладин принялся осуждать французских полководцев:

— Взять хоть Дюнуа, незаконнорожденного сына принца Орлеанского, — а еще называется полководцем! Я бы на его месте... ладно уж, не буду говорить, что я сделал бы. Я хвастать не люблю, я люблю действовать, а болтают пусть другие. Я только говорю: эх, мне бы на его место! А Сентрайль? Или этот хвастун Ля Гир? Ну разве это полководец?

Всех покоробили такие дерзкие суждения о прославленных воинах, которые в наших глазах были почти божествами. Издали они казались нашему воображению гигантскими и грозными фигурами, и было страшно слушать, как их судят, точно простых смертных. Жанна вспыхнула и сказала:

— Не понимаю, как можно так дерзко говорить об этих великих людях. Ведь это столпы Франции, они держат ее на своих плечах и проливают за нее кровь. Я, например, считала бы величайшей и незаслуженной честью взглянуть на них, — конечно, издали; кто я такая, чтобы приблизиться к ним?

Паладин на мгновение смутился, увидав по нашим лицам, что Жанна выразила общее мнение, но тут же с присущим ему самодовольством продолжал ворчать. Жан, брат Жанны, сказал ему:

— Если тебе не нравится, как воюют наши полководцы, отчего бы тебе самому не пойти на войну и не показать, как надо воевать? Ты все только говоришь, что пойдешь, а сам ни с места.

— Легко сказать! — ответил Паладин. — Я тебе сейчас объясню, почему я здесь изнываю без дела, а ведь всем вам известно, что я по природе не таков. Я потому не иду на войну, что я не дворянин. Вот в чем причина. Что может сделать в такой войне простой солдат? Ничего. Он и шага не может ступить самостоятельно. Будь я дворянином, разве я сидел бы тут? Ни одной минуты! Я мог бы спасти Францию! Нечего смеяться, я знаю, на что я способен и какую голову прикрывает простая крестьянская шапка. Я мог бы спасти Францию — и готов это сделать, но не на таких условиях. Если я нужен, пусть за мной прищлют. А нет — пусть пеняют на себя. Я согласен идти только офицером, а иначе и с места не двинусь.

— Несчастливая Франция, плохо ее дело! — сказал Пьер д'Арк.

— Чем насмехаться над другими, почему бы тебе самому не пойти на войну, Пьер д'Арк?

— Так ведь за мной тоже еще не присылали. Я тоже не дворянин, как и ты. И все-таки я пойду. Обещаю,

что пойду. Я пойду рядовым в твоём полку, когда за тобой пришлют.

Все засмеялись, а Кузнечик сказал:

— Так скоро? Так тебе, пожалуй, пора собираться. Лет через пять — кто знает? — может, и пришлют. Да, пожалуй, лет через пять вы пойдёте на войну.

— Он пойдёт раньше, — сказала Жанна; она произнесла это тихо и задумчиво, но многие услышали.

— А ты почему знаешь? — спросил с удивлением Кузнечик.

Но тут заговорил Жан д'Арк:

— И я хотел бы пойти, но я ещё молод и могу подождать; я уж лучше пойду с Паладином, когда за ним пришлют.

— Нет, — сказала Жанна, — он пойдёт с Пьером.

Это она сказала словно про себя, и никто не услышал её, кроме меня. Я взглянул на неё и увидел, что вязальные спицы в её руках остановились, а на лице было странное, отсутствующее выражение. Она шевелила губами, точно шептала что-то про себя, только беззвучно, — я ничего больше не расслышал, хотя стоял к ней ближе всех. Но я насторожился; сказанное ею сильно поразило меня, а я вообще суеверен и очень впечатлителен ко всему необычайному.

Ноэль Рэнгессон сказал:

— Пожалуй, Францию ещё можно спасти. Один дворянин в нашей компании есть. Ну что стоит «Школяру» одолжить Паладину своё имя и звание? Тогда он сможет стать офицером. Франция призовет его, и он смахнет всех англичан и бургундцев в море, как мух.

Школяр — это был я. Так меня прозвали за то, что я умел читать и писать. Все хором одобрили его предложение, а Подсолнух сказал:

— Вот и славно! Теперь все улажено. Сьер де Конт, конечно, охотно согласится. Он пойдёт за капитаном Паладином как простой солдат и падёт смертью храбрых на поле боя.

— Он пойдёт вместе с Жаном и Пьером и надолго переживёт эти войны и самую память о них, — прошептала Жанна, — а Ноэль и Паладин присоединятся к ним в последнюю минуту, но только не по своей

охоте. — Это было сказано очень тихо, и я не был уверен, что расслышал правильно, но так мне послышалось. От таких вещей становится как то жутко.

— Ну вот, — сказал Ноэль, — дело и уладилось. Все мы идем под начальством Паладина спасать Францию. Ведь вы все, конечно, пойдете?

Все согласились идти, кроме Жака д'Арк. Он сказал:

— Нет уж, идите без меня. Я тоже любил поговорить и помечтать о сражениях и думал, что скоро пойду воевать; а как увидел нашу разоренную деревню и нашего Бесноватого, порубленного на куски, сразу понял, что эта работа не по мне. Не лежит у меня к ней душа. Идти на смерть, подставить себя мечу или пушкам? Нет, не смогу я этого. Вы на меня не рассчитывайте. К тому же я старший сын, опора семьи. Если Жан и Пьер уйдут с вами на войну, надо же кому-нибудь остаться дома и заботиться о Жанне и ее сестре. Я останусь дома и мирно доживу до старости.

— Он останется дома, но до старости не доживет, — прошептала Жанна.

Так болтала веселая и беззаботная молодежь, и Паладин уже составил план своих кампаний, разыграл много сражений, одержал множество побед, уничтожил англичан, возвел нашего короля на трон и возложил корону на его голову. Тут мы спросили его, что он попросит у короля в награду. У Паладина все было обдумано, и он немедленно ответил:

— Я попрошу сделать меня герцогом, первым членом королевства и наследственным коннетаблем Франции.

— И женить тебя на принцессе, — как же ты позабыл про это?

Паладин слегка покраснел и отрывисто сказал:

— Не надо мне принцесс. У меня уже есть невеста на примете.

Он намекал на Жанну, хотя мы в ту пору не подозревали этого. Иначе мы бы высмеяли Паладина за его самомнение. В деревне не было жениха, достойного Жанны д'Арк. Это сказал бы любой из нас.

Тут нас по очереди стали спрашивать, что он попросил бы у короля, если бы был на месте Паладина и свершил все чудеса, которые тот собирался свершить. Каждый старался ответить как-нибудь посмешнее и придумывал себе награды одну необычайнее другой. Когда очередь дошла до Жанны, ее с трудом удалось пробудить от задумчивости; пришлось повторить вопрос, потому что мысли ее витали где-то далеко и она не слыхала всей этой части разговора. Она приняла его всерьез и сказала, подумав:

— Если бы наш милостивый дофин сказал мне: «Проси что пожелаешь, я теперь снова богат, я получил обратно свое родовое достояние», — я преклонила бы колени и попросила его навечно освободить нашу деревню от податей.

Эти простые слова, шедшие из глубины сердца, тронули нас; мы не засмеялись, а задумались. Нет, мы не засмеялись; и настал день, когда мы вспомнили ее ответ с гордостью и грустью и были рады, что не посмеялись над ним, потому что увидели, как искренни были эти слова: ведь она повторила их, когда настало время, и попросила у короля только этой милости и ни за что не хотела ничего просить для себя самой.

Глава VI

ЖАННА И АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

В детстве, вплоть до четырнадцати лет, Жанна была самой беззаботной и резвой девчонкой в деревне, — она ходила вприпрыжку и очень заразительно смеялась. Ее веселый нрав, сердечная доброта и приветливость завоевали ей всеобщую любовь. Она всегда была пламенной патриоткой, и вести с войны иной раз омрачали ее веселость и исторгали у нее слезы; однако, пережив такие минуты, она опять становилась прежней веселой резвухой.

Но вот уже полтора года она была постоянно задумчива — не то чтобы уныла, скорее рассеянна и мол-

чалива. Она носила Францию в своем сердце, и бремя оказалось нелегким. Я знал, что ее печалит, но другие считали ее задумчивость религиозным экстазом, ибо она не делилась ни с кем своими мыслями и лишь отчасти — со мной; поэтому я лучше других знал, о чем она неустанно думает. Мне часто казалось, что у нее есть какая-то тайна — тайна, которую она хранит от всех и даже от меня. Это приходило мне в голову потому, что она иногда останавливалась на полуслове и заговаривала о другом, когда была, казалось, готова нечто открыть. Мне предстояло узнать ее тайну, но несколько позже.

Наутро после описанной мною беседы мы были с нею в лугах и, по обыкновению, говорили о Франции. Ради Жанны я всегда говорил бодро, хотя это было притворством — ведь теперь уж для Франции не оставалось ни малейшей надежды. Но лгать перед ней было так трудно, так было стыдно обманывать эту чистую душу, не ведавшую обмана и не подозревавшую его в других, что я решил отныне говорить по-другому и больше не оскорблять ее ложью. И вот я повел свою новую линию — откровенности (но при этом все-таки немного соврал, — ведь привычка есть привычка, и ее не выкинешь сразу за окошко; хорошо, если удастся медленно согнать ее по ступенькам).

— Знаешь, Жанна, я много раздумывал прошлой ночью и понял, что мы ошибались: дело Франции проиграно; оно было проиграно еще при Азенкуре, а теперь оно и вовсе безнадежно.

Говоря так, я не глядел ей в глаза. Этого никто бы не смог. Было стыдно так грубо наносить ей удар и убивать в ней надежду, ничем не смягчая жестоких слов. Но когда они были произнесены и моя совесть освободилась от тяжелого бремени, я взглянул на нее, чтобы увидеть действие этих слов.

Я не увидел того, что ожидал. В ее задумчивых глазах было некоторое удивление — и только. Она сказала, по обыкновению, спокойно и просто:

— Безнадежно? Скажи, почему ты так думаешь?

Бывает, что вы боитесь причинить боль милому вам существу, но с радостью видите, что бояться-то было

нечего. Я почувствовал облегчение: теперь с ней можно было говорить не таясь и не смущаясь. И я начал:

— Мы — патриоты; и нам хотелось бы тешить себя надеждами, но не лучше ли взглянуть в глаза фактам? О чем же говорят факты? Они ясны, как цифры в торговой книге. Стоит подвести итог, и мы увидим, что Франция обанкротилась; половина ее владений уже находится в руках английского шерифа, а другая половина — ничья, если не считать разбойничьих шашек, которые никого не признают над собой. Наш король со своими любимцами и шутами постыдно бездействует и живет в бедности на задворках, но и там не имеет власти; у него нет ни гроша денег, ни единого отряда солдат; он не сражается и даже не помышляет об этом; он не думает сопротивляться, он думает только об одном: как бы все бросить, зашвырнуть свою корону в помойную яму и бежать в Шотландию. Вот они — факты. Верно я говорю?

— Да, все это верно.

— Тогда остается только сделать, как я сказал: подытожить их все, и ты увидишь, что из них следует. Она спросила обычным ровным тоном:

— Что же следует? Что дело Франции проиграно?

— Конечно. Раз таковы факты, тут и сомневаться нечего.

— Как можешь ты так говорить? И как можешь так думать?

— А как же думать иначе, раз именно так обстоит дело. Неужели при таких очевидных доказательствах ты можешь сохранять хоть малейшую надежду?

— Не только надежду, но гораздо больше: уверенность! Франция вернет себе свободу и отстоит ее. Не сомневайся в этом.

Я решил, что ее ум на этот раз утратил обычную ясность, — иначе она увидела бы, что приведенные мной факты могут означать только одно. Может быть, попытаться изложить их еще раз? И я сказал:

— Жанна, твое сердце боготворит Францию и поэтому обманывает твой разум. Ты не понимаешь, как обстоит дело. Дай я тебе все начерчу палкой на земле. Смотри, вот это — примерные границы Франции.

Посередине, с востока на запад, я провожу линию — это река.

— Да, Луара.

— Вся северная половина страны находится в руках англичан.

— Да.

— А южная половина по сути дела — ничья. Наш король признал это, раз он собирается бросить нас и бежать в чужие земли. У Англии здесь армия, она не встречает отпора; стоит ей захотеть, и она завладеет всем. По правде говоря, для нас потеряна уже *вся* Франция. Ее нет, она не существует. То, что было некогда Францией, стало британской провинцией. Так это или не так?

Ее тихий голос дрогнул, но она отчетливо выговорила:

— Да, это так.

— Вот видишь! Для полного итога я добавлю еще только одно: была ли у нас за все это время хоть одна победа? Шотландские полки несколько лет назад выиграли одно-два незначительных сражения под французским знаменем, — но я спрашиваю о французах. Двенадцать лет назад, при Азенкуре, восемь тысяч англичан почти полностью уничтожили шестьдесят тысяч французов; с той поры французская доблесть умерла. Сейчас принято говорить, что довольно пяти английских солдат, чтобы обратить в бегство пятьдесят французов.

— Увы! И это тоже верно.

— Так не пора ли проститься с надеждами?

Уж теперь-то она все поняла, думал я; сейчас ей все стало ясно, и она сама скажет, что надеяться действительно не на что. Но я ошибся. Меня ожидало разочарование. Она сказала уверенно:

— Франция воспрянет. Вот увидишь.

— Воспрянет? Да ведь англичане наседают со всех сторон.

— Она сбросит англичан и растопчет их. — Это было сказано с воодушевлением.

— Без солдат?

— Они соберутся на зов барабанов. Соберутся и пойдут!

— Куда? В отступление, как привыкли?

— Нет, вперед — только вперед! Вот увидишь.

— А наш нищий король?

— Он взойдет на свой трон и будет царствовать

— От твоих слов прямо голова кружится. Мне самому хотелось бы верить, что, скажем, лет через тридцать мы сбросим английское иго и Франция вновь станет суверенным королевством.

— Для этого не понадобится и двух лет.

— Возможно ли? Кто же свершит эти чудеса?

— Господь.

Она благоговейно понизила голос, но он прозвучал ясно и звонко.

Откуда взялись у нее эти странные мысли? Этот вопрос занимал меня несколько дней. Конечно, я прежде всего подумал, что она повредила в уме. Как можно было иначе толковать ее слова? Постоянная печаль о бедствиях родины помрачила ее ясный ум и заполонила его призрачными видениями — вот откуда у нее все это.

Я стал наблюдать за ней, проверяя свои подозрения, но они не подтвердились. Взор ее был ясен, поведение спокойно, речь разумна; как и прежде, это была самая ясная голова во всей деревне. Она по-прежнему думала о других, заботилась о других и приносила себя в жертву ради других. Она по-прежнему ходила за больными, помогала бедным, всегда готова была отдать страннику свою постель, а сама лечь на полу. Тут была какая-то тайна, но ключ к ней надо было искать не в безумии. Это скоро стало мне ясно.

Наконец ключ сам попал ко мне в руки, и вот как это случилось. То, что я расскажу, известно теперь всему свету, но вам еще не приходилось слышать об этом от очевидца.

Однажды — это было 15 мая 1428 года — я спустился с холма на опушку дубовой рощи и хотел уже выйти на травянистую поляну, где рос Волшебный Бук,

но, выглянув из-за деревьев, отступил назад и притаился в листве. Я увидел Жанну и захотел шутки ради напугать ее. Не думал я, что моя глупая ребяческая шалость переплетется с событиями, увековеченными в истории и в песнях народа.

День был облачный, и вся поляна вокруг дерева была в густой тени. Жанна сидела на толстых, узловатых корнях бука, которые образовали подобие кресла. Руки ее были сложены на коленях, голова склонена, и вся ее поза выражала глубокую задумчивость; казалось, она унеслась куда-то далеко. Вдруг я увидел нечто необычайное: по траве к дереву медленно скользило белое сияние. Оно имело очертания исполинской крылатой фигуры, и белизна его была непохожа ни на какую другую белизну, известную нам, разве только на белый блеск молнии; но даже молния не могла равняться с ним яркостью; на молнию можно смотреть, а этот свет был так ослепителен, что на глазах у меня выступили слезы. Я обнажил голову, понимая, что нахожусь в присутствии чего-то неземного. У меня захватило дух от благоговейного ужаса.

Тут случилось еще одно чудо: в лесу до этого стояла тишина, какая наступает с приближением грозовой тучи, когда все живое пугливо смолкает. А сейчас птичий хор вдруг залился такими ликующими трелями, что было ясно: он поет хвалу божеству. При первых звуках этого хора Жанна бросилась на колени, склонила голову и сложила руки на груди.

А между тем *ей* сияние еще не могло быть видно. Как же она узнала о нем? по пению птиц? Так мне показалось. Значит, видение являлось ей уже не впервые? Да, очевидно это было так.

Сияние медленно приблизилось к Жанне, достигло ее и окружило несказанным великолепием. В этом неземном блеске лицо ее, прежде прекрасное лишь земною красотой, чудесно преобразилось. Озаренное дивным сиянием, ее грубое крестьянское платье стало подобно облачению небесных ангелов, как мы видим их в воображении и в снах, на ступенях божьего престола.

Вот она поднялась с колен и стояла, все еще склонив голову и сплетя пальцы опущенных рук; вся про-

низанная дивным светом, но, как видно, не сознавая этого, она к чему-то прислушивалась; а я ничего не слышал. Немного спустя она подняла голову, словно глядя в лицо кому-то исполинского роста, с мольбой воздела руки и заговорила. Я услышал, как она сказала:

— Ведь я так еще молода! Как мне оставить мать и родимый дом и идти на такое великое дело? Сумею ли я говорить с воинами и стать их соратником? Они будут оскорблять и презирать меня. Как я поведу войско в бой? Ведь я девушка, неискушенная в науке войны; я не владею оружием, не умею сесть на коня... Но если такова воля божья...

Голос ее прервался рыданиями, и я ничего больше не расслышал. Тут я очнулся. Я понял, что нечаянно подглядел великое таинство, и решил, что меня постигнет за это божья кара. В испуге я углубился дальше в лес. Там я сделал на дереве зарубку, говоря себе, что это скорее всего только сон. Я решил прийти снова, когда наверняка буду знать, что не сплю, и если зарубка окажется там — значит, это был не сон.

Глава VII

ЖАННА ОБЪЯВЛЯЕТ О СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ МИССИИ

Кто-то окликнул меня по имени. Это был голос Жанны. Я вздрогнул: откуда могла она знать, что я здесь? «Все это сон, — повторил я себе, — и голос, и видение. Все это проделки лесовичков». Чтобы отогнать чары, я перекрестился и произнес имя божье. Прогив этого не могли устоять никакие чары, и теперь уж я знал, что не сплю. Тут меня снова окликнули; я вышел на поляну, и передо мной действительно была Жанна, но совсем не такая, какою она только что привиделась мне. Она не плакала и была во всем похожа на веселую и беззаботную девочку, какою мы знали полтора года назад. К ней вернулся прежний огонь и воодушевление, во всем ее облике сквозила какая-то восторжен-

пость. Казалось, она уходила от нас куда-то далеко, а теперь возвратилась. Я так обрадовался этому, что хотел скорее созвать всех, чтобы все ее приветствовали. В волнении я бросился к ней и сказал:

— О Жанна, я тебе расскажу диковинную вещь! Ты и вообразить не можешь... Я видел сон, — я видел, что ты стоишь на этом самом месте...

Но она остановила меня движением руки:

— Это тебе не приснилось.

Я был поражен и вновь ощутил страх.

— Не приснилось? — повторил я. — Откуда ты это знаешь, Жанна?

— Вот сейчас — ты спишь или нет?

— Нет, сейчас, кажется, не сплю.

— Не спишь, я знаю наверное, что не спишь. Ты и тогда не спал. И зарубку на дереве ты сделал наяву, а не во сне.

Я почувствовал, что холодею от ужаса; теперь я убедился, что не спал и действительно видел нечто неземное. И тут я сообразил, что попираю грешными ногами священную землю — землю, которую только что осеняло небесное сияние. Я поспешно отступил, содрогаясь всем телом. Жанна последовала за мной, говоря:

— Не бойся; бояться нечего. Пойдем со мной. Мы сядем возле источника, и я открою тебе мою тайну.

Она уже приготовилась начать, но я остановил ее:

— Нет, ты сперва скажи вот что: ведь ты не могла видеть меня в лесу, как же ты узнала, что я сделал зарубку?

— Подожди, я дойду и до этого.

— Скажи мне еще одно: что это было за видение?

— Я скажу, только ты не пугайся, тебе бояться нечего. То был архангел Михаил, глава небесного воинства.

Я мог лишь перекреститься, дрожа при мысли, что осквернил своими ногами священную землю.

— И ты не боялась? Ты смотрела ему в лицо? Ты ясно его видела?

— Нет, не боялась, ведь это уж не в первый раз. А в первый раз я испугалась.

— Когда это было, Жанна?

— Тому уж скоро три года.

— Так давно? И он являлся тебе много раз?

— Да, много раз.

— Так вот отчего ты переменялась — стала задумчивой и не такой, как прежде! Теперь я понимаю. Но почему ты ничего не говорила нам?

— На то не было дозволения. А теперь есть, и скоро я все открою. Но сейчас — только тебе. Это должно оставаться в тайне еще несколько дней.

— А кто-нибудь видел этот сияющий призрак, кроме меня?

— Нет, никто. Он являлся и раньше, когда я бывала среди вас, но никто его не видел. Нынче было не так, но больше его уж никто не увидит.

— Значит, это было мне знамением? Оно что-нибудь обозначает?

— Да, но об этом мне не дозволено говорить.

— Не странно ли, что такой ослепительный свет что-то освещал и оставался невидим?

— Я не только вижу свет, я слышу Голоса. Мне являются святые в сонме ангелов и беседуют со мной. Но они слышны только мне. Они очень дороги мне, мои Голоса, — так я их про себя называю.

— О чем же они говорят с тобой, Жанна?

— О многом... о Франции.

— О чем же именно?

Она вздохнула:

— Только о поражениях, о бедствиях и позоре. О чем же еще?

— Они тебе говорили обо всем этом заранее?

— Да. Я знала наперед, что должно случиться. Оттого я и была так печальна. Как могло быть иначе? Но при этом я всегда слышала и слово надежды. Более того: они обещали, что Франция будет спасена и снова станет великой. Но как и кем спасена — этого я не знала до сего дня. — При этих словах в глазах ее зажегся тот огонь, который я потом видел в них много раз, когда трубы звали в атаку, — боевой огонь, так я называл его. Грудь ее вздымалась, лицо разгорелось. — Сегодня я узнала. Господь избрал для этого ничтожнейшее из своих созданий. Его велением и его силой,

а не своей, я поведу его войска, я отвоюю Францию, я возложу корону на голову его слуги — дофина, и он станет королем.

Я был поражен:

— Ты, Жанна? Такое дитя, как ты, поведет войска?

— Да. Сперва я и сама испугалась. Ведь я и вправду ребенок; я несведуща в науке войны и не гожусь для тяжкого ратного труда. Но эта минутная слабость прошла и не вернется. Я призвана — и я не отступлю, пока с божьей помощью не разожму тиски, которые сдавили горло Франции. Мои Голоса никогда мне не лгали, не солгали они и сегодня. Они велят мне идти к Роберу де Бодрикуру, правителю Вокулёра. Он даст мне солдат, чтобы сопровождали меня к королю. Через год будет нанесен удар, и это будет началом конца, а конец не замедлит.

— Где же он будет нанесен?

— Этого Голоса мне не сказали; не открыли они и того, что будет предшествовать этому удару. Знаю только, что именно мне суждено нанести его, а вслед за ним — другие, быстрые и сильные; за два месяца надо разрушить многолетний труд англичан и возложить корону на голову дофина. Такова божья воля, так сказали Голоса; могу ли я сомневаться? Как они сказали, так и будет, ибо они вещают одну только правду.

Вот какие удивительные вещи она обещала. Моему рассудку они казались невероятными, но сердце чуяло их правду. Мой разум еще сомневался, а сердце уже уверовало; и с того дня вера эта не поколебалась. Я сказал:

— Жанна, я верю всему, что ты говоришь, и рад, что пойду с тобой на войну. Ведь я пойду с тобой, не правда ли?

Она сказала удивленно:

— Да, ты пойдешь со мной, когда я отправлюсь на войну, но откуда ты это знаешь?

— Я пойду с тобой, и Жан пойдет, и Пьер; а Жак не пойдет.

— Верно! Так мне было сказано про вас, но до сего дня я не знала, что и я тоже пойду и поведу вас. Как же мог узнать ты?

Я напомнил ей, когда она говорила об этом. Но она ничего не помнила.

Я понял, что она была тогда в забытьи или в каком-то экстазе. Она попросила меня никому покуда не рассказывать. Я обещал и сдержал свое слово.

Все, кто видел Жанну в тот день, заметили происшедшую в ней перемену. Ее речь и движения были решительны, глаза горели каким-то особым, новым огнем, и держалась она совсем по-новому, и голову несла высоко и гордо. Новый свет в ее глазах и ее новая гордая осанка были рождены сознанием высокой миссии, возложенной на нее небесами: они провозглашали эту миссию яснее всяких слов, но без малейшего чванства. Спокойное сознание власти, невольно проявлявшееся во всем ее облике, не покидало Жанну все время, пока она выполняла свою задачу. Как и все поселяне, она всегда оказывала мне почтение, подобающее моему дворянскому званию. Теперь мы словно обменялись местами, хотя об этом между нами не было сказано ни слова. Она уже не предлагала сделать то-то и то-то, — она отдавала приказания. Я почтительно выслушивал их и беспрекословно выполнял.

Вечером она сказала мне:

— Завтра на рассвете я уйду. Никто не должен знать об этом, кроме тебя. Я пойду, как мне велено, к правителю Вокулёра; он обойдется со мной грубо и, вероятно, откажет. Но сперва я пойду в Бюри и уговорю моего дядю Лаксара сопровождать меня, мне не пристало идти одной. Ты можешь понадобиться мне в Вокулёре; если правитель не примет меня, я pošлю ему письмо, — для этого мне нужен грамотный человек. Отправляйся туда завтра после полудня и жди там, покуда не понадобишься.

Я обещал повиноваться, и она отправилась. Видите, какая это была светлая голова и какая разумная. Она не велела мне идти с нею, чтоб не давать повода к

сплетням. Она знала, что правитель не отказался бы принять меня как дворянин дворянина. Но она и этого не хотела. Бедная крестьянская девушка, подающая прошение через молодого дворянина, — как бы это выглядело? Она никогда не забывала о скромности, зато и соблюла до конца свое доброе имя в незапятнанной чистоте. Я теперь знал, как угодить ей: надо быть в Вокулёре, держаться в стороне, но быть наготове, если понадобится.

Я отправился туда на другой день после полудня и остановился в скромном домике, а потом сделал визит правителю, который пригласил меня отобедать с ним в полдень следующего дня. Он был типичным воином своего времени — рослый, грубый, мускулистый, уже седой; он пересыпал свою речь диковинными ругательствами, которым научился в дальних походах и которые бережно хранил, точно знаки отличия. Большую часть жизни он провел на бивуаках и считал войну лучшим из даров божьих. На нем была стальная кираса и сапоги выше колен, а на боку огромный меч; глядя на эту воинственную фигуру, выпускавшую залпы изощренного сквернословия, я понял, как трудно ждать от него чувствительности и деликатности. Я надеялся, что маленькая крестьянка не попадет под огонь этой батареи, что она не будет допущена к нему и должна будет ограничиться письменным прошением.

В полдень следующего дня я снова пришел в замок. Меня провели в просторный обеденный зал и посадили возле правителя за особый маленький стол, стоявший на возвышении. За этим столом сидело еще несколько гостей, а пониже, за общим столом, обедали офицеры гарнизона. У дверей стояла стража с алебардами, в шлемах и стальных нагрудниках.

Разговор за столом шел, конечно, о бедствиях Франции. Кто-то сообщил вслух, что Солсбери готовится идти на Орлеан. Это вызвало оживленный спор; все наперебой спешили высказать свое мнение. Одни считали, что он выступит немедленно, другие — что это ему не удастся раньше осени и что осада будет долгой, а сопротивление — отчаянным, но все сходились на одном: Орлеан неминуемо падет, а с ним и Франция. На

этом долгие споры кончились, и наступило молчание. Каждый задумался о своем, позабыв окружающее. В этом внезапном глубоком молчании, сменившем оживленную беседу, было нечто торжественное и значительное. Вошел слуга и что-то тихо доложил правителю, а тот сказал:

— Хотят видеть меня?

— Да, ваша милость.

— Хм! Странное желание... Введи их!

Это была Жанна со своим дядей Лаксаром. В присутствии стольких высоких особ у бедного старика душа ушла в пятки, и он остановился посреди комнаты, не решаясь подойти ближе; он мял в руках свой красный колпак и смиренно кланялся на все стороны, оторопев от страха. А Жанна смело прошла вперед и остановилась перед правителем. Она узнала меня, но не подала виду. По залу пронесся шепот восхищения, и сам правитель пробормотал: «Экая красотка, клянусь богом!» Он внимательно оглядел ее и спросил:

— Чего ты хочешь, дитя?

— Я послана к тебе, Робер де Бодрикур, правитель Вокулёра, и вот зачем: пошли сказать дофину, чтобы он не спешил давать бой неприятелю, ибо бог скоро пошлет ему помощь.

Эта странная речь вызвала общее изумление, и многие зашептали: «Бедняжка сошла с ума!» Бодрикур сказал, нахмурясь:

— Это что еще за вздор? Королю — или, по-твоему, дофину — таких напоминаний не надо, он и так не поспешит, этого бояться не приходится. И это все, что ты хотела мне сообщить?

— Еще вот что: прошу тебя, дай мне охрану и пошли к дофину!

— Зачем?

— Чтобы он сделал меня своим полководцем, ибо мне суждено прогнать англичан из Франции и возложить корону на его главу.

— Тебе? Да ведь ты ребенок!

— И все же именно мне суждено это свершить.

— В самом деле? А когда же это должно произойти?

— Он будет коронован в будущем году и после этого будет царствовать во Франции.

Все громко захохотали, а когда смех утих, правитель спросил:

— Кто прислал тебя с этой диковинной вестью?

— Мой повелитель.

— Кто?

— Царь небесный.

Многие опять зашептали: «Бедняжка! Она помешана!»

Правитель подозвал Лаксара и сказал:

— Эй, ты! Уведи эту помешанную девчонку домой и высеки хорошенько. Это будет самое лучшее лекарство от ее хвори.

Уходя, Жанна обернулась и сказала просто:

— Ты отказываешься дать мне солдат, а ведь это веление бога, это он послал меня. Поэтому мне придется приходить еще и еще, и ты наконец дашь мне солдат.

После ее ухода все долго говорили о ней и изумлялись. Стража и слуги рассказали о ней горожанам, а те — деревенским. Когда мы вернулись, Домреми жужжала, как пчелиный улей.

Глава VIII

ПОЧЕМУ СМОЛКЛИ НАСМЕШКИ

Люди повсюду одинаковы: они поклоняются успеху и презирают неудачника. Деревня сочла, что Жанна опозорила всех своей нелепой выходкой и постыдной неудачей. Все злые языки занялись ею и принялись изливать на нее потоки яда и желчи. Будь это не языки, а зубы, не уцелеть бы бедной Жанне. Кто поносил ее, а кто и того хуже — подымал на смех; ее без усталости донимали насмешками, не давали проходу зубоскальством. Ометта, Маленькая Менжетта и я остались ей верны, но остальные ее друзья не устояли и начали сторониться ее; они стыдились показаться

рядом с ней и боялись заодно с ней попасть под град насмешек. Она втихомолку плакала, но на людях не пролила ни одной слезинки. На людях она была неизменно спокойна и не выказывала ни обиды, ни раздражения. Казалось, это должно было смягчить ее недругов, но не тут-то было. Отец ее был так раздражен, что не мог спокойно говорить об ее безумном намерении: идти воевать, точно мужчина. Незадолго до того ему приснилось, будто она уходит на войну; с ужасом вспоминая этот сон, он клялся, что не допустит такого срама и лучше велит ее братьям утопить ее, а если они откажутся — сделает это собственными руками.

Однако ничто не поколебало ее решимости. Родители стерегли ее день и ночь, чтобы она никуда не отлучалась из деревни, но она говорила, что час еще не настал, а когда настанет, никому не удастся ее устеречь.

Так прошло лето. Увидя, что она тверда в своем намерении, родители с радостью ухватились за возможность выдать ее замуж и тем положить конец ее мечтаньям. У Паладина хватило наглости заявить, что она давно уже дала ему слово, и теперь он требовал выполнения этого обещания.

Она сказала, что это ложь, и отказалась идти за него замуж. Церковный суд города Туль призвал ее к ответу за нарушение обещания. Когда она отказалась от защитника и пожелала защищать себя сама, родители и все недоброжелатели очень обрадовались, заранее считая ее дело проигранным. И в самом деле — кто мог ожидать, что шестнадцатилетняя крестьянская девушка не растеряется и не онемеет от страха, впервые в жизни оказавшись перед многоопытными законниками, в торжественной обстановке суда? Но все они ошиблись. Они поспешили в Туль полюбоваться ее испугом, смущением и неизбежным позором, однако ожидания их не оправдались. Она держалась скромно и спокойно и ничуть не смущалась. Она не попросила вызвать свидетелей и пожелала только задать вопросы свидетелям обвинения. Когда они дали свои показания, она доказала в немногих словах, как они сбивчивы и неубедительны, а потом снова потребовала Паладина

на свидетельское место и сама принялась его допрашивать. Ее искусно поставленные вопросы в пух и прах разбили его прежние показания. Явившись в суд во всеоружии лжи и клеветы, он предстал теперь в неприглядной наготе. Его адвокат начал было речь, но суд отказался выслушать его и отвел иск, добавив к своему решению несколько слов в похвалу Жанне, которую он назвал «диновинным ребенком».

После такой победы, да еще вдобавок похвалы ученых людей, изменчивая деревенская молва выразила Жанне полное одобрение, и насмешники оставили ее в покое. Мать раскрыла ей свои объятия, и даже отец смягчился и заявил, что гордится ею. Но она томилась ожиданием: Орлеан был осажден, над Францией все больше и больше сгущались тучи, а Голоса все еще приказывали ей ждать и не давали иных указаний. Наступила зима; время тянулось с ужасной медлительностью. Но вот наконец настала желанная перемена.

КНИГА ВТОРАЯ

ПРИ ДВОРЕ И НА ВОЙНЕ

Глава I

ЖАННА ПРОЩАЕТСЯ С РОДНОЙ ДЕРЕВНЕЙ

5 января 1429 года Жанна пришла ко мне со своим дядей Лаксаром и сказала:

— Час пробил. Теперь Голоса ясно говорят мне, что делать. Через два месяца я буду у дофина.

У нее был вдохновенный и воинственный вид. Ее воодушевление передалось и мне; я ощутил подъем, какой вызывает в нас дробь барабанов и мерный шаг полков.

— Я верю этому, — сказал я.

— И я также, — сказал Лаксар. — Скажи она мне раньше, что бог велел ей спасти Францию, я бы не поверил. Пусть бы сама шла к правителю, а я бы ни за что в это не вмешался и был бы уверен, что она рехнулась. Но я видел, как бесстрашно она стояла перед знатыми и важными людьми и как с ними говорила. Этого она не смогла бы без божьей помощи. Уж это-то я знаю! Так что теперь я ее смиренный слуга и буду во всем выполнять ее волю.

— Мой дядя очень добр ко мне, — сказала Жанна. — Я попросила его, чтобы он уговорил мать отпустить меня к ним, ходить за его больной женой. Она согласилась, и мы уйдем завтра на заре. А оттуда уже близко до Вокулёра, и я буду ходить туда, пока не добьюсь своего. Скажи, кто были те двое рыцарей, что сидели тогда слева от тебя за столом правителя?

— Одного зовут сьер Жан де Новелонпон де Мец, другого — сьер Бертран де Пуланжи.

— Славные воины оба! Я их обоих наметила себе в помощники. Но что ты так смотришь на меня? Ты сомневаешься?

Я приучил себя говорить ей правду без всяких прикрас и потому сказал:

— Они сочли тебя помешанной; они так и сказали. Правда, они тебя жалели за то, что тебя постигло такое несчастье, но все-таки они были уверены, что ты не в своем уме.

Это, по-видимому, нисколько не смутило и не обидело ее. Она сказала только:

— Мудрые люди начинают думать иначе, когда видят, что заблуждались. Так будет и с ними. Они пойдут за мной. Скоро я их увижу. Ты, кажется, опять сомневаешься?

— Нет. Но я вспомнил, что дело было год назад, а они нездешние и оказались здесь случайно, проездом.

— Они приедут опять. А теперь — к делу. Я пришла дать тебе кое-какие распоряжения. Через несколько дней ты последуешь за мной. Устрой свои дела — ты ведь уедешь надолго.

— А Жан и Пьер тоже поедут со мной?

— Нет, сейчас они отказались бы, но скоро поедут. И привезут мне благословение родителей и их согласие на мое предприятие. Это придаст мне сил, а без этого я слаба... — Она замолкла, и на глазах ее показались слезы; потом продолжала: — Я хочу проститься с Маленькой Менжеттой. Приведи ее утром к околице, пусть она немного проводит меня.

— А Ометта?

Тут она не выдержала и заплакала:

— Нет, не надо, — она слишком мне дорога. Я не в силах проститься с ней, зная, что мы больше не свидимся.

Наутро я привел с собой Менжетту, и мы все четверо зашагали по дороге, по утреннему холодку, пока деревня не осталась далеко позади. Тут подруги простились, и горько было смотреть, как они обнялись со

слезами и нежными уверениями. Жанна бросила долгий взгляд назад на деревню, на Волшебный Бук, на дубовую рощу, на цветущие луга и реку, словно старалась навсегда запечатлеть их в памяти, — ведь она знала, что ей не суждено больше их увидеть; потом она повернулась и пошла дальше, горько рыдая. Это было в день ее рождения, и моего также. В тот день ей исполнилось семнадцать лет.

Глава II

ПРАВИТЕЛЬ СНАРЯЖАЕТ ЖАННУ В ПУТЬ

Несколько дней спустя дядюшка Лаксар отправился с Жанной в Вокулёр и нашел ей там приют у некой Екатерины Руайе, жены колесника, доброй и порядочной женщины. Жанна прилежно ходила в церковь; она помогала Екатерине по хозяйству и тем платила за кров и стол. Если кто начинал с ней разговор о ее миссии, — а таких находилось немало, — она говорила о ней охотно и теперь уже ничего не скрывала. Вскоре и я поселился поблизости и увидел, что за этим последовало. По городу пошли слухи, что явилась девушка, посланная богом спасти Францию. Престой народ толпами шел взглянуть на нее и послушать ее; ее юная красота уже наполовину убеждала их, а глубокая серьезность и искренность довершали дело. Богатые держались в стороне и посмеивались, — но уж они всегда так.

Кому-то вспомнилось пророчество Мерлина, произнесенное более восьмисот лет назад, о том, что Франция будет погублена женщиной, но женщиной же будет и вновь спасена. Да, Франция была погублена женщиной — своей недостойной королевой, Изабеллой Баварской, — а эта невинная и прекрасная девушка несомненно послана небесами во исполнение второй части пророчества.

Это усилило интерес к Жанне; воодушевление нарастало, надежда и вера крепили в народе. Из Вокулёра

волны энтузиастов разливались по всей стране, по всем городам и селам, подбодряя упавших духом французов, точно живая вода. Люди стали приходить издалека, чтобы увидеть своими глазами и услышать своими ушами; увидев и услышав, они исполнялись веры. Город был переполнен, все постоянные дворы были набиты битком и все же не могли вместить и половины пришельцев. А народ все прибывал, несмотря на зимнюю пору. Кто помышляет о пище и крове, когда стремится утолить иной — духовный голод? Могучий прилив с каждым днем все нарастал. Жители Домреми, изумленные, потрясенные, спрашивали себя: «Неужели это диво столько лет жило среди нас, а мы, слепцы, ничего не видели?» Жана и Пьера провожали всей деревней, дивясь на них и завидуя им, точно важным господам и баловням судьбы; весь их путь до Вокулёра был триумфальным шествием, — люди сбегались поглядеть на братьев той, которая беседовала с ангелами, вручившими ей судьбу Франции.

Братья привезли Жанне благословение и напутствие родителей и их обещание вскоре приехать к ней. Окрыленная этой радостью, исполненная надежд, она снова явилась к Бодрикуру. Однако тот был по-прежнему несговорчив. Он отказался послать ее к королю. Она огорчилась, но не упала духом. Она сказала:

— Мне придется приходить к тебе, пока ты не дашь мне людей, ибо так мне велено, и я не смею ослушаться. Я должна дойти до дофина, хотя бы пришлось ползти всю дорогу на коленях.

Я и оба брата Жанны находились при ней постоянно. Мы принимали посетителей и выслушивали их; однажды, как она предсказывала, явился Жан де Мец. Он заговорил с Жанной весело и шутливо, как с ребенком, и спросил ее:

— Что ты здесь делаешь, дитя мое? Ну как, скоро прогонят из Франции короля и обратят нас всех в англичан?

Она ответила спокойно и серьезно:

— Я пришла просить Робера де Бодрикура отвезти или отослать меня к королю, но он не хочет меня слушать.

— Ты, однако, удивительно настойчива. Целый год ты упорствуешь в своем желании. Ведь я тебя видел, когда ты приходила в первый раз.

Жанна сказала все так же спокойно:

— Это не желание, это — цель. Он согласится. Я могу подождать.

— Не напрасно ли ты надеешься, дитя мое? Правители — народ упрямый. Что, если он не исполнит твоей просьбы?

— Исполнит. Должен исполнить. Иначе ему нельзя.

Шутливое настроение рыцаря стало исчезать. Это было видно по его лицу. Серьезность Жанны подействовала на него. Так бывало со всеми, кто заводил с ней шутливый разговор: они снова становились серьезными. Они открывали в ней глубины, о которых сперва и не подозревали. Ее явная искренность и непоколебимая убежденность смущали самых развязных насмешников. Сьер де Мец на минуту задумался, а потом спросил уже вполне серьезно:

— И скоро тебе нужно быть у короля?..

— Не позже середины поста, хотя бы мне пришлось добираться ползком.

Она сказала это с той сдержанной страстью, с какой говорят о самом близком сердцу; это подействовало на ее знатного собеседника. В глазах его блеснуло сочувствие. Он сказал убежденно:

— Видит бог, я хотел бы, чтобы тебе дали солдат и чтобы из этого что-нибудь вышло! А что ты станешь с ними делать? Что ты надеешься совершить?

— Освободить Францию. Мне это суждено свыше. Никто на свете, ни короли, ни герцоги и никто другой не может спасти французскую державу, — вся надежда на меня.

Слова ее звучали проникновенно и тронули славного рыцаря. Я это ясно видел. Жанна понизила голос и сказала:

— А мне самой больше хотелось бы сидеть за прялкой возле матери; не мое это призвание — война, но я должна исполнить волю моего повелителя.

— Кто он?

— Царь небесный.

Тогда сьер де Мец, по старому феодальному обычаю, опустился на колени, вложил свои руки в руки Жанны, в знак вассальной верности, и тут же поклялся, что с божьей помощью сам доставит ее к королю.

На следующий день приехал сьер Бертран де Пуланжи и также поклялся своей рыцарской честью следовать за ней всюду, куда бы она ни повела.

К вечеру того же дня по городу разнесся слух, что сам правитель намерен посетить молодую девушку в ее скромном жилище. На следующий день с угра улицы и переулки заполнились народом, который хотел поглядеть на это небывалое событие. И оно свершилось. Правитель приехал со всей своей свитой, и весть об этом разнеслась повсюду; она произвела заметное действие — заставила умолкнуть знатных насмешников и еще более возвысила Жанну в общем мнении.

Правитель решил, что Жанна либо колдунья, либо святая, и хотел выяснить, кто же именно. Он привез с собой священника, чтобы изгнать из нее беса, если бы таковой оказался. Священник прочел все положенные заклинания, но беса не оказалось. Он лишь оскорбил этим благочестие Жанны, ибо незадолго перед тем исповедовал ее и должен был бы знать, что бес не выносит исповедальни и всегда испускает там дикие вопли и проклятия.

Правитель удалился смущенный и задумчивый, не зная на что решиться. Пока он размышлял, прошло несколько дней и наступило 14 февраля. Жанна пришла в замок и сказала:

— Ты слишком долго мешкаешь, Робер де Бодрикур, и наносишь ущерб делу. Сегодня наши проиграли битву у Орлеана и понесут еще большие потери, если ты не пошлешь меня немедленно.

Тот изумился и спросил:

— *Сегодня*, ты говоришь? Как ты можешь знать, что там произошло сегодня? Вести идут оттуда не менее восьми или даже десяти дней.

— Это мне сказали мои Голоса, — значит, это правда. Сегодня было проиграно сражение, и ты в этом виноват — ты задерживаешь меня.

Правитель зашагал по комнате, бормоча что-то про себя и лишь время от времени ругаясь вслух; наконец он сказал:

— Вот что: иди с миром и жди. Если все окажется так, как ты сказала, я дам тебе письмо и пошлю к королю, но не прежде того.

Жанна сказала с жаром:

— Благодарение богу! Дни ожидания приходят к концу. Через десять дней ты дашь мне письмо.

Жители Вокулёра уже подарили ей коня и полное вооружение. Ей некогда было учиться ездить, ибо она прежде всего считала необходимым не отлучаться со своего поста и говорить со всеми, кто к ней приходил, укрепляя в них надежду и готовя себе помощников в предстоящем освобождении и возрождении родины. Это занимало все ее время. Но не беда. Не было на свете такого искусства, которому она не могла бы научиться, и притом в самый короткий срок. Ее коню предстояло убедиться в этом с первого же раза. Тем временем ее братья и я по очереди брали коня и обучались верховой езде. Кроме того, нас учили владеть мечом и другим оружием.

20 февраля Жанна собрала свой маленький отряд — обоих рыцарей, своих братьев и меня — на военный совет. Впрочем, советом его, пожалуй, не назовешь, — она не совещалась с нами, а просто отдала приказания. Она наметила путь, которым намеревалась ехать к королю, и притом так, словно обладала обширными познаниями в географии; она наметила, сколько проехать за день и как миновать наиболее опасные места, — а это показывает, что политическую географию она знала не хуже физической, хотя никогда ничему не училась. Я был удивлен, но подумал сначала, что ее наставляли Голоса. Однако это оказалось не так. Из ее упоминаний о разных людях, от которых она узнала то или другое, я понял, что она неутомимо расспрашивала своих многочисленных посетителей и набралась у них этих ценных сведений. Оба рыцаря не могли надивиться ее здравому смыслу и сметливости.

Она велела нам быть готовыми ехать ночью, а днем спать в укрытиях, ибо почти весь наш долгий путь пролегал по местности, занятой неприятелем.

Она приказала также хранить в тайне день нашего отъезда, так как хотела уехать незаметно. Иначе нам предстоят пышные проводы, о которых непременно узнает неприятель, и тогда на нас будет засада и нас возьмут в плен. В заключение она сказала:

— Теперь мне остается только сообщить вам день нашего отъезда, чтобы вы успели как следует подготовиться и ничего не оставляли до последней минуты. Мы выступим двадцать третьего в одиннадцать часов вечера.

С этим она нас отпустила. Оба рыцаря были крайне озадачены. Сьер Бертран сказал:

— Даже если правитель и даст ей письмо и охрану, он может не успеть это сделать к указанному ею сроку. Как же она решилась назначить этот срок? Это ведь большой риск — назначать точный срок, когда еще ничего не известно наверняка.

Я сказал:

— Раз она назначила двадцать третье, мы можем на нее положиться. Должно быть, ее оповестили Голоса. Нам остается повиноваться.

Так мы и сделали. Родителей Жанны мы просили прибыть до двадцать третьего, но из осторожности не сообщили, почему назначаем именно этот срок.

Весь день двадцать третьего она с надеждой подымала глаза на каждого входившего, но родители ее все не появлялись. Она не теряла надежды. Когда стемнело, она не могла уже дольше надеяться и заплакала, но тут же отерла слезы и сказала:

— Что ж делать, видно так уж мне суждено. Придется стерпеть и это.

Желая ее утешить, де Мец сказал:

— Ведь и правитель что-то не идет к тебе; родители твои могут еще приехать завтра...

Тут она перебила его и сказала:

— К чему мне это? Ведь мы едем сегодня в одиннадцать.

Так и оказалось. В десять часов явился правитель со стражей и факельщиками; он доставил ей конную охрану, а также лошадей и оружие для меня и ее братьев и вручил ей письмо к королю. Затем он снял с себя меч и сам опоясал им Жанну, говоря:

— Ты была права, дитя мое. В тот день мы действительно проиграли битву, как ты предсказала. И вот я сдержал свое слово. Поезжай, и будь что будет.

Жанна поблагодарила его, и он вернулся к себе.

Проигранная битва, о которой она говорила, известна в истории под названием Селедочной битвы.

Все огни в доме тотчас погасили, и немного погодя, когда на улицах стало темно и тихо, мы крадучись выехали из города через западные ворота, а там поскакали во весь опор, подгоняя коней шпорами и хлыстами.

Глава III

ПАЛАДИН КРЯХТИТ, НО ХВАСТАЕТ

Нас было двадцать пять хорошо вооруженных всадников. Мы ехали по двое; Жанна с братьями — в середине колонны, Жан де Мец — в голове, а сьер Бертран — в хвосте. Рыцари разместились таким образом, чтобы предупредить бегство кого-либо из солдат, возможное в начале пути. Через два-три часа мы должны были оказаться на вражеской земле, и там уж никто не решился бы дезертировать. Скоро в нашей колонне послышались вздохи, стоны и проклятия. Мы обнаружили, что шестеро из наших воинов были деревенскими парнями, которые впервые сели на лошадь и теперь с трудом держались в седле, испытывая жестокие страдания. Правитель включил их в отряд в последний момент, для ровного счета, и поместил рядом с каждым опытного солдата, чтобы придерживать новичка в седле, а при попытке бегства — убивать на месте.

Несчастные терпели, пока были в силах, но боль стала столь невыносима, что они больше не могли

сдерживать стонов. Мы уже ехали по неприятельской земле, так что у них не было выхода, и они поневоле должны были ехать дальше, хотя Жанна сказала, что они могут вернуться, если не боятся попасться врагу. Они предпочли остаться с нами. Теперь мы ехали медленно и осторожно, и новичкам было приказано сносить свои муки молча и не подвергать нас всех опасности своими стонами и воплями.

На рассвете мы углубились в лесную чащу, и скоро все, кроме часовых, уснуло мертвым сном, не чувствуя, что спят на холодной земле.

В полдень я пробудился от крепкого сна и сперва не мог сообразить, где я и что со мной происходит. Потом в голове у меня прояснилось, и я все вспомнил. Перебирая в памяти необычайные события последних двух месяцев, я с удивлением обнаружил, что одно из пророчеств Жанны так и не исполнилось: где же Ноэль и Паладин, которые должны были присоединиться к нам в последний час? Как видите, я успел привыкнуть к тому, чтобы каждое слово Жанны сбывалось. Смущенный этими мыслями, я открыл глаза — и что же: рядом со мной, прислонясь к дереву, стоял Паладин и глядел на меня сверху вниз. Так бывает часто: стоишь подумать или заговорить о ком-нибудь, и он уж тут как тут, — а вы и не подозревали, что он так близко. Похоже, что именно его приближение заставляет вас подумать о нем, а вовсе не случайность, как полагают. Как бы то ни было, Паладин стоял возле меня, ожидая моего пробуждения. Я очень ему обрадовался, вскочил и пожал ему руку, а потом отвел в сторону — он сильно хромал, — предложил сесть и спросил:

— Откуда ты? Как ты здесь очутился? И почему в солдатской одежде? Рассказывай все по порядку.

Он ответил:

— Я ехал с вами всю ночь.

— Да что ты! — А про себя я подумал: половина пророчества все-таки сбылась!

— Да. Я спешил из Домреми, чтобы присоединиться к вам, и чуть не опоздал. То есть я опоздал, но я так просил правителя, что его тронула моя любовь

к родине, — он так и сказал, — и он позволил мне ехать.

«Врет, — подумал я, — это, как видно, один из шестерых, которых правитель в последний момент завербовал силой. Недаром Жанна говорила, что он присоединится к нам в последний час, но не по своей охоте». Вслух же я сказал:

— Очень рад, что ты с нами. Это святое дело, и сидеть дома в такое время стыдно.

— Сидеть дома? Удержать меня дома было так же невозможно, как удержать молнию в грозовой туче.

— Хорошо сказано и похоже на тебя.

Это ему понравилось.

— Я рад, что ты меня понимаешь. Не то что другие. Но дай срок — узнают и они!

— Я тоже так думаю. В опасном деле ты всегда сумеешь себя показать.

Он пришел в восторг и раздулся, как бычий пузырь. Он сказал:

— Насколько я себя знаю, — а уж, кажется, я себя знаю! — я в этой кампании еще не раз оправдаю твои слова.

— Надо быть дураком, чтобы в этом сомневаться. Уж я-то знаю.

— Конечно, простому солдату трудно отличиться, но страна услышит обо мне. А будь я там, где мне подобает, — скажем, на месте Ла Гира, или Сентрайля, или Дюнуа... Но я лучше промолчу, — я, слава богу, не из хвастунов, вроде Ноэля Рэнгессона. А ведь это и впрямь было бы новым и неслыханным делом: чтобы простой солдат прославился больше их и затмил их имена.

— А знаешь, приятель, — сказал я, — ведь ты попал на замечательную мысль! Понимаешь ли ты, до чего она гениальна? Стать прославленным генералом — ну что тут такого? Ровно ничего! Их в истории и без того пропасть; так много, что всех и не упомнить. А прославленный рядовой — вот это действительно редкость! Он будет вроде луны среди мелких звезд; слава его будет долговечнее, чем род людской. Скажи, друг, кто подал тебе эту великую мысль?

Он расплылся от удовольствия, но изо всех сил старался не показать этого. Он отмахнулся от похвалы и небрежно сказал:

— Пустяки! У меня частенько бывают мысли и еще получше. В этой, по-моему, нет ничего особенного.

— Признаюсь, ты меня удивил. Неужели ты действительно сам додумался?

— А то кто же? У меня их тут сколько угодно. — Он постучал пальцем по лбу и при этом сдвинул шлем на правое ухо, отчего вид у него сделался крайне самодовольный. — Мне их не занимать стать. Я ведь не Ноэль Рэнгессон.

— Кстати о Ноэле, — ты давно его видел?

— С полчаса. Вон он — спит как убитый. Он тоже ехал с нами ночью.

Сердце мое радостно дрогнуло. «Теперь можно быть спокойным, — подумал я, — и никогда больше не сомневаться в ней». А вслух я сказал:

— Рад это слышать. Я горжусь нашей деревней. Вижу, что наших храбрецов не удержишь дома в такое время.

— Это он-то храбрец? Эта няня? Он умолял, чтобы его не брали. Он плакал и просился к маменьке. Это он-то храбрец? Этот навозный жук?

— А я думал, что он пошел добровольно! Неужели нет?

— Так же добровольно, как осужденный идет на казнь. Когда он узнал, что я иду из Домреми добровольцем, он попросился со мной, под моей охраной, — поглядеть на народ и на сборы. А едва мы пришли в город, как показалось факельное шествие и правитель велел его схватить — его и еще четверых. Он давай отбиваться! Тут я и попросился на его место. Правитель согласился меня взять, но и Ноэля тоже не отпустил — так он был разозлен его хныканьем. Много от него будет проку на королевской службе! Есть будет за шестерых, а удирать — за целых шестнадцать! Терпеть не могу таких: труслив, как заяц, а прожорлив, как волк!

— Ты меня удивил и очень огорчил. Я всегда считал его храбрым малым.

Паладин бросил на меня оскорбленный взгляд и сказал:

— Не пойму, откуда у тебя такое мнение о нем. Я ведь говорю не из неприязни: у меня к нему никакой неприязни нет. Я вообще не позволяю себе относиться к кому-либо с пристрастием. Я с ним дружу с детства; но имею же я право открыто говорить о его недостатках, как и он — о моих, если они есть? Да, вероятно, они есть и у меня, но терпимые, так мне кажется. Хорош храбрец! Послушал бы ты, как он ночью охал, стонал и чертыхался: седло, видите ли, натирало. А почему мне не натерло? Я сразу с этим делом так освоился, точно родился в седле. А ведь я тоже только вчера впервые сел на коня. Все старые солдаты удивились: мы, говорят, ничего подобного не видали. А он? Да его пришлось держать всю дорогу!

Потянуло запахом съестного, — это готовили завтрак. Паладин невольно раздул ноздри, жадно принюхался и, прихрамывая, зашагал прочь, сказав, что ему надо присмотреть за конем.

В сущности, он был славный и добрый малый: не так уж страшна собака, которая лает, — лишь бы не кусала; и не так плох осел, если он только ревет, не не лягается. Эта махина мускулов, мяса, тщеславия и глупости любила порочить других — ну так что ж? Он делал это не по злобе, да и не его надо было в том винить. Не кто иной, как Ноэль Рэнгессон, ради забавы взлелеял, развил и усилил в нем эти наклонности. Беззаботному весельчаку надо было кого-нибудь вышучивать и поддразнивать. Паладин подходил для этого как нельзя лучше, стоило лишь заняться его развитием, — вот Ноэль и занялся им с величайшим усердием, в ущерб другим, более важным делам, донимая его, как комар — быка. Результат оказался поразительным. Ноэль ценил общество Паладина, а Паладин предпочитал Ноэля любому обществу. Великана и пигмея часто видели вместе, — но ведь и комар неразлучен с быком.

При первом же случае я заговорил с Ноэлем. Я приветствовал его как бойца нашего отряда и сказал:

— Молодец, что попал к нам добровольцем.

Глаза его лукаво сверкнули, и он ответил:

— Что молодец — это верно. Но заслуга здесь не только моя. Мне помогли.

— Кто?

— Правитель Вокулёра.

— Как так?

— Сейчас расскажу. Я пришел из Домреми поглядеть, какие собрались толпы и как это все будет; мне ведь еще не случалось видеть ничего подобного — не упускать же такой случай! Но у меня и в мыслях не было идти в отряд. По дороге я нагнал Паладина и дальше пошел с ним, хотя он этого и не хотел и даже прямо мне заявил, что не хочет. А когда мы остановились поглазеть на факельное шествие, тут-то нас и схватили и присоединили к отряду. Вот как вышло, что я пошел добровольцем. Но я не жалею — уж очень скучно было бы в деревне без Паладина.

— А он? По-твоему, он доволен?

— Мне думается, что и он доволен.

— Почему?

— Потому что он говорит, что недоволен. Он, понимаешь ли, был застигнут врасплох, а он вряд ли способен сказать правду без подготовки. Да, пожалуй, не скажет и с подготовкой. В этом его не обвинишь. Если дать ему подготовиться, он тоже скорее что-нибудь выдумает, чем скажет правду, потому что успеет на досуге поразмыслить, что не время менять курс. Вот я и думаю, что он доволен, раз он говорит обратное.

— Итак, значит, он доволен?

— Да, очень. Он молил о пощаде, ревел в голос и просился к маме. Говорил, что слаб здоровьем, что не умеет ездить верхом, что наверняка не выдержит первого же перехода. С виду он, однако, не слаб. Там стояла бочка с вином, которую впору поднять четверым. Правитель рассердился и так выругался, что пыль поднялась столбом, а потом велел ему взвалить бочку на плечи, — не то, говорит, нарубим из тебя котлет и отошлем домой в корзине. — Что поделаешь,

Паладин поднял бочку, — и тут уж его без всяких разговоров зачислили в отряд.

— Да, выходит, что он был рад идти на войну; то есть в том случае, если верно твое исходное рассуждение. А как он перенес вчерашнюю езду?

— Вроде меня. Пожалуй, он сильнее охал, — так ведь он и сам сильнее. Мы усидели в седле только потому, что нас держали. Сегодня мы оба хромаем. Если он садится — его дело, а я лучше постою.

Глава IV

ЖАННА ПРОВОДИТ НАС В ТЫЛ ПРОТИВНИКА

Нас позвали к нашему командиру, и Жанна произвела нам тщательный смотр. Затем она произнесла краткую речь о том, что даже грубый ратный труд лучше спорится без божбы и сквернословия, и велела нам помнить и соблюдать эти указания. Потом она поручила одному из ветеранов провести получасовое конное учение для новобранцев. Это было пресмешное зрелище, но кое-чему мы все же научились, и Жанна осталась довольна и похвалила нас. Сама она не участвовала в учении, а просто смотрела на нас, сидя на коне, точно прелестная статуэтка, олицетворяющая войну. Ей было достаточно и этого. Она запоминала урок от начала до конца и потом ездила так уверенно и смело, словно давно уже овладела искусством верховой езды.

Три ночи подряд мы делали переходы по двенадцать — тринадцать лье, и никто нам не препятствовал, принимая за одну из бродячих вольных шаек. Крестьяне только радовались, когда подобный народ проезжал не задерживаясь. Но это были очень тяжелые и утомительные переходы: мостов было мало, а рек много, и нам приходилось переправляться вброд в ледяной воде, а потом, в мокрой одежде, ложиться спать на снег или промерзшую землю, согреваясь собственным теплом, потому что разводить костры было опасно.

Эти лишения и смертельная усталость сказывались на всех, кроме Жанны. Она одна ступала все так же твердо и глядела так же бодро. Мы могли только удивляться ей, но объяснения не находили.

Если первые ночи были тяжелы, то следующие пять были еще хуже: те же мучительные переходы, те же ледяные купанья, и вдобавок еще семь засад и стычек с врагом, в которых мы потеряли двух новобранцев и трех ветеранов. Весть о вдохновенной Деве из Вокулёра, едущей к королю с отрядом, каким-то образом распространилась, и нас стали выслеживать. За эти пять ночей мы сильно упали духом. А тут еще Ноэль сделал открытие, которое он тотчас же сообщил начальству. Некоторые из солдат никак не могли понять: почему Жанна сохраняет бодрость и мужество, когда самые сильные из нас измучены холодом и длинными переходами и стали угрюмы и раздражительны? Это показывает, как мало люди замечают то, что у них перед глазами. Всю свою жизнь эти мужчины видели, как их жены вместе с волом впрягаются в плуг и тащат его, а мужьям остается только погонять. Видели они и другие доказательства того, что женщина куда выносливее, терпеливее и сильнее духом. А что толку? Это ничему их не научило. Они продолжали недоумевать, почему семнадцатилетняя девушка переносит тяготы похода лучше опытных солдат. Не понимали они и того, что высокий дух, стремящийся к великой цели, может придать силу слабому телу; а ведь перед ними была величайшая из человеческих душ! Но откуда было знать этим неразумным созданиям? Они ничего не понимали, и их рассуждения лишь выдавали их невежество. Ноэль слышал, как они судили и рядили и наконец решили, что Жанна колдунья, а вся ее сила и смелость от дьявола; и они задумали убить ее.

Такой заговор в походе был делом нешуточным, и рыцари попросили у Жанны позволения повесить заговорщиков, но она не позволила. Она сказала:

— Ни один из этих людей, да и никто другой не может убить меня, пока я не выполню свою миссию;

так зачем же мне брать грех на душу? Я сейчас скажу им об этом и вразумлю их. Позовите их ко мне.

Когда они явились, она повторила им это так уверенно и деловито, точно и мысли не допускала, что кто-нибудь может усомниться в ее словах. Ее уверенность явно поразила их; смелые прорицания всегда действуют на суеверные умы. Да, речь ее произвела сильное впечатление, и больше всего — последние слова. Они были обращены к вожаку заговорщиков, которому Жанна сказала печально:

— Ты желал мне смерти, а ведь у тебя самого смерть за плечами.

В ту же ночь, на переправе, лошадь заговорщика упала и придавила его, и он захлебнулся, прежде чем мы успели прийти ему на помощь. После этого у нас не было больше заговоров.

Всю ночь мы попадали из одной засады в другую, но дело обошлось без потерь. Еще одна ночь, и, если нам посчастливится, мы будем среди своих; и мы с нетерпением ждали ночи. Раньше мы всегда неохотно выезжали в холод и тьму, в ожидании ледяного брода и очередной засады; но на этот раз нам не терпелось поскорее выступить и поскорее добраться до цели, хотя ночь обещала быть труднее, чем все предыдущие. К тому же примерно через три дня нам предстояло переходить глубокую реку по ненадежному деревянному мосту, а весь тот день шел дождь вперемежку со снегом, и мы могли оказаться в ловушке: если поток вздулся и мост снесен, путь нам будет отрезан.

Едва стемнело, мы выехали из леса, где укрывались днем, и двинулись в путь. С того времени, как нам стали встречаться вражеские засады, Жанна всегда ехала во главе колонны. Так было и на этот раз. Мокрый снег превратился в колючие льдинки, которые больно хлестали в лицо. Я завидовал Жанне и рыцарям, которые могли опустить забрала и спрятать лица. Вдруг рядом, из непроглядной тьмы, раздался резкий окрик: «Стой!»

Мы повиновались. Я смутно различил впереди темную массу, — это мог быть конный отряд. От него отделился человек и с упреком обратился к Жанне:

— Вы, однако, не торопитесь! Ну, что же вы узнали? Где она — все еще позади нас или впереди?

Жанна ответила ровным тоном:

— Она все еще позади.

Эти вести смягчили незнакомца. Он сказал:

— Если это верно, то вы не потеряли времени, капитан. Но верно ли? Как вам удалось узнать?

— Я сам ее видел.

— Как? Сами видели Деву?

— Да, я побывал в ее лагере.

— Подумать только! Тогда простите мне мою резкость, капитан Раймон. Вы совершили отважный поступок. Где же она?

— В лесу, не дальше одного лье отсюда.

— Отлично! Я боялся оказаться позади нее, но раз мы впереди — дело верное! Она от нас не уйдет. Мы ее повесим. Вы сами ее повесите, вы заслужили это: расправиться с дьявольским отродьем...

— Не знаю, как благодарить вас. Если мы ее поймем, я...

— Зачем говорить «если»? Можете в этом не сомневаться. Мне бы только взглянуть на нее — посмотреть, что это за чертовка, которая наделала столько шума, а там — вешайте!.. Много ли с нею солдат?

— Я насчитал всего восемнадцать, но, может быть, у нее были еще пикеты.

— Только-то? Да мы с ними мигом расправимся. А верно ли, что это молоденькая девчонка?

— Да, ей не больше семнадцати лет.

— Невероятно! А какая она с виду — плотная или худенькая?

— Худенькая.

Офицер подумал, а потом спросил:

— Она не собиралась сниматься с лагеря?

— Когда я ее видел — нет.

— А что она делала?

— Беседовала с одним из офицеров.

— Беседовала — или отдавала приказания?

— Нет, беседовала, вот как мы с вами.

— Это хорошо. Значит, она воображает себя в безопасности. Иначе она бы металась и суетилась. Это уж

всегда так с женщинами, когда они чувствуют опасность. Ну а раз она не собиралась сниматься с лагеря...

— Когда я ее видел — отнюдь не собиралась.

— ...раз она спокойно болтала, значит погодка ей не по вкусу. Куда семнадцатилетней девчонке ночью в такую метель! Ну и пусть там остается. Нам это на руку. Мы сейчас и сами расположимся на стоянку... Почему бы не здесь? Распорядитесь!

— Как прикажете. Но при ней два рыцаря. Как бы они не уговорили ее выступить, особенно если погода улучшится.

Я дрожал от страха и желал одного — уйти поскорей: меня пугало, что Жанна, словно нарочно, затягивала беседу, а между тем опасность возрастала. Но ей, конечно, виднее, думал я. Офицер сказал:

— Что ж, тогда мы здесь загораживаем ей дорогу.

— Да, если они поедут этой дорогой. А если они выплут разведчиков и кое-что узнают, они захотят пробраться к мосту лесом. Не лучше ли разрушить мост?

Я слушал ее в ужасе.

Офицер задумался, а потом сказал:

— Пожалуй, и в самом деле надо отрядить кого-нибудь к мосту. Я думал стать там со всем отрядом, но теперь это не нужно.

Жанна сказала спокойно:

— Позвольте мне разрушить мост.

Тут я понял ее замысел и порадовался ее находчивости и хладнокровию в трудную минуту. Офицер ответил:

— Позволяю, капитан, и благодарю вас. Раз вы за это беретесь, значит все будет сделано отлично. Лучше вас мне никого не найти.

Они отдали нам честь, и мы двинулись вперед. Я вздохнул свободнее. Мне много раз чудился топот коней настоящего капитана Раймона и его отряда, который ежеминутно мог нас нагнать, и все время, пока длился этот разговор, я сидел в седле как на иголках. Итак, я вздохнул свободнее, но еще не вполне успокоился; Жанна просто скомандовала «Вперед!» — и мы поехали шагом, — шагом мимо смутно различимой, но

нескончаемой вражеской колонны! Напряжение было мучительным, хотя длилось недолго: как только в отряде противника протрубили сигнал «Спешиться!», Жанна приказала перейти на рысь, и на душе стало легче. Как видите, она знала, что делала. Если бы мы проскакали мимо противника прежде, чем ему скомандовали «Спешиться!», у нас могли бы спросить пароль; а сейчас каждый думал, что мы торопимся занять отведенное нам место в лагере, и никто нас не окликнул. Чем дальше мы ехали, тем внушительнее представлялись силы противника. Возможно, что там было всего сотни две солдат, но мне казалось, что их тысяча. Когда мы миновали последних, я благодарил судьбу, — и чем дальше мы отъезжали, тем больше. Весь следующий час я постепенно приходил в себя, а когда оказалось, что мост цел, у меня совсем отлегло от сердца. Мы переправились и немедленно разрушили его, и тут уж... Но что я почувствовал тут, описать невозможно. Это надо было испытать самому.

Мы ждали погони, думая, что настоящий капитан Гаймон вернется и подаст мысль, что отряд, который приняли за его, мог быть отрядом Девы из Вокулёра; но он, должно быть, сильно задержался, и когда мы переправились через реку, позади нас слышался только шум бури.

Я сказал, что Жанна собрала всю жатву похвал, предназначенных капитану Раймону, а на его долю оставила одно колющее жнивье упреков, на которые, конечно, не поскупится раздраженный начальник.

Жанна ответила:

— Так оно, наверное, и будет. Хорош и его начальник! Пропускает ночью отряд, не спрашивает пароль и даже не догадывается разрушить мост, пока его не надоумили. А кто сам провинился, тот строже спрашивает с других.

Сьера Бертрана немало позабавило, что Жанна считала свой совет ценным подарком противнику, который иначе совершил бы важное упущение по службе. Он восхищался также и тем, как искусно она обманула офицера, не произнеся при этом ни одного слова неправды. Это встревожило Жанну, и она сказала:

— Мне казалось, что он сам себя обманывает. Я старалась не лгать, — это было бы дурно; но раз моя правда послужила обману, то это все-таки была ложь, а значит — грех. Хоть бы господь просветил меня, хорошо ли я поступила?

Ее стали уверять, что она поступила правильно и что на войне всегда дозволены хитрости, если этим можно повредить противнику; но это ее не вполне убедило; она считала, что даже в правом деле надо прежде испытывать правые пути.

Жан напомнил ей:

— Ведь сказала же ты нам, что поживешь у дяди Лаксара, чтобы ходить за его женой, но не сказала, что пойдешь дальше, а сама пошла, до самого Вокулёра. Вот видишь!

— Да, вижу, — сказала Жанна печально. — Я словно бы и не солгала, а все-таки обманула вас. Правда, я сперва испробовала все другие средства, но не смогла уйти, а ведь мне *непрерывно* надо было уйти из дому. Это было нужно для моего дела. И все же я поступила дурно и сознаю свою вину.

Она умолкла, размышляя, а потом добавила решительно и спокойно:

— Но ведь дело-то правое, и если б понадобилось, я опять поступила бы так же.

Это показалось нам что-то уж чересчур большой тонкостью, но мы ничего не сказали. Если б мы знали ее так, как она знала себя и как она показала себя в дальнейшем, мы поняли бы, что она хотела сказать и насколько она возвышалась над нами. Она готова была пожертвовать собой — и именно самым *лучшим* в себе, своей правдивостью — ради своего дела, но только ради него: *своей жизни* она не стала бы покупать ценой лжи; а наша военная этика допускала обман ради спасения собственной жизни и ради любого, пусть даже малейшего, преимущества над противником. Слова ее показались нам тогда незначущими, и суть их ускользнула от нас; сейчас мы знаем, что в них выражался нравственный принцип, делавший их высокими и прекрасными.

Ветер стих, метель прекратилась, и в воздухе потеплело. Дорога превратилась в болото, и лошади едва продвигались по ней шагом. Время тянулось медленно, и усталость так одолевала нас, что мы засыпали в седле. Даже сознание опасности, подстерегавшей нас со всех сторон, не могло разогнать нашу дремоту.

Эта ночь, десятая по счету, показалась нам длиннее других и действительно была самой трудной, — мы все время накапливали усталость, и теперь она достигла предела. Но больше нас никто не потревожил. Когда занялось утро, мы увидели впереди реку, — и узнали Луару; мы въехали в город Жиен и были теперь среди своих, миновав территорию противника. Это было для нас счастливое утро.

Все мы были измучены и забрызганы грязью; Жанна, как всегда, была бодрее всех и телом и духом. В среднем мы проезжали за ночь по тринадцать лье по скверным дорогам. Это был замечательный поход; он показывает, на что способны люди, когда их ведет вождь с ясной целью и непоколебимой твердостью духа.

Глава V

МЫ ПРОРЫВАЕМСЯ ЧЕРЕЗ ПОСЛЕДНЮЮ ЗАСАДУ

В Жиене мы отдохнули часа два-три; за это время все успели прослышать о прибытии Девы, которой суждено освободить Францию. Столько народу устремилось поглядеть на нее, что мы предпочли поискать более спокойного убежища и проехали дальше, до маленькой деревушки Фьербуа.

Теперь всего шесть лье отделяли нас от короля, который жил в замке Шинон. Жанна продиктовала мне письмо к нему. В нем говорилось, что она проехала сто пятьдесят лье, чтобы привезти ему хорошие вести, и просит дозволения сообщить их лично. Она добавила, что никогда не видела его, но узнает его в любом одеянии.

Оба рыцаря тотчас отправились с этим письмом к королю. Наш отряд проспал до вечера и после ужина

был снова свеж и весел, особенно мы — молодежь из Домреми. Нам отвели общий зал в таверне; впервые за эти томительные десять дней мы отдыхали от страхов, лишений и тягот похода. Паладин снова был таким, как всегда, и расхаживал по комнате, являя собой воплощение самодовольства. Ноэль Рэнгессон сказал:

— Как он нас всех выручил, это удивительно!

— Кто? — спросил Жан.

— Ну кто же, как не Паладин!

Паладин сделал вид, что не слышит.

— Он-то тут при чем? — спросил Пьер д'Арк.

— Как — при чем? Только вера в его рассудительность помогла Жанне сохранить бодрость. По части храбрости она могла рассчитывать на нас и на себя, но осмотрительность — это все-таки главное на войне, это редчайшее и драгоценнейшее из всех качеств; а у нашего Паладина ее больше, чем у любого француза, — да что там — на шестьдесят человек хватит!

— Опять ты валяешь дурака, Ноэль Рэнгессон! — сказал Паладин. — Ты бы лучше обмотал свой длинный язык вокруг шеи да заткнул конец себе за ухо, а не то, гляди, наживешь беды!

— Вот уж не знал, что он так осмотрителен, — сказал Пьер. — Осмотрительность — ведь это разум, а я что-то не замечал, чтобы он был умнее нас.

— Ошибаешься. Осмотрительность не имеет ничего общего с умом. Ум тут даже мешает, тут надо чувствовать, а не рассуждать. Чем человек осмотрительнее, тем меньше у него мозгов. Это качество целиком относится к области чувства. Откуда это видно? А вот, например: разум видит опасность там, где она действительно налицо...

— Ну, пошел молоть, идиот! — пробормотал Паладин.

— А осмотрительный человек полагается на чутье. Он может хватить куда дальше, он может увидеть опасность, где ее и не бывало... Помните, как однажды в тумане Паладин принял уши своего коня за вражеские пики, соскочил с него и влез на дерево?

— Это ложь! Ложь от начала до конца! Неужели вы станете верить злобным измышлениям клеветника?

Он уже много лет меня пророчит, а скоро доберется и до вас, вот увидите! Я слез, чтобы затянуть подпруги, — только и всего. Пускай я умру на месте, если лгу! Хотите — верьте, хотите — нет.

— Вот он всегда так: не может ничего обсуждать спокойно, непременно вспылит и наговорит грубостей. И какая, заметьте, короткая память! Помнит, что слез с коня, а остальное все забыл, даже про дерево. Впрочем, оно понятно. Он запомнил, как слезал с коня, потому что уж очень часто это проделывает — при каждой тревоге, стоит ему услышать бряцание оружия.

— А в тот раз почему? — спросил Жан.

— Не знаю. Он говорит: чтобы затянуть подпруги, а я говорю: чтобы влезть на дерево. Однажды он это проделал девять раз за ночь, я сам видел.

— Ничего ты не видел! Ну как можно верить этому лгуну? Отвечайте! Верите вы этому змею?

Все смутились, ответил только Пьер; он нерешительно произнес:

— Не знаю, право, как тебе сказать. Я в большом затруднении. Не хочется его обижать, раз он говорит так уверенно. И все-таки я вынужден сказать, что не совсем ему верю: не мог ты влезать на дерево девять раз.

— Ага! — вскричал Паладин. — Что ты на это скажешь, Ноэль Рангессон? Сколько же раз я, по-твоему, влезал, Пьер?

— Только восемь.

Все захохотали, а Паладин пришел в бешенство:

— Ну подождите же, подождите! Придет время, я со всеми разочтусь!

— Не раздражайте его! — взмолился Ноэль. — Если его раздражить — это сущий лев! Мне это довелось видеть после нашей третьей стычки с неприятелем. Как только все кончилось, он выскочил из кустов и один на один пошел на мертвеца.

— Опять ложь! Предупреждаю тебя честью, что это уж чересчур. Гляди, как бы я не пошел на живого!

— То есть на меня? Вот это обиднее слышать, чем любую ругань. Вместо благодарности...

— Благодарности? Чем я тебе обязан, хотел бы я знать?

— Ты мне обязан жизнью. Ведь это я всякий раз стоял под деревом и отражал сотни и тысячи врагов, которые жаждали твоей крови. И не для того, чтобы показать свою удачу, а только потому, что люблю тебя и жить без тебя не могу.

— Хватит! Довольно мне выслушивать эти гнусности! Я лучше стерплю твоё вранье, чем твою любовь. Прибереги её для кого-нибудь, кто совсем уж неразборчив. А я вот что скажу напоследок: это ведь я ради вас, чтобы вам досталось больше славы, старался совершать свои подвиги незаметно. Я всегда бросался вперед, в самую гущу боя, подальше от вас, чтобы вы не видели, что такое настоящее геройство и как вам до него далеко. Я хотел скрыть это от всех, но вы сами вынуждаете меня открыться. Хотите свидетелей? Они лежат вдоль всего нашего пути. Дорога утопала в грязи — я вымостил её трупами. Местность была бесплодна — я удобрил её вражеской кровью. Не раз меня отводили в тыл, — иначе я столько бы нагромоздил трупов, что не проехать. А ты говоришь, негодяй, что я забираюсь на деревья! Э, да что там!

И он удалился с видом героя: рассказ о мнимых подвигах утешил его и привел в хорошее расположение духа.

На другой день мы двинулись в Шинон. Орлеан, сдавленный английскими тисками, остался у нас в тылу и совсем близко. Скоро с божьей помощью мы надеялись повернуть и идти ему на выручку. Из Жиена в Орлеан уже долетела весть, что идет Дева из Вокулёра, которой поручено богами снять осаду. Это вселило в осажденных радость и надежду — впервые за пять месяцев. К королю поскакали гонцы с просьбой не отвергать её помощь. К этому времени гонцы уже достигли Шинона.

На полпути к Шинону мы еще раз натолкнулись на неприятельский отряд. Он внезапно выскочил из леса и оказался довольно многочисленным. Но теперь мы уже не были новичками, как десять дней назад, и были подготовлены к подобным случайностям. Сердце

у нас уже не замирало, и оружие не дрожало в руках. Мы привыкли постоянно быть настороже и были готовы к любой неожиданности. Появление врага смутило нас не больше, чем нашего командира. Не успел враг построиться, как Жанна скомандовала: «Вперед!» — и мы ринулись на него. Они не могли устоять перед таким натиском. Они повернули и побежали, а мы рубили их, точно соломенные чучела. Это была последняя засада, скорее всего устроенная подлым изменником — королевским министром и фаворитом де Ла Тремуйлем.

Мы остановились на постоялом дворе, и скоро весь город сбежался посмотреть на Деву.

Ох, уж этот король и эти придворные!

Наши славные рыцари вернулись от него, потеряв терпение, и доложили Жанне. При этом и они и мы почтительно стояли, как подобает в присутствии царственных особ и тех, кто вознесен еще выше. Жанна еще не привыкла к таким почестям, — хотя мы неизменно оказывали их ей с того дня, как она предсказала смерть изменнику и он тогда же утонул, — почести смущали ее, и она велела нам сесть. Сьер де Мец сказал Жанне:

— Письмо мы передали, но к королю нас не допускают.

— Кто же так распорядился?

— Никто; но трое или четверо ближайших к нему людей — все интриганы и изменники — всячески мешают нам и под всевозможными лживыми предложениями стараются затянуть дело. Главные из них — Жорж де Ла Тремуиль и хитрая лисица архиепископ Реймский. Пока им удастся отвлекать короля от дела праздными забавами, их власть все больше укрепляется; но если он вырвется из-под опеки и пойдет биться с врагами за свой престол и королевство, как подобало бы мужчине, — тогда конец их власти! Им бы только самим благоденствовать, что им до гибели короля и королевства!

— Говорили вы с кем-нибудь, кроме них?

— Только не при дворе, — при дворе все покорны этим мерзавцам, глядят им в рот, действуют по их

указке, думают и говорят, как они. Поэтому там все холодны к нам и спешат отойти, когда мы подходим. Но мы беседовали с гонцами из Орлеана. Те говорят с досадой: «Диву даешься, как это король в его отчаянном положении может бездействовать, — видеть, как все гибнет, и не пошевелить пальцем, чтобы отвести от себя гибель! Удивительно, право! Сидит, как крыса в западне, в самом дальнем углу своих владений. Вместо резиденции — полуразвалившийся замок, настоящий склеп: поломанная мебель, изъеденные ковры, полное запустение. В казне у него сорок франков, — ей-богу, ни гроша больше! Армии у него нет, никакого даже подобия! И при такой-то нищете этот голодранец без короны и вся ватага его шутов и любимцев разряжены в шелка и бархаты, каких не увидишь ни при одном европейском дворе. Ведь он знает, что с падением нашего города, — а он падет неминуемо, если не подоспеет помощь, — падет и вся Франция, и в тот же день он станет бесправным изгнанником, а английский флаг взовется над всеми его наследственными землями. Он знает все это; он знает, что наш верный город сражается один, без всякой помощи, борется и с врагом, и с голодом, и с мором, чтобы отвратить гибель от страны, — знает и ничего не хочет сделать, не слушает наших молений, не хочет даже видеть нас». Вот что сказали нам посланцы Орлеана; они в отчаянии.

Жанна сказала кратко:

— Мне жаль их, но пусть не отчаиваются. Скоро дофин примет их и выслушает. Передайте им это.

Она почти всегда называла короля дофином. По ее понятиям, он не был еще королем, раз не был коронован.

— Это мы им передадим, и это их обрадует: они верят, что ты посланница неба. А архиепископ и его сообщники находят поддержку у старого Рауля де Гокура, шталмейстера. Он человек честный, но недалекий; всего лишь солдат. Он не может постичь, как крестьянская девушка, несведущая в военном деле, может взять меч в свои слабые руки и побеждать там, где самые опытные полководцы Франции вот уж пятьдесят лет ожидают одних только поражений, — а по-

тому и терпят их. Он крутит свой седой ус и посмеивается.

— Когда сражается сам господь, не все ли равно, какая рука держит меч — сильная или слабая? Со временем он это увидит. Неужели никто в Шиноне не расположен к нам?

— Одна только мудрая и добрая теща короля, Иоланта, королева Сицилии. Она приняла съера Бертрана.

— Она сочувствует нам и ненавидит королевских льстецов, — сказал Бертран. — Она проявила к нам большой интерес и засыпала меня вопросами, на которые я отвечал, как умел. Выслушав меня, она погрузилась в глубокую задумчивость, и я уже решил, что она так и не очнется от нее. Но нет — она сказала, медленно и словно про себя: «Семнадцатилетнее дитя, деревенская девушка, неграмотная, без всякого понятия о войне, об оружии и битвах, застенчивая, кроткая, скромная — и вдруг бросает пастуший посох, надевает стальные доспехи, проезжает полтора ста лье по вражеской земле, не ведая страха, не падая духом, и хочет явиться к королю — она, которой он должен представляться недосыгаемым и грозным! — хочет явиться к нему и сказать: «Не страшись, я послана господом спасти тебя!» Откуда это мужество, эта вера, как не от бога? — Тут она опять умолкла, видимо принимая какое-то решение, а потом сказала: — От бога или нет — но в ней есть то, что возвышает ее над людьми, над всеми, кто ныне живет во Франции; то таинственное, что вселяет мужество в солдат, превращает толпу трусов в боевую армию, которая в ее присутствии забывает страх и идет в сражение с радостью в сердце и с песней на устах. Только этот дух и может спасти Францию, откуда бы он ни исходил! Да, я верю, что он живет в ней, — что другое могло дать этому ребенку силы для такого похода, внушить ей такое презрение к опасности? Король должен принять ее — и примет!» С этими милостивыми словами она отпустила меня, и я знаю, что она сдержит обещание. Эти негодяи станут мешать ей всеми средствами, но она добьется своего.

— Вот если б *она* была королем! — с тоской сказал второй из рыцарей. — Ведь короля вряд ли удастся пробудить от его апатии. Он ни на что не поддается; он готов все бросить и бежать в чужие края. Гонцы из Орлеана говорят, что он наверняка околдован и с ним ничего не поделаешь; тут кроется какая-то тайна, они не могут ее разгадать.

— Я знаю, что это за тайна, — сказала Жанна уверенно. — Это знает он да я, а кроме нас — один бог. Когда я его увижу, я открою ему нечто такое, что прогонит его тоску, и он воспрянет духом.

Я сгорал от любопытства, но она не сказала, что же такое она собирается открыть королю; впрочем, этого нечего было ожидать. По годам она была ребенок, но она не склонна была болтать о важных предметах ради того, чтобы удивлять нас, маленьких людей; как все подлинно великие люди, она была сдержанна и многое хранила про себя.

На следующий день королева Иоланта одержала победу над королевскими приближенными: несмотря на помехи и возражения, она добилась у короля аудиенции для наших двух рыцарей, а они постарались как можно лучше воспользоваться этим случаем. Они рассказали королю о благородстве и непорочности Жанны, о ее святом воодушевлении и умоляли довериться ей и уверовать, что она послана спасти Францию. Они умоляли короля принять ее. Он стал явно склоняться к этому и обещал помнить о ней, но только пожелал сперва посоветаться со своими приближенными. Это нас обнадежило. Два часа спустя в нижнем этаже началась беготня, и хозяин постоянного двора прибежал сказать, что прибыло посольство из важных духовных лиц — от самого короля! Подумайте, какая честь для скромной, маленькой гостиницы! Эта честь так потрясла хозяина, что он чуть не лишился языка и едва сумел сбъяснить, в чем дело. Королевские посланцы желали говорить с Девой из Вокулёра. Хозяин помчался вниз и тотчас снова появился в дверях, пятась задом и на каждом шагу кланяясь до земли перед четырьмя величавыми и суровыми епископами и их свитой.

Жанна встала, и мы тоже. Епископы уселись, и на некоторое время воцарилось молчание. Им надлежало заговорить первыми, а они не находили слов от удивления: и этот-то ребенок наделал столько шума и заставил таких важных особ явиться к нему послами в какой-то мужицкий трактир?!

Наконец один из них приказал Жанне кратко и без лишних слов изложить все, что она имеет сообщить королю.

Я едва мог сдержать свою радость: наконец-то король узнает, с чем мы пришли к нему. Та же радость и гордость выражались на лицах наших рыцарей и на лицах братьев д'Арк. Я знал, что все они молятся, как и я, чтобы присутствие этих важных особ, которое нам наверняка связало бы язык, не смутило Жанну и чтобы она смогла не запинаясь изложить свое дело и произвести выгодное впечатление, которое было так важно для нас.

Но произошло почти совершенно неожиданное. Ее ответ поразил нас. Она все время стояла в почтительной позе, склонив голову и сложив руки, ибо всегда воздавала честь служителям бога. Когда епископ кончил, она подняла голову, спокойно обвела их всех глазами, выказывая не больше смущения перед их величием, чем любая принцесса, и сказала с обычной скромностью и простотой:

— Простите меня, преподобные отцы, но то, что я имею сказать, предназначено для одного только короля.

Они на миг онемели от изумления, и лица их побавгровели. Тот, кто заговорил с нею первый, сказал:

— Ты что же, пренебрегаешь волей короля и отказываешься изложить свое дело его слугам, которых он сам для этого указал?

— Господь указал мне только одного, кому назначается моя весть, а веление господа превыше всего. Прошу вас, позвольте мне говорить с его величеством дофином.

— Выкинь из головы эту блажь! Говори, что хотела сказать, и не теряй времени попусту.

— Вы ошибаетесь, преподобные отцы, и это при-
скорбно. Я здесь не для того, чтобы разговаривать, а

для того, чтобы освободить Орлеан, ввести дофина в его славный город Реймс и там возложить корону на его главу.

— Это и есть сообщение, которое ты хочешь передать королю?

Жанна ответила с тою же простотой:

— Простите меня, если я снова напомню, что ничего не могу передавать королю через других.

Разгневанные послы встали и удалились, не сказав больше ни слова; а мы и Жанна опустились на колени, пока они проходили мимо нас.

Мы растерянно переглядывались, чувствуя, что произошла непоправимая беда: драгоценная возможность была упущена! Мы не могли понять поведения Жанны, которая вплоть до этой злосчастной минуты всегда была так разумна. Наконец сьер Бертран собрался с духом и спросил ее, отчего она не воспользовалась столь благоприятным случаем сообщить королю то, что хотела.

— Кто прислал их сюда? — спросила она.

— Король.

— А кто научил короля прислать их? — Она ждала ответа, но мы молчали, начиная понимать ее мысль; поэтому она ответила сама: — Его научили советники. А кто эти советники? Друзья или недруги мне и дофину?

— Недруги, — ответил сьер Бертран.

— Когда мы хотим передать что-либо в точности и без искажений, неужели мы выберем для этого изменников и лгунов?

Я понял, что мы оказались глупцами, а она — мудрой. Поняли это и другие, а потому промолчали. Она продолжала:

— Однако ловушка была устроена нехитро. Они хотели выведать, с чем я прибыла к королю, и притвориться, что все передадут правильно, а на деле — ловко переиначить смысл моих слов. Вы знаете, что прежде всего нужно убедить дофина дать мне солдат и послать на выручку осажденным. Если бы враги и передали мои слова правильно, ничего не пропустив, все равно

до короля не дошло бы самое главное — то, что придает словам жизнь: умоляющий голос, красноречивые жесты, просящие взгляды; а без них какая была бы цена этим словам и кого бы они убедили?

Сьер де Мец закивал головой и сказал, как бы про себя:

— Правильно и мудро! А мы, если говорить по совести, — дураки.

То же самое думал и я и сам мог бы это сказать, то же думали и остальные. Нас охватил благоговейный трепет при мысли, что эта простая девушка, застигнутая врасплох, сумела разгадать и разрушить хитрости опытных придворных интриганов. Мы дивились и восторгались молча. Нам уже были известны ее великое мужество, ее стойкость, выносливость, терпение, убежденность, верность долгу, — словом, все лучшие качества доблестного воина. Теперь мы начинали понимать, что величие ее разума едва ли не превосходило величие ее души. Это заставило нас задуматься.

Мудрый поступок Жанны принес свои плоды на следующий же день. Король вынужден был отдать должное девушке, проявившей такую стойкость, и сумел выразить свое уважение на деле, а не в одних лишь вежливых и пустых словах. С бедного постоянного двора он переселил Жанну и всех нас в замок Курдрэ, поручив ее попечением мадам де Белье, жены старого шталмейстера Рауля де Гокура. Этот знак королевского внимания возымел немедленное действие: придворные дамы и господа толпою сошлись, чтобы увидеть и услышать диковинную Деву-воительницу, о которой говорил весь свет и которая так хладнокровно отказалась повиноваться королевскому приказанию. Жанна очаровала всех кротостью, простотой и безыскусным красноречием, и все лучшие и умнейшие из этих людей признали в ней нечто необычное, отличающее ее от большинства людей и возвышающее над ними. Молва о ней росла и ширилась. Она всегда легко находила друзей и приверженцев, — будь то знатный человек или простой, увидев и услышав ее, никто не мог остаться к ней равнодушен.

ЖАННА УБЕЖДАЕТ КОРОЛЯ

И все же ей чинили бесконечные помехи. Советчики короля предостерегали его от чересчур поспешных решений. Это он-то да чтобы принял поспешное решение! И вот в Лотарингию, на родину Жанны, отрядили целую комиссию из духовных лиц — ну, разумеется из духовных! — чтобы справиться о репутации Жанны и ее прошлом, а на это понадобилось несколько недель. Вот ведь какая щепетильность! Это все равно как если бы вы пришли тушить пожар, а хозяин дома, прежде чем принять вашу помощь, послал бы за тридцать земель справиться, чтите ли вы день субботний.

Потянулись долгие дни, тягостные для нас, но вместе с тем полные ожиданием одного важного события. Дело в том, что мы никогда не видели ни одного короля, а теперь нам наверняка предстояло это необычайное зрелище, которое полагается хранить в памяти до конца жизни; мы ждали только случая, и оказалось, что нам пришлось ждать меньше, чем другим. Однажды пришло радостное известие: посланцы Орлеана вместе с Иолантой и нашими рыцарями взяли наконец верх над советниками и убедили короля принять Жанну.

Жанна встретила великую весть с радостью, но не потеряла головы, чего нельзя было сказать о нас: мы от радостного волнения не могли ни есть, ни спать, ни вообще вести себя разумно. Наши рыцари целых два дня трепетали и тревожились за Жанну: аудиенция была назначена на вечер, и они боялись, что пламя бесчисленных факелов, пышный церемониал, большое стечение народа, блеск придворных нарядов и все прочее придворное великолепие ослепят неопытную Жанну и что деревенская девушка, совершенно непривычная ко всему этому, оробеет и наделает оплошностей.

Я мог бы успокоить их на этот счет, если бы имел дозволение. Что значило для Жанны это жалкое зрелище, этот мишурный блеск незадачливого короля и окружавших его мотыльков, — для нее, которая бесе-

довала лицом к лицу с архангелами, приближенными самого бога; видела их небесную свиту, бесчисленные сонмы ангелов, реющие в вышине, словно гигантское опахало, раскинутое во все поднебесье; созерцала излучаемое ими сияние, ослепительное, как солнце, заполняющее безграничные просторы вселенной?!

Королева Иоланта, желая, чтобы Жанна произвела на короля и двор самое лучшее впечатление, непременно хотела одеть ее в роскошные ткани и украсить драгоценностями. Но это ей не удалось. Жанна оказалась непреклонной и просила, чтобы ее одели скромно и строго, как подобает посланнице небес, на которую возложена миссия великой важности. Тогда королева придумала для нее тот простой и чарующий наряд, который я столько раз описывал вам и который я и теперь, в старости, не могу вспомнить без умиления, как вспоминают дивную музыку. Да, это одеяние было музыкой, гармонией, видимой глазу и слышной сердцу. Жанна казалась в нем поэмой, воплощенной мечтой, светлым видением иного мира.

Она бережно хранила этот наряд и надевала его еще несколько раз в торжественных случаях; а теперь он хранится в орлеанском казначействе вместе с двумя ее мечами, знаменем и другими вещами, которые стали навеки священны, потому что принадлежали ей.

В назначенное время к нам явился, в пышном одеянии, со свитой слуг, важный придворный чин — граф Вандомский, чтобы сопровождать Жанну к королю; я и оба рыцаря пошли тоже, как нам полагалось по должности, которую мы занимали при Жанне.

В большом приемном зале все было так, как я ожидал. Рядами стояла стража в блестящих стальных латах, со сверкающими алебардами; а по обе стороны зала точно цвели сады — так богаты и ярки были придворные наряды; двести пятьдесят факелов озаряли это великолепие. Посередине зала оставался широкий проход; в конце его виднелся трон под балдахином, а на нем — человек в короне, со скипетром, в одежде, осыпанной драгоценностями.

Долго пришлось Жанне добиваться этой аудиенции; зато теперь ее принимали с величайшими почестями,

какие оказываются лишь очень немногим. У входных дверей стояли в ряд четыре герольда в роскошных плащах и держали у рта длинные серебряные трубы, украшенные квадратными шелковыми знаменами с гербами Франции. Когда Жанна и граф появились в дверях, эти трубы издали долгий мелодичный звук, и пока мы шли под расписными и позолоченными сводами, звук этот повторялся через каждые пятьдесят футов — всего шесть раз. Наши славные рыцари гордо и радостно выпрямились и зашагали четким солдатским шагом. Они не ждали, что нашей маленькой крестьяночке будут оказаны такие пышные почести.

Жанна шла на два ярда позади графа, а мы трое — на таком же расстоянии позади Жанны. Не доходя восьми или десяти шагов до трона, наша торжественная процессия остановилась. Граф отвесил глубокий поклон, назвал имя Жанны, снова поклонился и смешался с толпой придворных, окружавших трон. Я пожирал глазами человека на троне, и сердце у меня замирало.

Глаза всех остальных были устремлены на Жанну с удивлением и восторгом и, казалось, говорили: «Как мила! Как хороша! Поистине божественна!» Все замерли с полураскрытыми устами — верный знак того, что эти люди, которым так несвойственно забываться, на этот раз позабыли все на свете, всецело поглощенные тем, что видели. Казалось, они подпали под власть каких-то могучих чар.

Вскоре, однако, они очнулись, сиюсь стряхнуть и побороть очарование, как борются с дремотой или опьянением. Они все еще не сводили глаз с Жанны, но теперь уже с иным выражением: с любопытством ожидая, как она поведет себя, — на это у них имелись особые, тайные причины. Они наблюдали и ждали. И вот что они увидели.

Жанна не поклонилась, даже не склонила головы; она молча стояла, обратив глаза к трону. И это было все.

Я взглянул на де Меца и был поражен его бледностью. Я спросил его шепотом:

— Что такое? Что это значит?

Он прошептал так тихо, что я едва мог расслышать:

— Они ухватились за то, что она обещала в своем письме, и подстроили ей ловушку. Она ошибется, а они посмеются над ней. Ведь тот, на троне, — не король!

Тут я взглянул на Жанну. Она все еще не отрываясь смотрела на человека на троне, и вся ее поза выражала крайнее недоумение. Потом она медленно повернула голову, обводя глазами ряды придворных, пока взгляд ее не остановился на скромно одетом юноше: тут лицо ее осветилось радостью, она подбежала к нему и упала к его ногам, восклицая мелодичным голосом, которым ее наделила природа и который теперь звучал особенно звонко, нежно и взволнованно:

— Пошли бог вам долгие дни, милостивый дофин!

Де Мец не мог удержаться от радостного восклицания:

— Клянусь богом, это невероятно! — На радостях он больно сжал мою руку и сказал, гордо потрянув гривой: — Ну, что скажут теперь эти раззолоченные бесстыдники?

Тем временем скромно одетый юноша говорил Жанне:

— Ты ошибаешься, дитя, я не король. Король вон там, — и он указал на трон.

Лицо рыцаря омрачилось, и он с горечью и негодованием прошептал:

— Стыдно так насмехаться над ней! Ведь она угадала, зачем же еще лгать? Я сейчас на весь зал приглашу...

— Стойте! — сказали мы с сьером Бертраном, удерживая его.

Не поднимаясь с колен и обращая счастливое лицо к королю, Жанна сказала:

— Нет, милостивый повелитель, король — это вы, и никто другой.

Страхи де Меца рассеялись, и он сказал:

— Она не угадывала, она *знала*! А откуда могла она знать? Это какое-то чудо! Нет, не стану больше вмешиваться; вижу, что она справится со всем и что у нее в мизинце больше ума, чем у меня в голове.

Слушая его, я не разобрал нескольких слов Жанны и услышал только следующий вопрос короля:

— Скажи, кто ты и чего ты хочешь?

— Меня называют Жанной-Девой, и я послана сказать, что богу угодно, чтобы вы короновались в вашем добром городе Реймсе и стали наместником господ, повелителя Франции. Он велит также, чтобы вы послали меня выполнить назначенное мне дело и дали мне войско. — И она прибавила с загоревшимися глазами: — Тогда я сниму осаду Орлеана и сломять мощь англичан.

Эта воинственная речь прозвучала в душном зале подобно свежему ветру с поля брани, и легкомысленная улыбка тотчас же сбежала с лица молодого короля. Он стал серьезен и задумчив. Потом он сделал знак рукой, и все отступили, оставив его наедине с Жанной. Рыцари и я отошли к противоположной стене зала. Мы видели, как Жанна по знаку короля поднялась с колен и они стали о чем-то тихо разговаривать.

Теперь придворные сгорали от любопытства, ожидая, как поведет себя Жанна. И вот они увидели — и были изумлены тем, что она действительно совершила обещанное в письме чудо; не меньше изумляло их и то, что она не была ослеплена окружающим величием и говорила с королем более спокойно и непринужденно, чем они сами при всей их опытности. Оба наших рыцаря были безмерно горды и рады за Жанну, но ошеломлены чудом, которому не могли найти объяснения: как сумела она выдержать столь серьезное испытание с таким достоинством, без единой ошибки и оплошности?

Жанна и король долго и серьезно о чем-то беседовали, понизив голос. Мы не слышали слов, но нам было видно выражение их лиц. Одну замечательную перемену заметили и мы и все присутствующие: она описана во многих воспоминаниях и в показаниях свидетелей на Оправдательном Процессе; все почувствовали ее значительность, хотя в то время никто не знал ее причины. Мы увидели, как король словно стряхнул с себя апатию и гордо выпрямился; вместе с тем лицо его выразило крайнее изумление. Казалось, Жанна

сообщила ему невероятную, по радостную и желанную весть.

Мы не скоро узнали тайну этой беседы, но теперь она известна и нам и всему миру. Вы можете прочесть о ней во всех исторических сочинениях. Озадаченный король попросил, чтобы Жанна доказала свои слова каким-нибудь знаком. Он хотел уверовать в нее, и ее миссию, и в небесные Голоса, обладающие высшей мудростью, недоступной смертным; но для этого ему было нужно неопровержимое доказательство. Тогда Жанна сказала:

— Я явлю вам такой знак, и вы больше не станете сомневаться. Есть одна тайная печаль, которая камнем лежит у вас на душе и которую вы таите ото всех. Оттого и угасло у вас мужество, оттого вам и хочется бросить все и бежать из вашего королевства. Недавно вы молились наедине с собой, чтобы господь разрешил ваше сомнение, хотя бы при этом он открыл вам, что вы не имеете прав на престол.

Вот это-то и изумило короля, ибо все так и было, как она сказала: эта молитва была его тайной, и знать о ней мог один только бог. И король сказал:

— Этого знака мне достаточно. Теперь я знаю, что твои Голоса от бога. Они вещали тебе правду; говори, что они сказали тебе еще, и я всему поверю.

— Они разрешили ваше сомнение, и вот их слова: «Ты законный наследник короля, твоего отца, и престола Франции». Так вещал господь. Подыми же голову и не сомневайся более; дай мне войско, чтобы я могла взяться за дело.

Подтверждение его законного рождения — вот что распрямило короля и на краткий миг сделало мужчиной, разрешив его сомнения в правах на престол; и если б можно было повесить его проклятых советников и освободить его от них, он внял бы просьбе Жанны и послал ее в бой. Но увы! Этим тварям был сделан только шах, а не мат, и они еще могли вредить нам.

Мы возгордились почестями, которыми встретили Жанну при дворе, — такие почести оказывались лишь самым знатным или особо достойным. Но еще больше

мы возгордились тем, как ее провожали. Если ее встречали, как встречают только высших сановников, то провожали ее так, как принято провожать одних лишь коронованных особ. Король сам провел Жанну за руку до самых дверей, мимо склонившихся рядов блестящих придворных, под торжественные звуки серебряных труб. Здесь он простился с ней ласковыми словами и, низко поклонившись, поцеловал ей руку. Так было всегда: куда бы ни приходила Жанна — к знатым или простым людям, — всюду она получала богатую дань уважения.

Этим не ограничились почести, оказанные Жанне; король устроил нам торжественные проводы обратно в Курдрэ: дал нам факельщиков и свою собственную почетную охрану — единственных своих солдат, — и надо сказать, очень щеголевато обряженных, хотя им, должно быть, еще ни разу в жизни не выплатили жалованья. К тому времени молва о чудесах, которые Жанна явила королю, уже разнеслась повсюду; народ столпился на нашем пути, стремясь взглянуть на нее, и мы пробирались с великим трудом, а разговаривать было совсем невозможно — наши голоса тонули в громовых приветственных кликах, которые всю дорогу раздавались вокруг нас и волнами катились вперед нашего шествия.

Глава VII

ПАЛАДИН ВО ВСЕЙ СВОЕЙ СЛАВЕ

Нам были суждены бесконечные проволочки; мы смирились с ними и терпеливо считали медленные часы и скучные дни, надеясь на перемену, когда богу будет угодно ее ниспослать. Единственным исключением был Паладин — он один был вполне счастлив и не скучал. Немало удовольствия ему доставлял его костюм. Он купил его сразу же, как приехал. Это был подержанный костюм — полное одеяние испанского кабальеро: широкополая шляпа с развевающимися перьями, кружевной воротник и манжеты, полинялый

бархатный камзол и такие же штаны, короткий плащ, переброшенный через плечо, сапоги с раструбами и длинная рапира; очень живописный костюм, который отлично выглядел на мощной фигуре нашего Паладина. Он надевал его в свободное от службы время, и, когда красовался в нем, положив одну руку на рукоять рапиры, а другой подкручивая только что пробившиеся усы, все оглядывались на него, — и не мудрено: он выгодно отличался от малорослых французских дворян в тогдашней куцей французской одежде.

Он был самой заметной фигурой в маленькой деревне, приютившейся под хмурыми башнями и бастионами замка Курдрэ, и признанным королем тамошнего трактира. Стоило ему открыть там рот, как все замолкали. Простодушные крестьяне и ремесленники слушали его с глубоким вниманием: ведь это был человек бывалый, повидавший свет, — по крайней мере весь свет между Шиноном и Домреми, — а они не надеялись повидать и того. Он побывал в боях и умел, как никто, описывать ужасы и опасности. Да, он был там героем; при нем посетители собирались, как мухи на мед; так что трактирщик, его жена и дочь души в нем не чаяли и не знали, как бы лучше ему услужить.

Большинство людей, обладающих даром рассказчика, — а это завидный и редкий дар, — имеют тот недостаток, что рассказывают свои любимые истории всякий раз одинаково, и это неизбежно приедается после нескольких повторений; но с Паладином этого не бывало; его искусство было более высокого сорта; его рассказ о какой-нибудь битве было интереснее слушать в десятый раз, чем в первый, потому что он никогда не повторялся, и у него всякий раз получалась новая битва, лучше прежних — больше потерь у противника, больше разрушений и бедствий, больше вдов и сирот. Он и сам различал свои битвы только по названиям; рассказав раз десять об одной, он должен был начинать про новую, потому что старая так разрасталась, что уже не умещалась на французской земле и лезла через край. Но пока дело не доходило до этого, слушатели не давали ему начинать новый рассказ, зная, что старые выходят у него лучше, — все лучше да лучше,

пока им хватает места во Франции. Ему не говорили, как другим: «Рассказал бы что-нибудь новенькое, что ты заладил все одно и то же!» Его просили в один голос, да еще как просили: «Расскажи еще раз про засаду в Болье, а когда кончишь, начни сначала, а потом еще разок». Немногие рассказчики удостоиваются такой похвалы.

Когда мы рассказали Паладину о королевской аудиенции, он сперва был в отчаянии, что его не взяли; потом стал говорить о том, что он сделал бы, если бы был там; а через два дня он уже рассказывал о том, что он там делал. Ему стоило только разойтись, а тогда уж на него можно было положиться. Через несколько дней ему пришлось дать отдых своим коронным номерам: все его почитатели были так очарованы повестью о королевской аудиенции, что ничего другого и слушать не хотели.

Ноэль Рэнгессон спрятался как-то раз в укромном уголке и послушал его, а потом рассказал мне, и мы пошли вместе и особо заплатили трактирщице, чтобы она пустила нас в соседнюю маленькую комнатку, где в двери было окошечко и все было видно и слышно.

Общая комната в трактире была просторная, но уютная; на красном кирпичном полу были заманчиво расставлены небольшие столы, а в большом очаге ярко пылал и трещал огонь. Здесь было приятно посидеть в холодный и ветреный мартовский вечер, поэтому за столами собралась порядочная компания, попивая вино и развлекаясь пересудами в ожидании рассказчика. Трактирщик, трактирщица и их маленькая дочка без усталости сновали между столиков, стараясь всем услужить. В комнате было около сорока квадратных футов; в середине оставался проход для нашего Паладина, а в конце его — возвышение площадью футов в двенадцать, на него вели три ступеньки; там стоял столик и большое кресло.

Среди завсегдатаев трактира было много знакомых лиц: сапожник, кузнец, тележник, колесник, оружейник, пивовар, ткач, пекарь, подручный мельника, весь запорошенный мукой, и прочие; самым важным, конечно, как во всех деревнях, был цирюльник. Это он

рвет всем зубы, а кроме того, ежемесячно дает всему взрослому населению очистительное и пускает кровь для здоровья. Поэтому он знаком со всеми; имея дело с людьми всех званий, он знает приличия и умеет вести разговор. Были там также возчики, гуртовщики и странствующие подмастерья.

Вскоре небрежной походкой вошел Паладин и был встречен радостными возгласами; цирюльник поспешил ему навстречу, приветствовал его низкими и отменно изящными поклонами и даже поднес его руку к своим губам. Он громко крикнул, чтобы Паладину подали вина; а когда хозяйская дочь принесла его, низко присела и удалилась, цирюльник крикнул ей вслед, чтобы она записала вино на его счет. Это вызвало общее одобрение, от которого его маленькие крысиные глазки засветились удовольствием. Одобрение было вполне заслуженное: когда мы проявляем великодушие и щедрость, нам всегда хочется, чтобы наш поступок был замечен.

Цирюльник предложил присутствующим встать и выпить за здоровье Паладина, и это было сделано с величайшей готовностью и сердечностью; оловянные кружки разом звонко столкнулись, и все громко крикнули «ура». Удивительно, как быстро этот хвастунишка сумел стать общим любимцем в чужой стороне с помощью одного только языка и богом данного таланта болтать им; вот уж, можно сказать, не зарыл таланта в землю, а удесятерил его усердием и всеми процентами и рентами, которые причитаются за усердие.

Потом все уселись и застучали кружками по столу, громко требуя королевскую аудиенцию: «Королевскую аудиенцию!» Паладин принял одну из своих излюбленных поз: сдвинул шляпу с перьями набок, перебросил через плечо короткий плащ, одной рукой взялся за рукоять рапиры, а другой рукой поднял кружку. Когда крики умолкли, он отвесил величавый поклон, которому где-то научился, поднес кружку к губам, запрокинул голову и осушил ее до дна. Цирюльник подскочил и услужливо поставил кружку на стол. Затем Паладин стал с большим достоинством и непринужденностью

прохаживаться по возвышению и начал свой рассказ, то и дело останавливаясь и поглядывая на слушателей.

Мы ходили слушать его три вечера подряд. В его выступлениях была какая-то особая прелесть, помимо того общего интереса, который всегда вызывает к себе вранье. Скоро мы обнаружили, что прелесть эта заключалась в полной искренности Паладина. Он не признавал, что врет; он верил в то, о чем рассказывал. Каждое его заявление было для него бесспорным фактом, а когда он начинал их приукрашивать, все прикрасы также становились для него фактами. Он вкладывал всю душу в свои небылицы, как поэт вкладывает душу в какой-нибудь героический вымысел; и его искренность обезоруживала скептиков, во всяком случае по отношению к нему самому, — никто не верил ему, но все верили, что он-то верит.

Он приукрашивал свой рассказ с такой грацией и непринужденностью, что слушатели не всегда замечали изменения. В первый вечер правитель Вокулёра был у него просто правителем; во второй — превратился в его дядю, а в третий — стал уже его отцом. Он словно не замечал этих поразительных превращений; слова слетали с его уст непринужденно и без всякого усилия. В первый вечер он сказал, что правитель включил его в отряд Девы без определенной должности; во второй — дядя-правитель назначил его командовать арьергардом; в третий — отец-правитель особо поручил ему весь отряд вместе с Девой. В первый раз правитель отозвался о нем как о юноше без роду и племени, но «которому суждено прославиться»; во второй раз он назвал его достойнейшим прямым потомком славнейшего из двенадцати паладинов Карла Великого; а в третий раз — прямым потомком всех двенадцати. За те же три вечера граф Вандомский был у него произведен из недавних знакомцев в школьные товарищи, а потом и в зятя.

На королевской аудиенции все разрасталось таким же образом. Четыре серебряных трубы превратились в двенадцать, потом в тридцать шесть и наконец в девяносто шесть. К этому времени он успел добавить

к ним столько барабанов и кимвалов, что для размещения их потребовалось удлинить зал от пятисот футов до девятисот. Присутствующие размножались столь же безудержно.

В первые два вечера он довольствовался тем, что описывал с различными преувеличениями главные события аудиенции. В третий раз он стал представлять их в лицах. Он усадил цирюльника в кресло, чтобы тот изображал фальшивого короля, и стал рассказывать, как придворные с любопытством и скрытой насмешкой наблюдали за Жанной, надеясь, что она даст себя одурачить и опозорится навсегда. Он довел слушателей до крайнего напряжения и таким образом искусно подготовил развязку. Обратясь к цирюльнику, он сказал:

— А она вот что сделала: взглянула прямо в лицо негодному обманщику — вот как я сейчас гляжу на тебя, скромно и благородно — вот как я стою, протянула ко мне руку — вот так! — и сказала повелительным и спокойным тоном, каким она командует в бою: «Сбросить обманщика с престола!» Тут я шагнул вперед — вот сюда, — взял его за шиворот и приподнял, как ребенка... (Слушатели вскочили, крича, топая ногами и стуча кружками, восхищенные богатырским подвигом, и никто не думал смеяться, хотя вид цирюльника, повисшего в воздухе, как щенок, поднятый за загривок, но все еще гордого, очень располагал к этому.) Потом я поставил его на ноги — вот так! — чтобы поудобнее взяться и вышвырнуть его за окно, но она запретила это и тем спасла ему жизнь.

Потом она обвела все собрание глазами, а ее глаза — это светлые окна, через которые глядит на свет ее несравненная мудрость, прозревая сквозь лживые оболочки сокровенные зерна истины, — и взор ее упал на скромно одетого юношу; она тотчас узнала, кто он такой, и сказала: «Ты — король, а я твоя служанка!» Тут все изумились, и все шесть тысяч испустили громкий крик восторга, так что задрожали стены.

Он картинно описал уход с аудиенции, и тут уж его фантазия унеслась далеко за пределы невероятного; а затем снял с пальца латунное кольцо от дротика,

которое дал ему в то утро главный конюх замка, и закончил так:

— Потом король простился с Девой милостивыми словами, столь заслуженными ею, а мне сказал: «Возьми этот перстень, потомок паладинов, и если будет нужда, предъявишь его мне; да смотри, — тут он дотронулся до моего лба, — береги свой ум на пользу Франции; и береги свою умную голову. Я предвижу, что когда-нибудь на нее наденут герцогскую корону». Я взял перстень, преклонил колени, поцеловал ему руку и сказал: «Сир, я всегда там, куда зовет слава. Я привычен к опасности и постоянно вижу смерть лицом к лицу. Когда Франции и трону понадобится помощь... не скажу больше ничего, я не из хвастунов, — пусть за меня говорят мои дела».

Так закончилась эта памятная аудиенция, так много сулящая престолу и народу. Возблагодарим же гòспода! Встанем! Наполним кружки! Выпьем за Францию и за нашего короля!

Слушатели осушили кружки до дна и добрых две минуты кричали «ура», а Паладин, в величавой позе, благодушно улыбался им со своего возвышения.

Глава VIII

ЖАННА УБЕЖДАЕТ СВОИХ ИНКВИЗИТОРОВ

Когда Жанна сказала королю, какая тайна терзает его сердце, он перестал в ней сомневаться, он поверил, что она послана небом; и если б это зависело от него одного, он тотчас послал бы ее на ее великое дело, если бы ему дали волю, — но ему не дали. Ла Тремуйль и святая лисица из Реймса хорошо знали короля. Им достаточно было сказать свое слово, и они сказали:

— Ваше высочество изволит говорить, что ее устами Голоса поведали вам тайну, известную только вам и богу. Но почему знать, не послана ли она дьяволом? Ведь и ему ведомы тайные помыслы людей;

пменно так он и губит их души. Опасное это дело. Вашему высочеству следует сперва расследовать его.

Этого было довольно. Жалкая душонка короля съежилась от этих слов, как изюмина; он исполнился страхов и опасений и тут же назначил комиссию из епископов, чтобы ежедневно допрашивать Жанну и выяснить, откуда слышатся ей Голоса — с небес или из ада.

В ту пору родственник короля, герцог Алансонский, три года пробывший в плену у англичан, был освобожден, пообещав большой выкуп. Молва о Деве дошла и до него, хвала ей раздавалась теперь из всех уст, — и он прибыл в Шинон, чтобы взглянуть на нее собственными глазами. Король послал за Жанной и представил ее герцогу. Она сказала со свсей обычной простотой:

— Добро пожаловать! Чем больше вольется к нам славной французской крови, тем лучше для дела и для его защитников.

Потом они стали беседовать, и, конечно, когда они расстались, герцог уже был ее другом и приверженцем.

На другой день Жанна слушала мессу в замке, а потом обедала с королем и герцогом. Король научился ценить ее общество и беседу, — и не мудрено: как все короли, он не слышал ничего, кроме осторожных и бесцветных фраз или льстивого поддакивания, — такие собеседники утомляют и раздражают; а от Жанны он слышал свободные, искренние и честные речи, не стесненные боязливостью. Она говорила что думала, и говорила это просто и прямо. Это должно было освежать короля, как студеная горная струя освежает запекшиеся губы, которые знали до этого одни только мутные, тепловатые лужи равнин.

После обеда на лугу перед замком, куда пришел также и король, Жанна так восхитила герцога упражнениями на коне и с копьем, что он подарил ей большого черного боевого коня.

Каждый день комиссия из епископов допрашивала Жанну относительно ее Голосов и ее миссии, а потом шла докладывать королю. Но от их выпрашиваний было мало толку. Жанна говорила лишь то, что

считала нужным, а остальное держала про себя. На нее не действовали ни угрозы, ни хитрости. Угроз она не пугалась, а в ловушки не попадала. Она была искренна и простодушна. Она знала, что епископы посланы королем, что их вопросы — это вопросы самого короля, — а ему, по закону, надо отвечать; но однажды за столом она наивно заявила королю, что отвечает лишь на те вопросы, на какие хочет.

Наконец епископы установили, что не могут установить, действительно ли Жанна послана богом. Как видите, они были осторожны. При дворе существовали две сильные партии, и как бы епископы ни решили, это неизбежно поссорило бы их с одной из партий; а потому они сочли за благо ничего не решать и переложить бремя на другие плечи. И вот что они сделали: они доложили, что не в силах сами решить столь трудный вопрос, и предложили передать дело в руки ученых богословов университета в Пуатье. Затем они ретировались, оставив лишь одно письменное свидетельство, в котором они отдавали должное мудрой сдержанности Жанны: они отметили, что она «кроткая, простодушная пастушка, бесхитростная, *но не болтливая*».

Да, с ними она, конечно, не стала болтать. Но если бы они могли видеть ее такой, какой она бывала с нами в счастливых лугах Домреми, они убедились бы, что язычок ее работал достаточно бойко, когда она знала, что от слов ее не будет вреда.

Итак, мы отправились в Пуатье и там потеряли еще три недели, пока бедное дитя ежедневно терзали допросами перед огромным синклитом — кого бы вы думали? может быть, военных? — ведь она просила дать ей солдат и разрешение вести их в бой против врагов Франции. О нет! Перед сборищем священников и монахов, ученых и искусных казуистов, виднейших профессоров богословских наук! Вместо того чтобы собрать знатоков военного дела и выяснить, может ли доблестная юная воительница одерживать победы, на нее напустили святых пустомель и педантов, чтобы выяснить, сильна ли воительница в богословской теории и нет ли у нее каких погрешностей по части дог-

матов. Крысы опустошали наш дом, но святые люди не осведомлялись, крепки ли зубы и когти у кошки, — лишь бы кошка была богомольна; если она достаточно набожна и нравственна — отлично, тогда от нее не требуется никаких других качеств.

В присутствии этого мрачного трибунала, всех этих знаменитостей в мантиях и всей этой торжественной процедуры Жанна хранила такое безмятежное спокойствие, словно была не подсудимой, а зрительницей. Она сидела одна на скамье, ничуть не взволнованная, и мудрецы становились в тупик перед ее святым неведением — неведением, которое служило ей самой надежной защитой; хитрости, уловки, книжная мудрость — все отскакивало от невидимой твердыни, не причиняя ей вреда; никто не мог одолеть гарнизон этой крепости — высокий дух и бесстрашное сердце Жанны, стоявшие на страже ее великого дела.

На все вопросы она отвечала откровенно и подробно рассказала о своих видениях и беседах с ангелами; она рассказывала так просто, серьезно и искренне, и все предстало в ее повествовании таким живым и правдивым, что даже черствые судьи слушали ее как зачарованные и сидели не шелохнувшись. Если вам недостаточно моего свидетельства, загляните в исторические хроники, и вы прочтете там, как очевидец, давая под присягой показания на Оправдательном Процессе, сообщает, что она поведала свою повесть «с достоинством и благородной простотой», а о произведенном ею впечатлении говорит то же, что и я. А ведь ей было всего семнадцать лет, она сидела на скамье совершенно одна — и все-таки не испугалась, оказавшись лицом к лицу со всеми этими учеными законниками и богословами; без помощи школьной учености, с помощью одних лишь природных даров — юности, искренности, нежного и мелодичного голоса, красноречия, которое шло от сердца, а не из головы, — она сумела очаровать их. Великолепное зрелище — не правда ли? Как я хотел бы представить вам все это так, как я сам это видел; я знаю, что бы вы сказали тогда.

Я уже говорил, что она не умела читать. Однажды эти законники так замучили ее рассуждениями,

аргументами, возражениями и прочим пустословием, извлеченным из того или иного авторитетного богословского трактата, что она потеряла терпение и сказала:

— Я не знаю грамоты, но одно я знаю: я пришла по божьему велению, чтобы освободить Орлеан от англичан и короновать короля в Реймсе. А то, о чем вы хлопочете, — это все пустое!

То были трудные дни для нее и для всех участников суда, но ей было труднее всего: ей не давали отдыха, и она должна была отсиживать все долгие заседания; а инквизиторы могли по очереди уходить и отдыхать, когда выбивались из сил. Но она не обнаруживала усталости и очень редко проявляла нетерпение. Обычно она весь день была спокойна, внимательна и терпелива и из моединков с опытными мастерами словесного фехтования выходила без единой царапины.

Однажды один доминиканец задал ей вопрос, который всех заставил насторожиться, а меня — задрожать; я был уверен, что на этот раз бедная Жанна попала, — ответить на этот вопрос было невозможно. Хитрый доминиканец начал с нарочитой небрежностью, словно спрашивал о чем-то незначащем:

— Так ты утверждаешь, что богу угодно освободить Францию из-под власти англичан?

— Да.

— И ты просишь солдат, чтобы идти на подмогу Орлеану?

— Да. И чем скорее, тем лучше.

— Господь всемогущ, не так ли? Он может свершить все, на что будет его святая воля.

— Воистину так.

Тут доминиканец поднял голову и, заранее торжествуя, задал вопрос, о котором я уже упоминал:

— Тогда ответь мне вот на что: если ему угодно освободить Францию и он всемогущ — к чему тебе солдаты?

Тут весь зал пришел в движение, каждый подался вперед и приложил руку к уху, чтобы лучше расслы-

шать ответ. Доминиканец удовлетворенно качал головой и оглядывался, читая одобрение на всех лицах. Но Жанна не смутилась. Она ответила с полным спокойствием:

— Бог помогает тем, кто сам себе помогает. Битвы должны вести сыны Франции, а победу дарует он.

Восхищение озарило все лица, точно солнечный луч. Даже сам доминиканец, казалось, получил удовольствие оттого, что его удар был парирован с таким мастерством; а один старый епископ пробормотал, не стесняясь грубоватых выражений, привычных и народу и духовенству в те времена всеобщей простоты нравов: «А ведь верно, лопни мои глаза! Когда господу угодно было поразить Голиафа, он тоже послал для этого малого ребенка!»

В другой раз, когда бесконечный допрос утомил всех, кроме Жанны, и на всех нагнал дремоту, брат Сегэн, профессор богословия в университете Пуатье, человек ехидный и кислый, стал допытывать Жанну нелепыми вопросами на испорченном французском языке, каким говорили лимузинцы, — он был родом из Лиможа, — и наконец спросил:

— А как же ты понимала ангелов? На каком языке они говорили с тобой?

— На французском.

— Вот как? Приятно узнать, что нашему языку выпала подобная честь. И на хорошем французском языке?

— Да, на отличном.

— На отличном? Кому же и судить об этом, как не тебе. Они, значит, говорили лучше, чем ты?

— Вот этого не знаю, не скажу. — Тут она остановилась, но затем продолжала: — Но уж верно лучше твоего!

Где-то в глубине ее невинных глаз затаился смех; я это видел. В зале зашумели. Брат Сегэн был уязвлен и спросил резко:

— А в бога ты веруешь?

Жанна ответила с раздражающей небрежностью:

— Да — и тоже лучше твоего.

Брат Сегэн вышел из себя и осыпал ее насмешками, а потом гневно вскричал:

— Вот что я тебе скажу: раз ты так крепка в вере, богу не угодно, чтобы мы поверили тебе без какого-либо знака. А где он? Покажи нам его!

Это задело Жанну; она вскочила на ноги и ответила задорно:

— Я не затем приехала в Пуатье, чтобы показывать чудеса. Пошлите меня в Орлеан, и вы насмотритесь вдоволь чудес. Дайте мне хоть сколько-нибудь солдат и отпустите меня!

Глаза ее метали молнии! Представляете себе эту отважную маленькую женщину? В зале раздались громкие возгласы одобрения, а она покраснела и села на свое место; она не любила обращать на себя общее внимание.

Этой речью и вопросом относительно французского языка Жанна выиграла два очка, а брат Сегэн явно проиграл. Но он был хоть и кислый, а честный человек, как видно из хроник: на Оправдательном Процессе он мог бы утаить невыгодное для него происшествие, но он этого не сделал и все честно изложил в своих показаниях.

В один из последних дней трехнедельной сессии все ученые мантии ринулись в решительное наступление и забросали Жанну возражениями и доводами, выуженными из всех писаний католической церкви. Она была оглушена, но тотчас оправилась и стала обороняться:

— Слушайте! Священное писание стоит больше, чем все, что вы тут наговорили, — а я придерживаюсь его. Там есть вещи, которых вам не прочесть со всей вашей ученостью!

В Пуатье она с первого дня гостила в доме госпожи де Рабато, жены советника городского парламента; сюда каждый вечер собирались именитые городские дамы, чтобы побеседовать с Жанной, — и не только они, но также старые законоведы, советники и ученые мужи из парламента и университета. Эти серьезные

люди, привыкшие осторожно обдумывать и взвешивать все необычное и сомнительное, поворачивать его так и этак и все еще сомневаться, с каждым днем все больше покорялись таинственному обаянию, которым была наделена Жанна д'Арк, — тому неодолимому и необъяснимому очарованию, которое чувствовали и признавали люди всех званий, но которого никто не мог выразить словами или объяснить. Все они в конце концов подчинились ему и заявили: «Воистину это дитя послано богом».

Днем Жанна, скованная строгой процедурой суда, была в невыгодном положении, и судьи все делали по-своему, но вечером она сама вершила суд; она менялась местами со своими судьями и говорила им что хотела. Результат мог быть только один: всё, чем им удавалось с превеликим трудом опутать ее за день, она вечером уничтожала своим обаянием. Под конец все судьи оказались на ее стороне и вынесли единогласное решение.

Надо было слышать, как председатель суда огласил его со своего высокого кресла в присутствии всех именитых горожан, какие могли втиснуться в зале. Вначале шли разные торжественные формальности, принятые в таких случаях; затем снова наступила тишина и было прочитано само решение; его выслушали в таком глубоком молчании, что каждое слово чтеца доносилось в самые дальние уголки зала:

«Мы установили и настоящим заявляем, что Жанна д'Арк, прозванная Девой, является доброй христианкой и католичкой, что в словах ее и поступках нет ничего, противного вере, и что король может принять предлагаемую ею помощь, ибо отвергнуть ее — значило бы погрешить против святого духа и тем самым стать недостойным господней помощи».

Когда суд встал, поднялась буря рукоплесканий, затихая и раздражаясь вновь и вновь; я потерял Жанну из виду в огромной толпе людей, поздравлявших ее и призывавших благословение на нее и на Францию, судьба которой была торжественно и бесповоротно отдана в ее маленькие руки.

ЖАННУ НАЗНАЧАЮТ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Поистине это был великий день и волнующее зрелище.

Жанна победила! Как же Ла Тремуиль и все ее враги не догадались помешать этим вечерним собраниям?

Комиссия из духовных лиц, посланная в Лотарингию будто бы затем, чтобы навести справки о Жанне, а на самом деле для того, чтобы измучить ее отсрочками и заставить отказаться от своего намерения, — вернулась и доложила, что репутация ее безупречна. Как видите, дела наши заметно подвинулись.

Решение суда произвело огромное впечатление. Всюду, куда долетала эта великая весть, мертвая Франция пробуждалась к жизни. Если раньше запуганные, приниженные французы старались ускользнуть, когда слышали о войне, то теперь все они спешили под знамена Девы; все вокруг огласилось военными песнями и треском барабанов. Я вспомнил, как она сказала мне в деревне, когда я пытался доказать ей, что дело Франции проиграно и ничто не пробудит народ от долгого сна: «Они соберутся на бой барабанов. Соберутся и пойдут».

Говорят, что несчастья никогда не приходят в одиночку. А у нас так было с удачами: стоило им начаться, как они повалили одна за другой. На этот раз нам повезло вот в чем: среди церковников были серьезные сомнения, можно ли дозволить воительнице-девушке носить мужскую одежду. Теперь двумя ученейшими богословами того времени — один из них был ректор Парижского университета — было наконец вынесено решение: «Поскольку Жанна должна выполнять мужское и солдатское дело, то надобно, чтобы и одежда ее соответствовала этому».

Такое решение церкви было большой победой. Да, удачи шли к нам одна за другой. Не стану перечислять второстепенные, хочу дойти поскорее до самой важной из них — до того девятого вала, который подхватил и нас, мелкую рыбешку, так что мы едва не захлебну-

лись от восторга. В день, когда было вынесено это решение, гонцы поскакали известить о нем короля; и уже на следующий день в чистом утреннем воздухе раздались звонкие сигналы рога; мы стали считать их: один, два, три — пауза; один, два, три — пауза, один, два, три. Тут мы все высыпали на улицу: это означало, что королевский герольд будет читать королевский приказ. Отовсюду сбегались мужчины, женщины и дети, возбужденные и раскрасневшиеся, одеваясь на ходу, — а рог все трубил, пока на главную улицу не собрался весь город. Площадь была запружена народом: высоко над толпой, у подножия каменного креста, стоял пышно разодетый герольд, окруженный своею свитой. Зычным голосом, подобающим его должности, он начал:

— «Да будет ведомо всем, что его величеству Карлу, божьей милостью королю Франции, угодно пожаловать своей возлюбленной подданной Жанне д'Арк, пменуемой Девою, чин, вознаграждение и все полномочия главнокомандующего французской армией...»

Тысячи шапок взлетели в воздух, радостные крики ураганом пронесли над площадью; этот ураган бушевал так долго, что, казалось, никогда не утихнет; когда же он наконец стих, герольд продолжал:

— «...начальником ее штаба назначается принц королевского дома, его светлость герцог Алансонский».

На этом приказ кончался, и громовое «ура» снова звучало по улицам города, проникая во все его уголки.

Главнокомандующий французской армией, начальник над принцем крови! Еще вчера Жанна была ничем, а сегодня вот она кто! Еще вчера она не была ни сержантом, ни капралом, ни даже простым солдатом — сегодня она одним шагом взошла на вершину. Вчера она не могла командовать ни одним новобранцем — сегодня ее приказание стало законом для Ла Гира, Сентрайля, Дюнуа и всех славных ветеранов, мастеров военного дела. Вот о чем я размышлял, пытаюсь уяснить себе свершившееся чудо.

Мысль моя обратилась к прошлому, и передо мной возникла картина такая отчетливая, словно дело было вчера, — да и не так давно это было, в начале января того же года. Вот что я вспомнил. Крестьянская де-

вушка из глухой деревушки, еще не достигшая семнадцати лет, никому не известная, точно и она и ее деревня находились на другой стороне земного шара. В тот день она где-то подобрала и принесла домой бездомного скитальца, маленького серого котенка, полумертвого от голода; она накормила и приласкала его, и он, исполнившись к ней доверия, свернулся клубочком у нее на коленях, а она вязала грубый чулок и думала, мечтала — кто знает, о чем? Котенок не успел еще вырасти в кошку, а девушка стала главнокомандующим французской армией и имеет под своим началом принца королевского дома; из безвестности ее имя возшло над нами словно солнце и осветило всю страну. От этих дум у меня кружилась голова — до того все это казалось невероятным.

Глава X

МЕЧ И ЗНАМЯ ДЕВЫ

Первым делом Жанны в ее новой должности было продиктовать письмо английским военачальникам, осаждавшим Орлеан, с требованием сдать все занятые ими крепости и отступить за пределы Франции. Казалось, письмо было ею обдуманно заранее, — с такой легкостью лились из ее уст слова, слагаясь в сильные и яркие выражения. Впрочем, может быть, и нет, — она всегда отличалась острым умом и острым языком, а за последние недели все ее способности удивительно развились. Письмо надлежало немедленно отправить из Блуа. Люди, провиант и деньги теперь текли к нам рекой: Жанна назначила Блуа сборным пунктом и провиантским складом, а командование им поручила Ла Гиру. Прославленный Дюнуа, отпрыск герцогов, правитель Орлеана, уже давно просил, чтобы Жанну поскорее отправили к нему, и теперь от него прискакал еще один гонец — старый служака д'Олон, человек достойный и верный. Король задержал его и назначил начальником над свитой Жанны, а свиту приказал предоставить ей набрать самой, чтобы численностью и

званиями эта свита соответствовала ее высокому рангу; он также приказал снабдить свиту оружием, одеждой и конями.

Для Жанны король заказал в Туре доспехи. Они были из лучшей стали, выложены серебром, богато украшены чеканным узором и отполированы, как зеркало.

Голоса поведали Жанне, что в алтаре церкви св. Екатерины в Фьербуа спрятан старинный меч, и она послала за ним де Меца. Священникам церкви ничего не было известно об этом, но когда стали искать, то действительно нашли меч, зарытый в земле. Он был без ножен и сильно заржавел; священники отчистили его и отправили в Тур, куда мы должны были прибыть. Они изготовили для него ножны из алого бархата, а жители Тура сделали еще одни ножны — парчовые. Но Жанна хотела, чтобы меч всегда был при ней в бою, поэтому она велела убрать парадные ножны и сделать простые, кожаные. Многие говорили, что меч этот принадлежал Карлу Великому, — но кто знает? Я хотел наточить его, однако Жанна сказала, что это не нужно: она никого не собирается убивать и будет носить его только как знак своей должности.

В Туре она заказала знамя и дала расписать его шотландскому живописцу Джеймсу Пауэру. Оно было из тонкой белой парчи, с шелковой бахромой. На нем был изображен бог-отец, восседающий на облаках, с земным шаром в руке; у ног его — два коленапреклоненных ангела с лилиями и надпись: «Иисус, Мария». На оборотной стороне — два ангела, поддерживающие корону Франции.

Она велела также сделать малое знамя, или хоругвь, с изображением ангела, протягивающего лилию деве Марии.

В Туре царило необычайное оживление. Слышался то грохот военной музыки, то мерный топот — это отряды новобранцев уходили в Блуа. Песни и крики «ура» не смолкали ни днем, ни ночью. В город нахлынуло множество пришлых людей; постоянные дворы были переполнены; всюду шли приготовления; всюду виднелись радостные, оживленные лица. Около штаба

Жанны постоянно толпился народ, стараясь увидеть нового военачальника, и когда это удавалось, народ ликова- л; только удавалось это редко, потому что у Жанны не было свободной минуты: она составляла план кам- пании, получала донесения, отдавала приказы, рассу- лала гонцов и должна была еще уделять время знат- ным посетителям, толпившимся в ее приемной. А мы почти не видели ее — так она была занята.

Нами овладело беспокойство: Жанна еще не на- брала свою свиту — вот это-то нас и тревожило. Мы знали, что ее осаждают просьбами о должностях и что за каждого кандидата хлопочет какое-нибудь важное лицо, а за нас хлопотать было некому. Она могла на- брать свиту из одних титулованных особ, которые со своими связями были бы для нее опорой и поддержкой. Неужели при таких обстоятельствах она вспомнит о нас? Вот почему мы не радовались вместе со всем го- родом, а, наоборот, приуныли. Иногда мы взвешивали наши ничтожные шансы и старались все-таки не те- рять надежды. Паладин и говорить об этом не мог: если у нас была хоть какая-то надежда, то у него не было никакой. Обычно Ноэль Рэнгессон и сам избегал касаться этого предмета, но только не в присутствии Паладина. Однажды, когда мы все-таки заговорили о свите, Ноэль сказал:

— Не унывай, Паладин! Мне нынче приснилось, будто ты один из всех нас получил должность. Не бог весть какую — не то лакея, не то еще какого-то слуги, но все же...

Паладин приободрился и повеселел: он верил в сны и всевозможные приметы. Он сказал с надеждой в голосе:

— Вот хорошо, если б сбылось. А как ты ду- маешь — сбудется?

— Наверняка! Мои сны почти всегда сбываются.

— Ноэль, если твой сон сбудется, я тебя расцелую! Слуга при главнокомандующем французской армией — ведь про него узнает весь свет! Дойдет и до нашей деревни. Пусть подивятся! А еще говорили, что из меня не будет толку. Так ты думаешь — сбудется?

— Ручаюсь.

— Ноэль, уж если сбудется — век тебе буду благо-

дарен! Одна ливрея, должно быть, чего стоит! Пусть узнают в деревне, то-то будут дивиться эти олухи! «Слыхали, скажут, наш-то Паладин — слуга у самого главнокомандующего, у всех на виду! До него теперь, скажут, рукой не достанешь!

Он стал расхаживать по комнате и так раз мечтался, что мы не могли за ним угнаться. Но вдруг он остановился; радость на его лице померкла и сменилась тревогой. Он сказал:

— Ох нет, не бывать этому! Как же это я позабыл про ту несчастную историю в Туле? Я с тех пор старался не попадаться ей на глаза, думал — забудет и простит. Да нет, не забудет! Разве можно такое забыть? А ведь если рассудить, я не виноват. Почему я говорил, что она обещала выйти за меня замуж? Потому что меня подучили, ей-богу подучили! — Дюжий детина готов был заплакать. Он проглотил слезы и сказал сокрушенно: — Раз только в жизни и соврал, и надо же было...

Его прервали негодующие возгласы, но не успел он продолжить, как явился ливрейный слуга д'Олона и сказал, что нас требуют в штаб. Мы встали, а Ноэль сказал:

— Ну, что я вам говорил? Недаром я, значит, пророчил! Сейчас он получит должность, а нам надо будет его поздравлять. Идем!

Но Паладин побоялся идти, и мы ушли без него.

Когда мы предстали перед Жанной, окруженной блестящими рыцарями в доспехах, она встретила нас приветливой улыбкой и сказала, что берет нас всех в свою свиту, ибо хочет иметь при себе старых друзей. Это было для нас неожиданной и большой честью — ведь она могла взять вместо нас знатных и влиятельных людей, — но мы не знали, как выразить ей свою благодарность и как говорить с ней, — ведь она была теперь так высоко вознесена над нами. Мы по очереди выходили вперед и получали назначение от нашего начальника д'Олона. Всем нам достались почетные должности: прежде всего — обоим рыцарям, потом братьям Жанны. Я был назначен первым пажом и секретарем, вторым пажом был молодой дворянин по имени Рэймон. Ноэля назначили гонцом для особых поручений. У нее было также два герольда и капеллан по имени

Жан Паскерель; еще ранее был назначен дворецкий и несколько слуг. Вдруг Жанна огляделась и спросила:

— А где же Паладин?

Сьер Бертран сказал:

— Он понял, что его не звали, ваша светлость.

— Нехорошо. Позовите его.

Паладин вошел со смиренным и виноватым видом. Он остановился в дверях, не решаясь подойти ближе. Было видно, что он испуган и растерян. Жанна приветливо обратилась к нему и сказала:

— Я следила за тобой в походе. Начал ты плохо, но потом пошло лучше. Ты с детства любил хвастать, но в тебе скрыта настоящая отвага, и ты у меня еще проявишь ее.

При этих словах лицо Паладина просияло:

— Ну как, пойдешь за мной?

— Хоть в огонь! — сказал он; а я подумал: «А ведь она, пожалуй, и в самом деле сделает героя из этого хвастуна. Вот еще одно из ее чудес».

— Верю, — сказала Жанна. — Вот — возьми мое знамя. Ты будешь при мне безотлучно, а когда Франция будет спасена, вернешь мне его обратно.

Он взял знамя, которое сейчас осталось нам как одна из драгоценнейших реликвий, и голос его дрожал от волнения, когда он произнес:

— Если я когда-нибудь окажусь недостойным твоего доверия, пусть мои товарищи покончат со мной, — я знаю, что могу в этом на них положиться.

Глава XI

КАМПАНИЯ НАЧИНАЕТСЯ

Мы с Ноэлем шли домой и долго молчали — так мы были поражены. Наконец Ноэль очнулся от раздумья и сказал:

— Первые станут последними, и наоборот, — это еще в евангелии сказано, так что нечего удивляться. Высоко, однако ж, вознесся наш верзила!

— Истинно так. Я сам еще не опомнился от удивления. Это ведь самая почетная должность, какую она могла дать.

— Да. Генералов много, и она может произвести еще и новых. А Знаменосец только один.

— Верно. После нее это в армии самая почетная должность.

— И самая завидная. На нее претендовали два герцогских сына, как мы знаем. И подумать, что она досталась этой самодовольной ветряной мельнице! Вот это, можно сказать, возвышение!

— Да, оно похоже на возвышение самой Жанны, только в миниатюре.

— Не знаю, чем объяснить это.

— А я, кажется, знаю.

Ноэль был удивлен и бросил на меня быстрый взгляд, чтобы увидеть, не шучу ли я. Он сказал:

— Я думал, ты шутишь, но вижу, что нет. Может, разгадаешь мне эту загадку?

— Пожалуй. Ты, верно, заметил, что старший из наших рыцарей человек вдумчивый и от него можно часто услышать разумное слово. Так вот, однажды, когда мы с ним ехали рядом, мы заговорили о необычайных дарованиях Жанны, и он мне сказал: «Величайший из ее талантов — это зоркий глаз». На это я сказал, не подумав: «Зоркий глаз? Что ж тут такого? Он у всех нас есть». — «Нет, — ответил он, — мало у кого он бывает». И он объяснил мне, что хотел сказать. Обыкновенный глаз видит внешнюю сторону вещей и по ней судит, а зоркий глаз смотрит глубже: он читает в сердцах и умеет видеть в человеке то, чего трудно ожидать по внешнему виду и чего не увидит обычному глазу. Величайший военный гений, сказал он, потерпит крах, если не имеет зоркого глаза и не сумеет правильно выбрать подчиненных. Такой глаз безошибочно видит, кто годится для стратегии, кто — для стремительной и дерзкой атаки, кто — для упорного, терпеливого сопротивления; он всех расставляет правильно — и этим побеждает; полководец, не наделенный зорким глазом, размещает их неправильно — и про-

игрывает. Я понял, что он прав относительно Жанны. Когда она была еще ребенком, к нам однажды забрел бродяга; ее отец и мы все сочли его негодяем, — а она разглядела под лохмотьями честного человека. Когда я обедал у правителя Вокулёра, я не сумел разглядеть наших рыцарей, хотя и беседовал с ними добрых два часа, Жанна пробыла там пять минут и не сказала с ними ни слова, а поняла, что это люди достойные и верные, — и суждение ее подтвердилось. А знаешь, кого она назначила в Блуа ведать новобранцами — этими остатками арманьякских шаек, этими отчаянными головами? Самого Сатану — Ла Гира, первого в мире забияку, безбожника и неистового богохульника! Кто же лучше него справится с этими дьяволами? Ведь он сам — главный дьявол, он один стоит всех остальных! Да к тому же, наверное, доводится отцом большинству из них. Она временно назначила его командовать ими, до своего приезда в Блуа, а там она, конечно, займется ими сама, — или я плохо ее знаю, даром что знаю столько лет! Будет на что поглядеть: ангел в белых доспехах во главе этого адского сброда, отребьев рода человеческого!

— Ла Гир! — воскликнул Ноэль. — Ведь это наш герой! Как мне не терпится увидеть его!

— И мне тоже. Для меня и теперь, как в детстве, его имя звучит словно боевая труба.

— Интересно послушать, как он ругается.

— Еще бы! Я лучше послушаю его ругань, чем чьи-нибудь молитвы. Говорят, он очень откровенен и простодушен. Однажды его упрекнули за то, что он грабит, а он сказал: «Если б господь бог был солдатом, он бы тоже грабил». Да, это как раз тот человек, которого надо было назначить в Блуа. Вот он — зоркий глаз нашей Жанны!

— погоди, давай вернемся к нашему разговору. Я очень привязан к Паладину, и не только потому, что он добрый малый, — он как бы мое детище: ведь это я сделал из него величайшего хвастуна и лгуна во всем королевстве. Я радуюсь его удаче, но у меня, значит, нет зоркого глаза: я бы не назначил его на самый

опасный пост в армии, а поместил бы его в тыл — добывать раненых и грабить убитых.

— Поживем — увидим. Жанна лучше нас знает, что из него может выйти. Ведь вот оно какое дело: когда такой человек, как Жанна, говорит кому-нибудь, что он храбрец, — он этому верит; а этого довольно. Если ты веришь, что ты храбрец, — ты уже храбрец; больше ведь ничего и не надо.

— Вот это верно! — вскричал Ноэль. — У нее не только зоркий глаз, у нее животворящие уста. Да, так оно и есть. Французов запугивали, вот они и были трусами. Жанна д'Арк сказала свое слово, и Франция идет в бой, смело подняв голову.

Тут меня позвали писать письмо под диктовку Жанны. Весь следующий день и ночь нам шили военную одежду и подгоняли доспехи. Все они были очень красивы — и парадные и боевые. В парадной одежде из дорогих тканей ярких цветов Паладин красовался, как башня в лучах заката; в боевом снаряжении — в стальных доспехах, опоясанный мечом, с перьями на шлеме — он выглядел еще внушительней.

Мы получили приказ выступить в Блуа. Утро было холодное и ясное. Наш блестящий отряд представлял собой красивое зрелище! Ехали колонной по двое — впереди Жанна с герцогом Алансонским, за ними — рослый Знаменосец и д'Олон. Когда мы проезжали мимо ликующих толп и Жанна, отвечая на приветствия, наклоняла голову, и перья на ее шапочке колыхались, а солнце играло на ее серебряном панцире, зрители понимали, что у них на глазах поднимается занавес над первым актом великой драмы; их надежда и восторг возрастали с каждой минутой, и мы не только слышали, но и всем существом ощущали их ликование. Вдруг ветер издалека донес к нам звуки военной музыки, и показался отряд копейщиков; солнце сияло на их оружии, и ярче всего — на остриях копий; казалось, к нам движется звездная туманность, а над ней — яркое созвездие. То был наш почетный караул. Он присоединился к нам, и теперь все были в сборе. Занавес поднялся. Жанна д'Арк выступила в свой первый поход.

ЖАННА ВООДУШЕВЛЯЕТ ВОЙСКО

Мы пробывали в Блуа три дня. Никогда не забуду я этот лагерь. Какой уж там порядок! Порядка у этих головорезов было не больше, чем в стае волков или гиен. Они пьянствовали, горланили, сквернословили и всячески бесчинствовали. В лагерь набежало немало распутных баб, и они не отставали от мужчин в шумной гульбе.

Среди этой-то разнузданной толпы мы с Ноэлем впервые увидели Ла Гира. Он оказался в точности таким, каким мы его себе представляли. Он был высок и осанист, с головы до ног в броне; на шлеме у него был султан из перьев, а на боку — огромный меч, какие тогда носили.

Он торжественно ехал навстречу Жанне и по пути наводил порядок, объявляя о прибытии Девы и говоря, что не потерпит безобразий в присутствии начальства. Порядок он наводил по-своему, главным образом своими огромными кулаками. Не переставая ругаться, он сыпал удары направо и налево, и от каждого удара кто-нибудь падал.

— Ты что же, черт тебя возьми, — говорил он, — не стоишь на ногах, когда к нам приехал главнокомандующий? Ты стой прямо! — И он валил солдата с ног. Это, должно быть, называлось у него стоять прямо.

Мы ехали за ним, восхищенно пожирая глазами этого любимого героя всех французских мальчишек, нашего общего кумира с тех пор, как мы себя помнили. Мне пришло на память, как однажды в лугах Домреми Жанна упрекнула Паладина за непочтительный отзыв о славном Ла Гире и Дюнуа и сказала, что почла бы за счастье хоть издали взглянуть на этих великих людей. Для нее и других девочек они были божествами, как и для нас. И вот перед нами один из них — зачем он тут? Трудно поверить: чтобы обнажить перед Жанной голову и выслушать ее приказания!

Пока он по-своему умирал своих разбойников, мы проехали вперед и увидели штаб Жанны — он весь уже

сехался к ней. Там было шестеро известных военачальников — красавцев в блестящих доспехах, и самым красивым и бравым из них был адмирал Франции.

Когда Ла Гир подъехал, на лице его выразилось изумление при виде красоты и юности Жанны; а Жанна счастливой улыбкой показала, как рада увидеть наконец героя своих детских дум. Ла Гир низко склонился, держа шлем в руке, и отрывисто, но сердечно приветствовал ее; было видно, что они сразу понравились друг другу.

Церемония представления быстро закончилась, и все удалились. Но Ла Гир остался; он сидел с Жанной, пил вино, и они беседовали и смеялись, как старые друзья. И тут она сделала некоторые распоряжения по лагерю, от которых у него захватило дух. Для начала она велела выгнать из лагеря гулящих баб, — всех до единой. А потом велела прекратить пьяные бесчинства, позволять вино лишь тогда, когда это не вредит службе, — словом, покончить с беспорядком и ввести дисциплину. Самое удивительное она приберегла под конец, — и от такого удара Ла Гир едва не свалился.

— Каждый, кто пришел под мои знамена, должен исповедаться священнику и получить отпущение грехов, и все воины должны дважды в день слушать мессу.

Ла Гир долго не мог вымолвить слова, а потом сказал уныло:

— Милое дитя, ведь мои молодцы — сущие дьяволы. Ходить к мессе! Да они, душа моя, скорее пошлют нас ко всем чертям!

Вперемежку с руганью он стал приводить доводы, которые очень насмешили Жанну: так весело она не смеялась с тех пор, как играла в лугах Домреми. Сердце радовалось, слушая ее. Но она стояла на своем, и ему пришлось уступить, — он сказал: «Хорошо, раз приказано, постараемся выполнять». После этого он облегчил душу оглушительным залпом ругани и пообещал, что если кто в лагере не отречется от греховной жизни и не вступит на стезю благочестия, тому он свернет голову. Тут Жанна снова не могла удержаться от смеха, — как видите, ей было с ним очень весело, —

но она не одобрила такой способ обращения. Она сказала, чтобы все делалось добровольно.

Ла Гир сказал: ладно, добровольных он убивать не будет, а только тех, кто заупрямится. «Нет, не надо вообще никого убивать», — сказала Жанна. Предлагать человеку вступать добровольцем в армию, а в случае несогласия грозить ему смертью, это, как-никак, некоторое принуждение, а она хотела бы предоставить людям полную свободу.

Старый вояка вздохнул и сказал, что оповестит солдат о мессах, но сомневается, чтобы хоть один человек пошел, в том числе и он сам. Тут его ждал новый сюрприз. Жанна сказала:

— Да ведь и *ты* пойдешь, милый человек!

— Я? Быть того не может! Чепуха!

— А вот и нет! Будешь ходить дважды в день.

— Уж не сплю ли я? Или, может, я пьян? Или ослышался? Да я скорее пойду...

— Не важно куда — не договаривай. Ты начнешь с завтрашнего утра, а там уж дело пойдет легче. Ну полно, не унывай. Ты скоро привыкнешь.

Ла Гир попытался приободриться, но не сумел. Он тяжело вздохнул и сказал:

— Для тебя, так и быть, сделаю. Но чтоб я стал это делать для кого-нибудь другого — да чтоб...

— Ты бы отучился ругаться.

— Отучиться? Невозможно! Нет, ваша светлость, никак невозможно! Ведь это мой родной язык.

Он так умолял разрешить ему эту вольность, что Жанна сделала ему некоторое снисхождение: вместо божбы позволила клясться жезлом — знаком его должности.

Он обещал при ней не клясться ничем иным, а в другое время попробовать себя ограничить, но не надеялся на успех — уж очень это у него закоренелая привычка и большое утешение под старость.

Однако грозный старый лев ушел от нее изрядно прирученным и смягченным; не скажу — усмирленным и укрощенным, — очень уж не подходят к нему эти слова. Мы с Ноэлем полагали, что в отсутствие Жанны закоренелое отвращение к молитве снова возьмет верх

и он не пойдет к мессе. Но мы все же поднялись пораньше, чтобы поглядеть, что будет.

Представьте, он пошел! Мы не верили своим глазам, но он пошел, добросовестно выполняя приказ и стараясь принять набожный вид, хотя про себя ворчал и ругался, как дьявол. Снова повторилась знакомая нам картина: всякий, кто поговорил с Жанной д'Арк и взглянул в ее глаза, бывал точно околдован и не мог ей противостоять.

Итак, Сатана был обращен в христианство. Остальные не замедлили последовать его примеру. Жанна разъезжала по лагерю, и всюду, где появлялся ее светлый юный лик и сверкающие доспехи, грубым солдатам казалось, что они видят самого бога битвы, сошедшего с небес; сперва они дивились ей, потом стали поклоняться. Она могла делать с ними все что хотела.

Спустя три дня в лагере царил порядок; буйные гуляки дважды в день ходили к мессе, как благонравные дети. Женщины исчезли. Ла Гир был поражен этими чудесами и не мог их постичь. Когда ему хотелось выругаться, он отходил подальше от лагеря. Таков был этот человек — великий грешник, но полный суеверного благоговения перед святынями.

Воодушевление, царившее в преобразованном войске, преданность солдат Жанне, пробужденное ею горячее стремление сразиться с врагом — всему этому не было примеров в многолетнем военном опыте Ла Гиры. Он был восхищен и поражен этим, как необъяснимым чудом, — настолько поражен, что не мог найти слов. До тех пор он не слишком высоко ценил свое войско, но теперь исполнился гордости и беспредельной уверенности. Он говорил:

— Всего три дня назад они испугались бы курицы, а сейчас с ними можно штурмовать хоть врата ада.

Он был неразлучен с Жанной, и странно было видеть их вместе. Он был такой огромный, а она такая хрупкая; он седой и уже на склоне лет, а она такая юная; его лицо было обветрено и изрублено, а ее лицо нежно розовело; она была так приветлива, а он так суров; она была так чиста и невинна, а он закончил в грехах. В ее глазах светилось милосердие и

сострадание, а его взгляд метал молнии. Когда она глядела на вас, она словно благословляла, — ну, а он, пожалуй, наоборот.

Много раз в день они проезжали вместе по лагерю, осматривая каждый уголок, все замечая, проверяя и улучшая каждую мелочь, и всюду их встречали с восторгом. Они ехали рядом, — он громадный и массивный, она — изящная и хрупкая; точно башня из темного железа рядом с серебряным изваянием. При виде их новообращенные разбойники говорили с любовью:

— Вон они едут — Сатана и ангел божий.

Все три дня, что мы провели в Блуа, Жанна неустанно старалась обратить Ла Гира к богу, внушить ему отвращение к греху, внести успокоение веры в его бурную душу. Она упрашивала, она умоляла его помолиться. Все три дня он противился и жалобно просил избавить его от этого, — только от этого, а на все другое он согласен; пусть прикажет — он пойдет за нее в огонь, пойдет по одному ее слову; а этого он не может. Не умеет он молиться, ни разу не доводилось; да он и слов таких не знает.

И все-таки — поверите ли? — Жанна и тут сумела настоять, и тут победила. Она-таки заставила Ла Гира помолиться. Это показывает, что для Жанны д'Арк не было ничего невозможного. Да, он стал перед ней, воздел к небу руки в железных рукавицах и произнес молитву. И не заученную, а собственную, целиком из своих слов. Он сказал:

— Доблестный сир господь! Прошу вас поступать с Ла Гиrom так, как он поступал бы с вами, будь вы — Ла Гиrom, а он — господом!¹

Потом он надел шлем и вышел из палатки Жанны весьма довольный собою, как всякий, кто уладил щекотливое и трудное дело к общему удовольствию.

Если б я знал, что он только что помолился, я бы

¹ За последние четыреста шестьдесят лет эта молитва много раз присваивалась представителями самых различных наций; но автором ее является Ла Гир, и это записано в национальных архивах Франции. Могу сослаться на Мишле. (Прим. переводчика.)

понял, отчего у него был такой гордый вид; но я не мог этого знать.

Я как раз подходил к палатке, когда он вышел оттуда, и невольно залюбовался его победоносным видом. Но, подойдя к дверям палатки, я отступил, огорченный и смущенный, — мне послышалось, что Жанна Гюрько и безутешно рыдает. Однако я ошибся: это был смех; она смеялась над молитвой Ла Гира.

Лишь тридцать шесть лет спустя я узнал, чему она смеялась, и вот тут-то я заплакал — о, как горько я заплакал, когда из тумана далекого прошлого передо мной встало это беззаботное молодое веселье! Потому что с тех пор в моей жизни был день, когда я невозвратно утратил благословенный дар смеха.

Глава XIII

КАК НАМ МЕШАЛА ГЛУПОСТЬ МУДРЕЦОВ

Мы выступили на Орлеан со значительными силами. Наконец-то начинала сбываться великая мечта Жанны. Никто из нас, юнцов, не видел до тех пор армии, и нам теперь представилось внушительное и величественное зрелище. Сердце радовалось при виде бесконечной колонны, которая терялась вдаль, извиваясь вдоль дороги точно гигантская змея. Впереди ехала Жанна и ближайшие к ней лица, затем священники со знаменем креста, с пением «*Veni, Creator*»;¹ за ними двигался целый лес сверкающих копий. Отдельными полками командовали лучшие полководцы-арманьяки: Ла Гир, маршал де Буссак, сьер де Рец, Флоран д'Иллье и Потон де Сентрайль.

Все это были буйные головы, один другого своевольнее; они немногим отличались от Ла Гира. Это были, по сути дела, официально признанные разбойничьи атаманы; долгая привычка к беззакониям уничтожила в них всякое понятие о повиновении, если оно когда-нибудь и было.

¹ Приди, создатель (лат.).

От короля они получили приказ «во всем подчиняться главнокомандующему и ничего не предпринимать без его ведома и разрешения».

Но какой был толк от такого приказа? Эта вольница не признавала над собой никаких законов. Они редко повиновались даже королю, разве только когда это совпадало с их собственными желаниями. Можно ли было ожидать, что они станут повиноваться Деве? Во-первых, они не привыкли повиноваться кому бы то ни было; во-вторых, они не могли принимать всерьез такого начальника — семнадцатилетнюю крестьянскую девушку. Когда сумела она обучиться трудному и страшному военному ремеслу? Уж не тогда ли, когда пасла овец?

Они не собирались ей повиноваться, разве только в тех случаях, когда их опыт и военные знания подтвердят, что ее приказ отвечает всем правилам военной науки. Можно ли осуждать их за это? Едва ли. Старые, обстрелянные ветераны — люди практические; им не легко уверовать в способность неопытной девочки составить план кампании и повести за собой войско. Ни один полководец не мог поверить в военный гений Жанны до того, как она сняла осаду Орлеана, а затем предприняла знаменитую Луарскую кампанию.

Считали ли они Жанну совершенно ненужной? Отнюдь нет. Они считали, что она нужна им, как солнце — плодородной земле; они полагали, что она может вырастить урожай, но собирать его считали своим, а не ее делом. Они суеверно чтили ее как существо, наделенное сверхъестественной силой и способное поэтому свершить то, чего не могли сделать они, — вдохнуть жизнь и мужество в мертвое тело армии и превратить ее в армию героев.

Им казалось, что они могут все, когда она с ними, и ничего — без нее. Она могла воодушевить солдат перед боем, но вести бой — это уж целиком их дело. Сражаться будут они, полководцы, а победу принесет Жанна, вдохновляя солдат. Таково было их мнение; сами того не зная, они перефразировали ответ Жанны доминиканскому монаху.

Они начали с того, что обманули ее. У Жанны был ясный план действий. Она хотела идти прямо на Ор-

леан по северному берегу Луары. Такой приказ она и отдала своим военачальникам. А они сказали про себя: «Это безумие, это было бы крупнейшей ошибкой, — ну чего можно ожидать от ребенка, который ничего не смыслит в битвах?» Тайком от Жанны, они уведомили об этом Дюнуа. Он тоже счел приказ безумным, — по крайней мере таким он показался ему тогда, — и посоветовал военачальникам как-нибудь обойти его.

И вот они обманули Жанну. А она доверяла им и не ожидала от них подобного поступка. Это послужило ей уроком, и она позаботилась о том, чтобы это не могло повториться.

Почему же план Жанны показался ее штабу безумным? Потому что она хотела сразу снять осаду, немедленно дать бой; они же хотели осадить осаждающих и взять их измором, отрезав их коммуникации, — а на это требовались месяцы.

Англичане возвели вокруг Орлеана ограду из крепостей, так называемых бастioned, и замкнули таким образом все ворота города, кроме одних. Французским полководцам казалось безрассудным самое намерение прорваться мимо этих крепостей и ввести армию в Орлеан; они считали, что армия будет уничтожена. Их мнение было, конечно, обоснованно с военной точки зрения, — вернее, было бы обоснованно, если б не одно обстоятельство, которое они упустили из виду. Английские солдаты были охвачены суеверным ужасом и совершенно утратили способность сражаться. Они вообразили, что Дева заключила союз с дьяволом. От этого они потеряли изрядную долю своей храбрости. Солдаты Девы, напротив, были полны отваги и воодушевления.

Жанна могла бы прорваться мимо английских укреплений. Но этому не суждено было свершиться: первая возможность нанести удар в борьбе за родину была отнята у нее обманом.

В ту ночь, в лагере, она уснула на земле, не снимая доспехов. Ночь была холодная, и когда мы наутро продолжали наш путь, она вся заоченела и едва могла разогнуться, — железо плохо заменяет одеяло. Но

радость близкого свершения горела в ней так ярко, что она скоро согрелась.

Ее воодушевление, ее радостное нетерпение возрастали с каждой милей пути. Но вот мы добрались до Оливе, и радость ее угасла и сменилась негодованием. Она поняла, что ее обманули: между нею и Орлеаном оказалась река.

Она хотела захватить один из трех бастионов, находившихся по эту сторону реки, и прорваться к мосту, — если бы это удалось, осада была бы снята немедленно; но страх перед англичанами глубоко укоренился в полководцах, и они упросили ее не предпринимать атаки. Солдаты рвались в бой и были разочарованы. Мы пошли дальше и остановились напротив Шеси, на шесть миль выше Орлеана.

Незаконнорожденный сын принца Орлеанского с делегацией рыцарей и горожан явился из города приветствовать Жанну. Она все еще негодовала на обман и не была расположена к приветственным речам, даже когда перед ней оказался один из героев, которых она привыкла чтить с детства. Она спросила:

— Ты и есть Дюнуа?

— Да, и я рад твоему прибытию.

— Не ты ли посоветовал завести меня на этот берег, вместо того чтобы идти прямо на Тальбота и англичан?

Эта резкость и прямота смутили его, и он не сразу нашел, что ответить; запинаясь и оправдываясь, он признался, что он и совет действительно решили так из стратегических соображений.

— Клянусь богом, — сказала Жанна, — господь мудрее вас и ваших соображений. Вы думали обмануть меня, а обманули сами себя. Я привезла вам самую могучую помощь, какую имело когда-либо войско или город; это помощь свыше, ниспосланная не ради меня, а волею божьей. По молитве святого Людовика и святого Шарлеманя, господь сжалился над Орлеаном, — он не допустит, чтобы врагу достались и город и герцог Орлеанский. Я привезла провиант для голодающих жителей. Но все лодки стоят ниже по течению, а ветер

противный, и им сюда не добраться. Во имя бога скажи мне, мудрец, о чем думал твой совет, когда придумал такую глупость?

Дюнуа и остальные, немного помявшись, вынуждены были признаться, что оплошали.

— Да, очень оплошали, — сказала Жанна. — Разве что господь сам возьмется за дело вместо вас и переменит ветер, чтобы исправить вашу оплошность, — а иначе ничем здесь не поможешь.

Тут некоторые начали понимать, что при всей неопытности Девы в ратном деле у нее много здравого смысла и что при всей ее кротости она не из тех, кто позволит себя дурачить.

Бог взял на себя исправление ошибки: по его соизволению ветер переменялся. Лодки, нагруженные продовольствием и скотом, смогли подняться против течения и доставили голодающему городу долгожданную помощь, — это отлично удалось под прикрытием вылазки со стен против бастиона Сен-Лу. Тогда Жанна, снова принялась за Дюнуа:

— Видишь армию?

— Вижу.

— А как она тут оказалась, по решению твоего совета?

— Да.

— Тогда пусть твой мудрый совет объяснит, почему ей лучше стоять здесь, чем, скажем, на дне морском?

Дюнуа попытался было объяснить необъяснимое и оправдать непростительное, но Жанна прервала его:

— Ты мне вот что скажи, рыцарь: есть какой-нибудь толк от армии на этой стороне?

Дюнуа сознался, что никакого — если следовать ее плану.

— И, зная это, ты все же осмелился послушаться моего приказа? А раз место армии на том берегу, скажи: как, по-твоему, переправить ее туда?

Тут уж стало очевидно, какая вышла путаница. Увертки были бесполезны, и Дюнуа признал, что поправить дело можно, только если вернуться с армией в Блуа и снова подойти к Орлеану по другому берегу, — как и хотела Жанна с самого начала.

Любая другая девушка, одержав подобную победу над опытным воином, могла бы возгордиться — и с полным основанием; но Жанна была не такова. Она кратко выразила сожаление о напрасно потерянном драгоценном времени и тут же приказала войскам повернуть назад. Ей жаль было отпускать войско: воодушевление воинов было так велико, что она не побоялась бы выступить с ними против всей Англии.

Приказав главным силам возвращаться, Жанна взяла с собой Дюнуа, Ла Гира и тысячу солдат и направилась в Орлеан, где все ожидали ее с лихорадочным нетерпением. В восемь часов вечера она въехала со своим войском через Бургундские ворота; впереди нее ехал Паладин со знаменем. Жанна ехала на белом коне и держала в руке священный меч из Фьербуа. Надо было видеть, что творилось в Орлеане! Что это была за картина! Темное море людских голов, созвездия бесчисленных факелов, ураган восторженных приветствий, оглушительный звон колоколов и грохот пушечного салюта. Настоящее светопреставление! В свете факелов виднелись тысячи запрокинутых лиц, залитых слезами, и никто не вытирал слез, и каждый что-то кричал. Жанна медленно пробиралась в густой толпе, выделяясь на ее фоне точно серебряное изваяние. Люди рвались к ней со всех сторон и глядели на нее сквозь слезы восторга, точно созерцали небесное видение. Они благодарно целовали ей ноги, а те, кто не мог дотянуться до нее, старались коснуться хотя бы ее коня, а потом целовали свои пальцы. Ни одно движение Жанны не ускользало от внимания толпы; все, что она делала, обсуждалось с восхищением. В толпе то и дело слышалось:

— Смотрите, смотрите — улыбнулась!

— Сняла свою шапочку с перьями и кого-то приветствует. О, сколько в ней грации! Как красиво она кланяется!

— Смотри: гладит женщину по голове!

— Да она точно родилась на коне! Видели, как ловко она повернулась в седле и поцеловала рукоятку меча? Это она благодарит вон тех дам в окне, что бросили ей цветы.

— А вон какая-то бедная женщина подносит ей ребенка, — она целует ребенка. О, она святая!

— А как она хороша на коне! Как светел ее прекрасный лик!

Ветер развеивал длинное знамя Жанны, — и тут произошло замешательство: пламя факела подожгло его бахромю. Она наклонилась с седла и затушила пламя рукой.

— Она не боится огня! Она ничего не боится! — закричала толпа и разразилась целой бурей восторженных рукоплесканий.

Жанна подъехала к собору — вознести благодарность богу; народ набился туда, чтобы помолиться вместе с ней. Потом она двинулась дальше и медленно поехала через толпу и лес факелов к дому Жака Буше, назначая герцога Орлеанского, куда была приглашена на все время своего пребывания в городе; ее поместили там вместе с юной хозяйской дочерью. Народ ликовал всю ночь; всю ночь не умолкали колокола и пушки.

Жанна д'Арк выступила наконец на сцену и готовилась начинать,

Глава XIV

ЧТО ОТВЕТИЛИ АНГЛИЧАНЕ

Она была готова, но вынуждена бездействовать и ждать, когда у нее будет войско.

На следующее утро, в субботу 30 апреля 1429 года, она осведомилась о гонце, отправленном к англичанам из Блуа с посланием — тем самым, которое она продиктовала в Пуатье. Вот этот документ, замечательный во многих отношениях: прямотой и деловитостью, силой выражения, душевным подъемом и наивной верой в способность выполнить великую задачу, взятую ею на себя, — или возложенную на нее, как вам будет угодно. В этих строках как бы слышится шум битвы и грохот барабанов. В них живет воинственная душа Жанны, а другая Жанна — кроткая маленькая пастуш-

ка — скрывается из виду. Неграмотная деревенская девушка, непривычная диктовать что бы то ни было, а тем более официальные послания монархам и полководцам, продиктовала эти решительные, сильные слова с такой легкостью, словно занималась этим с детства:

«В имя Иисуса и пресвятой девы Марии!

Король Англии, и ты, герцог Бедфорд, именующий себя регентом Франции, и вы, Уильям де ла Поль, граф Суффольк, и Томас лорд Скейлс, называющие себя наместниками упомянутого Бедфорда! Призываю вас исполнить волю божью. Отдайте Деве, посланной богом, ключи от всех славных городов, которые вы захватили и разграбили во Франции. Дева послана богом восстановить в правах Французский королевский дом. Она охотно пойдет на мир с вами, если вы покинете Францию и возместите причиненный королевству ущерб. А вам, лучники и другие ратники, дворяне и простолюдины, стоящие под славным городом Орлеаном, именем божьим приказываю уйти восвояси, иначе Дева скоро явится к вам сама, и тогда — горе вам! Король Англии, если не исполнишь этого, то знай: я встала во главе войска и буду гнать всех англичан из Франции, хотяют они того или нет. Кто не уйдет добром, тех я буду убивать, но кто уйдет добром, тем будет пощада. Я послана господом, владыкою небес, чтобы изгнать вас из Франции, хотя изменникам отечества и не хотелось бы этого. Не надейся, что когда-нибудь получишь королевство французское в ленное владение от царя небесного, сына пресвятой девы Марии; им будет владеть король Карл, ибо такова воля божья, которую он возвестил королю через Деву. А если ты не веришь, что такова божья воля, возвещенная Деве, то мы будем биться с вами всюду, где вас встретим, и дадим вам бой, какого не видали во Франции тысячу лет. Знай, что бог даровал Деве больше мощи, чем ее может быть во всех полках, которые ты выставишь против нее и ее славных воинов. А тогда посмотрим, кто одолеет — царь небесный или ты.

А тебя, герцог Бедфорд, Дева просит не искать собственной гибели. Если послушаешь меня, мы славно повоюем вместе там, где французам суждено свершить величайшие в христианском мире подвиги, а если нет — придется тебе скоро расплачиваться за твои великие злодеяния».

В этих заключительных строках Жанна предлагала герцогу идти вместе с нею в крестовый поход в Святую Землю. Ответа на послание не было, и гонец не вернулся.

Тогда она отправила своих двух герольдов с новым посланием, требуя, чтобы англичане сняли осаду и отпустили гонца. Герольды вернулись без него. Они привезли от англичан предупреждение, что они поймают Деву и сожгут ее на костре, если она «немедленно не вернется к своему делу — пасти коров».

На это Жанна сказала только: очень жаль, что англичане сами накликают на себя беду и гибель; а ведь она «хотела бы дать им уйти подобру-поздорову».

Потом она обдумала новое предложение, которое считала приемлемым для англичан, и сказала герольдам: «Возвращайтесь и скажите от меня лорду Тальботу: пусть выходит из бастийонов со всем войском, а я выйду с моим; если я их побью — они уйдут с миром из Франции; если они меня — могут сжечь меня на костре».

Сам я этого не слышал; об этом рассказал Дюнуа. Вызов не был принят. В воскресенье утром Голоса — или некое внутреннее чувство — предупредили ее, и она послала Дюнуа в Блуа — стать во главе войска и немедленно идти на Орлеан. Это было мудрым решением: оказалось, что Реньо Шартрский и другие королевские любимцы уже старались распустить армию и всячески мешали военачальникам Жанны готовить поход на Орлеан. Экие негодяи! Они попытались привлечь на свою сторону Дюнуа; но он уже однажды расстроил планы Жанны и потом имел основания пожалеть об этом; больше он решил ей не перечить и двинул войска в поход.

МОЯ ПРЕВОСХОДНАЯ ПОЭМА ПРОПАДАЕТ ДАРОМ

А мы, приближенные Жанны, в ожидании, когда подойдет армия, жили в каком-то волшебном чаду. Мы бывали в самом лучшем обществе. Это было не в диковину нашим двум рыцарям; но для нас, деревенских парней, это была новая и чудесная жизнь. Любая служба при Деве считалась весьма почетной, поэтому нас носили на руках. Братья д'Арк, Ноэль, Паладин и другие — простые крестьяне у себя дома — здесь были важными особами. Удивительно, как быстро их деревенская робость и неуклюжесть растаяли под лучами всеобщего внимания и как быстро они освоились со своим новым положением. Паладин был на вершине блаженства. Язык его молот без усталости, и собственная болтовня ежедневно доставляла ему новое наслаждение. Он начал расширять свою родословную во все стороны и раздавал дворянство своим предкам направо и налево; скоро почти все они были уже герцогами. Он заново выправил все рассказы о битвах и украсил их новыми великолепными подробностями, а также новыми ужасами, потому что теперь он добавил к ним артиллерию. Мы впервые увидели пушки в Блуа, и там их было всего несколько штук; здесь их было множество, и нам иной раз являлось внушительное зрелище английского бастиона, скрывающегося в дыму своих собственных орудий, пронизанном красными копьями пламени. Это грозное зрелище и громовые раскаты, грохотавшие за дымовую завесой, воспламенили воображение Паладина и помогли ему так расписать наши мелкие походные стычки с противником, что никто бы их не узнал, — разве только те, кто при этом не был.

Вы, вероятно, догадались, что у Паладина появился новый источник вдохновения. Вы не ошибаетесь, — это была Катерина Буше, восемнадцатилетняя хозяйская дочь, очень красивая девушка. Она могла бы поспорить красотой с самой Жанной, если бы у нее были такие же глаза. Но этого не могло быть: других таких глаз не было на земле и не будет. Глаза у Жанны

были так глубоки и чисты, какими не бывают земные очи, они говорили, они не нуждались в помощи слов. Одним своим взглядом Жанна могла выразить все, что хотела. Этот взгляд мог уличить лжеца и заставить его сознаться; он мог укротить гордеца и вселить в него смирение; мог придать мужество трусу и сковать отвагу самого отважного. Ее взгляд смирал злобу и ненависть, умиротворял бушующие страсти; он мог вдохнуть веру в неверного и надежду в тех, кто отчаялся; мог очистить дурные помыслы; мог убедить — да, главное — *убедить* кого угодно. Бесноватый из Домреми; священник, изгнавший лесовичков; духовный трибунал Туля; суеверный и робкий дядя Лаксар; упрямый правитель Вокулёра; безвольный наследник французского престола; ученые мужи из парламента и университета в Пуатье; нечестивец Ла Гир, баловень сатаны; своевольный Дюнуа, не признававший над собой ничьей власти, — вот перечень тех, кого победило ее чудесное и таинственное обаяние.

Мы были на равной ноге со знатными людьми, стескавшимися в дом, чтобы познакомиться с Жанной; все оказывали нам почет, — и мы были на седьмом небе. Но еще счастливее были те вечера, которые мы проводили в тесном кругу хозяйской семьи и ближайших друзей. В таких случаях все мы, пятеро юнцов, особенно старались отличиться и обратить на себя внимание Катерины. Никто из нас еще не бывал влюблен, а теперь, на наше несчастье, все мы влюбились в одну девушку — и притом с первого взгляда. Это было веселое и жизнерадостное создание, и я до сих пор с нежностью вспоминаю те немногие вечера, которые я имел счастье провести в ее милом обществе и в обществе ее близких.

В первый же вечер Паладин заставил всех нас терзаться ревностью: стоило ему завести рассказ о своих битвах, как он завладевал общим вниманием, а все остальные оказывались в тени. Его слушатели уже семь месяцев терпели бедствия подлинной войны, и их чрезвычайно забавляли вымышленные битвы, о которых распространялся наш хвастливый великан, и потоки крови, в которых он буквально плавал. Катерина по-

лучала от этих рассказов огромное удовольствие. Она не смеялась вслух — как того хотелось бы нам, — а прятала лицо за веером и тряслась от смеха так, что мы опасались, как бы она не лопнула. Когда Паладин кончал одну из своих битв и мы начинали надеяться, что можно будет переменить тему, она нежным голоском — таким нежным, что было просто обидно слышать! — переспрашивала его о каком-нибудь обстоятельстве, которое якобы очень ее интересовало, и просила рассказать об этом еще раз, поподробнее. Приходилось снова выслушивать все с самого начала, с добавлением еще сотни небылиц, которые не пришли ему на ум с первого раза.

Не могу описать, как я страдал. Мне ни разу прежде не приходилось испытывать ревности; было невыносимо, что этому негодяю так незаслуженно везло, а я оставался незамеченным, когда я жаждал хотя бы тысячной доли того внимания, которое расточала ему моя красавица. Я сидел подле нее и не раз порывался сказать, что и я тоже участвовал в этих сражениях, хоть мне и стыдно было пускаться на такие уловки; а она желала слушать только про подвиги Паладина... Однажды я отвлек на миг ее внимание, но она что-то недослышала из его вранья и попросила повторить — тем самым вдохновив его на новую битву, куда более кровавую, — а я был так огорчен своей неудачей, что больше уж и не пытался.

Остальные были не меньше меня возмущены наглостью Паладина и его успехом, больше всего — последним. Мы вместе обсуждали нашу беду. Это уж всегда так бывает, что соперники становятся братьями, когда один счастливец одерживает победу над всеми.

Каждый из нас мог бы чем-нибудь блеснуть, если бы не этот негодяй, который не давал никому вставить слова. Я, например, сочинил поэму, потратив на это целую ночь, где в возвышенных словах воспел красоту нашей очаровательницы; я не называл ее имени, но всякий мог о нем догадаться уже по одному заглавию: «Орлеанская роза». В поэме говорилось о том, как на поле брани расцветает нежная и непорочная белая роза, как она кроткими очами взирает на ужасы боя и —

заметьте, какой тонкий образ! — краснея от стыда за людскую жестокость, превращается в *алую розу*. В алую, — а раньше была белой. Целиком моя идея, и совершенно новая. Роза разливает нежное благоухание над осажденным городом, и неприятельские войны, вдохнув его, *слагают оружие и рыдают*. Это тоже была моя идея, и тоже новая. На этом кончалась первая часть поэмы. Дальше я сравнивал Катерину с небосводом — не со всем, разумеется, а только с частью. Она была луной, а окружавшие ее созвездия пылали к ней любовью; но она им не внимала, — и они знали, что она любит другого. Другого, который в это время воюет на земле, не страшась ранений и смерти, — воюет со злобным врагом на поле брани, чтобы спасти возлюбленную от безвременной гибели, а ее родной город — от разрушения. Когда несчастные влюбленные созвездия узнают, что для них нет надежды, сердца их разбиваются, — заметьте эту интересную мысль, — а их огненные слезы стекают с небесного свода; и эти слезы — не что иное, как *падающие звезды*. Чересчур смело, пожалуй, но зато как красиво! Красиво и трогательно, особенно когда изложено рифмой. Каждая строфа кончалась рефреном, где говорилось о бедном влюбленном, навеки разлученном с предметом своей любви: как он томился, бледнел, таял и близился к могиле; это было самое трогательное место, и ребята едва удерживались от слез, когда Ноэль читал его. В первой части поэмы, где говорилось про розу, — то есть в ботанической части, если только мое скромное сочинение заслуживает такого названия, — было восемь строф по четыре строки; и столько же в астрономической части, — всего шестнадцать строф. Я мог бы сочинить и полтора-ста — так я был вдохновлен и полон высоких мыслей, — но это было бы слишком длинно для чтения вслух в обществе; а шестнадцать — это как раз столько, сколько нужно: можно было даже повторить, если попросят.

Товарищи мои были поражены, что я мог сочинить подобную вещь; да и сам я был поражен не меньше других, потому что не подозревал этого в себе. Спроси меня кто-нибудь еще накануне — могу ли я, я бы честно ответил: нет, не могу.

Так бывает всегда: можно прожить полжизни и не знать, на что ты способен, — а ведь способность-то всегда при тебе и ждет только случая, чтобы проявиться. В нашей семье так уж повелось. У деда был рак, но, пока он не умер, никто этого не знал, даже он сам. Удивительно, как глубоко таятся в нас болезни и таланты. Мне было достаточно встретить прекрасную девушку, и вот на свет родилась поэма, а записать и зарифмовать ее оказалось сущим пустяком — не трудней, чем запустить камнем в собаку. Спроси меня кто-нибудь, могу ли я сделать подобное, я бы ответил, что не могу; а ведь смог же!

Товарищи наперебой расхваливали меня и удивлялись. Больше всего им нравилось, что Паладин будет наконец посрамлен. Они только об этом и говорили — до того им не терпелось утереть ему нос. Ноэль Рэнгесон был вне себя от восхищения: вот бы *ему* так сочинять! Но где уж ему! Он за полчаса выучил поэму наизусть, и надо было слышать, как хорошо и трогательно он ее декламировал. Это он умел; и еще он умел очень похоже изображать людей. Он мог изобразить Ла Гира, как живого, да и не только его, а кого угодно. Я не умею читать стихи, и когда попробовал прочесть свои, мне не дали кончить, — все потребовали, чтобы читал Ноэль. А раз я хотел, чтобы поэма понравилась Катерине и всему обществу, я и поручил чтение Ноэлю. Он был вне себя от восторга. Сперва он даже не хотел верить, что я говорю серьезно. Но я сказал, что с меня довольно, если он назовет меня как автора поэмы. Ребята ликовали, а Ноэль сказал, что пусть только ему дадут выступить — он покажет, что есть нечто более прекрасное и высокое, чем вранье про победы!

Но как найти случай выступить? Вот в чем была трудность. Мы прикидывали и так и этак — и наконец составили отличный план. Мы решили дать Паладину начать рассказ про битвы, а потом под каким-нибудь предлогом вызвать его из комнаты; как только он выйдет, Ноэль займет его место, станет его передразнивать и окончит рассказ в манере самого Паладина. Это наверняка будет иметь успех и подготовит слушателей к поэме. Два таких торжества прикончат нашего Знаме-

носса — или хотя бы заставят присмиреть, — а тогда и на нас обратят хоть какое-нибудь внимание.

Весь следующий вечер я нарочно держался в стороне, дожидаясь, пока Паладин разойдется как следует и вихрем помчится на неприятеля во главе своего полка; тут я в полной форме появился в дверях и объявил, что посланный от генерала Ла Гира желает видеть Знаменосца. Паладин вышел, а Ноэль занял его место и сказал, что, хотя и случилась досадная помеха, он может, если обществу угодно, продолжить рассказ, ибо хорошо знаком со всеми подробностями битвы, о которой только что шла речь. Не дожидаясь просимого разрешения, он превратился в Паладина — разумеется, уменьшенного в размерах — со всеми его интонациями, жестами и позами и продолжал рассказ. Трудно представить себе более точное и уморительное подражание. Слушатели извивались и корчились от смеха, и по щекам их текли слезы. Чем больше они смеялись, тем больше вдохновлялся Ноэль, тем большие чудеса он творил, пока смех не перешел в стоны. Лучшее всего было то, что Катерина Буше просто умирала со смеху, так и покатывалась. Вот это была победа! Настоящий Азенкур!

Паладин отсутствовал каких-нибудь две минуты: он обнаружил, что с ним сыграли шутку, и вернулся. Подойдя к двери, он услышал выступление Ноэля и понял, в чем дело. Он спрятался за дверьми и дослушал до конца. Ноэля наградили восторженными рукоплесканиями; слушатели никак не хотели успокоиться и просили повторения.

Но Ноэль был умен. Он знал, что когда слушатели всласть посмеялись, им нужны иные, противоположные впечатления, и они, следовательно, лучше всего подготовлены к восприятию поэмы, исполненной глубоких и тонких чувств и возвышенной грусти.

Он подождал, чтобы все успокоилось, а затем придал своему лицу серьезное и торжественное выражение, которое невольно сообщилось и слушателям; все затаили дыхание. Тихим, но отчетливым голосом он прочел первые строфы «Орлеанской розы». По мере того как лились из его уст размеренные строки и проникновенные слова одно за другим, среди глубокого

молчания, достигали ушей очарованных слушателей, слышались тихие восклицания: «Прелестно! Восхитительно! Превосходно!»

Тут Паладин, который не слышал начала поэмы, вошел в комнату. Прислонясь мощным станом к дверному косяку, он смотрел на чтеца как зачарованный. Когда Ноэль перешел ко второй части и слушатели растроганно внимали печальному рефрену, Паладин стал утирать слезы тыльной стороной руки; при повторении рефрена он громко всхлипнул и утерся уже всем рукавом. Это было так заметно, что даже несколько смутило Ноэля и произвело нежелательное впечатление на слушателей. При следующем повторении рефрена Паладин не мог больше сдерживаться и заревел белугой; это испортило весь эффект и у многих вызвало смех. Дальше пошло еще хуже. Никогда я не видел такого зрелища: он вытащил полотенце и начал утирать им глаза и при этом рыдал, стонал, охал, икал, кашлял, сморкался и давился, покачиваясь на каблуках, размахивая своим полотенцем и время от времени выжимая его. Разве тут можно было что-нибудь расслышать? Он совершенно заглушил Ноэля, а слушатели дружно хохотали. Никогда я не видел более отвратительного зрелища. Вдруг я услышал бряцание доспехов, какое обычно слышно при беге, и около меня раздался самый оглушительный взрыв смеха, какой когда-либо разрывал мне барабанные перепонки. Я поднял глаза — это был Ла Гир! Он уперся в бока руками в железных рукавицах, откинул голову назад и хохотал, — так разевая при этом рот, что это было даже неприлично: можно было заглянуть ему внутрь. Хуже этого могло быть только одно — и это случилось: у противоположных дверей слышался шум, засуетились и зашаркали лакеи, как водится при появлении высоких особ, и к нам вошла Жанна д'Арк. Все встали и попытались унять неприличное веселье и принять серьезный вид, но когда увидели, что и сама Дева смеется, возблагодарили бога и дали себе полную волю.

Горько вспоминать о таких вещах, и я не хочу дольше на них останавливаться. Все впечатление от моей поэмы было испорчено.

У НАС ПОЯВЛЯЕТСЯ КАРЛИК

Описанный эпизод так подействовал на меня, что на следующий день я не в силах был подняться с постели. Другие были в таком же состоянии. Если бы не это, кому-нибудь из нас выпало бы на долю то счастье, которое досталось в тот день Паладину. Но замечено, что бог в своем милосердии посылает удачу тем, кто обижен умом, — словно в возмещение; более одаренным людям приходится трудами и талантами добиваться того, что глупцам достается случайно. Так сказал Ноэль, и мне это суждение кажется весьма разумным.

Паладин целыми днями разгуливал по городу, для того чтобы за ним ходили, восхищались и говорили: «Смотрите, смотрите — вон идет Знаменосец Жанны д'Арк!» Он встречался и разговаривал со всякими людьми и однажды услышал от лодочников, что в крепостях на том берегу заметно какое-то движение. Вечером он расспросил еще кое-кого, и ему попался перебежчик из крепости, называемой Августинской, который сообщил, что англичане намерены под покровом ночи подбросить людей в гарнизоны на нашей стороне и заранее ликуют: они хотят напасть на Дюнуа, когда он пойдет с войском мимо бастионов, и полностью истребить его силы, — это будет легко, раз с ними не будет «колдуньи»; без нее войско поведет себя так, как французы привыкли поступать уже много лет: побросает оружие и разбежится, едва лишь увидит англичан.

Было десять часов вечера, когда Паладин принес эти вести и попросил дозволения переговорить с Жанной; я был на дежурстве. Очень горько было сознавать, какой случай отличиться я упустил. Жанна расспросила его подробно, убедилась, что вести достоверные, и сказала:

— Благодарю за отличную службу. Ты, может быть, предупредил большое несчастье. Будешь упомянут в официальном приказе.

Он низко поклонился, а когда выпрямился, вырос сразу на целую голову. Важно проходя мимо меня, он подмигнул и пробормотал про себя слова из моего злополучного рефрена: «О, слезы сладкие, о слезы!»

— Слыхал? Буду упомянут в приказе по армии... дойдет до сведения короля!..

Мне хотелось, чтобы Жанна заметила, как он себя ведет, но она погрузилась в глубокую задумчивость. Потом она послала меня за рыцарем Жаном де Мецом, и минуто спустя тот уже мчался к Ла Гиру с приказанием ему, лорду де Виллару и Флорану д'Иллье быть наготове к пяти часам утра с пятьюстами отборных солдат на хороших конях. В исторических хрониках сказано: «к половине пятого», но я-то знаю лучше — я сам слышал приказ.

Сами мы выступили ровно в пять и встретили подходившую колонну в седьмом часу, когда уже отошли примерно на два лье от города. Дюнуа был доволен нашим появлением; приближаясь к грозным бастионам, войско начало выказывать беспокойство. Но стоило передать по цепи, что едет Дева, как все страхи прошли, и вдоль колонны волною прокатилось «ура». Дюнуа попросил Жанну остановиться и пропустить колонну мимо себя — пусть солдаты убедятся, что весть о ее прибытии не была хитростью, придуманной, чтобы их подбодрить. Она остановилась со своим штабом на обочине дороги, и войско прошло мимо нее с приветственными кликами. Жанна была в полном вооружении, но без шлема. На голове у нее задорно сидела бархатная шапочка с массой курчавых страусовых перьев, подаренная ей городом Орлеаном в день ее прибытия, — та самая, в которой она изображена на картине, хранящейся в руанской ратуше. На вид ей нельзя было дать больше пятнадцати лет. При виде войска кровь ее закипала, глаза загорались, а щеки покрывались румянцем. В такие минуты бывало видно, что она слишком прекрасна для этого мира; в красоте ее было нечто, отличавшее ее от всех виденных вами красавиц и возвышавшее ее над ними.

В обозе, на одной из телег, лежал человек. Он лежал на спине, связанный по рукам и по ногам. Жанна

знаком подозвала офицера, командовавшего обозом; он подъехал и отдал честь.

— Кто там у вас связан? — спросила она.

— Пленный.

— В чем его вина?

— Он дезертировал.

— А что вы собираетесь с ним сделать?

— Мы его повесим; но сейчас некогда, подождет.

— Расскажи, как было дело.

— Это исправный солдат; но он попросился домой повидать жену — жена у него была при смерти. Его не пустили; тогда он отлучился самовольно. А мы как раз выступили в поход, так что он нас нагнал только вчера вечером.

— Нагнал? Так он, значит, вернулся по своей охоте?

— Да.

— И вы его считаете дезертиром? Боже милостивый! Привести его ко мне!

Офицер проехал вперед, развязал пленнику ноги, — но не руки, — и подвел к Жанне. В нем было футов семь росту, и он казался созданным для боя. Лицо у него было мужественное. Копна темных волос упала ему на лоб, когда офицер снял с него шлем; за широким кожаным поясом был заткнут боевой топор. Рядом с ним Жанна казалась еще миниатюрнее, — она сидела на коне, но голова ее была почти вровень с его.

На лице его была глубокая печаль. Казалось, вся радость жизни для него угасла. Жанна сказала ему:

— Подыми руки.

Голова у него была низко опущена. Он поднял ее при звуках этого ласкового голоса, и лицо его выразило жадное внимание, точно он слышал музыку и хотел бы слушать ее еще.

Когда он поднял руки, Жанна разрежала его узы своим мечом, но офицер сказал испуганно:

— Сударыня, то есть ваша светлость...

— Что такое?

— Он ведь приговорен.

— Знаю. Беру на себя ответ за него. — И она разрежала веревки. Они так глубоко впились в тело, что

на запястьях выступила кровь. — Экая жалость! — сказала она. — Не люблю крови. — И она отвернулась, но только на миг. — Дайте что-нибудь, перевязать его.

— Ваша светлость, это вам не приличествует. Позвольте позвать кого-нибудь.

— Другого? Во имя божие! Вы не скоро найдете кого-нибудь, кто это сделает лучше меня. Я сызмала умею оказывать эту помощь и людям и животным. Я и связала бы его половчей вас — веревки не врезались бы в тело.

Пока она делала перевязку, солдат стоял молча, изредка украдкой взглядывая на нее, как животное, которое неожиданно приласкали и оно еще боится поверить этому. Штаб Жанны позабыл про войско, проходившее в облаке пыли, и не отрывал глаз от этой сцены, точно удивительнее ее ничего не могло быть. Я нередко наблюдал, как поражает людей любой пустяк, если он им непривычен. В Пуатье я однажды видел, как два епископа и еще несколько важных и ученых лиц следили за работой маляра, рисовавшего вывеску; они стояли не двигаясь и затаив дыхание; начал накрапывать дождь, но они его не замечали, а когда заметили, каждый из них глубоко вздохнул и поглядел на остальных, словно удивляясь, зачем они тут собрались и для чего сам он здесь. Вот как бывает с людьми. Людей не поймешь. Приходится принимать их такими, каквы они есть.

— Ну вот, — сказала наконец Жанна, довольная своей работой. — Вряд ли кто сделал бы лучше или так же хорошо. А теперь расскажи мне, что ты натворил. Рассказывай все по порядку.

Великан сказал:

— Вот как было дело, ангел ты наш. Мать у меня умерла, а потом — трое ребятишек, один за другим. Голодный год — что поделаешь! И у других так было, — видно, воля божья. Хорошо еще, что я сам закрыл им глаза, сам и схоронил. А когда пришел черед моей бедной жены, я стал проситься в отпуск — ведь она одна у меня оставалась. Я в ногах валялся у начальства — не отпустили. Что ж мне было делать — дать ей умереть одной? Пускай умирает и думает, что я не за-

хотел прийти? А если б это я умирал, неужели она ко мне не пришла бы, хоть бы и под страхом смерти? Пришла бы! Чтобы ко мне прийти, она и через огонь прошла бы. Вот и я пошел к ней. Повидал ее. У меня на руках она и скончалась. Схоронил я ее. А тут армия выступила в поход. Трудненько было ее догонять, да у меня ноги длинные, за день немало могу отшагать. Вчера в ночь я их догнал.

Жанна сказала задумчиво, точно размышляя вслух:

— Похоже, что он говорит правду. А если это правда, не грех и отменить на этот раз закон; это всякий скажет. Может быть, и неправда, но если правда... — Она неожиданно обернулась к солдату и сказала: — Взгляни мне в глаза! — Глаза их встретились; и Жанна сказала офицеру: — Он прощен. А вы ступайте себе.

Потом она спросила солдата:

— Ты знал, что тебя казнят, если ты вернешься?

— Знал, — сказал он.

— Так зачем же ты вернулся?

На это солдат ответил просто:

— Затем и вернулся. У меня теперь никого нету. Не для кого мне жить.

— Как никого нету? А Франция? У сынов Франции всегда есть мать, а ты говоришь: не для кого жить. Ты будешь жить и служить Франции...

— Я тебе хочу служить.

— ...сражаться за Францию...

— Я за тебя хочу сражаться.

— Будешь солдатом Франции.

— Я хочу быть твоим солдатом.

— ...и сердце свое отдашь Франции.

— Я отдам его тебе — и душу мою, если она есть, и силу мою, а она у меня немалая. Я был мертв, а ты меня воскресила; я думал, что незачем жить, — оказывается, жить стоит. Ты для меня Франция, и мне другой не надо.

Жанна улыбнулась; она была тронута его суровым и торжественным энтузиазмом, — так можно, пожалуй, назвать его необычайную серьезность.

— Пусть будет по-твоему. Как тебя зовут?

Солдат ответил без улыбки.

— Меня прозвали Карликом, да ведь это так, для смеха.

Жанна засмеялась и сказала:

— Пожалуй, что так. А для чего у тебя этот огромный топор?

Он ответил с той же серьезностью, как видно присущей ему от природы:

— Чтобы вразумлять людей и заставлять их уважать Францию.

Жанна снова рассмеялась и спросила:

— И многих ты вот этак вразумил?

— Да, их было немало.

— Ну и как? Запоминают они урок?

— Да, сразу утихают.

— Так я и думала. Хочешь служить при мне? Ординарцем, телохранителем или еще кем-нибудь?

— Если позволишь.

— Тогда, значит, решено. Получишь настоящее оружие, и продолжай вразумлять врагов. Бери себе коня, из тех, что ведут в поводу, да и поезжай за нами.

Вот как попал к нам Карлик. Он оказался очень хорошим малым. Жанна судила о нем по лицу, но не ошиблась. Не было человека преданнее; а топором он орудовал, как сам сатана. Он был так высок, что рядом с ним даже Паладин казался человеком обычного роста. Он любил людей, поэтому и его все любили. Мы ему сразу понравились, и рыцари тоже, да и почти все, с кем сводила его судьба. Но один ноготок на мизинце Жанны был ему дороже всего на свете.

Да, вот как он повстречался нам впервые: связанный на телеге, приговоренный к смерти, бедняга, — и не нашлось никого, кто замолвил бы за него словечко. А он оказался поистине драгоценной находкой. Рыцари обходились с ним почти как с равным — честное слово! — такой он был человек. Они дали ему прозвище «Бастион», а то еще «Адское Пламя» — потому что он уж очень разгорался в бою. А разве они стали бы давать ему прозвища, если б крепко не привязались к нему?

Для Карлика Жанна была Францией, душою Франции, воплотившейся в живой девушке. Такой она ему

показалась при первой встрече, такой для него и осталась. И он был прав, видит бог! Этот простой человек увидел истину, которой не разглядели многие. Это кажется мне замечательным. А ведь, в сущности, так всегда бывает в народе. Когда народ полюбит нечто великое и благородное, он ищет ему воплощение, он хочет видеть его воочию. Вот, например, Свобода: народу мало смутной и отвлеченной идеи, — он создает прекрасную статую, и любимая идея становится для него видимой, он может любоваться ею, он может ей поклоняться. Вот как оно бывает. Для Карлика Жанна была родиной, которая воплотилась в прекрасную девушку. Другие видели в ней Жанну д'Арк; он видел — Францию.

Иногда он так и называл ее. Вот насколько глубоко укоренилась в нем эта мысль и как она была для него реальна. Так нередко именовали наших королей, но ни один из них не имел на это священное имя таких прав, как она.

Как только войско прошло мимо, Жанна выехала вперед и поехала во главе колонны. Когда мы поравнялись с сумрачными бастионами, мы увидели вражеских солдат, стоявших наготове возле орудий, которые в любую минуту могли изрыгнуть смертоносные ядра, на меня напала такая слабость и дурнота, что даже в глазах потемнело; мне кажется, что и другие тоже приуныли, не исключая и Паладина, но про него не могу сказать наверное — он ехал впереди, а я не спускал глаз с бастионов: если уж дрожать, так по крайней мере видеть, перед чем дрожишь.

Только Жанна была как дома, или, лучше сказать, как в раю. Она сидела в седле прямо и, очевидно, чувствовала себя совсем иначе, чем я. Страшнее всего была тишина — слышалось только поскрипывание седел и мерный топот коней, да иногда лошади чихали от пыли, которую сами же подымали. Мне тоже хотелось чихнуть, но я готов был век не чихать и даже терпеть что-нибудь похуже, лишь бы не привлечь к себе внимания.

Я был не в таком чине, чтобы давать советы, а то я посоветовал бы ехать побыстрее. Мне казалось, что

для неторопливой прогулки время выбрано неудачно. Когда мы ехали в этой зловещей тишине мимо огромной пушки, выставленной у самых крепостных ворот и отделенной от нас одним только рвом, в крепости вдруг заревел во всю мочь какой-то осел — и я свалился с лошади. Хорошо, что сьер Бертран успел подхватить меня: если б я упал наземь в своих тяжелых доспехах, я не сумел бы сам подняться. Английские часовые на стенах грубо захохотали, как будто сами никогда не были новичками и не могли точно так же свалиться от ослиного рева.

Англичане не попытались остановить нас и не сделали ни единого выстрела. Нам говорили потом, что когда они разглядели во главе наших рядов Деву и увидели, как она прекрасна, храбрости у них поубавилось, а у иных она и совсем исчезла, — солдаты были убеждены, что это не смертная девушка, а исчадие ада, и офицеры благоразумно отказались от попыток вести их в бой. Говорили, что даже кое-кто из офицеров был охвачен этим суеверным страхом. Как бы то ни было, англичане нас не тронули, и мы благополучно миновали грозные укрепления. Во время этого похода я столько молился, что погасил всю старую задолженность по этой части, — так что некоторую пользу он мне все же принес.

В тот день, как рассказывают историки, Дюнуа сообщил Жанне, что англичане ожидают подкреплений под командованием сэра Джона Фастольфа, а она будто бы повернулась к нему и сказала:

— Гляди же, Дюнуа! Именем бога приказываю тебе: предупреди меня о его приходе. Если он пройдет без моего ведома, ты заплатишься за это головой!

Может, так оно и было, отрицать не могу, только я этих слов не слышал. Если она в самом деле так сказала, я думаю, что она подразумевала его чин, а не голову. Уж очень это было непохоже на нее — грозить боевому товарищу казнью. Она, конечно, сомневалась в своих военачальниках и имела на то основания: она всегда была за атаку и штурм, а они — за то, чтобы выждать и взять англичан измором. А раз эти опытные старые вояки не верили в ее тактику, они, конечно,

старались проводить свою и обходили ее распоряжения.

Зато я слышал нечто такое, о чем историки не знают и не рассказывают. Я слышал, как Жанна сказала, что вражеские гарнизоны на той стороне ослаблены, все переброшено на наш берег, и теперь выгоднее всего сражаться на южном берегу; поэтому она намерена переправиться туда и атаковать предмостные укрепления, — это соединит нас с нашей территорией, и осаду можно будет снять. Генералы тут же начали чинить ей помехи, но им удалось только задержать ее, и то всего на четыре дня.

Весь Орлеан встретил армию у городских ворот и с приветственными криками сопровождал ее по улицам, украшенным знаменами, на отведенные ей квартиры. Убаюкивать солдат не пришлось, они и без того падали с ног от усталости: Дюнуа всю дорогу торопил их нещадно. Целые сутки после этого над городом стоял могучий храп.

Глава XVII

СЛАДКИЕ ПЛОДЫ ГОРЬКОЙ ИСТИНЫ

Когда мы вернулись, нам, младшим чинам, был готов завтрак в нашей столовой; семья хозяина оказала нам честь и разделила его с нами. Добрый старый казначей и его семья хотели послушать о наших приключениях. Никто не просил Паладина рассказывать, но он сам начал; получив чин выше всех нас, кроме старого д'Олона, который ел отдельно, Паладин не оказывал ни малейшего уважения нашему дворянскому званию и брал слово прежде нас, когда ему заблагорассудится, — то есть всегда. Таков уж он уродился. Итак, он сказал:

— Благодарение богу, войско в отличном состоянии. Я никогда еще не видел таких отборных животных.

— Животных? — воскликнула мадемуазель Катерина.

— Я сейчас объясню, что он хочет сказать, — вмешался Ноэль. — Он...

— Не трудись объяснять за меня, — сказал надменно Паладин. — Я имею причины думать...

— Вот он всегда так! — продолжал Ноэль. — Когда он считает, что имеет причины думать, он уверен, что думает, — но это заблуждение. Он не видел армии. Я наблюдал за ним: он ее не видел. У него был приступ его застарелой болезни.

— Какой болезни? — спросила Катерина.

— Осторожности, — не удержался я вставить словечко.

Это вышло неудачно. Паладин сказал:

— Тебе ли осуждать людей за осторожность, когда ты валишься из седла от ослиного рева.

Все засмеялись, а я пожалел, что поторопился связать. Я сказал:

— Так уж и из-за рева! Это не совсем справедливо. Я просто разволновался, вот и упал.

— Назовем так, если хочешь, мне все равно. А как вы считаете, сьер Бертран?

— Я? Да как ни назови, это было, по-моему, простительно. Все вы уже научились биться в рукопашных схватках и выходите из них с честью. А вот так проехать перед самой пастью смерти, не подымая меча, да еще в полной тишине, без барабанного боя, без песни — это очень трудное испытание. На твоём месте, де Конт, я бы прямо назвал, что это было за волнение, — стыдиться тут нечего.

Это были разумные слова, я был за них благодарен — они давали мне возможность поправиться, и я сказал:

— Страх, вот что это было; спасибо, что надоумили сознаться.

— Вот так-то честнее и лучше, — заметил старый казначей. — За это я тебя хвалю, мой мальчик.

Я совсем ободрился, а когда Катерина сказала: «И я тоже», я был даже рад, что попал в эту историю.

Сьер Жан де Мец сказал:

— И я слышал, как заревел осел среди полной тишины. Мне кажется, что каждый молодой боец мог испытать это самое... волнение.

Он обвел всех пытливым и дружелюбным взглядом, и каждый, на кого он посмотрел, утвердительно кивнул. Кивнул даже Паладин. Это всех удивило и делало честь нашему Знаменосцу. Он поступил умно: никто не поверил бы, что он способен честно сознаться в чем-либо без особой подготовки, а тем более в таких вещах. Вероятно, он хотел произвести хорошее впечатление на хозяев. Старый казначей сказал:

— Чтобы проехать мимо укреплений, как пришлось вам, требуется мужество особого рода — это все равно что встретиться с привидениями. Как ты думаешь, Знаменосец?

— Не знаю, сударь. Я, например, был бы не прочь повстречаться с привидением.

— Неужели? — вскричала хозяйская дочь. — У нас они водятся. Хотите испытать себя? Хотите?

Она была так мила, когда это спрашивала, что Паладин, не задумываясь, сказал: да, он хочет. Остальные не решились признаться, что робеют, и один за другим вызвались идти, с бодрым видом и замирающим сердцем, — и оказалось, что все хотят. Девушка от радости захлопала в ладоши, а родители, тоже очень довольные, сказали, что привидения у них в доме отравили жизнь нескольким поколениям, и до сих пор не находилось храбреца, который решился бы встретиться с ними и спросить, почему они не находят себе покоя в могиле, — тогда хозяева дома знали бы, как помочь бедным призракам найти успокоение.

Глава XVIII

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ ЖАННЫ

Однажды, около полудня, я беседовал с госпожой Буше; все было спокойно, как вдруг вбежала взволнованная Катерина и крикнула:

— Спешите, спешите! Дева только что задремала в кресле у меня в спальне, но вдруг вскочила и закричала: «Французская кровь льется! Оружие! Дайте мне

оружие!» Ее великан стоял на часах у дверей, он привел д'Олона, и тот сейчас надевает на нее доспехи, а мы с великаном стали сзывать ее штаб. Спешите к ней и будьте при ней неотлучно. Если вправду будет бой, удерживайте ее, не подвергайте опасности. Лишь бы солдаты знали, что она тут, — этого довольно. О, не пускайте ее в бой!

Я пустился бегом, но успел заметить иронически — я это люблю, и говорят, ирония неплохо мне удается: — Ничего нет легче, будьте спокойны!

На другом конце дома я встретил Жанну в полном вооружении, она спешила к выходу и говорила:

— Льется французская кровь, а мне ничего не ска-зали!

— Клянусь, я не знал об этом, — сказал я, — мы не слыхали ни о каких боях, все спокойно, ваша светлость.

— Ну так сейчас услышишь, — сказала она и ушла.

И действительно, вы не успели бы сосчитать до пяти, как тишина нарушилась быстро нараставшим шумом: цоканьем копыт, топотом множества ног, хриплыми словами команды; вдаль глухо зарокотали пушки: «бум! бум! бум!» — и людская лавина пронеслась уже возле самого нашего дома.

Рыцари и весь штаб явились вооруженные, но еще не успев оседлать коней, и все мы поспешили вслед за Жанной; впереди всех бежал со знаменем Паладин. Толпа состояла наполовину из солдат, наполовину из горожан, и никто ею не командовал. При виде Жанны раздались восторженные крики, а она сказала:

— Коня, скорее!

Тотчас к ее услугам оказалась целая дюжина седел. Она села на коня, а люди закричали:

— Дорогу, дорогу *Орлеанской Деве!*

Вот когда впервые прозвучало это бессмертное имя. Хвала господу! — я имел счастье это слышать. Толпа расступилась, точно воды Красного моря, и Жанна поскакала по образовавшемуся проходу, восклицая: «За мной, французы, — вперед! вперед!» Мы устремились за ней на остальных, приготовленных для нее лоша-дях; над нами развевалось священное знамя, а позади нас тотчас плотно смыкалась толпа.

Это было совсем не то, что страшная поездка мимо проклятых бастионов. Сейчас нам было хорошо, мы неслись на крыльях восторга. Чем же объяснялась внезапная тревога? А вот чем. Город и его небольшой гарнизон, давно уже отчаявшиеся, так воодушевились с прибытием Жанны, им так не терпелось схватиться с врагом, что несколько сот солдат и горожан самовольно сделали вылазку через Бургундские ворота и атаковали одно из самых мощных укреплений лорда Тальбота — Сен-Лу, — и, конечно, им пришлось плохо. Бесть об этом мгновенно разнеслась по городу и собрала новое ополчение — то самое, которое мы теперь вели в бой.

Выезжая из ворот, мы увидели первых раненых, вынесенных из боя. Жанна сказала в волнении:

— Французская кровь! Волосы становятся дыбом, когда я ее вижу!

Скоро мы оказались на поле, в самой гуще схватки. Это было подлинным боевым крещением для Жанны, да и для нас также.

Бой шел в открытом поле; гарнизон Сен-Лу смело вышел на атакующих, — он привык побеждать, лишь бы при этом не было «колдуньи». К нему пришло подкрепление с бастиона «Париж», и, когда мы подоспели, французы начали уже отступать. Но как только Жанна прорвалась со знаменем сквозь их расстроенные ряды, крича: «Вперед, солдаты! За мной!» — все переменялось: французы повернули на врага, двинулись сплошным потоком, погнались перед собой англичан и принялись так рубить и колоть, что страшно было смотреть.

В бою Карлик не получал точных заданий, ему не отводилось определенного места, и он выбирал его сам. На этот раз он поехал впереди Жанны, расчищая ей путь. Страшно было видеть, как железные шлемы разлетались в куски под его грозным топором. Это называлось у него «колоть орехи», — и действительно было похоже. Он прорубал широкую дорогу, устилая ее телами и металлом. Жанна и мы так быстро продвигались по ней, что обогнали войско, и англичане оказались не только впереди, но и позади нас. Рыцари велели нам сомкнуться кольцом вокруг Жанны — и бой

закипел. Надо отдать должное Паладину: вдохновляемый взглядом Жанны, он позабыл свою врожденную осторожность, позабыл, что такое страх; никогда он так не рубил врагов в своих воображаемых битвах, как в этой — настоящей. Куда ни направлял он свой удар, там одним врагом становилось меньше.

Мы были отрезаны от своих всего несколько минут; а потом наш аррьергард пробился к нам с громкими криками, и англичане стали отступать, но при этом храбро дрались; мы шаг за шагом оттесняли их к крепости, но они все время отбивались, а их резервы осыпали нас со стен градом стрел и каменных ядер.

Главным силам противника удалось уйти в крепость, а мы остались среди груды трупов и раненых — англичан и французов. Жуткое зрелище, особенно поразившее нас, юнцов! Наши маленькие стычки в феврале происходили по ночам, и ночь милосердно скрывала от нас кровь, зияющие раны и страшные лица мертвецов; сейчас мы впервые увидели все это во всей ужасной наготы.

Из города подоспел на взмыленной лошади Дюнуа, он бросился в битву и подскочил к Жанне, расточая ей хвалы в самых изысканных выражениях. Он показал рукой на далекие городские стены, где весело развевалось по ветру множество флагов, и сказал, что жители следят оттуда за ее подвигами и радуются, он добавил, что ей и войску готовится торжественная встреча.

— Сейчас? Нет, Дюнуа, не сейчас. Еще не время.

— Отчего не время? Что еще не сделано?

— Что не сделано? Да мы еще только начинаем! Надо взять эту крепость!

— Вы шутите! Мы не можем ее взять. Позвольте просить вас не пытаться, это безнадежно. Прикажите отводить войска.

Жанна была вся охвачена воинственным порывом и не могла спокойно слушать такие речи. Она вскричала:

— Ах, Дюнуа, до каких же пор ты будешь церемониться с англичанами? Говорят тебе, мы не уйдем отсюда, пока не возьмем крепость. Мы возьмем ее приступом. Вели трубить атаку!

— Ваша светлость! Подумайте...

— Не мешкай долее! Пусть трубы трубят атаку! — И в глазах ее зажегся тот вдохновенный огонь, который мы называли боевым огнем и который так часто видели потом.

Раздался сигнал атаки; войско откликнулось на него громким криком и ринулось на неприступные стены, которые заволоклись пушечным дымом, извергая на нас пламя и гром.

Неприятель много раз отражал наши атаки, но Жанна, казалось, была одновременно повсюду, ободряя солдат и не давая им отступить.

Целых три часа прилив сменялся отливом и снова приливом; наконец Ла Гир, подоспевший к тому времени, пошел на последний, решительный приступ, и бастион Сен-Лу был взят. Мы забрали из него запасы и артиллерию, а затем разрушили его.

Войско до хрипоты кричало «ура» и требовало главнокомандующего, чтобы чествовать ее и славить ее победу; но ее с трудом удалось найти; а когда мы ее нашли, она сидела среди трупов, закрыв лицо руками, и плакала, — ведь она все-таки была юной девушкой, и ее сердце героини все же было девичьим сердцем, полным нежности и сострадания. Она думала о матерях павших солдат — и своих и вражеских.

Среди пленных было несколько священников; Жанна взяла их под свое покровительство и сохранила им жизнь. Ей напомнили, что это в большинстве случаев переодетые солдаты, но она сказала:

— А как мы можем это узнать? На них — господень мундир, и если хотя бы один носит его по праву, лучше дать спастись всем остальным, чем пролить кровь одного невинного. Я отведу их к себе и накормлю, а потом отпущу с миром.

Мы вернулись в город с трофейными орудиями, с пленными и развернутыми знаменами. Это было первое настоящее дело, которое осажденные видели за семь месяцев осады, первый случай порадоваться подвигу французского оружия. Вот они и радовались. Колокола и люди словно сошли с ума. Жанна стала общим кумиром; люди так толпились и теснились, чтобы взглянуть на нее, что мы с трудом пробирались по улицам.

Ее новое имя было у всех на устах. Святая Дева из Вокулера — это было уже забыто; город объявил ее своей, и она была теперь *Орлеанской Девой*. Я счастлив, что мне довелось услышать, как это имя было произнесено впервые. Сколько же веков пройдет на земле от того первого дня, до того, когда оно будет названо в последний раз!

Семейство Буше встретило ее, как родную дочь, чудом спасшуюся от гибели. Они пожурили ее за то, что она сама участвовала в битве и все время подвергала себя опасности. Они не ожидали, что она пойдет так далеко, и спрашивали: неужели она действительно сама ринулась в битву или оказалась там случайно? Они умоляли ее быть в другой раз осторожнее. Это был, может быть, и благой совет, но совершенно бесполезный.

Глава XIX

БОЙ С ПРИВИДЕНИЯМИ

Измученные долгой битвой, мы проспали весь остаток дня и часть ночи. Проснулись мы отдохнувшие и сели ужинать. Я с удовольствием замаял бы вопрос о привидениях; другие явно хотели того же: они охотно говорили о сражении, но ни словом не обмолвились о другом предмете. Мы были рады слушать, как Паладин рассказывает о своих подвигах и нагромождает убитых врагов — тут пятнадцать, там восемнадцать, а там целых тридцать пять. Но это лишь отдаляло неприятность — не более того. Не мог же он длить свой рассказ бесконечно. Когда он взял крепость штурмом и съел живьем весь гарнизон, пришлось кончать; вот если бы Катерина Буше попросила его повторить все сначала — теперь нам этого хотелось, — но у нее были другие намерения. При первом удобном случае она заговорила на неприятную для нас тему, и мы постарались не ударить лицом в грязь.

В одиннадцать часов она и ее родители повели нас в комнату с привидениями, захватив с собой свечи, а

также факелы, которые они вставили в стенные гнезда. Дом был большой, с очень толстыми стенами, а комната находилась в дальнем его конце; эта часть дома бог знает сколько лет была нежилой из-за своей дурной славы.

Комната оказалась просторной, точно зал; в ней стоял большой, массивный, хорошо сохранившийся дубовый стол, но стулья были источены червем, а обивка на стенах выцвела и истлела от времени. Пыльная паутина под потолком, казалось, лет сто не видала ни одной мухи.

Катерина сказала:

— Говорят, что здешние привидения невидимы, их можно только слышать. Раньше этот зал, как видно, был больше; вон в том конце, когда-то очень давно, от него была отгорожена узкая комната. Входа в эту комнату нет; но она, несомненно, существует; это темница, без света и свежего воздуха. Посидите здесь и все хорошенько примечайте.

Вот и все. После этого она ушла вместе с родителями. Когда их шаги по гулкому каменному коридору затихли вдали, наступила жуткая и торжественная тишина, показавшаяся мне страшнее, чем безмолвный парад перед бастионами. Мы тупо смотрели друг на друга, и было видно, что всем нам не по себе. Чем дольше мы сидели, тем страшнее становилась эта мертвая тишина, а когда вокруг дома начал завывать ветер, мне стало совсем тошно, и я пожалел, что у меня на этот раз не хватило мужества признаться в своей трусости, потому что бояться привидений вовсе не стыдно — ведь живые совершенно беспомощны перед ними. А если привидения невидимы, так это еще хуже, — думалось мне. Почему знать, может быть они уже сидят рядом с нами? Мне чудились чьи-то легкие прикосновения к плечам и волосам, я вздрагивал и не стыдился обнаруживать свой страх — я видел, что другие делают то же, и знал, что им чудятся те же невидимые прикосновения. Время тянулось нестерпимо медленно, — казалось, что это тянется целую вечность. Все лица стали бледны, как воск, и мне чудилось, будто я сижу среди сборища мертвецов.

Наконец послышались слабые, отдаленные, таинственные и медлительные звуки — «бум! бум! бум!», — это часы отбивали где-то полночь. Когда замер последний удар, снова наступила гнетущая тишина, и я снова видел вокруг себя восковые лица и ощущал невидимые легкие прикосновения к своим волосам и плечам.

Прошла минута, другая, третья — как вдруг мы услышали протяжный стон и разом вскочили на ноги, дрожа всем телом. Стон доносился из замурованной комнаты. Он умолк, а затем послышались приглушенные рыдания и жалобы. Потом заговорил другой голос, тихий и неясный, — казалось, он утешает первого. Так переговаривались эти голоса, прерываемые стонами, — и сколько звучало в них муки, отчаяния и нежного сострадания! Они надрывали сердце.

Но голоса были такие живые, человеческие, что мысль о привидениях выскочила у нас из головы. Сьер Жан де Мец заговорил первым:

— Эй, вы там! Мы сейчас разнесем стену и освободим несчастных узников. Давай сюда топор!

Карлик бросился вперед, держа топор обеими руками, остальные поднесли к стене факелы. Р-р-раз! р-р-раз! трах!.. Старые кирпичи разлетелись, и образовалось отверстие, в которое мог бы пройти бык. Мы ринулись туда, подымая факелы вверх.

Там было пусто! Только на полу валялся ржавый меч и истлевший веер.

Можете взять эти бедные памятки минувшего и сплести вокруг них, по своему вкусу, повесть о давно исчезнувших обитателях замурованной комнаты.

Глава XX

ЖАННА ПРЕВРАЩАЕТ ТРУСОВ В СМЕЛЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

На следующий день Жанна хотела снова атаковать врага, но был праздник вознесения, и благочестивый совет подлецов генералов убоился осквернить его кровопролитием. Однако они не побоялись осквернить его

тайными заговорами, такого рода усердие было как раз по их части. Они решили сделать то, что теперь было единственно возможным: начать ложную атаку против главного бастиона на орлеанском берегу, и если англичане ради ее защиты ослабят куда более важные крепости на той стороне — перейти реку с большим войском и взять их. Тогда они завладели бы мостом и установили сообщение с Солонью, то есть с французской территорией. Последнюю часть своего плана они решили утаить от Жанны.

Жанна, однако, вмешалась и застигла их врасплох. Она спросила их, на чем они порешили и что думают делать. Они сказали, что хотят на следующее утро напасть на главный английский бастион на орлеанской стороне, — тут говоривший замялся. Жанна сказала:

— Продолжай.

— Это все.

— Так я и поверила! Ведь это значило бы, что ты не в своем уме. — Она повернулась к Дюнуа и сказала: — Дюнуа, ты человек разумный, ответь-ка мне: если взять этот бастион, какой нам будет от него прок?

Дюнуа смутился и начал говорить что-то не относящееся к делу. Жанна прервала его:

— Довольно, ты уже ответил. Раз Дюнуа не сумел объяснить, для чего нам брать только один этот бастион, другие и подавно не сумеют. Сколько вы тратите времени на никчемные планы и на проволоочки, которые губят дело! Уж не скрываете ли вы что-нибудь от меня? Дюнуа! У совета наверняка есть общий план, — скажи мне коротко, что это за план?

— Да все тот же, что и вначале, семь месяцев назад: завезти провиант для длительной осады, потом заступить и истощать силы англичан.

— Боже правый! Неужели вам мало семи месяцев, что вы хотите продлить осаду еще на год? Довольно малодушных промедлений. Мы заставим англичан убраться в три дня!

Несколько голосов воскликнуло:

— О ваша светлость, следует быть осторожнее!

— Быть осторожными и умирать с голоду? И это вы называете войной? Вот что я вам скажу, раз вы не

знаете: все переменялось! Самое выгодное место для атаки тоже переместилось — оно теперь на том берегу. Надо захватить укрепления, которые господствуют над мостом. Англичане знают, что если мы не дураки и не трусы, то мы попытаемся это сделать. Они радуются вашей набожности: из-за нее мы теряем целый день. Нынче вечером они укрепят мостовые форты с этой стороны, готовясь к завтрашнему сражению. Вы попусту потеряли день, и теперь нам придется труднее, но мы все-таки переправимся и возьмем форты. Дюнуа! Скажи мне правду, неужели совет не знает, что нам нет иного пути, кроме этого?

Дюнуа признал, что совет считает такой план самым желательным, но вместе с тем — неосуществимым; стараясь всячески оправдать совет, он объяснил, что раз надеяться можно только на длительную осаду, которая истощила бы силы англичан, совет несколько опасается стремительных действий Жанны. Он сказал:

— Дело в том, что мы считаем выжидательную тактику лучшей, а вы хотите все брать приступом.

— Да, хочу! Больше того: так и сделаю! Вот мой приказ: завтра на рассвете мы идем на укрепления южного берега.

— И будем брать их приступом?

— Да, приступом!

Ла Гир вошел, звеня доспехами, и услышал последние слова. Он вскричал:

— Клянусь моим жезлом, эта музыка мне по сердцу! И напев верный, и слова отличные. Да, начальник, будем брать их приступом!

Он широким жестом отдал честь, а потом подошел к Жанне и пожал ей руку.

Кто-то из членов совета сказал:

— Выходит, что мы должны начать с бастиона Сент-Джон, а это даст англичанам время...

Жанна обернулась к нему и сказала:

— Не горюй о бастионе Сент-Джон. Когда мы подойдем, у англичан хватит ума отступить оттуда к мостовым укреплениям! — И добавила насмешливо: — На это хватило бы ума даже у военного совета.

Она ушла. Ла Гир заметил, обращаясь к совету:

— Она — дитя, и кроме этого, вы ничего не хотите в ней видеть. Зовите ее так, если уж вам непременно хочется, но ведь ясно, что это дитя разбирается в сложной военной игре не хуже любого из вас; а если желаете знать мое мнение — извольте, скажу без обиняков: она и лучшего из вас может поучить этой игре, клянусь богом!

Жанна оказалась права: проникательные англичане поняли, что тактика французов в корне изменилась, — что увиливаний и проволочек больше не будет; что теперь они не хотят получать удары, а хотят сами наносить их. Поэтому они применились к новому положению вещей и укрепили свои позиции на южном берегу реки за счет северных.

Город услышал радостную весть: снова, как встарь, после стольких лет унижения, Франция будет наступать; привыкшая прятаться и спасаться бегством, она повернется к врагу лицом и будет биться. Общая радость была безгранична. Наутро городские стены были черны от народа: всем хотелось поглядеть на диковинное зрелище — как французское войско повернется к англичанам не тылом, а лицом. Можете представить себе, каково было ликование и как бурно оно выражалось, когда во главе войска проехала Жанна с развевающимся знаменем.

Мы переправились через реку со значительными силами; это отняло много времени — лодок было мало, да и те утлые. Противник дал нам беспрепятственно высадиться на острове Сент-Эньян. Здесь через узкий пролив мы навели понтон на южный берег и продолжали путь в полном порядке и без помех; хотя там был бастион Сент-Джон — англичане разрушили его и отступили к мостовым фортам ниже по течению, как только первые наши суда отчалили от орлеанского берега, — это и предсказывала Жанна, когда спорила с военным советом.

Мы пошли вдоль берега, и Жанна водрузила свое знамя перед бастионом Августинцев — первым из мощных укреплений, защищавших мост. Трубы протрубили атаку, и мы дважды пытались атаковать, но были слишком слабы, так как главные наши силы еще не

подтянулись. Прежде чем мы подготовились к третьему приступу, вражеский гарнизон получил подкрепление с бастиона Сен-Прив. Они быстро соединились с августинцами, и натиск их был очень силен; наше маленькое войско бежало в беспорядке, а они пустились преследовать нас, рубя направо и налево и выкрикивая вдогонку оскорбления.

Жанна из всех сил старалась ободрить солдат, но они потеряли голову: в тот момент ими овладел прежний страх перед англичанами. Жанна вскипела гневом; она остановилась и велела трубить наступление. Потом она повернулась к войску и крикнула:

— Если найдется среди вас хоть дюжина таких, что не струсил, — этого хватит! За мной!

Она поскакала, а за нею — несколько десятков воинов, которые слышали ее призыв и воодушевились. Преследователи были изумлены, увидя, что она повернула на них с горсточкой людей; теперь они в свою очередь ощутили суеверный ужас: ну как же не ведьма? как же не сатанинское отродье? Стоило этой мысли овладеть ими, как они, не раздумывая долее, стали в панике отступать.

Бегущие французы услышали звуки труб и оглянулись; видя, что знамя Девы удаляется уже в другом направлении, а враг беспорядочно отступает перед ним, они ободрились и присоединились к нам.

Услышал трубы и Ла Гир и поспешно повел свой отряд в наступление, догнав нас, когда мы снова водружали наше знамя перед бастионом Августинцев. Теперь нас было много. Перед нами была трудная задача, но мы справились с ней до темноты; Жанна не давала нам передохнуть. Она и Ла Гир твердили нам, что мы можем и должны взять этот бастион. Англичане дрались как... как англичане, — этим все сказано. Мы много раз бросались на приступ в дыму и пламени, среди оглушительного грохота пушек и наконец, на закате, взяли бастион сильным ударом и водрузили наше знамя на его стенах.

Бастион Августинцев был наш. Если мы хотели освободить мост и снять осаду Орлеана, надо было взять также и Турель. Первое важное дело удалось нам;

Жанна решила выполнить и второе. Мы должны были переночевать тут же, не выпуская из рук оружия, и быть наутро готовыми к новым боям. Жанна не хотела допустить грабежей и разгула, она велела сжечь бастион Августинцев со всеми припасами, кроме орудий и амуниции.

Все устали после долгого и тяжелого дня, и Жанна, конечно, тоже; но она все же хотела остаться ночевать вместе с войском перед крепостью Турель, чтобы с утра идти на штурм. Генералы долго спорили с ней и убедили ее вернуться домой и отдохнуть перед решающим днем, а также показать врачам рану в ступне, полученную ею в тот день. Мы, то есть свита, переправились вместе с нею.

Как и всегда при нашем появлении, город бурно ликовал и звонил во все колокола, люди восторженно кричали; попадались и пьяные. Мы всякий раз приносили с собой основательный повод для подобных бурь восторга, и буря неизменно разражалась. У орлеанцев целых семь месяцев не было ни малейшей причины ликовать, и теперь они делали это особенно охотно.

Глава XXI

ЖАННА МЯГКО УКОРЯЕТ СВОЮ ПОДРУГУ

Желая избавиться от обычной толпы посетителей и отдохнуть, Жанна прошла с Катериной прямо в комнату, которую они занимали вместе. Там они поужинали, и там Жанне перевязали рану. После этого, несмотря на усталость и уговоры Катерины, Жанна послала Карлика за мной. Она сказала, что ей не дает покоя одна мысль, и она непременно должна послать гонца в Домреми с письмом к старому отцу Фронту, чтобы тот прочел его матери. Я пришел, и она принялась диктовать. После нежных слов приветствия матери и всей семье, она велела написать:

«Я пишу прежде всего затем, чтобы успокоить тебя и просить не тревожиться, когда услышишь про мою

рану, и не верить, если кто будет говорить, что она опасна».

Она хотела продолжать, но тут Катерина заметила:

— Эти слова как раз и встревожат ее. Вычеркни их, Жанна. Подожди денек, много — два, а тогда уж напиши, что *была* ранена в ногу, но теперь рана зажила, — ведь она к тому времени наверняка почти заживет. Не пугай ее, Жанна, послушай меня.

В ответ Жанна занялась беззаботным, непринужденным смехом, звонким, как колокольчик, а потом сказала:

— Нога? Зачем бы я стала писать о такой пустячной царапине? Я о ней и не думала, мое сердечко.

— Неужели ты ранена еще куда-нибудь, опаснее этого, и скрываешь от нас? Ну как можно!..

Катерина в тревоге вскочила, чтобы догнать врача и вернуть его, но Жанна удержала ее за руку и заставила снова сесть, говоря:

— Не пугайся, никакой другой раны еще нет, — я пишу о той, которую получу при завтрашнем штурме.

У Катерины был вид человека, безуспешно пытающегося решить трудную задачу. Она сказала растерянно:

— Которую ты получишь? Но к чему, к чему тревожить мать, когда этого, может быть, и не будет?

— Как не будет? *Будет*.

Задача оказалась не под силу. Катерина сказала все так же растерянно:

— *Будет*... Это очень страшное слово. Я что-то не могу взять в толк. О Жанна, какое страшное предчувствие! Оно может лишить тебя мужества! Гони его прочь! Гони! Оно не даст тебе спать ночью, а к чему? Будем надеяться...

— Это не предчувствие — я знаю наверняка. А раз так, чего же тревожиться? Нас тревожит неизвестность.

— Жанна, ты наверняка *знаешь*, что так будет?

— Да, знаю. Так сказали мне Голоса.

— Ну, тогда, — сказала Катерина, смиряясь, — тогда конечно... Но точно ли это были они?

— Да, они. И значит, все сбудется непременно.

— О, это ужасно! И давно ты это знаешь?

— Да, уже несколько недель... — Жанна обернулась ко мне. — Ты, верно, помнишь, Луи, когда это было?

— Ваша светлость впервые сказали об этом королю в Шиноне, — ответил я, — этому уж будет семь недель. А еще вы упомянули об этом двадцатого апреля и снова — двадцать второго, то есть две недели назад, как видно из моих записей.

Эти чудеса сильно поразили Катерину; что до меня, то я давно перестал им дивиться. Ко всему можно привыкнуть. Катерина сказала:

— И это должно случиться завтра, именно завтра? Тебе указан именно завтрашний день? Не вышло ли какой ошибки?

— Никакой ошибки нет, — сказала Жанна, это случится седьмого мая, а не в какой-либо другой день.

— Тогда ты ни на шаг не выйдешь из дому, пока не минет этот страшный день! И не думай даже! Ведь правда, ты никуда не пойдешь, Жанна? Обещай, что ты весь день пробудешь с нами.

Но Жанну не удалось убедить. Она сказала:

— Это не поможет, милая подруга. Мне суждено получить рану — и именно завтра. Если я и не выйду ее искать, она сама меня отыщет. Мой долг призывает меня завтра в бой; я должна идти, хотя бы меня ждала там смерть; так неужели я не пойду из-за раны? Нет, нет, так не годится.

— Ты, значит, решила непременно идти?

— Непременно. Только так я могу служить Франции — вдохновлять ее солдат на битву и победу. — Она задумалась, а затем прибавила: — Однако ж не будем безрассудны. И ты так добра ко мне, что мне хочется сделать тебе приятное. Скажи, ты любишь Францию?

Я спросил себя: к чему она клонит? Но пока еще не понимал. Катерина сказала обиженно:

— Ах, чем я заслужила такой вопрос?

— Значит, любишь. Я в этом не сомневалась. Не обижайся и ответь еще: ты когда-нибудь лгала?

— Преднамеренно — никогда. По пустякам — пожалуй.

— Этого довольно. Ты любишь Францию и не способна лгать. Я могу тебе довериться. Вот ты и реши — идти мне завтра в бой или нет?

— О Жанна! Благодарю тебя от всего сердца! Как ты добра, что уступаешь моим просьбам! Ты не пойдешь, конечно не пойдешь!

Она радостно обняла Жанну и осыпала ее ласками. Если бы хоть одна из этих ласк досталась мне, я почувствовал бы себя богачом; но я только лишний раз убедился, как я беден, — как беден именно тем, что ценил превыше всего. Жанна сказала:

— Надо известить мой штаб, что я завтра не явлюсь.

— О, с радостью! Поручи это мне.

— Благодарю тебя. А как же мы составим наше письмо? Это ведь надо сделать по всей форме. Хочешь, я продиктую?

— Да, да, ты лучше меня знаешь теперь все эти формальности, а мне никогда не приходилось...

— Ну тогда пиши так: Начальнику штаба. Прошу уведомить королевские войска в гарнизонах и на поле, что главнокомандующий французскими силами не выйдет завтра сражаться с англичанами, потому что боится быть раненым. Подписано: *Жанна д'Арк*. Писала *Катерина Буше*, которая любит Францию.

Наступило молчание — то молчание, когда не терпится взглянуть на собеседников. Так я и сделал. На лице Жанны была добрая улыбка, а у Катерины пылали щеки, дрожали губы и в глазах стояли слезы. Она сказала:

— О, как мне стыдно! Ты так благородна, мужественна и мудра, а я так ничтожна, так ничтожна и глупа! — Тут она не выдержала и расплакалась; и мне так захотелось обнять ее и утешить, но вместо меня это сделала Жанна. Что же мне оставалось делать? Жанна сделала это хорошо: ласково и нежно; я сделал бы не хуже, но боялся, что может выйти глупо и неуместно и смутит нас всех, так что я удержался — и надеюсь, что поступил правильно, хотя много раз потом терзался сомнением: не упустил ли я

случай, который мог изменить всю мою жизнь и сделать ее счастливей и прекрасней, увы, чем она сложилась. Я все еще горюю об этом, когда вспоминаю, и не люблю вызывать эту сцену в памяти, потому что мне все еще больно!

Как хорошо и полезно немного посмеяться! Это оздоравливает нас, сохраняет в нас человечность и не дает закиснуть. Маленькая ловушка, поставленная Катерине, была, пожалуй, самым лучшим способом показать ей, какую нелепость она требовала от Жанны. Очень забавная мысль, если вдуматься. Даже Катерина отерла слезы и рассмеялась, когда представила себе, как англичане узнают, что французский главнокомандующий отказался идти в бой и по какой причине. Она согласилась, что это доставило бы им немало веселых минут.

Мы продолжали начатое письмо к матери и, разумеется, не зачеркнули тех строк, где Жанна говорила о своей ране. Жанна была в отличном настроении, но когда дошла до приветов подругам, это слишком живо напомнило ей нашу деревню, Волшебный Бук, цветущую долину, стада овец и всю мирную, скромную красу нашей родины. Называя родные имена, губы ее задрожали. А когда дошла очередь до Ометты и Маленькой Менжетты, голос ее прервался, и она не могла продолжать. Она умолкла, а потом сказала:

— Напиши им о моей любви — горячей, глубокой любви, от самого сердца. Никогда мне больше не видеть родного дома!

Пришел духовник Жанны, Паскерель, а с ним славный рыцарь сьер де Рэ, который имел поручение от совета. Совет решил, что сделано достаточно; что лучше всего и надежнее всего удовлетвориться тем, что даровал господь; что сейчас город запаса провиантом и может выдержать длительную осаду и что разумнее будет увести войско с того берега и возобновить оборонительную войну. Так они и решили.

— Экие трусы! — воскликнула Жанна. — Так вот почему они так заботливо уговаривали меня отдохнуть! Чтобы удалить меня от войска! Сейчас я отвечу, только не совету — мне нечего отвечать этим

переодетым горничным, — а единственным мужчинам: Дюнуа и Ла Гиру. Передай им, что войско останется на месте, и если они посмеют послушаться, они за это ответят. Передай, что завтра утром мы снова пойдем в наступление. А теперь ступай, добрый рыцарь.

Духовнику она сказала:

— Встань завтра пораньше и не отлучайся от меня весь день. У меня будет много дела, и я буду ранена — вот сюда, между шеей и плечом.

Глава XXII

СУДЬБА ФРАНЦИИ РЕШАЕТСЯ

Мы поднялись на заре и выступили сразу после утренней мессы. В зале нам встретился хозяин дома; добряк горевал, что Жанна идет в бой без завтрака, и умолял ее покушать. Но у нее не было времени — вернее, не хватало терпения, так ей хотелось поскорее атаковать последний бастион, который мешал первому настоящему шагу к освобождению Франции. Буше попробовал уговорить ее:

— Смотрите, мы, бедные осажденные, за долгие месяцы успели позабыть вкус рыбы, а теперь она снова у нас есть — и все благодаря вам. Взгляните, вот отличный пузанок к завтраку. Неужели вы откажетесь отведать его?

Жанна сказала:

— О, рыбы у вас будет вдоволь. Когда мы выполним сегодняшнюю задачу, весь берег будет ваш.

— Ваша светлость свершит много славных дел, это я знаю. Но мы не требуем столь многого, даже от вас. Это можно сделать за месяц, зачем непременно в один день? О, прошу вас, останьтесь позавтракать. Есть поговорка: кто хочет дважды в день переправиться через реку, должен поесть рыбы — за благополучную переправу.

— Эта поговорка не про меня, — я сегодня переправлюсь только раз.

— Как? Вы к нам не вернетесь?

— Вернусь, но не в лодке.

— А как же?

— По мосту.

— Нет, вы только послушайте — по мосту! Полно шутить, ваша светлость! Послушайте меня. Уж очень хороша рыбка!

— Ну, так оставьте мне кусочек к ужину. Я привезу с собой кого-нибудь из англичан, оставьте и на его долю.

— Что с вами делать, пусть будет по-вашему. Но кто отправляется натошак, много не наработает и должен пораньше кончить. Когда вы думаете вернуться?

— Когда сниму осаду Орлеана. Вперед!

Мы отправились. Улицы были полны горожан и солдат, но все глядели невесело. Никто не улыбался, все были мрачны. Казалось, что на город обрушилась беда, которая убила всякую радость и надежду.

Мы были к этому непривычны и удивились. Но когда показалась Дева, все оживились и стали спрашивать:

— Куда она едет? Куда направляется?

Жанна услышала и крикнула:

— А как вы думаете — куда? Брать приступом Турель!

Невозможно описать, как эти немногие слова преобразили весь облик того утра, какую вызвали радость, восторг, безумие! Какое громовое «ура» прокатилось по всем улицам и вмиг вдохнуло в унылые толпы жизнь и бурное движение! Солдаты отделились от толпы и устремились под наши знамена; многие горожане побежали за пиками и алебардами и тоже присоединились к нам. Численность нашего войска неудержимо росла, и приветственные крики все время сопровождали нас. Мы ехали словно в плотном облаке шума; радостный шум слышался из всех окон по обе стороны улицы, из каждого глядели возбужденные лица.

Оказалось, что совет приказал запереть Бургундские ворота и поставил возле них сильный отряд во главе со старым воином Раулем де Гокуром, бальи

города Орлеана; ему было приказано не выпускать Жанну и не давать ей атаковать Турель. Это постыдное распоряжение повергло весь город в печаль и отчаяние. Но теперь все ожили. Все верили, что Дева справится с советом, — и не ошиблись.

Подъехав к воротам, Жанна приказала Гокуру отпереть их и пропустить ее.

Он ответил, что пропускать не велено — так распорядился совет.

Жанна сказала:

— Я подчиняюсь одному только королю. Если у тебя есть приказ от короля, предъяви его.

— Такого приказа у меня нет, ваша светлость.

— Тогда пропусти нас, или ты ответишь за это.

Он начал что-то доказывать, — как и вся эта братия, он всегда был готов к словопрепиям. Жанна прервала его болтовню и коротко скомандовала:

— Вперед!

Мы устремились к воротам и очень быстро одолели это пустяковое препятствие. То-то удивился балыи! Он был непривычен к подобной бесцеремонности. После он рассказывал, что его прервали на полуслове, а он как раз собрался доказать, что не может пропустить Жанну, — да так убедительно доказать, что ей нечего было бы ответить.

— Однако ж она, как видно, ответила, — возразил его собеседник.

Мы выехали из ворот с большой помпой и еще большим, чем прежде, шумом, да вдобавок еще со смехом; и скоро наш авангард переправился через реку и двинулся на Турель.

Прежде чем атаковать этот мощный бастион нам предстояло взять безыменную подпорную стену, или, иначе, больверк. Он сообщался с бастионом посредством подъемного моста, перекинутого через быстрый и глубокий рукав Луары. Больверк был сильно укреплен, и Дюнуа сомневался, сможем ли мы взять его. Но у Жанны не было таких сомнений; все утро она била по больверку из пушек, а в полдень приказала идти на штурм и сама повела нас. Мы ринулись в ров — в дыму, под градом ядер. Громко ободряя солдат, Жанна

стала взбираться по лестнице, но тут случилось предсказанное несчастье: железная стрела из арбалета, пробив доспехи, поразила ее у основания шеи. Ощувив острую боль и увидя, что из раны брызнула кровь, бедняжка испугалась; она опустилась на землю и горько заплакала.

Англичане испустили радостный крик и лавиной покатались со стен, стремясь захватить ее; в течение нескольких минут здесь решался исход боя. Англичане и французы отчаянно дрались за Жанну — она воплощала Францию, она была Францией для тех и других. Кто захватил бы ее, тот захватил бы Францию и *удержал ее навсегда*. На этом месте в течение десяти минут навеки решалась — и решилась — судьба Франции.

Если бы англичане взяли тогда Жанну в плен, Карл VII бежал бы из Франции, договор, заключенный в Труа, остался бы в силе, и Франция, которая и до того была английской собственностью, стала бы — уже неоспоримо — английской провинцией и оставалась бы таковой вплоть до Страшного суда. Здесь были поставлены на карту народ и королевство, а времени для решения было не больше, чем требуется для того, чтобы сварить яйцо. Таких важных минут еще никогда не отмечали во Франции стрелки часов. Если вам доведется читать в исторических хрониках о решающих часах, днях или неделях, когда судьба какой-нибудь страны лежала на чаше весов, всегда вспоминайте — и пусть ваши французские сердца бьются при этом сильнее! — те десять минут, когда Франция — она же Жанна д'Арк — истекала кровью во рву, а две нации боролись за нее.

Не забудем и Карлика: Он стоял над ней и бился за шестерых. Он держал топор обеими руками, при каждом ударе приговаривая: «За Францию!» — и шлемы разлетались, как яичная скорлупа, а носившие их головы раз и навсегда усваивали, что с французами шутки плохи. Он нагромоздил перед собой стену из мертвых тел в железных доспехах и сражался из-за этого прикрытия. Наконец, когда победа была наша, мы стали вокруг него плотной стеной, а он взбежал по лестнице, неся Жанну на руках легко, как ребенка, —

и вынес ее из боя; а за ним в тревоге последовало немало воинов, потому что Жанна была вся в крови, своей и вражеской: воюющие, падая вокруг нее, заливали ее потоками крови. Под этой страшной раскраской уже нельзя было различить ее светлые доспехи.

Железная стрела все еще торчала в ране; говорят, она вышла наружу под лопаткой. Может быть; я старался не смотреть. Стрелу вынули, и бедняжка Жанна от боли снова заплакала. Другие говорят, что она вытащила ее сама, потому что никто не решался причинить ей боль. Этого я тоже не знаю, знаю только, что на рану наложили масляную повязку.

Жанна несколько часов пролежала на траве; она ослабела и жестоко страдала, но требовала, чтобы бой продолжался. Он и продолжался, но толку было немного — солдаты только при ней становились бесстрашными героями. Совсем как Паладин, — этот, мне кажется, боялся даже собственной тени, особенно под вечер, когда она удлинялась, но если Жанна смотрела на него и воодушевляла его, разве он чего-нибудь боялся? Ничего на свете! Говорю вам истинную правду.

К ночи Дюнуа решил отступить. Жанна услышала звуки трубы.

— Как? — вскричала она. — Неужели трубят отбой?

Она вмиг позабыла свою рану. Она отменила приказ и послала орудийному командиру другой: приготовиться к пяти залпам подряд. Это был условленный сигнал войску, оставшемуся на орлеанском берегу под начальством Ла Гира, — его не было с нами, хотя некоторые историки и утверждают обратное. Сигнал условились подать, когда Жанна убедится, что большерук в наших руках. Тогда Ла Гир должен был перейти мост и идти в контратаку на Турель.

Жанна села на коня, окруженная своим штабом. Увидев нас, солдаты издали громкий клич и потребовали, чтобы их немедленно вели в атаку на большерук. Жанна подъехала прямо ко рву, где была ранена, и там, стоя под градом стрел из луков и арбалетов, приказала Паладину распустить знамя по ветру и заме-

тишь, когда его длинная бахрома коснется крепостной стены. Скоро он сказал:

— Коснулась!

— Ну, — сказала Жанна солдатам, — крепость ваша, входите! Трубаچی, трубите атаку! Ну-ка! Все разом, дружно — *вперед!*

Вот мы и ринулись вперед. Вы никогда не видели ничего подобного. Мы волной хлынули по лестницам на стены — и крепость была взята! Можно прожить тысячу лет и не увидеть такого великолепного зрелища. Мы сошлись с врагом вплотную и дрались, как дикие звери, потому что англичане не сдавались; чтобы убедить англичанина сдаться, надо было его убить, да и то он еще сомневался. Так по крайней мере многие считали в те времена.

Мы были так поглощены битвой, что не слыхали пяти пушечных залпов; их дали сразу после того, как Жанна велела идти на приступ.

Пока мы рубились с противником перед малой крепостью, наши резервы на орлеанском берегу перешли мост и атаковали Турель с другой стороны. К подъемному мосту, соединявшему Турель с нашим бойверком, был подведен брандер, и когда мы наконец погнали англичан перед собой и они попытались перейти этот подъемный мост, чтобы соединиться со своими в Турели, горящие бревна подломились под ними, и все они упали в реку в своих тяжелых доспехах. Грустно было смотреть, как храбрецы гибнут такой жалкой смертью.

— Господи, смилуйся над ними! — сказала, видя это горестное зрелище, Жанна и заплакала. Она сказала эти слова и пролила эти слезы сострадания, хотя один из утопавших англичан за три дня до того грубо оскорбил ее, когда она предложила им сдаться. Это был отважный рыцарь Уильям Гласдейл. Он был в стальных доспехах с головы до ног и, конечно, сразу же камнем пошел ко дну.

Мы наскоро соорудили мост и ринулись на последний оплот англичан, отделявший Орлеан от французских сил и от припасов. Не успело зайти солнце, как Жанна завершила замечательные деяния этого навеки

памятного дня: ее знамя развевалось над Турелью, и обещание ее было выполнено — она освободила Орлеан.

Семимесячная осада кончилась. Свершилось то, что лучшие военачальники Франции считали невозможным: несмотря на все помехи, которые чинили ей королевские министры и военные советы, семнадцатилетняя деревенская девушка выполнила свою великую задачу — и выполнила за четыре дня!

Бывает, что и добрые вести несутся на крыльях, не только дурные. Мы еще только готовились возвратиться в город по мосту, а весь Орлеан уже осветился праздничными огнями; и небо над ним зарделось от радости. Грохот и рев пушек и звон колоколов на этот раз превзошел все, что Орлеан производил до сих пор по части шума.

Когда мы вступили в город, началось нечто неопишемое. Толпы, сквозь которые мы пробивались, проливали столько слез, что от них могла подняться вода в реке; праздничные огни озаряли залитые слезами лица; и если бы ноги Жанны не были защищены стальными поножами, их совсем стерли бы поцелуями. «Слава! Слава Орлеанской Деве!» — крик этот повторялся без конца. «Слава нашей Деве!» — кричали другие.

Ни одна девушка в мире не достигала тех вершин славы, каких достигла в тот день Жанна д'Арк. Вы думаете, это вскружило ей голову и она почилла на лаврах под сладкую музыку похвал? Нет; так было бы с другой девушкой, но не с нею. Это было самое великое сердце, какое когда-либо билось, но также и самое простое. Она легла в постель и сразу уснула, как усталый ребенок, а когда люди узнали, что она ранена и нуждается в покое, они запретили всякое движение в этой части города и всю ночь простояли на страже, охраняя ее сон. Они говорили: «Она принесла нам мир и покой, пусть и сама уснет спокойно».

Все знали, что на другой же день во всей округе не останется ни одного англичанина; и все говорили, что ни горожане, ни их потомки никогда не перестанут чтить этот день и память о Жанне д'Арк. Так они

делают уже более шестидесяти лет, и так будет вечно. Орлеан не забудет восьмое мая и всегда будет праздновать его. Это день Жанны д'Арк, и он священен¹.

Глава XXIII

ЖАННА ВОДОУШЕВЛЯЕТ НИЧТОЖНОГО КОРОЛЯ

Едва занялась заря, Тальбот и его английские войска ушли из бастионов так поспешно, что ничего не сожгли, не разрушили, не разграбили и оставили в них весь провиант и боеприпасы, приготовленные для длительной осады. Люди с трудом верили, что великое событие действительно свершилось; что они снова свободны и могут входить и выходить через любые ворота и никто их не остановит, никто не тронет; что страшный Тальбот, гроза французов, одно имя которого приводило в трепет французскую армию, отступает, побежденный какой-то девочкой.

Жители высыпали из домов. Из всех городских ворот повалили толпы народа. Они закопошились вокруг оставленных англичанами бастионов, точно муравьи, — с той разницей, что было много шума, — и растащили орудия и боеприпасы, а потом превратили всю дюжину укреплений в гигантские костры, в подобие вулканов, над которыми поднялись столбы густого дыма, казалось упиравшиеся в небеса.

Дети выражали свой восторг иначе. Для младших прошедшие семь месяцев были долгим сроком. Они успели позабыть, что такое луга, и после грязных улиц бархатная зелень лугов казалась раем их изумленным и счастливым взорам; они дивились просторам полей, где можно было бегать, плясать, резвиться и кувыряться после томительного плена; они бегали по обоим берегам реки и возвращались домой только к ночи — усталые, но с охапками цветов, разрумянившиеся от свежего деревенского воздуха и быстрого движения.

¹ Этот день и доныне отмечается гражданскими и военными торжествами. (Прим. переводчика.)

Когда крепости были сожжены, горожане, вслед за Жанной, обошли все церкви, вознося благодарственные молитвы по случаю освобождения города, а вечером устроили праздник в честь нее и ее военачальников, зажгли иллюминацию и предались радости и веселью. Перед рассветом, когда город наконец уgomонился, мы были уже на конях и спешили в Тур, докладывать королю.

Эта поездка могла бы хоть кому вскружить голову, но только не Жанне. Вдоль всей дороги теснился благодарный народ. Люди толпились вокруг Жанны, стараясь дотронуться до ее ноги, коня или доспехов; иные даже становились на колени на дороге и целовали следы копыт.

Вся страна прославляла Жанну. Высшие сановники церкви написали королю, превознося Деву, уподобляя ее святым подвижницам и героическим библейским женщинам и предостерегая короля: да не допустит он, чтобы «неверие, неблагодарность или иная несправедливость» помешали принять ниспосланную в ее лице помощь свыше. Могут сказать, что здесь авторы письма обнаружили дар предвидения; пусть так, — но, по-моему, они просто хорошо знали вероломство и низость короля.

Король приехал в Тур встретить Жанну. Это жалкое создание по сей день зовется Карлом Победоносным — за победы, добытые чужими руками; но в наше время мы между собой звали его иначе, и это подходило ему куда больше: Карл Подлый. Когда мы предстали пред его очи, он восседал на троне, окруженный свитой разряженных щеголей. Он походил на раздвоенную морковь, до того тесно облежала его одежда ниже пояса. Он был обут в башмаки с мягкими носками длиной в добрый фут, так что их надо было прикреплять к коленям, чтобы не споткнуться. Пелерина из алого бархата едва доходила королю до локтей; на голове было надето высокое сооружение из войлока, формой своей напоминавшее наперсток; его украшала лента, осыпанная драгоценностями, и перо, торчавшее точно перо из чернильницы; из-под этого колпака спускались до плеч жесткие волосы, на концах подвитые

наружу, так что голова вместе с шляпой напоминала ракетку для игры в волан. Вся одежда его была из дорогих тканей ярких цветов. Он держал на коленях крошечную левретку, которая рычала, вздергивая губу и скаля белые зубы при каждом тревожившем ее движении. Королевские любимцы были одеты примерно так же. Я вспомнил, как Жанна назвала военный совет в Орлеане «переодетыми горничными», и подумал: вот и этих следовало бы назвать так же; здесь растрачивают все, что имеют, на пустые побрякушки и ничего не могут дать, когда деньги нужны для серьезного дела.

Жанна упала на колени перед его королевским величеством и другим бесполезным животным — тем, которое он держал на коленях; мне было больно это видеть. Что сделал этот человек для своей страны или для кого-либо, чтобы она или кто бы то ни было преклонял перед ним колени? А она только что совершила единственный подвиг, какой видели во Франции за пятьдесят лет; она пролила за родину свою кровь. Им следовало поменяться местами.

Справедливости ради надо признать, что Карл по большей части обходился с ней хорошо, а на этот раз даже лучше обычного. Он отдал собачонку одному из придворных и обнажил голову перед Жанной, как сделал бы это перед королевой. Затем он сошел с трона, поднял ее, горячо приветствовал и поблагодарил за героическую службу. Мое предубеждение против него возникло позже. Останься он таким, каким был в тот день, оно не появилось бы.

Он был поистине любезен. Он сказал:

— Не преклоняйте колен, мой несравненный полководец. Вы одержали королевскую победу, и вам подобают королевские почести. — Заметив ее бледность, он сказал: — И вы не должны стоять, вы пролили кровь за Францию, и рана ваша еще не закрылась, — идите сюда. — Он подвел ее к креслу и сел рядом с ней. — Теперь говорите со мной откровенно, как с вашим большим должником, который готов признать свой долг в присутствии всего двора. Чего вы просите в награду? Говорите.

Мне стало стыдно за него. Но я был не прав: откуда ему было за несколько недель узнать это удивительное дитя, если даже мы, знавшие ее всю жизнь, ежедневно открывали в ней новые духовные высоты, о которых не подозревали ранее? Но все мы таковы: когда мы что-нибудь знаем, мы презираем всех, кто почему-либо этого не знает. Мне было стыдно и за всех этих придворных, которые завистливо облизывались, видя, какой чести удостоилась Жанна, а ведь они знали ее не лучше, чем король. Лицо Жанны залилось краской при мысли, что ей предлагают плату за службу родине; она потупила голову и попыталась спрятать лицо, как делают все девушки, когда краснеют; почему они это делают — неизвестно, но так уж бывает всегда; и чем сильнее они краснеют, тем больше смущаются и не могут вынести любопытных взглядов. Король еще больше испортил дело тем, что привлек к ней общее внимание, а это — самое неприятное для девушки, когда она краснеет; если кругом много посторонних, девушка может даже расплакаться, особенно такая юная, как Жанна. Одному богу ведомо, отчего это так, — от людей это скрыто. Что касается меня, то мне покраснеть — не страшнее, чем чихнуть, даже, пожалуй, проще. Однако эти размышления не идут к делу, и я лучше продолжу свой рассказ: Король пошутил над тем, что Жанна покраснела, — и тут уж вся кровь бросилась ей в лицо, и оно запылало огнем. Ему стало жаль ее, и он попытался рассеять ее смущение; он сказал, что краска ей очень к лицу и смущаться тут нечего. Теперь уж все, вплоть до собачонки, уставились на нее, и щеки ее из красных сделались пунцовыми, а из глаз полились слезы, как я и ожидал. Король очень огорчился и понял, что лучше всего переменить тему: он в самых лестных выражениях заговорил о том, как Жанна брала Турель; когда она немного успокоилась, он снова сказал, чтобы она просила себе награду. Все превратилось в слух, ожидая, чего она потребует, но когда она ответила, на лицах у всех было ясно написано, что они ожидали совсем не того.

— О милостивый дофин, у меня только одно желание. Если...

— Не бойся, дитя мое, говори.

— Не медлите ни одного дня. Мое войско сильно, отважно и горит желанием завершить свое дело. Поезжайте со мной в Реймс и там возложите на себя венец. Малодушный король в своем мотыльковом наряде сразу весь съезжился.

— В Реймс? Мой милый полководец, это невозможно! Ведь там средоточие английских сил.

Неужели его окружали французы? Ни одно лицо не просияло при словах мужественной девушки — напротив, все с явным удовольствием услышали возражение короля. Идти воевать, вместо того чтобы нежиться в шелках? Этого не желал ни один из мотыльков. Угощая друг друга конфетами из осыпанных драгоценностями бонбоньерок, они шепотом одобряли осторожность главного мотылька. Жанна сказала с мольбой:

— Умоляю вас, не упускайте такого превосходного случая! Сейчас все нам благоприятствует, все! Все сложилось как нельзя лучше. Наше войско воодушевлено победой, а англичане приуныли от своего поражения. Если мы промедлим, положение изменится. Солдаты увидят, что мы колеблемся и не спешим закрепить победу; они удивятся, потом начнут сомневаться и утратят боевой дух; англичане тоже удивятся и снова наберутся отваги. Сейчас самое время! Молю вас — едем!

Король покачал головой, а Ла Тремуиль, у которого он спросил совета, с готовностью подтвердил:

— Сир, это было бы неблагоприятно. Подумайте об английских укреплениях на Луаре и о тех, что находятся между нами и Реймсом.

Он хотел продолжать, но Жанна прервала его и сказала, обернувшись к нему:

— Если ждать, англичане укрепятся еще больше. А это разве будет выгоднее для нас?

— Нет, разумеется.

— Так что же ты предлагаешь? Что, по-твоему, надо делать?

— Мне думается, что надо выждать.

— Выждать?.. Чего?

Министр смутился, ибо не мог дать никакого убедительного объяснения. К тому же он не привык, чтобы его вот так допрашивали вопросами в присутствии целой толпы. Он проговорил с раздражением:

— Государственные дела не годится обсуждать в таком многолюдном собрании.

Жанна сказала кротко:

— Прошу прощения. Я ошиблась по неведению: я не знала, что ты ведаешь государственными делами.

Министр поднял брови с насмешливым удивлением и сказал саркастически:

— Я первый министр короля, а тебе кажется, что я не ведаю государственными делами. Как же это могло тебе показаться, позволь спросить?

Жанна ответила спокойно:

— Да ведь государства-то нет.

— То есть как это нет?

— Нет, мессир, государства нет; а значит, нет надобности и в министре. От Франции осталось всего несколько акров земли, а для них довольно и управителя с подручным. И это не государственные дела, такое громкое слово тут не подходит.

Король не покраснел, а, напротив, весело и беззаботно рассмеялся; вслед за ним засмеялся и весь двор, но беззвучно и, из осторожности, отвернувшись. Ла Тремуйль рассердился и открыл было рот, чтобы возразить, но король остановил его движением руки и сказал:

— Я беру ее под свое королевское покровительство. Она сказала правду, неприкрашенную правду, а мне так редко доводится ее слышать! Сколько бы ни было мишурной позолоты на мне и вокруг меня, я ведь и в самом деле всего только управляющий какими-то жалкими акрами, а ты — мой подручный. — И он снова весело рассмеялся. — Жанна, моя правдивая и верная воительница! Требуя же от меня награду. Хочешь, я возведу тебя в дворянство. Пусть у тебя в гербе будут французские лилии и корона, а рядом — твой победоносный меч, который их защищает. Тебе достаточно сказать слово.

По залу пронесся шепот завистливого удивления по Жанна покачала головой и сказала:

— Не надо мне этого, милостивый дофин. Трудиться для Франции, отдать всю себя ради Франции — ведь это само по себе величайшая награда, и к ней нечего прибавить. Даруйте мне единственную милость, о которой я прошу, — самую желанную для меня, самую ценную из всех, какие вы можете даровать: поезжайте со мной в Реймс и возложите на себя корону. Позвольте припасть к вашим ногам и умолять вас!

Король удержал ее за руку; что-то подлинно мужественное прозвучало в его голосе и сверкнуло в глазах, когда он сказал:

— Не надо. Ты победила — пусть будет по...

Но тут он увидел предостерегающий жест министра и добавил к великому облегчению двора:

— Мы подумаем. Подумаем и обсудим. Довольно с тебя этого, неугомонная воительница?

В начале его речи лицо Жанны озарилось радостью, но потом радость угасла, и глаза ее наполнились слезами. Она заговорила с каким-то страхом:

— Умоляю вас, позвольте мне выполнить мое дело — ведь у меня осталось так мало времени!

— Мало времени?

— Всего только год. Меня хватит на год.

— Полно, дитя! В твоём крепком маленьком теле хватит жизни лет на пятьдесят.

— Вы ошибаетесь. Через год, всего через год, наступит конец. Время уходит, а ведь еще так много надо сделать! О, позвольте мне действовать — и скорее! Это для Франции дело жизни и смерти.

Ее страстная речь подействовала даже на этих козюков. Король сделался очень серьезен, и было видно, что слова ее произвели на него глубокое впечатление. Глаза его внезапно загорелись, он встал, обнажил меч, поднял его над головой, а потом медленно опустил его плащом на плечо Жанны и сказал:

— Как ты правдива и проста, как велика и благородна! Дарую тебе дворянское звание, которое подобает тебе по праву. Ради тебя дарую его также всей твоей семье и всему их законному потомству не только

по мужской линии, но и по женской. Более того: чтобы отличить твой род и почтить его превыше всех других, дарую ему привилегию, которую еще никто не получал в моей стране: женщины в твоём роду будут иметь право передавать дворянство своим мужьям, если те окажутся простого звания.

При этой небывалой милости на всех лицах отразились удивление и зависть. Король сделал паузу и огляделся вокруг с явным удовлетворением:

— Встань, Жанна д'Арк, отныне именуемая дю Лис — в благодарность за мощный удар, который ты нанесла врагу, защищая наши лилии. Пусть они навсегда соединятся в твоём гербе с нашей королевской короной и твоим победоносным мечом как знак твоего благородного звания.

Госпожа дю Лис поднялась, а раззолоченные любимцы фортуны кинулись поздравлять ее с вступлением в их священные ряды и спешили величать ее новым титулом. Но она смутилась и сказала, что эти почести не подобают ее низкому рождению, — пусть ей позволят и впредь называться просто Жанной д'Арк, и больше никак.

Больше никак! Точно могло быть что-либо выше и славнее этого имени! Госпожа дю Лис — это мелко, мишурно и недолговечно. Но *Жанна д'Арк* — один лишь звук этого имени заставляет сердце усиленно биться!

Глава XXIV

ДВОРЯНСКАЯ МИШУРА

Досадно было видеть, сколько шуму наделала эта весть в городе и по всей стране: Жанна д'Арк получила дворянство! Люди были вне себя от удивления и восторга. Как на нее глазели, как ей завидовали — вы не можете себе представить. Можно было подумать, что ей выпало редкое счастье. Мы-то этого не думали: мы считали, что никто из смертных не мог что-либо прибавить к славе Жанны д'Арк. Она была для нас

солнцем, сиявшим в небесах, а ее дворянское звание — свечкой, которую туда зачем-то взгромоздили; нам казалось, что свечка меркнет в ее сиянии. Да и ей самой это было так же безразлично, как было бы безразлично солнцу.

Но братья ее отнесли к этому совсем иначе. Они радовались своему новому званию и гордились им; оно и понятно. Жанна тоже стала радоваться, видя, как они довольны. Это было умно придумано: король победил ее сопротивление, сыграв на ее любви к родным.

Жан и Пьер тотчас начали щеголять своим гербом; все искали знакомства с ними — и знатные, и простые. Знаменосец с некоторой горечью заметил, что они ошалели от радости и готовы даже не спать, потому что во сне не сознают своего дворянства и попусту теряют время. И еще он сказал:

— На военных парадах и на всех официальных церемониях они не могут идти впереди меня, зато в обществе они теперь, пожалуй, всюду будут соваться сразу после тебя, рыцарей и Ноэля, а мне придется идти позади их — а?

— Да, — сказал я, — пожалуй, что так.

— Вот этого-то я и боялся, — сказал со вздохом Знаменосец. — Но что я говорю — боялся? Я знал наперед. Экую глупость я брякнул!

Ноэль Рэнгессон сказал задумчиво:

— То-то у тебя это вышло так натурально. Я сразу заметил.

Мы засмеялись.

— Ах, вот как? Ты заметил? Уж очень ты много о себе воображаешь. Я тебе когда-нибудь сверну шею, Ноэль Рэнгессон.

Сьер де Мед сказал:

— Паладин, дело обстоит много хуже, чем ты опасешься. Представь, что в обществе они теперь займут место впереди *всей* свиты, то есть всех нас.

— Да полно!

— Вот увидишь. Ты взгляни на их герб. Главное в нем — это французские лилии. А ведь это королевский герб, вот в чем дело. Так было угодно королю. И получилось, что у них в гербе, пусть не целиком, а

все-таки помещен *государственный герб Франции*. Сообразил, что это значит? Куда же нам соваться вперед их? Нет уж, больше нам этого не придется! Я полагаю, что им теперь место впереди всех здешних вельмож, кроме герцога Алансонского, потому что он — принц королевского дома.

Паладин не мог опомниться от удивления. Он даже побледнел. Некоторое время он беззвучно шевелил губами и наконец произнес:

— Нет, этого я не знал... я и половины всего не знал, — откуда мне было знать? Экий я дурак! Вот теперь вижу, что дурак. Ведь еще нынче утром я им крикнул: «Эй, здорово!» — точно простым людям. Я не хотел грубить — я просто не знал, я и половины не знал. Экий я осел! Да, ничего не скажешь — осел!

Ноэль Рэнгессон сказал небрежно:

— Похоже на то. Но чему тут так уж удивляться? Не понимаю!

— Не понимаешь? Чего это ты там не понимаешь?

— Да ведь это уж не ново. У иных это привычное состояние. Ну а привычное состояние всегда выражается одинаково. А раз одинаково, то это в конце концов утомляет. Вот если б ты обнаружил утомление, когда разыграл осла, тогда все было бы понятно и логично. А удивляться — это значит опять-таки разыграть осла. Ведь если человек удивляется чему-то давно привычному и даже надоевшему, он...

— Ну, хватит, Ноэль Рэнгессон! Лучше помолчи, если не хочешь нажить беды. Сделай милость, не докучай мне хоть с неделю, надоела мне твоя болтовня!

— Вот это мне нравится! Я вовсе не хотел говорить. Напротив, я уклонялся от бесед с тобой. Если тебе не хочется слушать мою болтовню, зачем же ты сам вовлекаешь меня в разговоры?

— Кто, я? Да я и не думал!

— Но ты это все-таки делал. На такое отношение я вправе обижаться — вот я и обижаюсь. Когда вовлекаешь и втягиваешь человека в разговор чуть не насильно, то несправедливо и невежливо называть это *болтовней*.

— Ишь захныкал! Прикинулся несчастеньким! Нет ли у кого леденца — заткнуть рот этому младенцу! Скажи, Жан де Мец, ты это наверняка знаешь?

— Что — это?

— Да вот насчет того, что Жан и Пьер пойдут впереди всей светской знати, кроме герцога Алансонского?

— Да, можешь не сомневаться.

Знаменосец погрузился в задумчивость, потом вздохнул так глубоко, что шелк и бархат заколыхались на его могучей груди, и сказал:

— Ишь ведь куда залетели! Бывает же людям удача. А я не завидую. Я бы не хотел такой случайной удачи. Я больше горжусь тем, что сам сумел заслужить. Мало чести — сидеть верхом на солнце и знать, что это чистый случай, что тебя туда забросило из чужой катапульты. Я признаю только личные заслуги. А все прочее — вздор.

Тут трубы протрубили сбор и прервали нашу беседу.

Глава XXV

НАКОНЕЦ-ТО ВПЕРЕД!

Дни шли за днями, а ничто еще не было решено, ничто не было готово. Войско рвалось в бой, но солдаты были голодны. Они не получали жалованья, казна пустела, кормить их было нечем; из-за этих лишений ряды их начинали таять — к великому удовольствию легкомысленного двора. Жанна была в отчаянии. Она была вынуждена бездействовать и беспомощно смотреть, как тает ее победоносная армия, пока от нее не остался один остов.

Наконец она отправилась в замок Лош, где король проводил время в праздных забавах. Она застала у него трех его советников: Робера Ле Масона, бывшего канцлера Кристофа д'Аркура и Жерара Машё. С ними был незаконнорожденный сын принца Орлеанского, — он-то и сообщил нам впоследствии, что при

этом произошло. Жанна бросилась к ногам короля, обняла его колени и воскликнула:

— Благородный дофин, прошу тебя, не созывай больше этих бесконечных совещаний. Идем, скорее идем со мной, короноваться в Реймс.

Кристоф д'Аркур спросил:

— Это твои Голоса велят тебе торопить короля?

— Да, и очень настоятельно.

— Так расскажи нам в присутствии короля, как твои Голоса говорят с тобой.

Это была новая коварная попытка вырвать у Жанны неосторожные слова и заставить ее высказать опасные еретические суждения. Но попытка не удалась. Ответ Жанны был прост и прям, и лукавый епископ не смог ни к чему придаться. Она сказала, что когда она встречает людей, сомневающихся в ее миссии, она уединяется и молится, скорбя об их неверии; и тогда Голоса ласково утешают ее, говоря ей на ухо: «Вперед, дочь господа, мы поможем тебе». И она добавила: — Когда я это слышу, сердце мое переполняется радостью, почти нестерпимою.

Дюнуа рассказывал, что при этих словах лицо ее просияло каким-то неземным вдохновением.

Жанна молила, уговаривала, доказывала, постепенно добиваясь своего и шаг за шагом преодолевая сопротивление советников. Она умоляла о дозволении выступить в поход. Когда им уже нечего было возражать, они признали, что была допущена ошибка и что войско следовало сохранить, но что же теперь делать? Как выступать в поход без него?

— Так давайте паберем его, — сказала Жанна.

— Но ведь на это уйдет шесть недель.

— Ну и что же? Надо же когда-нибудь начинать!

— Поздно. Герцог Бедфордский наверняка уже собрал войско и спешит на подмогу своим крепостям на Луаре.

— Да, а мы тем временем распустили свое. Но больше мы не должны терять времени. Надо торопиться.

На это король возразил, что он не решается идти на Реймс, раз на пути стоят луарские укрепления. Но Жанна сказала:

— Мы возьмем их. Тогда вы сможете пройти.

На таких условиях король отважился дать согласие: можно будет сидеть в безопасности и ждать, пока ему расчистят путь.

Жанна вернулась от короля, полная надежд. Она сразу подняла всех на ноги. Были выпущены воззвания. В Селле, в провинции Берри, был устроен лагерь для рекрутов; дворяне и простолюдины стали собираться туда с большим воодушевлением.

Почти весь май пропал даром, но уже к шестому июня Жанна набрала новую армию и была готова к походу. У нее было восемь тысяч солдат. Каково? А ведь нелегко было собрать такую силу в такой короткий срок! И все это были опытные солдаты. Правда, во Франции почти все мужчины были солдатами — ведь войны длились уже столько поколений! Да, большинство французов были солдатами, а также отличными бегунами, — это они унаследовали от отцов, ведь они только и знали, что бегали почти сотню лет. Но это была не их вина. У них не было настоящих военачальников, а если таковые и были, то они не имели подходящих условий. Король и двор привыкли предавать полководцев, а полководцы отвыкли подчиняться королю; они действовали по правилу: каждый за себя, и никто — за всех. Так еще никому не удавалось победить. Не мудрено, что французские войска привыкли бегать от противника. А между тем этим войскам, чтобы храбро сражаться, нужен был только настоящий военачальник — такой, который имел бы в своих руках всю власть, а не одну десятую совместно с девятью другими, на которых приходилось тоже по одной десятой. Теперь у них был вождь, облеченный полной властью, всей душой преданный делу и стремившийся воевать по-настоящему, — и результаты непременно должны были сказаться. Можно было не сомневаться в этом. У них была Жанна д'Арк, под ее водительством они забудут, что значит бегать от врага.

Да, Жанна испытывала большой подъем духа. Она поспевала всюду, она трудилась день и ночь, чтобы дело шло быстрее. Всякий раз, когда она объезжала войска, радостно было слушать, как ее приветствовали.

Да и как было не восторгаться при виде этой цветущей юности, красоты и грации, этой воплощенной жизни и отваги! Она с каждым днем становилась прекрасней — то были дни ее расцвета; ей шел восемнадцатый год — почти уже взрослая женщина, можно сказать.

Однажды приехали молодые графы де Лаваль — двое славных юношей, состоявших в родстве со знатнейшими домами Франции. Им не терпелось поскорее увидеть Жанну д'Арк. Король послал за ними, чтобы представить их Жанне, и она превзошла все их ожидания. Когда они слышали ее мелодичный голос, он напомнил им звуки флейты; когда они увидели ее глубокий взор и одухотворенное лицо, это взволновало их, как поэма, как вдохновенное слово или воинственная музыка. Один из них написал домой своим родным: «В ней есть нечто божественное». Хорошо и правильно сказано. Лучше не скажешь.

Он увидел ее, когда она готовилась идти в поход, и вот как он ее описал:

«Она была в белых доспехах, но без шлема, а в руке держала маленькую боевую секиру. Когда она хотела сесть на своего могучего черного коня, он стал взвиваться на дыбы и не давал ей сесть. Тогда она сказала: «Подведите его к кресту». Крест стоял перед церковью. Его подвели туда, и он не шелохнулся, пока она садилась, точно был привязан. Она повернулась к дверям церкви и произнесла своим нежным голосом: «А вы, божьи слуги и все добрые люди, идите крестным ходом и молитесь за нас!» Потом она пришпорила коня и поскакала под знаменем, с секирой в руке, крича: «Вперед!» Один из ее братьев, прибывший сюда неделю назад, ехал с нею; подобно ей, он был в белых доспехах».

Я тоже был там и видел это, — все было так, как он описал. Я до сих пор вижу маленькую секиру, шапочку с перьями, белые доспехи — и все это в сиянии июньского дня. Я вижу все так ясно, точно это было вчера. Поехал и я — в составе личной свиты Жанны д'Арк.

Молодой граф рвался вслед за нами, но король удержал его пока при себе. Однако Жанна пообещала ему исполнение его желания. В том же своем письме он пишет:

«Она сказала мне, что когда король поедет в Реймс, я буду сопровождать его. Но дай бог, чтобы мне не пришлось ждать до тех пор, — ведь мне хочется участвовать в сражениях».

Это обещание она дала ему, когда прощалась с герцогиней Алансонской. Герцогиня потребовала от нее обещания, а за ней и другие стали осаждать ее просьбами. Герцогиня боялась за мужа: она предвидела, что предстоят кровавые бои. Она прижала Жанну к груди и сказала, нежно гладя ее волосы:

— Ты должна беречь его, моя голубка, заботиться о нем и вернуть его мне невредимым. Прошу тебя! Я не отпущу тебя, покуда не обещаешь.

Жанна сказала:

— Обещаю от всей души, и это не пустые слова, а нерушимое обещание: он вернется к вам цел и невредим. Верите вы мне? Довольны вы мною теперь?

Герцогиня не в силах была говорить. Она поцеловала Жанну в лоб, и они расстались.

Мы выступили шестого и переночевали в Роморантене; а девятого Жанна торжественно въехала в Орлеан; на пути ее ждали триумфальные арки, приветственно гремели пушки и плескались на ветру бесчисленные флаги. С нею ехал весь штаб в парадных доспехах и пышных одеждах: герцог Алансонский, Дюнуа; сьер де Буссак — маршал Франции; лорд де Гревиль — начальник лучников; сьер де Кюлан — адмирал Франции; Амбруаз де Лорэ, Этьен де Виньоль по прозвищу Ла Гир; Готье де Брюсак и другие доблестные военачальники.

Славное было время! Как всегда, нас окружала огромная и восторженная толпа, и все теснились поближе к Жанне. Наконец мы добрались до нашей старой квартиры, и старик Буше, его жена и наша милая Катерина прижали Жанну к груди и осыпали ее поцелуями; а у меня болела душа, глядя на это: ведь я сумел бы лучше всех и дольше всех целовать Катерину,

но — увы! — никто не предложил мне того, чего я так жаждал. Как она была хороша и мила! Я полюбил ее с первого дня, и с тех пор она стала для меня святыней. Вот уже шестьдесят три года я ношу ее образ в сердце — и всегда она царила там одна, без соперниц; теперь я дряхлый старик, а образ этот все так же свеж, молод, весел, лукав, так же неотразимо обаятелен и божественно чист, как тогда, давным-давно, когда он впервые поселился в моем сердце, принося ему столько счастья.

Глава XXVI

ПОСЛЕДНИЕ СОМНЕНИЯ РАССЕИВАЮТСЯ

Как и прежде, король приказал своим военачальникам *«ничего не делать без согласия Девы»*. Но на этот раз приказ был выполнен и выполнялся в течение всей славной луарской кампании.

Это была существенная перемена. Тут было нечто новое, ломавшее все традиции. Вы можете видеть отсюда, каким полководцем это дитя показало себя за десять дней. Она сумела рассеять все сомнения и подозрения, завоевать доверие, как не сумел за тридцатилетнюю службу ни один из седых ветеранов ее штаба. Вспомним, что в шестнадцать лет Жанна сама защищала свое дело перед грозным судом, и старый судья назвал ее *«диковинным ребенком»*. Как видите, он метко назвал ее.

Военачальники больше не решались предпринимать что-либо без ее ведома — и это уже было большим успехом. Но некоторые из них все еще боялись ее новой, смелой тактики и стремились удерживать ее.

И вот десятого числа, пока Жанна неутомимо составляла планы и отдавала приказ за приказом, среди части ее военачальников возобновились прежние соображения, споры и словопрения.

В конце дня они собрались на очередной военный совет и, поджидая Жанну, обсуждали положение дел.

В истории об этом не упоминается, но я был там и все расскажу, зная, что вы поверите мне, — я стараюсь не обманывать вашего доверия.

От имени робких выступил Готье де Брюсак. Но герцог Алансонский, Дюнуа, Ла Гир, адмирал Франции, маршал де Буссак и все действительно выдающиеся полководцы держали сторону Жанны.

Де Брюсак сказал, что положение серьезно; что Жаржо — первый пункт, который предстояло атаковать, — сильно укреплен и весь оцетинился пушками; а кроме пушек, там стоят семь тысяч лучших английских солдат под командой известного графа Суффолка и его двух неустрашимых братьев, де ла Полей. Предложение Жанны — взять такую крепость приступом — казалось де Брюсаку чрезмерно смелым; необходимо отговорить ее от этого и склонить к более безопасному образу действий — к правильной осаде. Ему казалось, что эта яростная новая манера — бросаться всей массой на неприступные каменные стены, наперекор всем установленным законам и обычаям войны, — что это...

Дальше ему говорить не дали. Ла Гир нетерпеливо потрянул перьями на шлеме и прервал его:

— Клянусь богом, она свое дело знает, и учить ее нечего!

Едва он это сказал, как уже вскочили на ноги герцог Алансонский, Дюнуа и полдюжины других, и все разом зашумели, грозя расправиться с каждым, кто осмелится, тайно или явно, не доверять главнокомандующему. А когда все высказались, Ла Гир заговорил снова:

— Есть такие, что не признают никаких перемен. Как бы ни менялась обстановка, им невдомек, что *они* должны перемениться, чтобы сообразоваться с ней. Они знают одну торную тропу, по которой ходили их отцы и деды, а потом и они сами. Если случится землетрясение и разверзнется земля и старая тропа будет вести в пропасть или в трясину, эти люди не догадываются проложить новую; они, как дураки, пойдут по старой — прямо к гибели. Поймите, что все у нас сейчас переменилось; и нашелся великий полководец,

который увидел это своим зорким глазом. Нам нужны новые пути, — и тот же зоркий взгляд увидел, где они пролегают, и указал их нам. Нет, не было и не будет человека, который мог бы указать лучшие. Прежде было так: нас били, били и били — вот и получилось, что у войска пропала отвага и надежда. Разве с таким войском пойдешь на штурм каменных стен? С ним можно было только одно: засесть перед крепостью и ждать, брать противника измором, если удастся. А теперь совсем наоборот: теперь солдаты так и рвутся в бой, так и ярятся, так и горят. Что с ними делать? Присыпать костер, и пусть себе тлеет и угасает? А что предлагает Жанна д'Арк? Дать ему *волю* — да, волю, клянусь отцом небесным! — и пусть этот огненный вихрь сметет врага! Тем-то она и велика и мудра, что сразу поняла, какая произошла перемена и как ею надо воспользоваться. Вот почему она против того, чтобы сидеть и брать врага измором, чтобы выжидать да топтаться на месте, чтобы спать да дремать. Она хочет штурмовать, штурмовать и опять штурмовать! Штурмовать непрерывно! Загнать врага в нору, выпустить на него разъяренных французов и взять его штурмом! Это и *мне* по вкусу! Жаржо? А что такое Жаржо? Что значат башни и стены, что значит сильная артиллерия и семь тысяч отборных солдат? Нас ведет Жанна д'Арк! Клянусь славой господней — участь Жаржо решена!

Вот как он за них взялся! Никто уже больше и не заикнулся о том, чтобы убеждать Жанну переменить тактику. После этого беседа потекла спокойно.

Скоро пришла Жанна, все поднялись и салютовали ей мечами, а она спросила, на чем они порешили. Ла Гир сказал:

— Все решено, начальник. Мы говорили о Жаржо. Некоторые считают, что нам его не взять.

Жанна засмеялась своим мелодичным смехом — веселым и беззаботным смехом, который звенел так радостно, что старики молодели, слыша его, — и сказала собранию:

— Не бойтесь; право же, бояться нечего. Мы смело пойдем на приступ, и вы увидите, что будет. — Потом она вдруг задумалась; должно быть, перед ее мыслен-

ным взором встал родной дом, потому что она сказала задумчиво и тихо: — Если б я не знала, что сам господь ведет нас и дарует нам победу, я лучше пасла бы овец, чем глядела на все эти ужасы».

Вечером у нас состоялся прощальный ужин без посторонних — только личная свита Жанны и семья хозяина. Но Жанны с нами не было — город давал банкет в ее честь, и она торжественно отправилась туда со штабом; а колокола заливались, не умолкая, и иллюминация сверкала, как Млечный Путь.

После ужина у нас собралась знакомая молодежь, и мы на время позабыли, что мы солдаты, и помнили только, что мы мальчишки и девчонки, в которых жизненные силы бьют ключом. Начались танцы, игры, забавы и взрывы хохота, — никогда я так безудержно, так шумно и так невинно не веселился. Боже, как давно это было! Я был тогда молод. А за стенами слышались мерные шаги — это подходили запоздавшие французские части, собиравшиеся принять участие в завтрашней трагедии на мрачной арене войны. Да, в те дни подобные контрасты встречались на каждом шагу. А когда я шел спать, мне представился еще один такой контраст: огромный Карлик в новом блестящем вооружении стоял на часах у дверей Жанны, словно воплощенный Дух Войны, — а на его могучем плече, свернувшись клубочком, спал котенок.

Глава XXVII

КАК ЖАННА ВЗЯЛА ЖАРЖО

На следующий день мы торжественно выехали из хмурых ворот Орлеана с развернутыми знаменами; Жанна со штабом возглавляла нашу длинную колонну. С нами были теперь и молодые Лавали, причисленные к штабу. Так им и подобало: война была у них наследственным ремеслом, они были внуками славного воина Бертрана дю Геклена, коннетабля Франции. К нам присоединились также Луи Бурбонский, маршал де Рэ

и видам Шартрский. Если бы мы немного робели, в этом не было бы ничего удивительного: мы знали, что к Жаржо идут английские подкрепления — пять тысяч человек под командованием сэра Джона Фастольфа, — но мы не робели. Эти силы были еще далеко. Сэр Джон почему-то медлил; он терял драгоценное время — пять дней в Этампе и еще четыре в Жанвилле.

Мы достигли Жаржо и тотчас взялись за дело. Жанна выслала вперед большой отряд, который отважно пошел на внешнюю линию укреплений и из всех сил старался там закрепиться; но неприятель сделав вылазку и заставил его отступить. Увидя это, Жанна издала свой воинственный клич и сама повела войска на новый приступ, несмотря на яростный оружийный обстрел. Паладин упал рядом с нею, раненый; она выхватила знамя из его слабеющих рук и бросилась вперед под градом ядер, ободряя солдат громкими восклицаниями. Вскоре все смешалось и закипело: слышался лязг металла, глухой шум гигантской схватки и хриплый лай пушек; потом все это заволокло густыми клубами дыма, и только иногда сквозь разрывы этих грозowych облаков можно было на мгновение увидеть трагедию, которая за ними разыгрывалась; каждый раз при этом нам была видна хрупкая фигурка в белых доспехах, воплощавшая все наши упования, — и видя ее спиной к нам, а лицом к врагу, мы знали, что все обстоит хорошо. Наконец раздались громкие крики, поднялся радостный гул — это значило, что предместья были в наших руках.

Да, в наших руках. Враг был оттеснен внутрь городских стен. Близилась ночь, и мы раскинули лагерь на земле, отвоеванной Жанной. Жанна послала сказать англичанам, чтоб они сдавались, — тогда она отпустит их с миром и позволит взять с собою коней. Никто не знал, что она сможет взять столь неприступную крепость, а она это знала наверняка — и все же предлагала эти милостивые условия, небывалые в те времена, когда было принято безжалостно истреблять и гарнизон, и жителей захваченных городов, а нередко даже женщин и детей. Многие ваши соседи еще хорошо помнят, какие зверства учинил Карл Смелый

над жителями Динана — мужчинами, женщинами и детьми, — когда брал этот город. Жанна предложила гарнизону неслыханную милость, — но такова уж была ее природная кротость и милосердие: после победы она всегда старалась пощадить жизнь врага и его солдатскую честь.

Англичане потребовали двухнедельного перемирия, чтобы обсудить предложенные ею условия. А ведь к ним шел на помощь Фастольф с пятью тысячами солдат! На это Жанна ответила отказом. Но она сделала им еще одно великодушное предложение: пусть берут и коней и холодное оружие, но уходят немедленно.

Загорелые английские ветераны оказались большими упрямыми. Они отклонили и это предложение. Тогда Жанна приказала войску готовиться к штурму в девять часов утра следующего дня. Солдаты были утомлены длинным переходом и тяжелыми боями, и герцог Алансонский счел этот час слишком ранним; но Жанна сказала, что так лучше, и настаивала на выполнении приказа. Она воскликнула с тем воодушевлением, которое всегда охватывало ее перед боем:

— За дело! За дело! С нами бог!

«За дело! За работу!» — эти слова были как бы ее девизом, и сама она на войне не знала усталости. С таким девизом можно, пожалуй, во всем добиться успеха. Немало есть способов преуспеть в жизни, но любой из них только тогда чего-нибудь стоит, когда вы приложите труд.

В тот день мы, вероятно, потеряли бы нашего рослого Знаменосца, если бы рядом с ним не оказался еще более рослый Карлик и не вынес раненого из боя. Паладин был без памяти и был бы растоптан собственным конем, если бы Карлик не поспешил перенести его в безопасное место. Два-три часа спустя он очнулся и необычайно возгордился своим ранением; он щеголял в повязках, выставляя их напоказ, точно ребенок, — ведь он и был не что иное, как большой простодушный ребенок. Он так гордился своим ранением, как другой человек, более скромный, не гордился бы тем, что был сражен наповал. Но это было безобидное тщеславие, и все именно так к нему и отнеслись. Он

сказал, что был ранен камнем из катапульты величайшей с человеческую голову. Но, разумеется, этот камень быстро увеличивался в размерах. Скоро он уже говорил, что в него выстрелили целым домом.

— Оставьте его, — сказал Ноэль Рэнгессон, — не противоречьте ему. Завтра это будет целый собор.

Это он сказал нам доверительно. И в самом деле — на другой день это был уже собор. Никогда я не видел человека с таким необузданным воображением.

Еще не рассвело, а Жанна уже объезжала позиции, тщательно осматривая местность и выбирая, где лучше всего поставить пушки; она так разумно их разместила, что герцог Алансонский с восхищением вспоминал об этом еще четверть века спустя, на Оправдательном Процессе.

Выступая со своими показаниями, герцог говорил, что двенадцатого июня, под Жаржо, она отдавала распоряжения не как новичок, но «с той уверенностью и знанием дела, какими мог бы обладать испытанный в боях полководец с двадцати- или тридцатилетним опытом».

Бывалые воины французской армии говорили, что ее редкостные военные дарования проявлялись во многом, но более всего — в умении разместить артиллерию и распорядиться ею.

Кто же научил пастушку творить такие чудеса? Ведь она не умела даже читать и нигде не могла изучить сложную науку войны. Эту загадку я не сумею вам разгадать — история не дает другого подобного примера, и нам не с кем сравнивать Жанну. История не знает ни одного полководца, которому, как бы он ни был талантлив, победы достались без предварительного обучения, упорного труда и хотя бы некоторого опыта. Я думаю, что этот дар был у Жанны врожденным, и она применяла его, руководясь безошибочным внутренним чутьем.

В восемь часов всякое движение в лагере прекратилось, а с ним замерли и все звуки. Все затихло в ожидании. В этой тишине было что-то пугающее — так много она значила. Утро выдалось безветренное. Флаги на башнях и крепостных стенах свисали, как массив-

ные кисти. Каждый житель города прервал занятие, за которым застал его этот час, и замер, выжидая и прислушиваясь. Мы стояли на возвышенности, столпившись вокруг Жанны. Перед нами были бедные домишки городских окраин. Там виднелось много людей, но никто не двигался, все прислушивались. Какой-то человек собрался что-то прибить к дверям своей лавки, но так и замер. В одной руке он держал гвоздь, другой уже занес было молоток, но все позабыл и прислушивался, повернув голову. Даже дети невольно прервали свои игры. Мне запомнился мальчик с палочкой в руке, — он погонял ею обруч, но тоже остановился и слушал, а забытый обруч катился сам по себе. Помню также девушку в живописной рамке открытого окна: она наклонила лейку над ящиком с красными цветами, но вода из лейки не лилась — девушка прислушивалась. Всюду виднелись такие застывшие, окаменелые фигуры; всюду замерло движение и царила злобешая тишина.

Жанна д' Арк подняла меч. Этот сигнал сразу прервал тишину: пушки одна за другой изрыгнули пламя и дым, сотрясая воздух своим грохотом; в ответ им на городских башнях и стенах тоже взвились языки пламени и загремел гром; потом башни и стены скрылись, а на их месте поднялись в недвижном воздухе клубы и облака белоснежного дыма. Девушка в испуге выронила лейку, всплеснула руками — и в тот же миг ее прелестное тело было разорвано ядром.

Начался артиллерийский поединок; каждый из противников бил изо всей мочи, с ожесточением; было много шума, дыма, и воинственного азарта. Несчастный городок жестоко пострадал. Пушечные ядра разносили легкие строения, точно карточные домики. Над облаками дыма ежеминутно взлетало огромное ядро и, описав дугу, обрушивалось на кровли. Вспыхивало пламя, и к небу вздымались столбы огня и дыма.

Артиллерийская пальба изменила погоду. Небо заволокло тучами, поднялся сильный ветер и разогнал дым, скрывавший от нас английские укрепления.

Это было великолепное зрелище: на темном, свинцовом небе четко вырисовывались серые стены с

башнями и бойницами, яркие флаги, длинные ряды огненных языков и белых дымков. Но тут ядра со свистом начали вснахивать вокруг нас грязь, и я сразу утратил интерес к пейзажу. Одно английское орудие стало к нам пристреливаться все точнее и точнее. Жанна сказала, указывая на него:

— Милый герцог, отойдите, а не то эта штука убьет вас.

Герцог Алансонский повиновался, но на его место опрометчиво встал господин дю Люд, и ему тотчас оторвало голову ядром.

Жанна выжидала удобного момента для атаки. Наконец, часов около девяти, она крикнула:

— Теперь — на приступ! — И трубы протрубили атаку.

В тот же миг отряд назначенных для этого людей двинулся туда, где наша артиллерия разбила верхнюю часть стены на большом протяжении. Отряд спустился в ров и начал устанавливать осадные лестницы. Скоро подоспели и мы. Герцог считал, что для штурма еще не настало время. Но Жанна сказала:

— Неужели вы робеете, милый герцог? Разве вы не помните, что я обещала доставить вас домой невредимым?

Во рвах закипела работа. Солдаты противника высыпали на стены и обрушили на нас град камней. Один англичанин исполинского роста причинял нам больший урон, чем целая дюжина его собратьев: он оказывался каждый раз в том месте, где мы надеялись взобраться, и бросал в нас огромные и крайне неприятные камни, которые давили людей и рушили лестницы, — и при этом каждый раз хохотал до упаду. Но герцог скоро покончил с ним. Он отыскал славного канонира Жана из Лотарингии и сказал ему:

— Ну-ка, поупражняйся в меткости — убей вон того дьявола.

Жан убил его с первого выстрела. Он угодил англичанину в грудь, и тот свалился за стену.

Противник оборонялся так искусно и упорно, что наши люди усомнились в себе и приуныли. Видя это, Жанна издала свой воодушевляющий клич и сама

спустилась в ров. Карлик помогал ей, а Паладин со знаменем храбро следовал за ней. Она стала подыматься по лестнице, как вдруг большой камень ударился об ее шлем, и она упала на землю, оглушенная. Но только на минуту. Карлик тотчас помог ей подняться, и она вновь устремилась вверх по лестнице, крича:

— На приступ, друзья, на приступ! Враг в наших руках! Час настал!

Все ринулись вперед с яростными криками и усеяли крепостной вал, точно муравьи. Гарнизон обратился в бегство, мы его преследовали. Жаржо был наш!

Граф Суффольк оказался окруженным; герцог Алансонский и Дюнуа потребовали, чтобы он сдался. Но это был гордый отпрыск гордого, знатного рода: он отказался отдать шпагу кому-либо, кроме главнокомандующего:

— Лучше умереть! Я сдамся одной только Орлеанской Деве и никому другому.

Так он и сделал; и она обошлась с ним учтиво и приветливо.

Братья графа шаг за шагом отступали к мосту, а мы теснили их отряд и многих уложили на месте. Кровопролитный бой продолжался и на мосту. Александр де ла Поль не то упал, не то был сброшен с моста и утонул. Англичане потеряли тысячу сто человек; Джон де ла Поль решил, что дольше сражаться бесполезно. Но он был почти так же горд и разборчив, как его брат Суффольк, и не всякому соглашался сдаваться. Ближайшим к нему французским офицером оказался Гийом Рено. Сэр Джон спросил его:

— Вы дворянин?

— Да.

— Рыцарь?

— Нет.

Тогда сэр Джон тут же, на мосту, посреди кровопролитного боя, с чисто английским хладнокровием посвятил его в рыцари, ударив плашмя мечом по плечу; а потом отвесил глубокий поклон, взял свой меч

за острие, а рукоять вложил в руку Рено — в знак того, что сдается. Да, гордая порода были эти де ла Поли!

То был великий и памятный день, поистине блестящая победа! Мы захватили множество пленных, но Жанна не позволила причинить им никакого вреда. Мы взяли их с собой и на следующий день вступили в Орлеан, как всегда подымая на своем пути бурю восторга.

Обожание принимало новые формы. Новобранцы теснились к нам со всех сторон, стараясь дотронуться до меча Жанны д'Арк и получить хоть частицу той таинственной силы, которая делала его непобедимым.

Глава XXVIII

ЖАННА ПРЕДСКАЗЫВАЕТ СВОЮ СУДЬБУ

Солдагы нуждались в отдыхе. На это им дали два дня.

Утром четырнадцатого я писал под диктовку Жанны в маленькой комнате, куда она иной раз уединялась от докучных чиновников. К нам вошла Катерина Буше, села и сказала:

— Жанна, милая, можно поговорить с тобой?

— Конечно можно; я буду этому рада. О чем ты хочешь говорить?

— А вот о чем. Прошлую ночь я никак не могла уснуть — все думала об опасностях, которым ты подвергаешься. Паладин рассказал мне, как ты велела герцогу посторониться, когда вокруг летали ядра, и тем спасла ему жизнь.

— И правильно сделала, а разве нет?

— О да! Но сама ты не посторонилась. Зачем ты так делаешь? Зачем без нужды рискуешь жизнью?

— Я не рисковала. Мне не грозила никакая опасность.

— Как можно говорить это, Жанна, когда вокруг тебя летали смертоносные ядра?

Жанна засмеялась и заговорила о другом, но Катерина была настойчива. Она сказала:

— Ну конечно же опасность была. И разве так уж необходимо было там стоять? А потом — ты опять сама повела солдат на приступ. Это называется искушать судьбу, Жанна. Я хочу взять с тебя обещание. Обещай, что кто-нибудь другой будет водить солдат в атаку, — если уж нельзя обойтись без атак, — а ты будешь немножко больше беречь себя в этих ужасных боях. Обещаешь?

Но Жанна уклонилась от такого обещания и не дала его. Огорченная Катерина помолчала немного, а потом сказала:

— Жанна, неужели ты всегда будешь воевать? Боже, как долго тянутся эти войны! Должно быть, им никогда не будет конца!

Глаза Жанны радостно блеснули, и она ответила:

— Еще четыре дня — и самое тяжелое в этой кампании будет позади. Дальше пойдет легче, и крови будет литься меньше. Да, через четыре дня Франция одержит новую победу, не меньшую, чем под Орлеаном, и сделает еще один большой шаг к свободе.

Катерина была поражена, и я тоже; она долго смотрела на Жанну, как зачарованная, и шептала: «Четыре дня! четыре дня!» Наконец она спросила, тихо и благоговейно:

— Скажи мне, Жанна, откуда ты это знаешь? Ведь ты знаешь наверное, — я чувствую это.

— Да, — сказала задумчиво Жанна. — Да, я знаю. Я одержу победу, и еще одну победу. А на исходе четвертого дня нанесу врагу еще удар. — Она умолкла. Мы тоже стихли, изумленные ее словами. Так длилось целую минуту. Она потупила взгляд, и губы ее шевелились, но слов не было слышно. Потом мы расслышали слова: — От этого удара английская власть во Франции так пошатнется, что им не восстановить ее и за тысячу лет.

Я вздрогнул. Мне стало жутко. Я понял, что она была в том же полусне, какой нашел на нее когда-то в лугах Домреми, когда она предсказала нам, мальчишкам, участие в войне, а потом не помнила, что

она говорила. Она и сейчас ничего не сознавала, но Катерина не знала этого и сказала радостно:

— О, я верю, верю, и я так счастлива! Значит, ты вернешься к нам и останешься у нас на всю жизнь? Мы будем так любить и так чтить тебя!

По лицу Жанны пробежала едва заметная судорога, и тем же дремотным голосом она произнесла:

— Не пройдет и двух лет, как я погибну лютой смертью.

Я вскочил и предостерегающе поднял руку. Поэтому Катерина не вскрикнула. А я видел, что она уже была готова закричать. Я шепнул ей, чтобы она тихонько уходила и никому не говорила о том, что слышала. Я сказал, что Жанна уснула и бредит во сне. Катерина ответила шепотом:

— Слава богу, что это только сон! А было похоже на пророчество.

И она ушла.

Похоже на пророчество! Я-то знал, что это было пророчеством. И я заплакал, поняв, что нам суждено потерять Жанну. Скоро она вздрогнула и очнулась; оглянувшись и увидя мои слезы, она вскочила, подбежала ко мне, полная сочувствия, положила мне руку на голову и спросила:

— О чем ты, мой бедный мальчик? Скажи мне.

Мне пришлось солгать ей; мне было стыдно, но что поделать! Я взял со стола старое письмо, не помню уж от кого и о чем, и сказал, что только что получил его от отца Фронта. Он пишет, что какой-то негодяй срубил наш Волшебный Бук и что...

Дальше мне не пришлось говорить. Она выхватила у меня письмо и оглядела его со всех сторон, а слезы ручьем текли у нее по щекам, и она повторяла, рыдая:

— О, жестокий! Кто же мог сотворить это злое дело? Бедный наш Волшебный Бук! Мы так его любили! Покажи мне, где это написано.

Продолжая обманывать ее, я показал ей мнимую страницу и мнимые строки. Она взглянула на них сквозь слезы и сказала, что слова противные и злые, это можно узнать даже по их виду.

Тут в коридоре раздался зычный голос, объявивший:

— Прибыл посланный его величества с депешами для ее светлости, главнокомандующего французскими армиями!

Глава XXIX

ГРОЗНЫЙ ТАЛЬБОТ СТАНОВИТСЯ ОСМОТРИТЕЛЬНЫМ

Я понял, что *ей было видение: она видела Волшебное Дерево*. Но когда? Этого я не знал. Несомненно, еще до того, как она просила короля не отвергать ее службы, — потому что для свершения ее замыслов ей оставался всего один год. Тогда я не понял ее слов, а теперь убедился, что она уже тогда увидела Дерево. И это ее обрадовало, иначе она не была бы все время так весела. Предвестник смерти не испугал ее: он возвещал ей желанный конец изгнания, дозволение возвратиться домой.

Да, она видела Дерево. Никто не принял всерьез ее пророческих слов, обращенных к королю, и на то была своя причина: никто *не хотел* принимать их всерьез, все хотели позабыть их; и всем это удалось — все сохранили спокойствие и благодушие. Все, кроме меня. Я должен был носить в сердце эту ужасную тайну и не делиться ею ни с кем. Тяжкая и горькая ноша! Отныне она каждый день будет терзать мне сердце. Ей суждено умереть — и так скоро! Кто мог бы подумать? Ведь она была сильна, здорова и молода и с каждым днем завоевывала все больше прав на мирную старость, окруженную всеобщим почетом. В те времена старость казалась мне завидным положением, — не знаю почему, но так мне казалось. Должно быть, так всегда судит молодежь — она неопытна и полна предрассудков. Итак, Жанна видела Дерево. Всю ночь после этого в ушах моих звучали слова старой песни:

В годину бед, в краю чужом
Явись нам, старый друг!

Но на рассвете трубы и барабаны прогнали сонную утреннюю тишину, и раздалась команда: «На коней!» Работы предстояло много.

Мы дошли до Менга не останавливаясь. Там мы приступом взяли мост, оставив отряд для его охраны, а на другой день выступили на Божанси, где стоял доблестный Тальбот, гроза французов. Когда мы приблизились, англичане отступили и заперлись в замке, а мы расположились в покинутом ими городе.

Самого Тальбота в то время там не было — он выехал навстречу Фастольфу, который вел ему подкрепление в пять тысяч солдат.

Жанна выставила батареи и до самой ночи обстреливала замок. А потом мы услыхали новости: коннетабль Ришмон, долго бывший в немилости у короля, главным образом из-за козней де Ла Тремуйля и его приспешников, шел к нам с большим войском, чтобы предложить Жанне д'Арк свою помощь, очень своевременную теперь, когда Фастольф был так близко. Ришмон и раньше хотел присоединиться к нам, еще тогда, когда мы шли на Орлеан, — но глупец король, рабски покорный своим гнусным советникам, запретил ему являться и отказался с ним мириться.

Я рассказываю все это так обстоятельно потому, что это важно. А важно это потому, что открывает вам еще одну сторону удивительной натуры Жанны — ее государственный ум. Это качество покажется необъяснимым в необразованной крестьянской девушке семнадцати с половиной лет, но она им несомненно обладала.

Жанна была за то, чтобы принять Ришмона с честью; того же мнения был и Ла Гир, и молодые Лавали, и некоторые другие; но ее первый помощник, герцог Алансонский, решительно и упрямо воспротивился этому. Он сказал, что король строго-настрого приказал ему отвергать помощь Ришмона, и если она будет принята, он уедет из армии. Это было бы большим несчастьем. Но Жанна взялась убедить его, что спасение Франции важнее всего прочего — в том числе и приказа венценосного осла, — и это ей удалось. Она убедила герцога послушаться короля ради блага

страны, помириться с Ришмоном и принять его. Тут она проявила высокий и здравый государственный ум. Все, что люди считают великим, вы наверняка найдете в Жанне д'Арк.

Рано утром семнадцатого июня разведчики донесли о приближении Тальбота вместе с Фастольфом и его подкреплением. Барабаны пробили сбор, и мы выступили навстречу англичанам, оставив Ришмона с его людьми охранять замок Божанси и удерживать тамошний гарнизон. Вскоре мы увидели противника. Фастольф, как оказалось, убеждал Тальбота отступить и не принимать боя, а лучше распределить новое пополнение по английским крепостям на Луаре, которые иначе будут захвачены, и затем терпеливо дожидаться новых подкреплений из Парижа. Он предлагал истощать силы Жанны ежедневными мелкими стычками, а потом, выбрав удобный момент, напасть на нее с крупными силами и сокрушить разом. Да, Фастольф был мудрым и многоопытным полководцем. Но неистовый Тальбот не захотел и слушать о промедлениях. Он был все еще в ярости после поражения под Орлеаном и последующих неудач и клялся богом и св. Георгием, что разделается с Девой, хотя бы ему пришлось сражаться с ней один на один, без всякой помощи. Фастольф уступил, но при этом заметил, что они рискуют потерять все, что было добыто англичанами ценою многолетних трудов и кровавых битв.

Противник занял сильно укрепленную позицию и поджидал нас в боевом порядке, укрывшись за частоколом и выставив вперед лучников.

Приближалась ночь. Англичане прислали гонца с дерзким вызовом на бой. Но Жанна сохранила все свое спокойствие и достоинство. Она сказала гонцу:

— Вернись и скажи, что сегодня уже поздно, а завтра, даст бог, мы сойдемся и померимся силами.

Ночь наступила темная и дождливая. Это был тот тихий и продолжительный дождь, который навевает мирную и безмятежную дремоту. Около десяти часов вечера герцог Алансонский, Дюнуа, Ла Гир, Потон де Сентрайль и еще два-три командира пришли в штабную палатку, чтобы обсудить с Жанной наши дела.

Некоторые сожалели, что Жанна отказалась от боя, другие — наоборот. Потон спросил ее, почему она отказалась. Она ответила:

— По многим причинам. Англичане все равно не уйдут от нас — поэтому не стоило рисковать, как пришлось бы в другом случае. Уже вечерело, а нам лучше начинать бой засветло; ведь силы наши поредели; девятьсот человек маршала де Рэ стоят у моста в Менге, да еще полторы тысячи под начальством коннетабля охраняют замок Божанси.

Дюнуа сказал:

— Досадно, конечно, что мы раздробили наши силы, но что поделаешь? Ведь и завтра у нас будет их не больше.

Жанна расхаживала по палатке. Она засмеялась дружелюбным смехом и, остановившись перед свирепым старым тигром, коснулась своей маленькой рукой одного из перьев на его шлеме:

— Скажи-ка, мудрец, какое из твоих перьев я тронула?

— Не знаю, ваша светлость.

— Клянусь богом, в том-то и штука! Видишь, Дюнуа? Не можешь отгадать такого пустяка, а берешься за трудное дело: хочешь предсказать, что скрыто в чреве еще не родившегося дня. Так завтра, говоришь, у нас будет не больше солдат, чем сегодня? А я думаю, что больше.

Все встрепенулись. Всем захотелось узнать, почему она так думает. Но Ла Гир вмешался и сказал:

— Оставьте. Раз она так думает, этого довольно. Так, значит, и будет!

А Потон де Сентрайль спросил:

— Ваша светлость сказали, что были и другие причины не принимать боя?

— Да. Вот вам и другая причина: мы слабы, а день был уже на исходе, и бой не был бы решающим. А нам нужно дать решающий бой. Так и будет.

— Дай-то бог! А еще какая была причина?

— Да... была еще одна. — Она заколебалась, но затем сказала: — Назначенный день еще не наступил. Он наступит завтра. Так уже указано.

Все уже готовились засыпать ее вопросами, но она предостерегающе подняла руку. Потом она сказала:

— Это будет самая славная и благодетельная победа, какую бог когда-либо даровал Франции. Прошу вас, не спрашивайте, откуда я это знаю. Будьте довольны тем, что это так.

На всех лицах выразились радость и полное доверие. Начался приглушенный разговор, но он вскоре был прерван посланцем с передовых постов, который принес новости: с час назад в английском лагере началось движение, весьма необычное в такое позднее время, да еще когда армия на отдыхе. Под покровом дождя и темноты туда были посланы разведчики. Они только что воротились и доложили, что крупные отряды противника бесшумно отходят в направлении Менга.

Военачальники очень удивились — это можно было прочесть на их лицах.

— Они отступают, — сказала Жанна.

— Похоже на то, — сказал герцог Алансонский.

— Несомненно, — заметили Дюнуа и Ла Гир.

— Это неожиданно, — сказал Луи Бурбон. — Но можно догадаться, с какой целью они это делают.

— Да, — ответила Жанна, — Тальбот одумался. Его горячая голова поостыла. Он хочет взять Менгский мост и уйти от нас на тот берег. Он понимает, что тем самым он бросит на произвол судьбы свой гарнизон в Божанси, которому будет трудно спастись от нас, но иначе ему не избежать боя, и это он тоже понимает. Только он не возьмет моста. Уж мы об этом поставимся.

— Да, — сказал герцог Алансонский. — Надо идти за ним и помешать этому. А как же Божанси?

— Предоставьте это мне, светлейший герцог. Я возьму его за два часа, и при этом не прольется ни капли крови.

— А ведь верно, ваша светлость! Стоит только сообщить им вести, которые мы сейчас слышали, и они сдадутся сами.

— Да. К рассвету я догоню вас у Менга и приведу с собой коннетабля и его полторы тысячи солдат.

А когда Тальбот узнает, что Божанси пал, ему придется крепко призадуматься.

— Клянусь святою мессой, все так и выходит! — вскричал Ла Гир. — Он прихватит с собой менгский гарнизон и отступит к Парижу. А к нам вернутся те солдаты, что сейчас охраняют мост, да те, что оставлены в Божанси, — вот у нас и будет для завтрашнего жаркого дела лишних две тысячи четыреста солдат, как вы нам сегодня обещали. Право, англичанин делает за нас половину работы и избавляет от лишнего кровопролития. Что ж, мы ждем распоряжений, ваша светлость.

— Они будут простые. Дайте солдатам отдохнуть еще три часа. В час ночи пусть выступает авангард под твоим началом, а в помощь тебе пусть едет Потон де Сентрайль. В два часа пойдут остальные под командой герцога. Держитесь в тылу противника и не давайте втянуть себя в бой. А я с охраной поеду в Божанси и покончу с ним так быстро, что на заре вернусь к вам, а со мной — коннетабль и его солдаты.

Так она и сделала. Охрана села на коней, и мы поехали под дождем, прихватив с собой пленного английского офицера, чтобы он подтвердил наши вести. Мы скоро доехали и предложили замку сдаться. Адъютант Тальбота, Ричард Гэтен, убедившись, что он со своими пятьюстами солдат брошен на произвол судьбы, решил, что сопротивление бесполезно. Он не мог рассчитывать на легкие условия сдачи, но Жанна была великодушна. Она согласилась оставить гарнизону коней, оружие и имущество стоимостью в одну серебряную марку на каждого. Они вольны отправляться куда угодно, но обязуются в течение десяти дней не подымать оружия против французов.

Еще до зари мы снова соединились с нашей армией; с нами был коннетабль и почти все его люди. В замке Божанси мы оставили только небольшой отряд. Впереди слышался глухой гул орудий: это Тальбот начал наступление на мост. Но прежде чем совсем рассвело, стрельба прекратилась, и больше мы ее не слышали.

Гэтен послал через наши линии гонца, чтобы известить Тальбота о своей сдаче. Гонец имел при себе

охранную грамоту, выданную Жанной. Конечно, этот гонец прибыл раньше нас. Тальбот почел за благо отступить к Парижу. Наутро он исчез, а с ним лорд Скейлс и весь менгский гарнизон.

Вот сколько вражеских крепостей мы взяли за три дня! А ведь до этого англичане чувствовали себя там в полной безопасности и нагло бросали вызов Франции.

Глава XXX

КРОВАВОЕ ПОЛЕ ПАТЭ

Когда наконец настало утро навеки памятного семнадцатого июня, противника, как я уже говорил, нигде не было видно. Но это меня не заботило. Я знал, что мы его обнаружим и нанесем ему удар — тот самый обещанный удар, от которого английская власть во Франции так пошатнется, что им не восстановить ее и за тысячу лет, — так вещала Жанна в своем пророческом сне.

Противник укрылся на бездорожных равнинах области Бос, в пустошах, поросших кустарником, а местами и деревьями, где войско очень быстро могло скрыться из вида. Мы отыскиали следы противника на влажной и мягкой земле и пошли за ним. Он отступал в полном порядке, без всякой паники.

Нам приходилось держаться настороже: в такой местности очень легко было попасть в засаду. Поэтому Жанна выслала вперед конную разведку под командованием Ла Гира, Потона и других военачальников. Некоторым из них было явно не по себе: от этой игры в прятки они теряли самообладание. Жанна угадала их состояние и нетерпеливо вскричала:

— Во имя бога, чего вам надо? Мы должны разбить англичан, и мы это сделаем. Им от нас не укрыться. Если они даже поднялись за облака, и то мы до них доберемся!

Мы приближались к Патэ; до него оставалось не больше одного лье. В это время наши разведчики,

рыская по кустам, вспугнули оленя; он помчался большими скачками и мгновенно пропал из виду. Спустя минуту со стороны Патэ глухо донеслись крики. Это кричали английские солдаты. Они так долго питались всякой заплесневелой дрянью, что не могли удержаться восторга при виде свежего мяса, которое само мчалось на них. Бедняга олень наделал в тот день много бед нации, которая так любит лакомиться его мясом. Французы знали теперь, где находятся англичане, а те и не подозревали, где находятся французы.

Ла Гир остановился и оповестил об этом событии Жанну. Она просияла от радости. Герцог Алансонский сказал ей:

— Вот мы их и нашли. Что ж, будем биться?

— Хороши ли на вас шпоры, герцог?

— А что? Разве придется убежать?

— Боже правый! Нет. Англичане попались; это они побегут. А чтобы догонять нужны добрые шпоры. Вперед! Сомкнуть ряды!

Пока мы догоняли Ла Гира, англичане обнаружили нас. Войско Тальбота было разделено на три части: впереди шел авангард, за ним — артиллерия, а далеко позади — главные силы. Они вышли из зарослей и двигались теперь по открытой местности. Тальбот мигом разместил артиллерию, авангард и пятьсот отборных лучников вдоль изгородей, которые французы не могли миновать, — тут он надеялся удержаться, пока не подоспеют главные силы. Сэр Джон Фастольф, ехавший с главными силами, поднял их в галоп. Жанна поняла, как можно этим воспользоваться, и велела Ла Гиру наступать, — что он и сделал, пустив, как обычно, своих удалых всадников со скоростью ветра.

Герцог и Дюнуа хотели скакать вслед за ним, но Жанна сказала:

— Еще не время, погодите.

Пришлось им ждать; но от нетерпения они подпрыгивали в седлах. Одна только Жанна была спокойна — она глядела прямо перед собой, взвешивая, разменяв, отсчитывая минуты, доли минут, секунды. Вся ее великая душа, казалось, сосредоточилась в глазах, повороте головы, в благородной осанке, но она была терпе-

лива, спокойна, она владела собой и знала, что нужно делать.

А впереди, все удаляясь, неслись грозные конники Ла Гира, подскакивали в такт галопу коней султаны их племей, — и над всеми выделялась мощная фигура самого Ла Гира, вздымавшего свой меч, точно древко знамени.

— Ишь мчится Сатана со своим отродьем! — пробормотал кто-то с восхищением.

Вот он уже вплотную сблизился с мчащимися отрядами Фастольфа. Вот он сшибся и расстроил их ряды.

Герцог и Дюнуа приподнялись в стременах, чтобы лучше видеть, и обернулись к Жанне, дрожа от нетерпения:

— *Пора?*

Но она сделала знак рукой, продолжая вглядываться, взвешивать, рассчитывать, и снова сказала:

— Нет, еще не время.

Подгоняемые преследователем, отряды Фастольфа как ураган помчались к поджидавшему их авангарду. Но этим частям показалось, будто Фастольф в панике бежит перед Жанной, — и они тотчас сами обратились в бегство, обезумев от ужаса, а Тальбот с проклятиями поскакал вслед за ними.

Вот когда настала пора! Жанна прищипорила коня и взмахнула мечом, давая сигнал к атаке.

— За мной! — крикнула она, припала к шее коня и помчалась как ветер.

Мы устремились вслед за убежавшими и целых три часа рубили и кололи. Наконец трубы пропели отбой.

Битва при Патэ была выиграна.

Жанна д'Арк сошла с коня и задумчиво оглядела страшное поле. Потом она сказала:

— Хвала господу! Он сокрушил сегодня врага своею десницей. — Она подняла лицо и, глядя вдаль, сказала, словно подумала вслух: — От этого удара английская власть во Франции так пошатнется, что им не восстановить ее и через тысячу лет. — Еще некоторое время она построила в задумчивости, потом обернулась

к военачальникам; лицо ее сияло, глаза вдохновенно светились. Она сказала:

— О друзья мои, видите ли вы, понимаете ли? *Франция вступила на путь освобождения!*

— И все это — дело Жанны д'Арк! — произнес Ла Гир и низко поклонился ей. Его примеру последовали и остальные. А он пробормотал, отъезжая: — Пусть я буду проклят, если это не так!

Наше победоносное войско, батальон за батальоном, проходило мимо с восторженными криками. Они кричали: «Да здравствует навеки Орлеанская Дева!», а Жанна улыбалась и салютовала им мечом.

В тот день я еще раз увидел Орлеанскую Деву на кровавом поле Патэ. К концу дня я застал ее там, где рядами лежали мертвые и умирающие. Наши солдаты смертельно ранили английского пленного, который был слишком беден, чтобы заплатить выкуп. Жанна издали увидела это злое дело; она примчалась туда вскачь и послала за священником, а сама положила голову умирающего врага к себе на колени и старалась облегчить ему последние минуты нежными словами утешения, как сделала бы родная сестра, — и слезы сострадания струились по ее лицу¹.

Глава XXXI

ФРАНЦИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЖИЗНИ

Жанна была права: Франция вступила на путь освобождения.

Дни Столетней войны были сочтены — сочтены для англичан, — и это впервые за девяносто один год.

Как лучше судить о битвах — по числу убитых и

¹ Лорд Рональд Гауэр («Жанна д'Арк», стр. 82) пишет: «Мишле нашел этот эпизод в показаниях пажа Жанны д'Арк, Луи де Конта, который, вероятно, был свидетелем этой сцены». Действительно, это было в числе показаний автора «Личных воспоминаний» на Оправдательном Процессе 1456 г. (Прим. переводчика.)

размеру причиненных бедствий или по их благотворительным результатам? Битву можно назвать великой или отказать ей в этом названии, только смотря по ее результатам. С этим согласится всякий, ибо это бесспорная истина.

По своим последствиям Патэ стоит в ряду немногих величайших сражений, происшедших с тех пор, как люди стали прибегать к оружию для решения своих споров. Пожалуй, с этой точки зрения Патэ не имеет себе равных даже среди них и стоит особняком в истории. Когда началась эта битва, Франция была при последнем издыхании, приговоренная всеми политическими лекарями; три часа спустя, когда битва окончилась, страна была на пути к выздоровлению. Да, к выздоровлению, — остальное должно было довершить время и заботливый уход. Это было ясно самому недогадливому из лекарей, и никто не мог этого отрицать.

Множество наций, находившихся при смерти, оправилось только в результате целого ряда сражений, ряда изнурительных битв, растянувшихся на долгие годы, и только одна исцелилась в один день и от одной битвы. Эта нация — французы, а эта битва — Патэ.

Помните это и гордитесь этим, ибо вы — французы, а Патэ — самое славное событие вашей долгой истории. Величайшее событие — вершина его упирается в облака! Когда вы вырастаете, вы пойдете поклониться полю Патэ и обнажите голову. Перед чем? Перед памятником, который тоже упирается вершиною в облака. Будем надеяться, что он там будет. Все народы во все времена воздвигали на полях сражений памятники, чтобы увековечить свершенный там подвиг и брENNую славу того, кто его свершил. Так неужели Франция позабудет Патэ и Жанну д'Арк? Этого не может быть! А сумеет ли она воздвигнуть им достойный памятник — такой, чтобы сразу стало видно их место в ряду других битв и других героев? Да, если только для этого хватит места под небом.

Но давайте оглянемся назад и поразмыслим над некоторыми странными и знаменательными вещами. Столетняя война началась в 1337 году. Она тянулась

много лет, пока наконец Англия не повергла Францию во прах сокрушительным поражением при Креси. Но та воспрянула и снова стала бороться, — и снова была сокрушена сильным ударом при Пуатье. Она еще раз собрала силы, и война снова тянулась долгие годы и десятки лет. Люди рождались, вырастали, женились и умирали, — а война все шла. Их дети в свою очередь вырастали, женились, умирали, — а война все шла. Уже подрастали их внуки, когда на Францию обрушился новый тягчайший удар — поражение при Азенкуре, — но война все шла. И вот уж и внуки успели пережениться.

Франция лежала в развалинах, разоренная дотла. Половина ее принадлежала Англии, и этого никто не оспаривал; другая половина была ничья — и над нею тоже должен был вскоре взвиться английский флаг; король Франции готовился бросить свой трон и бежать за море.

И вот из дальней деревни явилась неграмотная девушка и преградила путь этой нескончаемой войне, этому гигантскому пожару, который пожирал страну в течение жизни трех поколений. Началась самая короткая и самая поразительная кампания, известная истории. Она закончилась в семь недель. За семь недель девушка нанесла смертельный удар войне, которой было от роду девяносто один год. В Орлеане она сбила ее с ног, в Патэ она переломила ей хребет.

Подумайте над этим. Что ж, подумать можно, — но легко ли понять? Это дело другое — никому не удастся постичь это непостижимое чудо.

Семь недель — и не так уж много крови. Пожалуй, больше всего ее было пролито при Патэ, где англичане начали бой с шестью тысячами солдат и потеряли убитыми две тысячи. А говорят, что только в трех битвах — при Креси, Пуатье и Азенкуре — пало около ста тысяч французов, не считая тысячи других сражений нескончаемой войны. Список погибших в этой войне был бы бесконечно длинным. Павших в бою насчитываются десятки тысяч, а невинных женщин и детей, погибших от голода и лишений, нужно считать миллионами.

Эта война была настоящим людоедом, который почти сто лет разгуливал на воле и перемалывал людей в своей кровавой пасти. И вот семнадцатилетняя девочка сразила его своей маленькой рукой, — и он лежит на поле Патэ, и, покуда стоит наш старый мир, ему уже больше не подняться.

Глава XXXII

ДОБРЫЕ ВЕСТИ ЛЕТАТ НА КРЫЛЬЯХ

Говорят, что весть о победе при Патэ разнеслась по стране за сутки. Не знаю, так ли это было, но одно я знаю наверняка: как только человек узнавал о ней, он громко славил бога и бежал с доброй вестью к соседу, а тот мчался в следующий ближайший дом, и так весть летела все дальше; а если она приходила ночью, люди в любой час вскакивали с постели и бежали поделиться этой радостью. Радость людей была подобна свету, который разливается над землей после солнечного затмения, — и действительно, разве не было над Францией долгого затмения, разве не была она погружена во тьму? А теперь мгла отступала и рассеивалась перед ярким сиянием, которое излучала благая весть.

Весть о победе французов гнала отступавшего врага до самого Иовилля, и город поднялся против своих английских властителей и запер ворота перед их солдатами. Весть прилетела в Мон-Пипо, в Сен-Симон и другие английские крепости; и всюду гарнизон поджигал укрепления и бежал в поля и леса. Часть нашей армии заняла Менг и разгромила его.

Когда мы пришли в Орлеан, город безумствовал от восторга в сто раз сильнее, чем раньше, — а это немало. Спускалась ночь, и город был так роскошно иллюминирован, что мы точно плыли по огненному морю, а уж шум — никогда еще не было таких оглушительных «ура», такого грохота пушек и звона колоколов! Еще в воротах нас встретил новый клич, который потом уж не смолкал: «Да здравствует Жанна д'Арк —

Освободительница Франции!» И еще кричали: «Мы отомстили за Кресси! Мы отомстили за Пуатье! Отомстили за Азенкур! Да славится навеки Патэ!»

Да, это было подлинное безумие.

В середине колонны наших войск шли пленные. Когда народ увидел своего старого врага Тальбота, который столько лет заставлял их плясать под свою военную музыку, началось нечто неопишваемое. Радость была так велика, что его хотели тут же повесить, и Жанна велела вести его рядом с собой. Они являли собой весьма любопытную пару.

Глава XXXIII

ПЯТЬ ВЕЛИКИХ ДЕЯНИЙ ЖАННЫ

Да, Орлеан обезумел от радости. Орлеанцы пригласили короля и приготовили ему торжественную встречу. Но король не приехал. Он в ту пору был человек подневольный — хозяином над ним был Ла Тремуиль. Хозяин и слуга вместе гостили в замке хозяина, в Сюлли-на-Луаре.

Еще в Божанси Жанна взялась примирить короля с коннетаблем Ришмоном. Она приехала с Ришмоном в Сюлли-на-Луаре и выполнила свое обещание.

Итак, вот пять великих деяний, совершенных Жанной д'Арк:

1. Снятие осады Орлеана.
2. Победа при Патэ.
3. Примирение в Сюлли-на-Луаре.
4. Коронация.
5. Бескровный Поход.

О Бескровном Походе (и коронации) речь пойдет дальше. Так называли победоносный поход, который Жанна совершила по территории врага от Жиена до Реймса, а оттуда к воротам Парижа, занимая каждую английскую крепость и город, встречавшиеся на пути, — и все это одним своим именем, не пролив ни капли крови. То была поистине самая необычайная из

всех военных кампаний и самый славный из ее военных подвигов.

Примирение тоже было одним из важнейших деяний Жанны. Никто, кроме нее, не сумел бы этого добиться, да никто из высоких особ и не имел к тому охоты. По своим способностям, военным познаниям и государственному уму, коннетабль Ришмон был первым человеком во Франции. Его преданность Франции была искренней, его честность — выше подозрений, — и уже одно это выделяло его среди придворных пошляков, потерявших стыд и совесть.

Вернув Ришмона на службу Франции, Жанна обеспечила успешное завершение начатого ею великого дела. Она впервые увидела Ришмона, когда он пришел к ней со своим отрядом. Не удивительно ли, что она с первого взгляда почувствовала в нем единственного человека, способного довести ее дело до конца? Как сумело его разгадать такое дитя, как она? А все потому, что у нее был «зоркий глаз», как сказал один из наших рыцарей. Да, она обладала этим великим даром, быть может величайшим и редчайшим из всех, какие даются человеку. Все самое главное было уже сделано, но и то, что оставалось, нельзя было доверить придворным дурням; нужна была государственная мудрость и долгая, терпеливая борьба с врагом, хотя она сводилась отныне к отдельным местным стычкам. Они предстояли нам еще почти четверть века, но такие военные действия умелый человек мог вести почти незаметно для других областей страны; а там англичане и совсем исчезли из Франции.

Так оно и вышло. Под влиянием Ришмона король впоследствии стал человеком — настоящим мужчиной, королем и отважным, способным и решительным воином. Не прошло и шести лет после Патэ, как он сам стал водить войско на приступ, биться в крепостных рвах, стоя по пояс в воде, и взбираться по осадным лестницам под жестоким обстрелом, проявляя мужество, которым была бы довольна даже Жанна. Со временем они с Ришмоном окончательно очистили страну от англичан, изгнав их даже из тех мест, где они властвовали почти триста лет. Для этого требовались

осторожность и мудрость, ибо англичане ввели там разумные и справедливые порядки, а в таких случаях люди не жаждут перемен.

Которое же из пяти деяний Жанны мы назовем главным? Мне думается, что каждое из них одинаково важно и в *свое время* было самым главным. Если рассматривать их в целом, то все они *одинаково* важны.

Понимаете ли вы меня? Каждое было как бы ступенью одной лестницы. Стоит убрать одно — и сразу нарушается целое. Стоило свершить хоть одно из них несвоевременно, и это привело бы к такому же нарушению.

Возьмем хотя бы коронацию. Где еще в нашей истории вы найдете такой мастерский дипломатический ход? А понимал ли король огромную важность этого хода? Нет. Понимали ли это его министры? Нет. Понимал ли это хитрый Бедфорд, представитель английского короля во Франции? Нет. И король и Бедфорд могли бы получить неоценимое преимущество: король — если б решился на смелый шаг, а Бедфорд — без всяких усилий; но ни тот, ни другой не понимали его значения, а потому не пошевелили пальцем. Из всех умных людей, стоявших у власти во Франции, только один оценил все значение коронации — это была Жанна д'Арк, неученая семнадцатилетняя девочка; и она поняла это с самого начала и с самого начала говорила о коронации как о необходимой части своей задачи.

Откуда она это знала? Ответ тут очень простой: она была крестьянкой. Этим все сказано. Она вышла из народа и знала народ. Те, другие, вращаясь в более высоких сферах, знали о нем немного. Мы не привыкли считаться с бесформенной, загадочной и косной массой, которую зовем «народом», придавая этому слову оттенок презрения. Это странно, потому что в душе мы отлично знаем: прочна лишь та власть, которую поддерживает народ; стоит убрать эту опору — ничто в мире не спасет трон от падения.

А теперь вспомним другое. Чему верит приходский священник, тому верит и его паства; она любит и почитает его; он — неизменный друг крестьян, их надеж-

ный защитник, утешитель в несчастье, помощник в трудные дни; они всецело ему доверяют: что он скажет, то они и делают, слепо и послушно, чего бы это ни стоило. Если задуматься над этим — что получается? А вот что: *сельский священник правит страшной*. Что будет значить король, если священник откажет ему в поддержке и признании? Это будет тень, а не король, и лучше ему отречься от престола.

Ясна ли вам моя мысль? Тогда слушайте дальше. Священника возводит в его сан сам бог через своего представителя на земле. Это посвящение окончательно, и его никто не может отменить. Ни папа, ни иная власть не может лишить священника его сана; раз сан от бога, значит он навеки. Это известно и прихожанам. Поэтому для священника и его паствы только коронованный король — божий помазанник — облечен властью, которую никто не может оспаривать. Для сельского священника и его подданных, — а значит для всего народа, — некоронованный король все равно что непосвященный священник, который еще не вступил по-настоящему в должность, и на его место может быть назначен другой. Иными словами — некоронованный король — это нечто *сомнительное*. Когда бог посвящает его и епископ, божий слуга, совершает над ним обряд помазания — сомнения исчезают, священник и приход становятся его верными подданными, и, покуда он жив, они не признают королем никого другого.

Для крестьянской девушки Жанны д'Арк Карл VII не был королем, пока не был коронован, — для нее он оставался *дофином*, то есть *наследником*. Если в моих записках она где-нибудь называет его королем — считайте это ошибкой; до коронации она всегда звала его дофином. Это показывает вам, точно в зеркале, — а Жанна была именно таким зеркалом, ясно отражавшим народные чаяния, — что для всего простого народа он до коронации не был королем, а всего лишь дофином, но зато *после* нее стал законным монархом.

Теперь вам понятно, каким важным ходом была коронация на политической шахматной доске. Бедфорд в конце концов понял это и постарался исправить свою

ошибку и короновать *своего* короля, но какой был в этом прок? Ровно никакого.

Раз уж я заговорил о шахматах, мы можем заимствовать оттуда сравнения для всех великих деяний Жанны. Каждый ход был сделан в свое время и в должной последовательности; потому-то он и сыграл такую роль, что делался своевременно. Каждый в свое время казался величайшим, а в итоге все оказались одинаково важными и необходимыми. Вот как была сыграна игра:

1. Первый ход: победы при Орлеане и Патэ — *шах*.

2. Второй ход: примирение. При этом шах не объявляли; это был позиционный ход, результаты которого сказались лишь спустя долгое время.

3. Третий ход: коронация — *шах*.

4. Бескровный Поход — *шах*.

5. Последний ход (завершенный уже после ее смерти): коннетабль Ришмон, примирившийся с королем, становится главной его опорой и делает противнику *мат*.

Глава XXXIV

БУРГУНДСКИЕ ШУТКИ

Луарская кампания по сути дела открыла нам дорогу на Реймс. Теперь для коронации не было препятствий. Коронация должна была завершить миссию, возложенную на Жанну небесами, и тогда — довольно ей воевать, она вернется домой, к матери и стадам, и никогда больше не покинет счастливый и мирный очаг. Так она мечтала, — и с каким нетерпением она ждала этого часа! Она была полна этой мыслью; я уже начал надеяться, что ранняя смерть, которую она себе дважды предсказала, может быть и не сбудется, — и я всячески старался укрепить в себе эту надежду.

Король боялся ехать в Реймс, потому что путь пролегал мимо английских крепостей. Жанна не считала их опасными — теперь, когда англичане потеряли уверенность в себе.

Она была права. Поход в Реймс оказался увеселительной поездкой. Жанна не взяла даже пушек, так она была уверена, что они не понадобятся. Из Жиена нас выступило двенадцать тысяч. Это было 29 июня. Дева ехала рядом с королем. По другую сторону от него ехал герцог Алансонский. За герцогом следовали трое других принцев королевской крови; затем — Дюнуа, маршал де Буссак и адмирал Франции, а за ними — Ла Гир, Сентрайль, Ла Треймуль и длинная вереница рыцарей и вельмож.

Три дня мы отдыхали под Оксерром. Горожане снабдили армию провиантом, а к королю послали депутацию, но в город мы не вошли.

Сен-Флорантен открыл перед королем свои ворота.

4 июля мы прибыли в Сен-Фаль; перед нами лежал Труа — город, вызывавший у нас, юношей, жгучий интерес: мы помнили, как семь лет назад Подсолнух принес в луга Домреми черный флаг и весть о позорном договоре в Труа, по которому Франция целиком подпала под власть Англии, а дочь наших королей отдавали за Азенкурского палача. Бедный город был тут, конечно, ни при чем, но в нас еще была жива старая обида, и мы надеялись, что найдем повод для стычки, — так нам хотелось взять Труа и сжечь. Там стоял сильный гарнизон из англичан и бургундцев; они ждали еще подкреплений из Парижа. Вечером мы стали лагерем у его ворот и в куски порубили отряд, который сделал против нас вылазку.

Жанна предложила городу сдаться. Начальник гарнизона, видя, что с нею нет пушек, посмеялся и ответил грубо-оскорбительным отказом. Пять дней мы вели с ним переговоры. Все было напрасно. Король был уже готов повернуть вспять. Он боялся идти дальше, если позади останется эта неприятельская твердыня. Тут Ла Гир сказал словцо, нелестное для некоторых советников короля:

— Поход был задуман Орлеанской Девой. Мне думается, что ей и подобает решать, как теперь быть, а не кому-либо иному, какого бы он ни был роду и звания.

Это было мудро и справедливо. Король послал за Жанной и спросил, что она думает о нашем положении. Она ответила без малейшего колебания:

— Через три дня город будет наш.

Тут вмешался спесивый канцлер:

— Если бы знать это наверное, стоило бы ждать и шесть дней.

— Уж будто шесть! Бог даст, мы вступим в город послезавтра.

Она села на коня и поехала вдоль рядов войска, крича:

— Готовьтесь, готовьтесь к делу, друзья! На заре мы идем на приступ!

Она много поработала в ту ночь — за все бралась сама, вместе с солдатами. Она велела заготовить фашины и вязанки хвороста, чтобы заполнять ими ров при штурме, и делала эту тяжелую работу наравне с мужчинами.

На заре она заняла свое место во главе атакующих, и трубы подали сигнал к атаке. В ту же минуту на стенах взвился белый флаг и Труа сдался нам без единого выстрела.

На следующий день король в сопровождении Жанны и Паладина со знаменем торжественно въехал в город во главе войска. Это было теперь немалое войско — оно все это время непрерывно росло.

И тут произошло нечто любопытное. По условиям договора о сдаче, английскому и бургундскому гарнизону было разрешено унести на себе «свое имущество». Это было справедливо — иначе им нечем было бы жить. Все они должны были выйти через одни ворота, и в назначенный час наша компания вместе с Карликом пошла посмотреть, как они станут выходить. Они шли длинной цепочкой; впереди шла пехота. Когда они приблизились, стало видно, что каждый сгибается под тяжестью своей ноши, — и мы сказали друг другу: у них, однако ж, много добра для простых солдат. Они подошли еще ближе. И что же вы думаете — каждый из этих негодяев нес на спине французского пленного! Все было согласно договору — ведь им было позволено унести свои «пожитки», то есть собственность.

До чего ловко было придумано! Что можно было сказать против этого? И что можно было сделать? Они были в своем праве: пленные были их собственностью, этого никто не мог отрицать. Если б то были *английские* пленные, представляете, какая богатая была бы добыча! Ведь английские пленные целых сто лет были редким и, значит, ценным товаром; ну а французы — дело другое, их за сто лет видали даже чересчур много. Обычно владелец пленного француза не долго дожидался выкупа — он убивал пленного, чтобы не тратиться на его прокорм. Из этого видно, что подобное имущество не бог весть как ценилось в те времена. Когда мы взяли Труа, теленок стоил тридцать франков, баран — шестнадцать, а пленный француз — восемь. Цены на скотину были, конечно, неслыханные — вы, пожалуй, не поверите. Все это наделала война: мясо дорожало, а пленные дешевели.

Так вот, несчастных французов уносили на наших глазах. Что было делать? Мы сделали то небольшое, что было возможно. Мы послали доложить обо всем Жанне, а сами остановили уходивших якобы для переговоров, а на деле — чтобы выиграть время. Один дюжий бургундец рассердился и поклялся страшной клятвой, что его никто не остановит: он уйдет и унесет своего пленного. Но мы окружили его, и он увидел, что уйти не удастся. Тогда он разразился ужасной бранью, спустил своего пленника со спины и поставил его рядом с собой, связанного и беспомощного. Потом он вынул нож и сказал со злорадной усмешкой:

— Вы не дадите его унести, говорите? А ведь он мой, моя законная добыча. Ладно, раз я не могу унести свое имущество, я сделаю кое-что другое. Вот возьму и убью его — это тоже мое право. Ага! Этого вы не ждали, сволочи!

Бедный пленник умоляющим взглядом просил спасти его, потом заговорил и сказал, что у него дома жена и ребятишки. Сердце у нас разрывалось. Но что мы могли поделать? Бургундец был в своем праве. Мы могли только просить за несчастного пленника. Так мы и сделали. А бургундец получал от этого большое удовольствие. Он остановился с занесенным ножом —

хотел еще послушать и посмеяться. Это нам показалось очень обидно. Карлик сказал:

— Прошу вас, молодые господа, дайте-ка я его уговорю. У меня есть к этому способность — это скажет всякий, кто меня знает. Вы усмехаетесь — поделом мне за мое хвастовство! А все же дозвольте попробовать... — С этим он подошел к бургундцу и повел речь действительно мирно и по-хорошему; в своей речи он упомянул Деву, собираясь сказать, что она, по доброте своей, наверняка похвалит и отблагодарит его, если он сжалится над пленным...

Дальше ему не пришлось говорить: бургундец прервал его ласковую речь, выкрикнув грязное оскорбление Жанне. Мы ринулись к нему, но Карлик, поблестав, отстранил нас и сказал торжественно:

— Дозвольте уж мне. Ведь я ее телохранитель, значит это мое дело.

С этими словами он выбросил вперед правую руку, сдвинул горло дюжего бургундца и так, одной рукой, удержал его стоймя.

— Ты оскорбил Деву, — сказал он, — а Дева — это Франция. Теперь твой язык надолго смолкнет.

Послышался треск костей. Глаза бургундца начали вылезать из орбит и бессмысленно уставились в пространство. Лицо его потемнело, стало лиловым. Руки бессильно повисли, по телу прошла судорога — и оно все обмякло. Карлик разжал руку, и безжизненное тело рухнуло на землю.

Мы разрезали узы пленного и сказали ему, что он свободен. Его смирение вмиг сменилось бурным ликованием, а ужас — ребяческой яростью. Он бросился к трупу и стал пинать его ногами, плевать в лицо, плясать на нем, набивать ему рот грязью — и при этом хохотал, ругался и выкрикивал непристойные проклятия, точно пьяный или помешанный. Этого можно было ожидать — на войне не станешь святым. Многие из зрителей смеялись, некоторые были равнодушны, и никто не удивлялся. Но вдруг в своей иступленной пляске пленный нечаянно приблизился вплотную к неприятельским рядам, и один из бургундцев вонзил ему в горло нож; он упал, едва успев

крикнуть, кровь забила из артерии высоким и ярким фонтаном. Зрители — и враги, и даже свои — дружно захохотали. Вот как закончился один из наиболее приятных эпизодов моей пестрой солдатской жизни.

Тут подросла Жанна, очень взволнованная. Она выслушала притязания гарнизона и сказала:

— Да, право на вашей стороне. Это ясно. Мы допустили в договоре неосторожное слово, и его можно толковать по-всякому. Но вы не унесете этих бедняг. Они — французы, и я этого не допущу. Король заплатит выкуп за каждого из них. Подождите, я извещу вас. И смотрите, чтобы ни один волос не упал с их головы, — это вам дорого обойдется.

Тем и кончилось это дело. Пленные были спасены — хотя бы на время. Жанна поспешно поехала к королю и предъявила ему свое требование, не слушая никаких возражений. Король сказал: ладно, пусть будет, как она хочет; и она тотчас вернулась, выкупила всех пленных от имени короля и отпустила их.

Глава XXXV

КОРОНОВАНИЕ НАСЛЕДНИКА ФРАНЦУЗСКОГО ПРЕСТОЛА

В Труа мы вновь встретились со шталмейстером королевского двора, который принимал Жанну у себя в замке, когда она впервые приехала в Шинон. С дозволения короля она назначила его балли города Труа.

И вот мы снова в походе. Шалон нам сдался; в тот день в разговоре кто-то спросил Жанну, есть ли у нее какие-нибудь опасения; она ответила, что опасается только одного: предательства. Кто бы мог верить в возможность этого? И все же слова ее оказались пророческими. Да, жалкое животное — человек!

Мы все шли и шли и наконец шестнадцатого июля приблизились к цели нашего похода и увидели вдали высокие башни Реймского собора. По нашим рядам многократно прокатилось «ура», а Жанна, сидя на коне, в своих белых доспехах, задумчивая и прекрасная,

смотрела перед собой, и лицо ее сияло неземною радостью. О, это была не смертная девушка, а светлый дух! Ее великая миссия близилась к завершению, торжественно и безоблачно. Завтра она сможет сказать: «Мой труд окончен, отпустите меня».

Мы разбили лагерь, и начались хлопотливые приготовления к великому торжеству. Явился архиепископ с большой депутацией; потом потянулись толпы горожан и пригородных крестьян с приветственными кликами, знаменами и музыкой; ликующие толпы заполнили весь лагерь, и все были точно опьянены радостью. Всю ночь Реймс работал без устали, стучал молотками, украшал улицы, возводил триумфальные арки, убирал древний собор внутри и снаружи с невиданным великолепием.

Мы поднялись рано: коронация должна была начаться в девять и длиться пять часов. Мы знали, что английский и бургундский гарнизоны не смели и помышлять о сопротивлении Деве, что ворота гостеприимно распахнутся перед нами и весь город встретит нас с восторгом.

Утро было великолепное: солнечное, но свежее, прохладное и бодрящее. Войско было в отличном состоянии; длинная колонна, извиваясь, выступила из лагеря и отправилась в последний переход нашей бескровной кампании.

Жанна на своем вороном коне, в сопровождении герцога и свиты, давала прощальный смотр войску. Она не собиралась больше воевать, не думала после этого дня командовать этими или другими войсками. Солдаты знали это; они полагали, что в последний раз видят девичье личико своего непобедимого вождя — свою любимицу, красу и гордость, которую они в своем сердце тоже возвели в дворянство, но величали по-своему: «Божьей дочерью», «Освободительницей Франции», «Любимицей Славы». «Оруженосцем Иисуса» и другими, еще более ласковыми именами, какими люди называют любимого ребенка. Поэтому смотр был необычным — и войско и полководец были глубоко взволнованы. Раньше солдаты всегда проходили мимо Жанны под несмолкающее «ура», с высоко поднятой

головой, радостно сверкая глазами, с барабанным боем и громкой победной музыкой. Сегодня все было иначе. Если б не один звук, можно было бы закрыть глаза и вообразить себя в царстве мертвых. Этим единственным звуком, нарушавшим тишину летнего утра, был мерный шаг войска. Проходя плотно сомкнутыми рядами, солдаты отдавали честь, подымая правую руку к виску, ладонью вперед, взглядом благословляли Жанну, прощались с ней и еще долго не отводили от нее глаз. Уже пройдя мимо нее, они все еще не опускали руки. Каждый раз, когда Жанна подносила к глазам платок, по лицам солдат пробегала судорога волнения.

Смотр победоносного войска наполняет сердца ликованием; но на этот раз сердца были готовы разорваться.

Затем мы направились к резиденции короля, отведенной ему в архиепископском загородном дворце; он скоро вышел к нам, и мы поскакали, чтобы занять места во главе войска. Окрестные жители стекались со всех сторон и толпились вдоль дороги, чтобы увидеть Жанну, — как то бывало ежедневно, с первого дня нашего похода. Наш путь пролегал по зеленой равнине, и толпа окаймляла ее с обеих сторон. Кайма была широкая и яркая, потому что каждая девушка и женщина была в белой рубашке и красной юбке. Это напоминало бесконечно длинную гирлянду из маков и лилий. Вот какой дорогой цветов мы ехали все время! Только эти бесчисленные живые цветы не высились на стеблях — все они стояли на коленях, все простирали руки к Жанне и обращали к ней лица, залитые слезами благодарности. Те, что были ближе, обнимали ее ноги, целовали их и прижимались к ним мокрыми щеками. За все эти дни я не видел, чтобы кто-нибудь не преклонил колени, чтобы хоть один мужчина не обнажил голову. Впоследствии, на суде, эти трогательные сцены были поставлены Жанне в вину. Народ поклонялся ей, значит она еретичка, — так решил этот несправедливый суд.

Мы подъехали к городу; длинная изогнутая линия его башен и стен была расцвечена флагами и вся черна от народа; пушечная пальба сотрясала воздух

и застилала все вокруг клубами дыма. Мы торжественно въехали в городские ворота и проследовали по городу, а за нами, в праздничных одеждах, со знаменами, шли все городские гильдии и цехи, и вдоль всего пути радостно кричал и толпился народ; в окнах и на крышах тоже теснилось множество людей; балконы были украшены дорогими и яркими тканями; столько рук махало нам белыми платками, что казалось, будто на нашем пути бушует метель.

Церковь упоминала теперь Жанну в своих молитвах, — раньше это делалось только для одних королей. Но Жанна больше гордилась и дорожила честью, которую ей оказали простые люди: они выбили оловянные медали с ее портретом и гербом и носили их как талисман. Такие медали можно было видеть повсюду.

Из архиепископского дворца, где мы сделали остановку и где королю и Жанне было приготовлено помещение, король послал в аббатство Сен-Реми, находившееся возле тех ворот, через которые мы вступили в город, за *священным сосудом*, иначе говоря — бутылкой освященного елея. То был не простой елей — он был изготовлен на небесах, и сосуд тоже. Сосуд с елеем был доставлен на землю голубем, — он был послан святому Реми, когда тот готовился крестить короля Кловиса. Это я знаю достоверно и слышал еще в Дом-реми от отца Фронта. Не могу описать, какое чувство охватило меня при виде этого сосуда: я понял, что собственными глазами вижу предмет, побывавший на небесах; там на него, вероятно, смотрели ангелы и уж конечно сам бог, — ведь это он его послал на землю. А теперь я смотрю на него. Мне даже представился случай дотронуться до него, но я побоялся: может статься, к нему прикоснулся бог. Вполне вероятно, что так оно и было.

Этим елеем был помазан Кловис, а после него — все короли Франции. Да, все короли после Кловиса, а с тех пор прошло уж девять сотен лет. Итак, король послал за священным елеем, а мы ждали. Без него коронация, мне думается, была бы не настоящая.

Для получения сосуда с елеем требовался особый старинный церемониал, иначе настоятель аббатства

Сен-Реми, наследственный хранитель елєя на вечные времена, не мог его выдать. И вот, согласно обычаю, король послал пять знатнейших вельмож на конях и в пышном убранстве, чтобы они служили почетной свитой реймскому архиепископу и его каноникам, которые должны были идти за елеем. Прежде чем отправиться в путь, вельможи преклонили колени, сложили ладонями вместе руки в стальных рукавицах и поклялись своей жизнью в целости доставить королю священный сосуд и в целости возвратить его в Сен-Реми после обряда помазания. С этой пышной свитой архиепископ и его духовенство отправились в Сен-Реми. Архиепископ был в полном праздничном облачении, в митре и с крестом в руках. У врат аббатства они остановились и построились, готовясь принять священный сосуд. Послышались мощные звуки органа и пение хора, и из глубины темного храма показалась длинная вереница зажженных свечей. Это шествовал аббат в праздничном одеянии, неся священный сосуд, а за ним — весь причт. Он торжественно вручил сосуд архиепископу, и тот отправился обратно, тоже с большой торжественностью: на всем его пути толпа падала ниц и молилась в безмолвии и благоговейном трепете, пока мимо нее несли сосуд, ниспосланный с небес.

Процессия приблизилась к западным вратам собора; как только архиепископ вошел, все здание огласилось благолепным пением хора. В соборе толпились тысячи людей. Свободным оставался только проход посередине. По этому проходу шествовал архиепископ со своими канониками; за ними следовали пять статных рыцарей в великолепных доспехах, каждый со своим знаменем, — и верхом!

Это было красивейшее зрелище. Конная процессия под высокими сводами храма, в косых разноцветных лучах, пробивавшихся сквозь витражи, — живописнее этого мне ничего не случалось видеть.

Всадники подъехали к самому алтарю, а от дверей до него, говорят, четыреста футов. Там архиепископ отпустил их, и они простились с ним низким поклоном, так что перья их шлемов коснулись конских грив, а потом заставили горячившихся коней пятииться

к дверям — это тоже было удивительно красиво, — там они подняли их на дыбы, круто повернули и ускакали.

Несколько минут царило молчание, и все словно ждали чего-то; молчание было так глубоко, точно вся огромная толпа погрузилась в сон, — можно было различить малейшие звуки, вроде сонного жужжания насекомых. Потом из четырехсот серебряных труб грянул торжественный марш, и под стрельчатым сводом западного портала показались Жанна и король. Они медленно шли рядом, а кругом гремели приветствия, мощные взрывы «ура» сливались с рокотом органа и ликующим пением хора. За Жанной и королем шел Паладин с развернутым знаменем, — это была очень величественная фигура, и до чего же гордо и высокомерно он выступал! Он знал, что много глаз смотрят на него и разглядывают роскошный церемониальный наряд, надетый поверх его доспехов.

Рядом с ним шел сьер д'Альбрэ, представлявший на коронации особу коннетабля Франции, и нес государственный меч.

Затем, в порядке старшинства, шли светские пары Франции — три принца королевской крови, Ла Тремуиль и молодые братья Лавали.

За ними шли представители духовных пэров — архиепископ Реймский, епископы Лаона, Шалона, Орлеана и еще один.

Затем следовал Большой штаб — все наши славные полководцы, все громкие имена, — и всем хотелось взглянуть на них. Двоих из них сразу можно было заметить — так громко кричал народ им вслед: «Да здравствует Дюнуа!», «Слава Сатане Ла Гиру!»

Королевское шествие достигло назначенного ему места, и коронация началась. Церемония была долгая и внушительная — с молитвами, гимнами, проповедями и всем, что положено в таких случаях. И Жанна все время стояла рядом с королем, а с ней — ее Знаменосец. Но вот настала великая минута: король произнес присягу и был помазан священным елеем; после этого к нему подошел роскошно одетый придворный в сопровождении пажей, несших его шлейф, и, преклонив колени, поднес ему на подушке корону Франции. Ко-

роль, казалось, заколебался — да, заколебался: он уже протянул руку к короне, но рука замерла в воздухе. Это длилось только миг, — но как замечен бывает миг, когда он останавливает биение двадцати тысяч сердец! Да, только миг, — но король встретил взгляд Жанны и прочел в нем восторг ее великой души; тогда он улыбнулся, принял корону и возложил ее на себя подлинно королевским жестом.

Что тут поднялось! Радостно кричала толпа; громко ликовал хор и гудел орган; а за стенами собора звонили колокола и грохотал пушечный салют.

Сбылась мечта — фантастическая и, казалось, несбыточная мечта крестьянской девушки: английская мощь была сломлена, и король Франции вступил на свой престол.

Жанна словно преобразилась: вся сияя святой радостью, она упала на колени перед королем и смотрела на него сквозь слезы; губы ее дрожали, а голос прерывался:

— О милостивый король, наконец-то свершилась воля божья! Вы пришли в Реймс и возложили на себя корону, принадлежащую вам по праву. Мой труд окончен; отпустите меня с миром, дозвоьте вернуться к матери — она старая и хворая и нуждается во мне.

Король поднял ее и перед всеми собравшимися воздал ей хвалу в восторженных словах; он вновь подтвердил дарование ей титула, равного графскому, и назначил свиту, подобающую ее достоинству. Потом он сказал:

— Ты спасла королевство. Требуй же себе награду, и она — твоя, хотя бы мне пришлось для этого разорить мое королевство.

Вот это была истинно королевская щедрость. Жанна снова опустилась на колени и сказала:

— Тогда, милостивый король, прошу вас, освободите вашим королевским велением мою деревню от податей — она бедна и вконец разорена войной.

— Будет исполнено. Что еще?

— Это все.

— Все? И ничего больше?

— Это все. Других желаний у меня нет.

— Но это же ничто — менее, чем ничто! Проси же, не бойся!

— Нет, милостивый король. Не понуждайте меня. Мне ничего не надо, кроме этого.

Король был озадачен и на мгновение умолк, стараясь уяснить себе это диковинное, невиданное бескорыстие. Затем он поднял голову и сказал:

— Она отвоевала королевство и венчала короля на царство. И она ничего не хочет просить в награду — только эту малость, да и ту не для себя, а для других. Так и подобает: она показала, что ее сердце и разум полны таких сокровищ, к которым не может ничего прибавить ни один король, хотя бы он отдал ей все свое достояние. Да будет так: объявляем, что деревня Домреми, родина Жанны д'Арк, Освободительницы Франции, прозванной Орлеанской Девой, отныне и *навечно* освобождается от всех поборов и податей.

Тут серебряные трубы издали звонкий, радостный звук.

Вот о чем она мечтала в тот день в лугах Домреми, когда мы спросили ее, какую награду она попросит у короля, если он когда-нибудь скажет ей: проси! Предвидела ли она, что этот день наступит? Как бы то ни было, ее просьба показала, что после всех почестей, какие выпали ей на долю, она осталась такой же простодушной, как тогда, и так же мало думала о себе.

Итак, Карл VII «навечно» отменил подати. Благодарность королей и государств часто бывает недолговечна, их обещания забываются или намеренно нарушаются; гордитесь же, дети Франции, что это свое обещание Франция не забыла. С тех пор прошло шестьдесят три года. Шестьдесят три раза собирали с тех пор подати в округе — со всех деревень, кроме Домреми. Сборщик податей никогда не появлялся в Домреми. Деревня давно позабыла этого вестника беды и разорения. Заполнены уже шестьдесят три податных книги; они хранятся среди прочих государственных документов, и всякий может в них заглянуть. Вверху каждой страницы всех шестидесяти трех книг значится название деревни, а внизу — сумма налогов, которую она платит. И так — на каждой странице, кроме одной.

Да, именно так. В каждой из книг есть страница, озаглавленная: «Домреми». Но на этой странице не представлено ни одной цифры. На их месте написаны три слова. Они вписываются туда из года в год. На белой странице, как трогательное напоминание, стоят благодарные слова:

Domremi

Rien. La Pucelle

«Домреми: ничего. Орлеанская Дева». Как это кратко и как значительно! Это — голос народа. Мы словно видим, как суровое и несклонное к чувствительности нечто, именуемое правительством, склоняется перед великим именем и говорит сборщику податей: *«Сними шапку и проходи — так велит Франция».* Да, обещание выполняется и будет выполняться всегда. Недаром король сказал: «навечно»¹

В два часа пополудни церемония коронации была наконец окончена. Ее участники во главе с Жанной и королем вновь торжественно проследовали вдоль главного придела собора; звуки органа и приветственные клики слились в общий радостный гул, какой редко доводится слышать. Так окончился третий памятный день в жизни Жанны. Как недалеко отстоят друг от друга эти даты — 8 мая — 18 июня — 17 июля!

¹ Обещание это свято выполнялось более трехсот шестидесяти лет; но старый де Конт поторопился со своим предсказанием: во время бурь французской революции обещание было забыто и привилегия отнята. Об этой привилегии не вспомнили до сих пор. Жанна не требовала, чтобы ее помнили, но Франция помнит, чтит и любит ее; Жанна не просила себе памятника, но Франция воздвигла их множество; Жанна не просила о церкви для Домреми, но Франция ее выстроила; не просила Жанна и о причислении к лику святых, а ей предстоит сейчас и это. Все, о чем Жанна д'Арк не просила, было ей щедро дано. А единственная ничтожная милость, дарованная ей по ее собственной просьбе, отнята у нее. В этом есть нечто невыразимо грустное. Франция задолжала Домреми за сто лет, и едва ли найдется французский гражданин, который проголосует против уплаты этого долга. (Прим. переводчика.)

ЖАННА ПОЛУЧАЕТ ВЕСТИ ИЗ ДОМУ

Было на что поглядеть, когда наша процессия села на коней и поехала по городу — во всем великолепии богатых уборов и пышных перьев; на всем нашем пути люди преклоняли колени, как клонится нива под серпом жнеца, — и так, на коленях, приветствовали короля и его спутницу, Освободительницу Франции. Когда мы проехали по главным улицам города и уже приближались к концу нашего пути — ко двору епископа, — направо, у гостиницы под вывеской «Зебра», мы увидели нечто необычайное: двух человек, *не ставших на колени!* Они стояли в первом ряду зрителей и словно окаменели, широко раскрыв глаза и позабыв обо всем. Это были два крестьянина в грубой домотканой одежде. Двое стражей с алебардами ринулись к ним, чтобы проучить их за непочтение, и уже готовились схватить их, как вдруг Жанна крикнула: «Не трогайте их!» — и, соскользнув с седла, обняла одного из них, рыдая и осыпая нежными словами. Это был ее отец; второй был ее дядя Лаксар.

Весть об этом разнеслась мгновенно, в толпе раздались приветственные крики. Презренные, никому не ведомые простолюдины вмиг стали знамениты, — все им завидовали, все стремились взглянуть на них, чтобы можно было всю жизнь рассказывать, что они видели отца Жанны д'Арк и брата ее матери. Как легко ей было творить чудеса! Она была словно солнце: на что бы ни падали ее лучи, скромный и незаметный предмет тотчас начинал сиять.

Король милостиво сказал:

— Приведите их ко мне!

Она подвела их, сияя счастьем и нежностью, а они тряслись от страха и мяли шапки в дрожащих руках. На удивление и зависть всех окружающих, король дал им поцеловать свою руку и сказал старому д'Арку:

— Благодарю бога за такую дочь, она обессмертила твое имя. Да, твое имя останется жить в памяти людей, когда будут позабыты все королевские династии. Не пристало тебе обнажать голову перед нашими брен-

ными титулами. Надень шапку! — Это было сказано с истинно королевским достоинством. Потом он приказал позвать бальи города Реймса, и когда тот подошел и склонился перед ним, обнажив голову, король сказал: — Эти двое — гости Франции, — и велел оказать им подобающее гостеприимство.

Расскажу уж кстати, что дядюшка д'Арк и Лаксар остановились в скромной гостинице «Зебра» и так и остались там. Бальи предлагал им более роскошное помещение, всевозможные развлечения и почести, но они сильно робели, — ведь они были простые, смиренные крестьяне. Они так отнекивались, что пришлось оставить их в покое, — они не получили бы никакого удовольствия. Бедняги не знали даже, куда девать руки, и, того и гляди, могли наступить на них. Бальи сделал для них все что мог. Он велел хозяину гостиницы отвести им целый этаж и подавать все, чего они пожелают, за счет городской казны. Кроме того, бальи подарил им лошадей и сбрую; это так удивило и восхитило их, что они не могли вымолвить ни слова. Им никогда и не снилось такое богатство, и сначала они как будто не верили, что лошади живые и настоящие и не исчезнут, как дым. Они не могли думать ни о чем другом и то и дело сводили разговор на лошадей, чтобы можно было почаще повторять: «моя лошадь» — и всячески смаковать эти слова; расставив ноги и заложив большие пальцы в проймы жилетов, они блаженствовали, как господь бог, созерцающий бесчисленные созвездия в бесконечном пространстве вселенной и сознающий с удовлетворением, что все это — его собственность. Невозможно было быть счастливее, чем эти старые младенцы.

В тот же день город устроил пышный банкет в честь короля, Жанны, двора и главного штаба; в разгар пиршества послали за дядюшкой д'Арком и Лаксаром, но они не решились идти, пока им не пообещали, что их посадят в сторонке, на галерее, откуда они все увидят, а сами не будут на виду. Они глядели оттуда на великолепный праздник и плакали от умиления при виде несказанных почестей, какие воздавались их дорогой малютке, и дивились, как спокойно она сидит,

ничуть не робея и не смущаясь всем этим ослепительным блеском.

Но была минута, когда спокойствие ей изменило. Она без волнения выслушала и милостивые слова короля, и похвалы герцога Алансонского и Дюнуа, и даже громовую здравницу Ла Гира, покоровшую всех слушателей. И только одного она не смогла выдержать. По окончании речей король сделал знак, призывая к тишине, и ждал с поднятой рукой, пока замерли все звуки и тишина стала почти *ощутимой* — такая она была глубокая. И вот откуда-то из дальнего угла огромного зала раздался тоненький жалобный голосок, и в зачарованной тишине нежно и трогательно зазвучала простая милая старая песенка о Волшебном Бурлемонском Буке. Тут Жанна не выдержала, закрыла лицо руками и зарыдала. Слава и величие мигом рассеялись; она снова была маленькой пастушкой среди мирных лугов, а война, раны, кровь, смерть, яростное безумие и грохот битвы — все это показалось ей сном. Вот какова сила музыки, самой могущественной из волшебниц: стоит ей взмахнуть своим жезлом и произнести магическое слово — и действительность исчезает, а призраки, рожденные вашим воображением, одеваются живой плотью.

Этот прелестный сюрприз был придуман для нее королем. Право, в короле было кое-что хорошее, только оно было где-то глубоко спрятано, так что трудно было разглядеть; оно постоянно заслонялось хитрым де Ла Тремуйлем и его присными, а король, по лени и беспечности, давал интриганам полную волю.

Вечером все приближенные Жанны, которые были уроженцами Домреми, собрались в гостинице у ее отца и дяди; мы готовили крепкие напитки и намеревались всласть поговорить о нашей деревне и земляках, как вдруг от Жанны принесли большой сверток и не велели разворачивать до ее прихода. Скоро явилась и она сама и отослала своих телохранителей, сказав, что останется ночевать у отца, под его кровлей, как будто она снова дома. Мы все поднялись и стояли, как нам было положено, дожидаясь, когда она позволит нам сесть. Обернувшись, она увидела, что оба старика тоже стоят,

но неловко и совсем не по-военному; ей очень хотелось рассмеяться, но она удержалась, чтобы не обидеть их. Она усадила их, села сама между ними, взяла каждого за руку и, держа их руки у себя на коленях, сказала:

— Оставим все эти церемонии и будем беседовать по-родственному, как встарь. Ведь я покончила с войной; теперь вы отвезете меня домой, и я вижу... — Тут она умолкла; ее сияющее лицо на мгновение омрачилось сомнением или предчувствием, но тут же вновь прояснилось, и она сказала горячо: — Ах, как бы я хотела уехать сегодня же!

— Да ты, верно, шутишь, дочка? Ты тут творишь настоящие чудеса, и все тебя славят, и ты, наверное, еще и не так сумеешь отличиться. Здесь ты запросто с генералами и принцами, а хочешь опять на крестьянскую работу и чтоб никто о тебе не знал. Нет, не дело ты говоришь.

— Да, — сказал дядюшка Лаксар, — это даже слышать странно и понять нельзя. Она меня уже раз удивила — когда собиралась на войну; а сейчас еще удивительней, что она больше не хочет воевать. Надо сказать, что это самые удивительные слова, какие мне до сих пор доводилось слышать. Я тебя что-то не пойму.

— Понять нетрудно, — сказала Жанна. — Я всегда боялась ран и крови, никому бы не согласилась причинить боль и очень пугалась ссор и шума. Все это мне не по душе. Я люблю тишину и покой и всех живых тварей — такая уж я уродилась. Я и думать боялась о войне, о крови, мучениях и слезах, которые она приносит. Но господь через своих ангелов возложил на меня это бремя — как же я могла послушаться? Я выполняла его волю. А много ли он мне поручил? Всего два дела: снять осаду Орлеана и короновать короля в Реймсе. Я выполнила это — и теперь я свободна. Бывало ли хоть раз, чтобы на моих глазах пал воин — все равно свой или вражеский, — а я не почувствовала бы, как будто свои собственные, его рану и горе его семьи? Ни разу. Какое счастье, что я теперь свободна, и больше не увижу, как творятся эти злые дела, и не буду над ними горевать. Так почему бы мне не вер-

нуться в свою деревню и не жить по-прежнему? Там для меня рай! А вы дивитесь, что мне туда хочется! Это потому, что вы мужчины. Мать меня поняла бы.

Они не знали, что сказать, и вид у них был озадаченный. Потом старый д'Арк сказал:

— Про мать — это ты верно. Другой такой чудачки я не видывал. Все горюет, все горюет; ночей не спит, все лежит да думает, да горюет о тебе. Когда на дворе непогода, она плачет и приговаривает: «Как-то она там, моя бедная? Наверное, промокла до нитки, и солдатики ее тоже». А если молния или гром — вся задрожит, начнет ломать руки и говорит: «Вот так, верно, гремят страшные пушки, а она едет прямо на них; а меня там нет, и некому ее защитить!»

— Мама, бедная мама, как мне тебя жалко!

— Вот я и говорю — чудачка; я это за ней сколько раз замечал. Когда приходит весть о победе — вся деревня радуется и гордится, а она мечется как безумная, пока не узнает, что ты жива; только это ей и надо! А как узнает, падет на колени, хоть бы и в грязь, и славит бога во весь голос, — и все за тебя, а о сражении ни слова. И каждый раз она говорит: «Ну, теперь-то уж конец! Теперь Франция спасена, теперь-то уж она к нам вернется!» А тебя все нет — и опять она горюет.

— Довольно, отец, не надрывай мне сердце. Зато уж как я буду ее жалеть, когда вернусь! Всю работу буду за нее делать, во всем ей угождать, и не придется ей больше из-за меня плакать.

Еще вот так поговорили, а потом дядя Лаксар сказал:

— Теперь ты, душа моя, выполнила божье веление и вольна уходить. Так-то оно так. Ну а король? Ведь ты у него лучший воин. А вдруг он тебя не отпустит?

Это было неожиданно. Жанна не сразу опомнилась, а потом сказала с простодушной покорностью:

— Король — мой повелитель, а я его служанка. — Она замолкла и задумалась, но скоро улыбнулась и сказала весело: — Что про это думать? Сейчас не время. Расскажите мне лучше, что делается у нас дома.

И старики принялись рассказывать, рассказывали без умолку про все и про каждого на деревне; приятно

было их послушать. Жанна по своей доброте хотела и нас втянуть в разговор, но это ей не удавалось. Она была главнокомандующим, а мы — никто. Ее имя гремело по всей Франции, а мы были мельче песчинок. Она была соратником принцев и героев, а нашими товарищами были безвестные рядовые. Она стояла даже выше всех великих мира сего — ведь она была посланницей небес. Словом, она была ЖАННОЙ Д'АРК. Этим все сказано. Для нас она была божеством. А это значит, что между нами лежала пропасть. Мы не могли быть с нею на равной ноге. Вы сами видите, что это было невозможно.

А вместе с тем как она была человечна, как добра и отзывчива, как ласкова и приветлива, как скромна и бесхитростна! Вот слова, которые приходят на ум, когда пишешь о ней, но их недостаточно, они слишком скудны и бесцветны, чтобы рассказать о ней все или хотя бы половину. Простодушные старики не понимали, что она такое, и не способны были понять. До сих пор они имели дело с обыкновенными смертными, и у них не было другой мерки. Когда прошло их смущение, она стала для них просто девчонкой. Удивительное дело! Страшно было видеть, как свободно и спокойно они себя чувствовали в ее присутствии; они разговаривали с ней, точно с любой другой французской девушкой.

Старый простак Лаксар начал рассказывать скучнейшую и пустейшую историю, и ни ему, ни папаше д'Арку не приходило в голову, что это не положено по этикету; да и сама история не заслуживала внимания, ничего интересного в ней не было; им казалось, будто это очень волнующая повесть, а по-моему, она была просто нелепа. Так мне показалось тогда, и так кажется до сих пор. Вероятно, так и было, потому что Жанна смеялась, — и чем печальнее были описываемые события, тем больше она смеялась. Паладин сказал, что он и сам посмеялся бы, если бы не присутствие Жанны; и Ноэль Рэнгессон сказал то же. Рассказ был о том, как дядя Лаксар недели три назад был в Домреми на чьих-то похоронах. Лицо и руки у него были в красных пятнах, и он попросил Жанну смазать

их какой-нибудь целебной мазью; пока она натираала его и утешала, он рассказал, как все вышло. Прежде всего он спросил, помнит ли она их черного теленка. Она сказала: как же, помнит, очень хороший теленок, ее любимец; как-то он там теперь? — и прямо засыпала его вопросами. Он сказал, что теленок стал славным бычком. Так вот, на похоронах он должен был быть первым лицом. «Кто — бычок?» — спросила она; «Да нет, я». Оказалось, однако, что и бычок принял в них участие, хотя и не был зван. Дядя Лаксар задремал возле Волшебного Бука — прямо как был, одетый ради похорон в праздничный наряд и с предлинной черной лентой на шляпе. А когда проснулся и поглядел на солнце, понял, что опаздывает и должен торопиться. Видит — пасется этот самый бычок, и решает для скорости проехать на нем хотя бы часть пути. Обвязывает бычка веревкой, чтобы было за что держаться, надевает на него уздечку, чтобы править, и садится. Бычку это с непривычки не понравилось, он и начал реветь, метаться, брыкаться, шарахаться. Дядя Лаксар решил, что с него хватит, — он рад был бы слезть и ехать со следующим попутным бычком или еще как-нибудь поспокойнее. Только слезть-то он не решался, хотя ему было очень жарко и тряско, да и неприлично было так подпрыгивать в воскресный день. Бычок совсем осерчал и помчался к деревне, задрав хвост и дико мыча, а на краю деревни опрокинул несколько ульев. Пчелы вылетели оттуда целой тучей — и за ними! Пчелы давай жалить, кусать, колоть, и сверлить! А бычок и седок давай мычать и кричать, кричать и мычать! Так они пронеслись по деревне и налетели на похоронную процессию: одних свалили с ног и промчались прямо по ним, другие сами с криком разбежались кто куда, — и каждого облепили пчелы, так что от всей процессии уцелел один покойник. Но вот наконец бычок кинулся в реку, и когда выловили оттуда дядю Лаксара, он уже захлебывался, а лицо все было как пухлый каравай с изюмом. Тут старый простофиля устоялся на Жанну: она зарылась лицом в подушки и прямо умирала со смеху.

— Чему это она смеется?

Старый д'Арк тоже глядел на нее и почесывал в затылке, но ничего не мог сообразить и сказал:

— Кто ее знает — чему; должно быть, кто-нибудь насмешил, а мы и не заметили.

Оба старика считали этот рассказ очень жалостным, а по-моему, он нелеп и никому не интересен. Так мне показалось тогда, и так кажется до сих пор. Что в нем исторического? История должна сообщать важные и серьезные факты; она должна чему-нибудь *учить*; а этот пустяковый рассказ, по-моему, ничему не учит, разве только чтобы не ездили на похороны на бычке; но какой же здравомыслящий человек нуждается в подобном поучении?

Глава XXXVII

СНОВА К ОРУЖИЮ

А ведь король, как вы знаете, возвел этих старых чудаков в дворянство. Но это им было непонятно и как-то не укладывалось в их головах; такая честь была для них пустым звуком, бесплотным призраком. Что им дворянство? Вот лошади — дело другое; лошади — это ценность, тут уж каждому видно; будет чем удивить народ в Домреми! Заговорили о коронации, и старый д'Арк сказал:

— Да, будет о чем рассказать дома, ведь надо ж быть такой удаче: очутились в городе как раз к этому дню!

Жанна сказала огорченно:

— Вот за это я и хотела вам попенять. Вы приехали и не известили меня. Эко диво — в городе! Вы могли бы сидеть рядом со знатью, вам все были бы рады, и вы бы все увидели вблизи. Вот *тогда* было бы о чем рассказывать дома. За что же вы обидели меня: не дали мне знать?

Старик отец явно смутился и не знал, что сказать. А Жанна, положив руки ему на плечи, заглядывала ему в лицо и ждала. Надо было ей ответить. Он

привлек ее к себе на грудь, тяжело вздымавшуюся от волнения, и проговорил с трудом:

— Спрячь лицо, дитятко; сейчас твой отец повинится перед тобой. Видишь ли, какое дело... я думал: почем знать, может почести вскружили твою молодую головку — что ж тут было бы удивительного, — может, ты станешь стыдиться меня перед всеми этими...

— Отец...

— А потом... я боялся... ведь я помнил, какие жестокие слова сказал однажды в своем греховном гневе. Господь избрал тебя на великий ратный подвиг, а я, по своему невежеству, грозил утопить тебя своими руками, если ты забудешь девичий стыд и осрамишь нас. Как мог я это сказать моему невинному ребенку? Вот я и боялся, потому что был перед тобой виноват. Понимаешь теперь, дитятко, и прощаешь меня?

Вот, оказывается, в чем дело. Даже у этого бедного старого червя, всю жизнь рывшегося в земле, была своя гордость. Не диво ли это? И совесть у него была: он понимал, что хорошо, а что дурно, и способен был чувствовать раскаяние. Быть того не может, скажете вы. И все ж это так. Когда-нибудь мы обнаружим, что мужики — тоже люди. Да, да — и во многом, очень многом похожие на нас. Я полагаю, что когда-нибудь и *они* это обнаружат, — а тогда что? Тогда, я думаю, они восстанут и потребуют, чтобы их считали за людей, и от этого произойдет великая смута. Когда в книге или в королевском указе мы читаем слово «нация», нам представляется ее верхушка, и только она; другой «нации» мы не знаем, для нас и для короля другой нации нет. Но с того дня, когда я увидел, что старый крестьянин д'Арк поступает и чувствует так же, как я сам поступал бы и чувствовал на его месте, я убедился, что наши крестьяне — не просто тягловый скот, богом предназначенный добывать для «нации» пищу и другие блага, но представляют собой нечто большее и лучшее. Вам не верится? Так уж вы воспитаны, так воспитаны мы все; что до меня, то я благодарен этому случаю: он многому научил меня, и я его не забуду.

О чем бишь я говорил? Когда состаришься, трудно бывает иной раз собраться с мыслями. Да! Я сказал,

что Жанна принялась утешать старика. Иначе и не могло быть. Она приласкала, и приголубила его, и уговорила забыть про те жестокие слова. Он и забыл о них — до самой ее смерти. Вот когда он снова их вспомнил! Боже, как жалят и терзают нас все обиды, которые мы когда-то причинили тем, кого уже нет в живых. Мы повторяем в тоске: «Если б они могли вернуться!» Да, мы всегда так говорим, — а что толку? Лучше всего, по-моему, не наносить никому обид. И не я один так думаю, то же самое говорят оба наши рыцаря и еще один человек из Орлеана — или из Божанси? — да, да, именно из Божанси. Вот и он говорит то же и почти теми же словами. Смуглый человек, косит, и одна нога короче другой. Его зовут... — странно, что я позабыл его имя, а ведь только что помнил. Оно начинается с... — нет, не помню даже, как начинается. Ну, ничего, после как-нибудь вспомню и скажу вам.

Старику захотелось знать, что испытывает Жанна в бою, когда кругом сверкают клинки, а по щиту так и молотят удары, и тебя заливают кровью соседа, которому разрубили голову; или в те опасные минуты, когда обезумевшие кони внезапно пятятся под напором передних рядов, теснимых противником, а всадники со стоном падают с седел, и боевые знамена выпадают из мертвых рук и прикрывают тебе лицо, на миг заслоняя страшное зрелище; когда все вокруг качается и кружится, и в этой бешеной сумятице конские копыта топчут что-то мягкое, а в ответ кто-то кричит от боли; и вдруг — ужас, смятение, бегство! — смерть и ад гонятся за тобой по пятам!

Старик сильно взволновался; он ходил по комнате, что-то бормотал и непрерывно задавал вопросы, не дожидаясь ответа. Наконец он вывел Жанну на середину, отступил назад, внимательно оглядел ее и сказал:

— Нет, не пойму я этого. Уж очень ты мала. Мала и худощава. Еще в доспехах — куда ни шло; а сейчас, в шелку и бархате, ты выглядишь мальчишкой-пажом, а уж никак не чудо-богатырем, который шагает семимильными шагами, достает головой тучи и изрыгает на противника пламя и дым! Хотелось бы мне видеть тебя в деле и потом рассказать матери! Может, тогда она,

бедная, уснула бы спокойнее. Поучи меня солдатскому ремеслу, чтобы я мог ей все растолковать.

Так она и сделала. Она дала ему копьё и показала, как с ним обращаться. Показала и маршировку. Маршировал он удивительно неуклюже, и с копьём у него тоже выходило плохо, но он этого не замечал и был очень доволен; особенно нравились ему короткие звучные слова команды. Словом, если бы одного счастливого и гордого вида было достаточно, из него вышел бы образцовый солдат.

Он захотел также научиться владеть мечом, и Жанна показала ему и это. Но фехтование было ему не под силу, не те уж были его годы. Жанна проделывала это удивительно хорошо, а у старика совсем не получалось. Он пугался клинков, приседал и шарахался, как женщина от летучей мыши. Словом, блеснуть не мог. Вот если бы пришел Ла Гир, было бы совсем другое дело. Они с Жанной часто фехтовали, и я не раз это видел. Правда, Жанна всегда брала верх, но и Ла Гир был большой искусник. А какая она была быстрая! Выпрямится, сдвинет ноги вместе, а рапиру изогнет над головой, одной рукой держа ее за рукоять, другой — за кончик. Старый вояка становился напротив нее, подавшись вперед, заложив левую руку за спину, и выставлял рапиру перед собой, слегка вращая ее и не спуская глаз с Жанны. А она делала внезапный прыжок вперед, снова отскакивала назад и опять застыла на месте, выгнув над собой рапиру. Она успевала нанести Ла Гиру удар, но зритель видел только, как что-то сверкнуло в воздухе, — и больше ничего.

Мы усердно пускали чашу по кругу, зная, что это приятно бальи и хозяину; папаша д'Арк и старый Лаксар совсем развеселились, хотя нельзя сказать, чтобы они сильно захмелели. Они показали гостинцы, которые накупили для домашних — незатейливые, дешевые вещи, но там они должны были показаться роскошными. А Жанне они вручили подарок от отца Фронта и еще один — от матери: маленький оловянный образок богоматери и полъярда голубой шелковой ленты. Она обрадовалась им, как ребенок, и была тронута — это было видно. Она расцеловала убогие вещицы, словно

невесть какие сокровища; она прикрепила образок к камзолу, послала за шлемом и повязала на него ленту — и все пробовала, как будет лучше, то так завяжет, то этак, и всякий раз подымает шлем на вытянутой руке и склоняет голову то вправо, то влево, глядя, что у нее получается, — точно птичка, раздобывшая нового жучка. Она сказала, что не прочь опять идти в бой и теперь сражалась бы еще лучше, — лента всегда была бы при ней как материнское благословение.

Старый Лаксар сказал: дай ей бог, но только прежде надо побывать дома, где все так по ней стосковались.

— Они гордятся тобой, душа моя. Еще ни одна деревня никогда и никем так не гордилась. Оно и понятно. Ни у одной деревни не было такой землячки. Удивительно, как они всё стараются назвать в честь тебя — всякое существо женского пола. Прошло всего полгода, как ты ушла от нас и прославилась, а сколько младенцев уже носит твое имя! Сперва Жанна, потом Жанна Орлеанская, потом Жанна-Орлеан-Божанси-Патэ, а теперь пойдут и новые города, да еще, конечно, прибавится Коронация. Ну и животных тоже. Все знают, как ты любишь всякую скотину, вот и стараются почитать тебя и называют их твоим именем. Сейчас стоит выйти на улицу и позвать «Жанна д'Арк, сюда!» — как сбегутся и кошки, и всякие твари, и каждая будет думать, что это ее зовут, а раз зовут, то и накормят. Твой котенок, которого ты подобрала перед уходом, — помнишь? — тоже теперь зовется в честь тебя и живет у отца Фронта, и вся деревня его балует. Даже издалека приходят на него посмотреть, поласкать и подивиться: вот, мол, кошка Жанны д'Арк. Это вам всякий скажет; а раз какой-то пришлый человек кинул в нее камнем, — он не знал, что это твоя, — так вся деревня как один на него кинулась, и хотели ведь повесить. Кабы не отец Фронт...

Тут старика прервали: гонец от короля принес Жанне записку, которую я ей прочел; там говорилось, что король подумал и посоветовался со своими военачальниками и просит ее остаться во главе армии и взять назад свое прошение об отставке. Не может ли

она немедленно прийти на военный совет? И тотчас же в ночной тиши раздались слова команды и треск барабана — это шли ее телохранители.

На лице ее выразилось глубокое огорчение, но только на миг — потом это выражение исчезло. Исчезла девочка, тоскующая о родном доме, и перед нами снова была Жанна д'Арк, главнокомандующий армией, готовая выполнять свой долг.

Глава XXXVIII

КОРОЛЬ КОМАНДУЕТ «ВПЕРЕД!»

В качестве пажа и секретаря я последовал за Жанной на военный совет. Она вошла туда с видом оскорбленной богини. Куда девалась простодушная девочка, которая только что радовалась ленте и хохотала до упаду над злоключениями старого простака, наскочившего на похоронную процессию верхом на быке, искусанном пчелами? Вы не нашли бы в ней и следа этой девочки. Она подошла прямо к столу, за которым заседал совет, и остановилась. Она обвела всех глазами; и одних ее взгляд зажигал, как факел, других словно клеймил раскаленным железом. Она знала, куда направить удар. Указав кивком головы на полководцев, она сказала:

— С вами мне не о чем толковать. Не вы требовали созвать совет. — Обернувшись к королевским приближенным, она продолжала: — Вот с кем придется говорить. Военный совет! Просто диву даешься: перед нами один путь, и только один, а вы созываете совет! Военный совет нужен, чтобы выбрать одно из нескольких решений. А к чему он, когда перед нами только *один* путь? Вот, скажем, человек в лодке, а родные его — в воде; так что ж, он будет собирать совет из приятелей и спрашивать, как лучше поступить? Военный совет! Боже ты мой! А что на нем решать?

Она перевела глаза на Ла Тремуиля и молча мерила его взглядом; волнение среди присутствующих воз-

растало, и сердца бились все сильнее. Жанна сказала раздельно и твердо:

— Каждый здравый умом человек, — если он служит королю от чистого сердца, а не напоказ, — знает, что для нас возможно только одно — *идти на Париж!*

Ла Гир одобрительно стукнул кулаком по столу. Ла Тремуйль побелел от гнева, но сдержался и промолчал. Ленивая кровь короля зажглась, глаза его сверкнули — в нем все же где-то таилась воинская отвага, и смелая речь всегда находила в нем отклик. Жанна подождала, не станет ли первый министр защищать свои позиции, но он был мудр и опытен и не склонен тратить попусту силы, выгребая против течения. Он лучше подождет: король всегда выслушает его наедине.

Слово взял набожный лис — канцлер Франции. Потирая мягкие руки и вкрадчиво улыбаясь, он сказал Жанне:

— Прилично ли будет, ваша светлость, выступить столь внезапно, не дождавшись ответа от герцога Бургундского? Вам, быть может, неизвестно, что мы ведем с герцогом переговоры и надеемся договориться о двухнедельном перемирии. А он может обязаться сдать Париж без единого выстрела и даже без утомительного похода.

Жанна обернулась к нему и сказала серьезно:

— Здесь не исповедальня, господин канцлер. Вам не было надобности обнаруживать перед всеми свой позор. Канцлер покраснел и сказал:

— Позор? Что же тут позорного?

Жанна проговорила ровно и бесстрастно:

— Я вам отвечу, и на это не придется тратить много слов. Я знала об этой жалкой комедии, господин канцлер, хотя ее и думали утаить от меня. Что ж, пожалуй это даже служит к чести ее сочинителей — то, что они хотели держать ее в тайне. Ведь ее можно выразить двумя словами.

Канцлер сказал с иронией:

— Вот как? Осмелюсь спросить вашу светлость, какими именно?

— Трусость и измена!

Теперь уже все полководцы разом стукнули по

столу, а глаза короля снова весело сверкнули. Канцлер вскочил и обратился к королю:

— Я прошу вашей защиты, сир!

Но король отмахнулся от него и сказал:

— Спокойствие! С ней следовало посоветоваться заранее, раз дело касается не только политики, но и войны. Так пусть она выскажется хотя бы теперь

Канцлер сел, дрожа от негодования, и сказал Жанне:

— Из сострадания к вам я готов считать, что вы не знаете, кто предложил эти переговоры, которые вы осудили в столь резких выражениях.

— Приберегите сострадание до другого случая, господин канцлер, — сказала Жанна все так же спокойно. — Когда затевается что-нибудь противное интересам и чести Франции, каждый знает, кто тут двое главных...

— Сир, это клевета!..

— Нет, не клевета, господин канцлер, — сказала Жанна невозмутимо, — это — обвинение. Я предъявляю его первому министру короля и канцлеру.

Тут они вскочили оба, требуя, чтобы король запретил Жанне подобную откровенность; но он и не подумал запрещать. Советы бывали обычно стоячей водой, а сейчас дух его отведал вина и нашел его вкус отличным. Он сказал:

— Сядьте и наберитесь терпения. Что позволено одной стороне, надо позволить и другой; этого требует справедливость. Вы-то разве щадите ее? Когда вы говорите о ней, вы не скупитесь на бранные клички и гнусные обвинения. — И он добавил с озорным огоньком в глазах: — Если это считать оскорблениями, то и вы оскорбляли ее; только она говорит вам обидные вещи в глаза, а вы — за ее спиной.

Он остался явно доволен своим метким ударом, от которого оба виновника съежились. Ла Гир громко хохотал, остальные воины тихонько посмеивались. Жанна продолжала спокойно:

— Все эти промедления мешали нам с самого начала. Все советы, советы да советы, когда нужно не совещаться, а драться! Мы взяли Орлеан восьмого мая и могли бы в каких-нибудь три дня очистить всю ок-

ругу, и не понадобилось бы проливать кровь при Патэ. Мы могли бы быть в Реймсе шесть недель тому назад, а сейчас были бы уже в Париже и через полгода вы- проводили бы из Франции последних англичан. А мы после Орлеана, вместо того чтобы нанести следующий удар, повернули и ушли из-под города. А зачем? Затем, видите ли, чтобы совещаться, а на самом деле для того, чтобы Бедфорд успел послать Тальботу под- крепления. Он так и сделал, и нам пришлось драться при Патэ. А после Патэ опять начались совещания, и опять мы теряли драгоценное время. О король мой, позвольте мне убедить вас! — Теперь она говорила с жаром. — Сейчас нам снова представляется удобный случай. Если мы немедленно ударим на врага, нас ждет удача. Велите мне идти на Париж. Через двадцать дней он будет ваш, а через полгода вся Франция бу- дет ваша! Дела всего на полгода, а если мы упустим время, нам не наверстать его и за двадцать лет. При- кажите, милостивый король, скажите одно только слово!..

— Помилуйте! — прервал ее канцлер, заметив на лице короля опасное воодушевление. — Идти на Па- риж? Вы, как видно, забыли, сколько на пути англий- ских укреплений.

— Вот цена этим укреплениям! — сказала Жанна, презрительно щелкнув пальцами. — Откуда мы сейчас пришли? Из Жиена. А куда? В Реймс! Что было на пути? Сплошные английские крепости. А что с ними теперь? Они стали французскими, и притом без единого выстрела! — Полководцы начали громко выражать одобрение, и Жанна немного выждала, прежде чем про- должать. — Да, на нашем пути были сплошь англий- ские крепости, а сейчас позади нас — сплошь фран- цузские. Что же это доказывает? На это вам и ребенок может ответить. В крепостях на пути к Парижу те же англичане, а не какие-нибудь другие. Они тоже боятся, тоже сомневаются, тоже пали духом, обессилели и ждут божьей кары. Нам стоит только выступить, не- медленно выступить, и крепости — наши, Париж — наш, Франция — наша! Повелите, о мой король, пове- лите вашей служанке.

— Стойте! — вскричал канцлер. — Было бы безу-

нием так оскорбить герцога Бургундского. По договору, который мы надеемся с ним заключить...

— Ах, вы надеетесь заключить с ним договор? А сколько лет он презирал вас и глумился над вами? Уж не уговорами ли вы его смягчили и склонили вас слушать? Нет — *ударами!* Ударами, которые мы ему нанесли! Других уговоров этот матерый мятежник не понимает. Что для него слова? Вы надеетесь заключить с ним договор? Чтобы он сдал вам Париж? Да ведь последний нищий в стране имеет столько же власти над Парижем, сколько он. Это он-то берется сдать вам Париж? То-то посмеялся бы Бедфорд! О, жалкие отговорки! Да тут и слепому видно, что ваши переговоры, шитые белыми нитками, и двухнедельное перемирие — все это только для того, чтобы Бедфорд успел двинуть на нас войско. Предательство, вечно предательство! Мы собираем военный совет, когда и совещаться-то не о чем! А Бедфорд небось не совещается, — он и так видит, что ему надо делать. Он знает, что сделал бы и на нашем месте. *Он перевешал бы изменников и пошел на Париж!* О милостивый король, пробудись! Путь открыт, Париж тебя ждет, Франция тебя призывает. Скажи только слово, и мы...

— Сир, это безумие, чистое безумие! Ваша светлость, мы не можем и не должны отступаться; мы сами предложили переговоры, и мы *должны* договориться с герцогом Бургундским.

— Мы с ним договоримся, — сказала Жанна.

— Как же?

— *Острием копья!*

Все встали — все, в ком билось французское сердце, — и разразились бешеными рукоплесканиями, которые долго не смолкали. Было слышно, как Ла Гир рычал: «Острием копья! Клянусь богом, славно сказано!» Король тоже встал, вынул меч, взял его за лезвие и протянул Жанне рукоятью вперед, говоря:

— Ну, видишь, король сдастся, — бери его меч в Париж!

Снова раздались рукоплескания, и на этом кончился достопамятный военный совет, о котором сложилось столько легенд.

МЫ ПОБЕЖДАЕМ, НО КОРОЛЬ УПРЯМИТСЯ

Было уже за полночь, а предыдущий день выдался беспокойный и трудный, но Жанне все было нипочем, когда предстоял поход. Она и не подумала ложиться. Полководцы последовали за ней в помещение ее штаба, и она стала отдавать распоряжения, а они — тут же рассылать их в свои части. Гонцы галопом поскакали с ними по тихим улицам; вскоре к конскому топоту присоединились отдаленные звуки труб и треск барабанов — началась подготовка к походу; авангард должен был выступить на рассвете.

Полководцев скоро отпустили, но нам с Жанной еще нельзя было отдыхать; теперь настала моя очередь. Жанна расхаживала по комнате и диктовала письмо герцогу Бургундскому, предлагая сложить оружие, заключить мир и забыть свою вражду к королю; а если он непременно хочет воевать — пусть идет на сарацинов:

*«Pardonnez-vous l'un à l'autre de bon coeur, entièrement, ainsi que doivent faire loyaux chrétiens, et s'il vous plait de guerroyer, allez contre les Sarrasins»*¹.

Письмо было длинное, но звучало отлично. Мне думается, что она никогда не писала так хорошо, так просто, прямодушно и красноречиво.

Письмо было вручено гонцу, и он ускакал с ним. После этого Жанна отпустила меня и велела идти почевать на постоянный двор, а утром передать отцу сверток, который она в прошлый раз там оставила. В свертке были подарки родственникам и друзьям в Домреми и крестьянская одежда, купленная ею для себя. Она сказала, что придет утром проститься с отцом и дя-

¹ «Простите друг другу от всего сердца, как подобает добрым христианам, а коли есть охота воевать, идите на сарацинов» (франц.).

дей, если только они не передумают и не останутся еще немного, чтобы осмотреть город.

Я, разумеется, ничего не сказал; а мог бы сказать, что стариков теперь не удержать никакими силами даже на полдня. Разве они уступят кому-нибудь такую честь — первыми принести в Домреми великую весть об *отмене податей навечно* и услышать, как зазвонят колокола и восторженно закричит народ? Нет уж, такой случай они не упустят. Патэ, Орлеан, коронация — они понимали, что все это, конечно, очень важные события, но все же отдаленные, а вот отмена податей — это и важно, и весьма к ним близко.

Вы думаете, они спали, когда я пришел? Ничуть не бывало. Все были заметно под хмельком. Паладин красноречиво описывал свои подвиги, а старики аплодировали так усердно, что дрожал дом. Он как раз рассказывал о Патэ и, наклонясь мощным телом вперед, чертил на полу огромным мечом, объясняя, как передвигались войска; а старики, упершись руками в расставленные колени, следили за ним восхищенными глазами и по временам издавали возгласы восторга и удивления:

— Так вот, мы стоим и ждем не дождемся команды; кони под нами пляшут и храпят от нетерпения, а мы натягиваем поводья так, что чуть не валимся навзничь. Наконец слышим: «*Вперед!*» — и пускаем коней.

Да как пускаем! Это было нечто невиданное! Где мы проносились, там англичане валились рядами, как подкошенные, от одного только вихря нашей скачки. Мы врезались в главный отряд Фастольфа как ураган, не замедляя хода, и оставили позади себя длинную межу из мертвых тел. Вперед! вперед! Там, впереди, была наша *главная* добыча: Тальбот со своим войском, застилавшим горизонт, словно туча. Когда мы на них налетели, в воздухе потемнело от сухих листьев, взметенных нашим бешеным галопом. Еще миг — и мы столкнулись бы с ним, как сталкиваются на Млечном Пути планеты, вышибленные из своих орбит; но тут, к несчастью, меня узнали. Тальбот побледнел. «Спасайтесь! — крикнул он. — Это Знаменосец Жанны д'Арк». Он так всадил шпоры в коня, что пронзил ему

внутренности, и помчался, а за ним в ужасе бросилось все его несметное войско. Я клял себя за то, что не догадался переодеться в чужие доспехи. Я увидел упрек в глазах нашего главнокомандующего и устыдился. Ведь я, казалось, стал причиной непоправимого несчастья. Другой отъехал бы в сторонку и загоревал, видя, что беду ничем не поправить, но, слава богу, я не таков! Трудности действуют на меня как звук боевой трубы; они пробуждают все скрытые силы моего ума. Я мигом сообразил, что следует делать: еще миг — и я уже скакал прочь! Взял и исчез — как будто погасили свечу. Невидимый под защитой леса, я мчался словно на крыльях; никто не успел заметить, куда я скрылся, и не догадался о моих намерениях. Шли минуты, а я все скакал дальше и дальше — и наконец с победным кличем развернул свое знамя и выскочил *навстречу* Тальботу! Да, это была блестящая мысль. Поток обезумевших врагов завертелся и хлынул обратно, точно прилив, ударившийся о берег, — и победа была за нами! Несчастные оказались в ловушке, они были окружены со всех сторон; назад им не было хода — там была наша армия; вперед — тоже: там был я. Конечно, душа у них ушла в пятки, а руки опустились. Так они и стояли, а мы преспокойно перебили их всех до единого, — всех, кроме Тальбота и Фастольфа. Этих я взял живыми и унес под мышкой.

Да, Паладин был в тот вечер в ударе, ничего не скажешь. Какой слог! Какое благородство в движениях, какая величавость в позах, какой пыл — стоило ему разойтись как следует! С какой уверенностью вел он свое повествование; как умело выделял в нем особо значительные места, то повышая, то понижая голос; как искусно подготавливал эффекты; какую убедительную искренность придавал своему тону и жестам; как мощно загредел его голос в последний, завершающий момент, как ярко он описал свое появление со знаменем в руке перед бегущим вражеским войском! А сколько тонкого искусства было во второй части его последней фразы, брошенной небрежно и вскользь, точно рассказ уже окончен и он добавляет лишь мел-

кую, незначащую подробность, которую только что случайно вспомнил.

Стоило посмотреть на его простодушных слушателей! Они не помнили себя от восторга и так шумно выражали свое одобрение, что могли бы сорвать крышу или даже разбудить мертвых. Когда они немного поостыли и наступило молчание, прерываемое только сопеньем и пыхтеньем, старый Лаксар сказал восхищенно:

— Да ты, я вижу, один стоишь целого войска!

— Вот именно! — подхватил с живостью Ноэль Рэнгессон. — Перед ним все дрожит! И вы думаете, только здесь? Его имя вселяет ужас далеко за пределами страны — одно лишь его имя! Стоит ему нахмуриться — как все темнеет отсюда и до самого Рима, и куры садятся на насест на целый час раньше. Говорят даже...

— Гляди, Ноэль Рэнгессон, ты дождешься беды! Я тебе сейчас скажу словечко, и если ты желаешь себе добра...

Я увидел, что началась обычная перебранка. А когда она кончится, никто не мог бы сказать. Я поспешил передать поручение Жанны и отправился спать.

Утром Жанна простилась со стариками, обнимая их со слезами, на глазах многочисленных сочувствующих зрителей; и они гордо поехали на своих драгоценных лошадях, увозя домой великую весть. Должен сказать, что я видывал куда более ловких наездников, — для этих искусство верховой езды было еще новым.

Авангард двинулся на рассвете, с музыкой и развернутыми знаменами; второй отряд выступил в восемь часов. Тут прибыли бургундские послы, и мы потеряли остаток этого дня и весь следующий. Однако Жанна недаром была с нами: послам пришлось уехать ни с чем. Мы выступили на следующее утро — 20 июля. Но сколько же мы проехали за день? Всего шесть лье. Ла Тремуйль снова подчинил себе безвольного короля. Король остановился в Сен-Маркуле и молился там три дня. Для нас — потеря драгоценного времени, для Бедфорда — выигрыш времени. Уж он-то сумеет им воспользоваться!

Без короля мы не могли ехать дальше; это значило

бы оставить его среди изменников. Жанна убеждала, доказывала, умоляла — и мы наконец снова двинулись в путь.

Предсказание Жанны сбылось. Это был не поход, а увеселительная прогулка. Наш путь пролегал мимо английских укреплений, но их гарнизоны сдавались нам без боя. Мы оставляли там французские гарнизоны и шли дальше. Тем временем Бедфорд выступил против нас с новым войском, и 25 июля противники сошлись и стали готовиться к бою, но Бедфорд благоразумно передумал: он повернул и стал отступать к Парижу. Вот когда нам надо было действовать! Солдаты были полны воодушевления.

Поверите ли? Король — эта жалкая тряпка! — дал своим негодным советникам уговорить себя вернуться в Жиен, откуда мы в свое время выехали в Реймс на коронацию. Мы повернули назад. Двухнедельное перемирие с герцогом Бургундским было только что заключено, и нам предлагалось ждать в Жиене, пока он сдаст нам Париж без боя.

Мы дошли до Брэ, и тут король опять передумал и повернул к Парижу. Жанна послала письмо жителям Реймса, призывая их не падать духом, несмотря на перемирие, и обещая стоять за них. Она сама сообщила им, что король заключил перемирие, и написала об этом со своей обычной прямоотой. Она писала, что была против перемирия и не обязана его соблюдать, а если и будет соблюдать, то единственно потому, что щадит королевскую честь. Эти знаменитые слова известны теперь каждому французскому ребенку. Как просто-душно они звучат!

«De cette trêve qui a été faite, je ne suis pas contente, et je ne sais si je la tiendrai. Si je la tiens, ce sera seulement pour garder l'honneur du roi».

Вместе с тем она не хотела допустить, чтобы король был обманут, и решила держать армию наготове, когда истечет срок перемирия.

Бедное дитя! Легко ли сражаться одновременно с Англией, Бургундией и французскими предателями! С первыми она справилась бы, но предательство...

С ним никто не в силах справиться, когда сама жертва его так слаба и податлива. Жанна терзалась всеми этими бесконечными помехами, задержками и проводочками. Она тосковала и временами готова была плакать. Однажды, беседуя со своим верным другом и соратником Дюнуа, она сказала:

— Ах, если бы богу угодно было освободить меня от стальных доспехов и отпустить к родителям — опять пасти овец с сестрой и братьями, — они так обрадовались бы мне!

12 августа мы стояли близ Даммартена. Вечером произошла стычка с арьергардом Бедфорда, и мы надеялись утром дать ему настоящий бой, но еще ночью Бедфорд со всем войском ушел к Парижу.

Король Карл послал герольдов, и город Бовэ сдался. Епископ Пьер Кошон, верный друг и раб англичан, не мог этому помешать, как ни старался. Он был тогда безвестен; а теперь имя его обошло весь свет и заслужило вечное проклятие французов. Дайте и я плюну мысленно на его могилу.

Компъен тоже сдался и спустил английский флаг. Четырнадцатого числа мы стали лагерем в двух лье от Сенлиса. Бедфорд повернул, приблизился к нам и занял хорошо укрепленные позиции. Мы двинулись на него, но все попытки выманить его из-за укреплений были тщетны, хоть он и обещал сразиться с нами в открытом поле. Настала ночь. Ладно, утром мы ему покажем! Но утром он снова исчез.

18 августа мы вступили в Компъень, прогнали английский гарнизон и водрузили там свой флаг.

23 августа Жанна приказала идти на Париж. Королю и его присным это было не по душе, и они угрюмо засели в Сенлисе, который только что сдался. В следующие несколько дней сдалось еще много крепостей: Крейль, Пон-Сен-Максанс, Шуази, Гурнэ-сюр-Аронд, Реми, Ла Нефвиль-ан-Эц, Могэ, Шантильи, Сентин. Английская власть трещала по всем швам! А король все еще не одобрял наших действий и боялся похода на столицу.

26 августа 1429 года Жанна стала лагерем в Сен-Дени, почти под стенами Парижа.

А король все еще колебался и опасался. О, если бы он был с нами и поддержал нас своим именем! Бедфорд уже пал духом и решил не сопротивляться, а лучше собрать все войска в самой надежной своей провинции — Нормандии. Если бы мы сумели убедить короля идти с нами и помочь нам своим присутствием в этот решающий час!

Г л а в а X L

ЖАННА ПОБЕЖДЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ

Мы слали к королю одного гонца за другим, и он обещал приехать, но все не ехал. К нему отправился герцог Алансонский, и король подтвердил свое обещание, — и снова его нарушил. Так было потеряно девять дней. Наконец 7 сентября он прибыл в Сен-Дени.

Между тем противник снова набрался смелости. При такой нерешительности короля иначе и не могло быть. Теперь город был подготовлен к обороне. Положение стало для нас менее благоприятным, но Жанна и ее военачальники все же считали, что успех обеспечен. Атака была назначена на восемь часов утра следующего дня и началась точно в этот час.

Жанна разместила пушки и стала обстреливать мощный редут, защищавший ворота Сент-Онорэ. В полдень, когда он был уже порядком разрушен, командовали штурм — и редут был взят. Мы подошли ближе, чтобы штурмовать самые ворота, и несколько раз бросались на них. Жанна со знаменем была впереди всех; нас окутывал удушливый дым и осыпало градом снарядов.

Во время одного такого приступа, который наверняка снес бы ворота и доставил нам победу над Парижем, а значит, и всей Францией, Жанна была ранена стрелой из лука, и наши солдаты тотчас пали духом и отступили. Что они могли без нее? Она была душою всей армии.

Даже раненая, она не хотела уходить с поля боя и требовала нового штурма, уверяя, что он непременно

будет успешным. «Я возьму Париж сегодня или умру!» — добавляла она, и в глазах ее загорался боевой огонь. Пришлось унести ее силой, — это сделали Гокур и герцог Алансонский.

Боевой дух был в ней силен, как никогда. Она была полна воодушевления. Она приказала, чтобы наутро ее принесли к воротам, и Париж будет нами взят в полчася. Так она и сделала бы, в этом нет сомнения. Но она позабыла об одном — о том, что король был только тенью Ла Тремуйля. Король не разрешил ей этой попытки!

Оказывается, от герцога Бургундского как раз прибыли новые послы, и для видимости начались какие-то новые переговоры.

Надо ли говорить, как жестоко страдала Жанна? Боль в ране и боль в душе всю ночь не дали ей уснуть. Часовые несколько раз слышали из ее комнаты в Сен-Дени глухие рыдания и горестные слова: «Его можно было взять! Можно было взять!», которые она непрерывно повторяла.

День спустя она через силу поднялась с постели, окрыленная новой надеждой. Герцог Алансонский навел мост через Сену около Сен-Дени. Нельзя ли ей переправиться по этому мосту и атаковать Париж с другой стороны? Но король прознал об этом и велел разрушить мост! Более того, он объявил, что кампания окончена! И это еще не все: он заключил новое, и на этот раз длительное, перемирие и обязался не трогать Парижа и вернуться на Луару.

Ни разу не побежденная врагом, Жанна д'Арк потерпела поражение от своего короля. Она сказала однажды, что боится одного только — предательства. И вот оно нанесло ей первый удар. Она повесила свои белые доспехи в королевской часовне в Сен-Дени и пошла просить короля освободить ее от командования и отпустить домой. Это было мудро, как все, что она делала. Пора крупных военных действий и больших замыслов миновала; по окончании перемирия предстояли, по-видимому, лишь отдельные случайные стычки. Тут не требовался военный гений, достаточно было и второстепенных военачальников. Но король не хотел ее отпускать. Перемирие не касалось всей страны; остава-

лись еще французские крепости, которые надо было защищать, — и Жанна будет ему нужна. Дело в том, что Ла Тремуйль хотел иметь ее под рукой, чтобы удобнее было следить за ней и не давать ей ничего предпринять.

Тут она снова услышала Голоса. Они говорили: *«Оставайся в Сен-Дени»*, — и больше ничего. Они не объясняли почему. Это был глас божий, ему надлежало повиноваться прежде всего, — и Жанна решила остаться. Но это испугало Ла Тремуйля. Она была слишком большой силой, чтобы предоставить ее самой себе, — она могла расстроить все его планы. Он уговорил короля применить силу. Жанне пришлось подчиниться — она была ранена и беспомощна. Впоследствии, на суде, она говорила, что ее увезли против ее воли и что это никому не удалось бы, если бы она не была ранена. Да, могучий дух жил в этой хрупкой девочке — он мог сопротивляться всем земным владыкам. Мы никогда не узнаем, почему ее Голоса велели ей оставаться, — мы знаем только, что, если бы она смогла выполнить их веление, история Франции сложилась бы совсем иначе, чем она теперь записана в книгах. В этом мы убеждены твердо.

13 сентября приунывшая армия повернула к Луаре и ушла даже без музыки! Эту подробность вы сразу замечали. Настоящее похоронное шествие — вот что это было. Долгое, томительное шествие — и ни одного слова привета. Друзья провожали нас со слезами, враги — со смехом. Наконец мы добрались до Жиена, откуда меньше трех месяцев назад торжественно выступили на Реймс — с развернутыми знаменами, под звуки оркестров, еще разгоряченные победой при Патэ; и народные толпы громко славили и благословляли нас. А сейчас лил нудный дождь, день был хмурый, небеса плакали, встречающих было мало, да и те встречали нас молчанием, жалостью и слезами.

Король распустил свою великолепную армию — армию героев; она свернула знамена и спрятала оружие, — позор Франции был довершен. Ла Тремуйль оказался победителем, а непобедимая Жанна д'Арк — побежденной.

ДЕВА НЕ ПОЙДЕТ БОЛЬШЕ В БОЙ

Да, так оно и было: Жанна уже держала в руках Париж и всю Францию, она уже наступила на горло Столетней войне, а король принудил ее разжать руки и убрать ногу.

После этого мы восемь месяцев кочевали из города в город, из замка в замок — вместе с королем, его советниками и всем его веселым, пестрым двором, занятым танцами, любовью, соколиной охотой, серенадами и всякими забавами. Нам эта жизнь нравилась, но Жанне — нет. Впрочем, она в ней и не участвовала, а только наблюдала. Король искренне хотел, чтобы ей было хорошо, и проявлял о ней постоянную и нежную заботу. Все остальные были подчинены стеснительным требованиям этикета — одна только Жанна была от него свободна. Ей надо было раз в день явиться к королю и обменяться с ним двумя-тремя учтивыми словами, — больше от нее ничего не требовалось. Она всех сторонилась и целыми днями тосковала одна в своих покоях, развлекаясь только созданием новых, отныне несбыточных, военных планов и комбинаций. Она мысленно передвигала войска туда или сюда, рассчитывая расстояние, время и характер местности так, чтобы они встретились для боя в заданном месте, в заданный день и час. Эта игра была единственным, что облегчало ей тоску и тягостное бездействие. Она играла в нее часами, как другие играют в шахматы; погружаясь в нее, она отдыхала душой и сердцем.

Она не жаловалась. Это было не в ее натуре. Такие, как она, страдают безмолвно. Но она томилась, словно пленная орлица, тоскующая о вольном воздухе, о горных вершинах и веселом единоборстве с бурей.

По всей Франции бродили шайки отпущенных солдат, готовых на любое дело, какое подвернется. Несколько раз, когда Жанна начинала особенно тяготиться своим пленом, ей разрешали набрать конный отряд и отвести душу — сделать набег на неприятеля. Это приносило ей облегчение.

Однажды, при Сен-Пьер-ле-Мутье, нам даже вспомнилось бывшее — с такой веселой отвагой она вела нас на приступ, отходила и снова упорно наступала. Наконец вражеский обстрел до того усилился, что старый д'Олон, сам раненный, скомандовал отступление (король сказал ему, что он головой отвечает за безопасность Жанны); он думал, что все повернули за ним — но не тут-то было! Оглянувшись, он увидел, что свита Жанны продолжает сражаться; тогда он вернулся и стал убеждать Жанну отступить, говоря, что сражаться с такой горсточкой солдат — безумие. Ее глаза весело заблестели, и она крикнула:

— Горсточка? Боже правый! Да у меня их пятьдесят тысяч, и я не уйду отсюда, пока не возьму укрепления. Трубите атаку!

Он повиновался. Мы одолели стену, и крепость была взята. Старый д'Олон подумал, что она заговаривается, но она хотела сказать, что чувствует в себе силу пятидесяти тысяч. Это было причудливое выражение, но, в сущности, вернее не скажешь.

Было еще дело при Ланьи, где мы четыре раза ходили в атаку открытым полем на окопавшихся бургундцев и наконец разбили их; самой ценной добычей на этот раз был Франке из Арраса — свирепый грабитель, державший в страхе всю округу.

Таких сражений было несколько, а в конце мая 1430 года мы оказались около Компьена, и Жанна решила идти на выручку городу, осажденному герцогом Бургундским.

Незадолго перед тем я был ранен и не мог сидеть в седле без поддержки, но наш славный Карлик посадил меня на круп своего коня, и, держась за него, я сидел достаточно прочно. Мы выехали в полночь, под теплым дождем, и ехали тихо и осторожно, в полном молчании, потому что надо было пробраться через неприятельские линии. Нас окликнули всего один раз, мы не ответили; затаив дыхание, медленно двинулись дальше и благополучно миновали опасность. В четвертом часу утра мы приехали в Компьен, как раз когда на востоке занялась тусклая зоря.

Жанна тотчас взялась за дело и вместе с Гийомом де Флави, комендантом города, составила план вылазки против врага, который расположился тремя отрядами на равнине, по ту сторону Уазы; вылазку назначили на вечер. Одни из городских ворот на нашей стороне сообщались с мостом. Другой конец моста был защищен так называемым больверком; тот же больверк господствовал и над дорогой, которая шла от него по насыпи к деревне Марги. Здесь стояли бургундцы; другой их отряд занимал Клеруа, в двух милях *выше* насыпной дороги; а деревня Венетта, в полутора милях *ниже* ее, была занята англичанами. Получалось, как видите, нечто подобное луку с натянутой тетивой: стрелой была дорога, на оперенном конце ее находился больверк, на острие — Марги; Венетта была на одном конце лука, Клеруа — на другом.

Жанна хотела идти прямо по насыпной дороге на Марги, взять эту деревню приступом, сразу же повернуть направо — на Клеруа, взять и его, а там перестроиться и приготовиться к самому трудному, потому что за Клеруа стоял герцог Бургундский с резервами. Помощник коменданта Флави с лучниками и пушкарями с больверка должен был сдерживать английские войска, чтобы они не захватили дорогу и не отрезали Жанне отступление, если бы оно оказалось необходимым. На тот же случай, если придется отступать, у больверка поместили флотилию крытых лодок.

Это было 24 мая. В четыре часа пополудни Жанна выступила во главе конницы в шестьсот человек. Это был ее последний поход.

Мне больно вспоминать о нем. Меня принесли на стену, и оттуда мне было многое видно, а остальное мне рассказали потом наши рыцари и другие очевидцы. Жанна переправилась по мосту, миновала больверк и поехала по насыпи впереди своих конников. Поверх доспехов она надела блестящий плащ, шитый серебром и золотом, и было видно, как он трепетал и развевался, точно белое пламя.

День был ясный, и равнина была видна далеко вперед. Скоро мы увидели англичан: они подходили быстро, в образцовом порядке, и солнце сверкало на их оружии.

Жанна атаковала бургундцев в Марги и была отброшена. Тут она увидела, что от Клеруа подходят еще бургундские части. Она собрала своих солдат, снова повела их в атаку и снова была отброшена. Эти две атаки заняли немало времени, а время было дорого. Англичане уже подходили к дороге со стороны Венетты, но с больверка по ним открыли огонь, и это их задержало. Жанна вдохновенными словами ободрила солдат, и они снова дружно пошли за ней в атаку. На этот раз она взяла Марги под крики «ура». Тогда она немедленно повернула направо, на равнину, и ударила по отряду, который только что подошел из Клеруа. Завязался жаркий бой, противники поочередно отбрасывали друг друга назад, и победа склонялась то на одну, то на другую сторону. Но вдруг в наших рядах произошло смятение. Причину его впоследствии объясняли различно. Кто говорит, будто передние ряды, услышав пальбу, решили, что англичане отрезали нам отступление; а кто говорит, что в задних рядах пронесся слух о гибели Жанны. Как бы то ни было, наше войско в беспорядке бросилось к насыпной дороге. Жанна пыталась образумить и остановить их, она кричала им, что победа близка, — но все было тщетно: мимо нее, обтекая ее с обеих сторон, мчался неудержимый людской поток. Старик д'Олон умолял ее отступить, пока еще можно спастись, но она отказывалась; тогда он схватил ее коня под уздцы и силой увлек за собою. Обезумевшие люди и кони помчались по насыпи; обстрел ее, разумеется, пришлось прекратить, а это позволило англичанам соединиться с бургундцами и окружить нас; первые оказались впереди, вторые сомкнулись позади своей добычи. Французов неудержимо оттесняли к больверку, и там, в углу между боковой стеной больверка и скатом дорожной насыпи, они отважно оборонялись без надежды на победу и погибли все до единого.

Флави, увидя это с городских стен, велел запереть ворота и поднять мост. Жанна оказалась отрезанной от города.

Маленький отряд ее телохранителей быстро таял. Сперва были ранены оба наших славных рыцаря, потом

братья Жанны, потом Ноэль Рэнгессон, — все они были ранены, стараясь оградить Жанну от опасности. Остались только Карлик и Паладин, но эти держались долго, несокрушимые, точно две железные башни, обрызганные кровью; где опускался топор одного и меч другого, там падал сраженный враг. Так, верные своему долгу до конца, с честью пали они оба — добрые, простые души! Мир памяти их! Они были мне очень дороги.

Враги испустили громкий крик торжества. Жанна все еще оборонялась мечом, но ее схватили за плащ и стащили с лошади. Ее унесли пленницей в лагерь герцога Бургундского, и победители поспешили туда с криками радости.

Страшная весть быстро передавалась из уст в уста, всюду поражая людей, точно параличом; и все твердили, как в бреду: «Орлеанская Дева в плену!», «Жанна д'Арк в плену!», «Франция потеряла свою спасительницу!» — и повторяли это снова и снова, точно не могли понять, бедняги, как это могло случиться и как допустил бог!

Приходилось ли вам видеть город, завешанный траурными полотнищами с крыш до самой мостовой? Так выглядел Тур и некоторые другие города. Но кто сумеет описать, какое горе наполнило сердца французских крестьян? Никто! Быть может, они и сами не сумели бы этого — они были непривычны выражать свои чувства, — но скорбь их была глубока. Душа целого народа оделась в траур.

24 мая. Давайте опустим завесу над самой удивительной, самой волнующей военной драмой, когда-либо разыгранной на мировой сцене. Жанна д'Арк никогда больше не выступит в поход.

СУД И МУЧЕНИЧЕСТВО

Глава I

ДЕВА В ЦЕПЯХ

Я не в силах подробно останавливаться на позорной истории лета и зимы, последовавших за пленением Жанны. Сперва я не очень горевал, ибо ежедневно ждал, что за Жанну потребуют выкуп и король — нет, не король, а вся благодарная Франция — поспешит внести его. По законам войны, она имела право на выкуп. Она не была мятежником, она состояла на военной службе, была поставлена во главе войска самим королем и не повинна ни в одном преступлении, упомянутом в военном кодексе. Поэтому никто не имел права держать ее в плену, если б за нее предложили выкуп.

Но дни шли за днями, а выкупа никто не предлагал! Это может показаться невероятным, но так оно было. Быть может, змея Тремуйль что-нибудь нашептывал королю?.. Как бы то ни было, король молчал, ничего не предлагал и ничего не предпринимал для освобождения несчастной девушки, которая так много для него сделала.

А во вражеском стане, к несчастью, проявили большую расторопность. Весть о пленении Жанны на другой же день достигла Парижа. и англичане и бургундцы весь день и всю ночь выражали свой восторг оглушительным звоном колоколов и благодарственным громом пушек; а затем главный викарий инквизиции

в послании к герцогу Бургундскому потребовал выдать пленницу церковным властям, чтобы судить ее как еретичку.

Англичане поняли, что надо делать; по сути дела действовали именно они, а не Церковь. Церковью они воспользовались как ширмой — и имели на то важные причины. Церковь могла не только отнять у Жанны д'Арк жизнь, но и подорвать ее влияние, волшебную силу ее имени; тогда как англичане могли только казнить ее тело, — а это не уменьшило бы обаяния ее имени, напротив — сохранило бы его навеки. Жанна д'Арк была единственной силой во Франции, которой англичане опасались; единственной силой, с которой они считались. Если бы Церкви удалось осудить ее на казнь или объявить вероотступницей, еретичкой и колдуньей и доказать, что она послана не богом, а сатаной, английское владычество легко было бы восстановить.

Герцог Бургундский все это выслушал, но выжидал. Он был уверен, что французский король или французский народ предложит ему более высокую цену, чем англичане. Он поместил Жанну в крепость, под сильной охраной, и выжидал несколько недель. В нем, как-никак, текла французская кровь, и ему в глубине души было совестно продавать ее англичанам. Но сколько он ни ждал, французы ничего не предложили.

Однажды Жанна ловко провела тюремщика и не только выскользнула из темницы, но и заперла его вместо себя. Однако она была замечена часовым, ее поймали и снова водворили в крепость.

Потом ее перевезли в замок Бореуар, укрепленный еще сильнее. Это было в начале августа; шел третий месяц ее плена. Там ее заперли в башне высотой в шестьдесят футов, и она томила еще три с половиной месяца. И все эти мучительные пять месяцев она знала, что англичане, прикрываясь именем Церкви, торгуются из-за нее, точно за лошадь или рабыню, а Франция молчит — молчит король, молчат все ее друзья. Поистине, это было ужасно!

И все же, когда Жанна услышала, что Компьен осажден и вскоре будет взят, а враг грозит истребить

всех жителей до последнего, вплоть до семилетних детей, она загорелась желанием помочь им. Она разорвала свои простыни на длинные полосы, связала их вместе и по этой непрочной веревке спустилась ночью из окна; но веревка оборвалась, она упала, сильно расшиблась и три дня пролежала без сознания и все это время не пила и не ела.

На помощь Компьену подошли подкрепления под командой графа Вандомского, город отстояли, и осада была снята. Это было большой бедой для герцога Бургундского. Он нуждался в деньгах. Теперь было самое подходящее время предложить ему выкуп за Жанну. Англичане тотчас снарядили к нему французского епископа — Пьера Кошона из Бовэ, — да будет он проклят вовеки! В случае успеха ему туманно пообещали архиепископский престол в Руане, который был тогда вакантным. Он потребовал, чтобы его назначили председателем на духовном суде, потому что Жанну захватили на территории его епархии.

По обычаям тогдашних войн, выкуп за принца крови составлял 10 000 ливров золотом, или 61 125 франков, — как видите, вполне определенная сумма. И когда выкуп предлагался, его нельзя было отвергать.

Кошон привез от англичан как раз эту сумму, — за бедную крестьянскую девушку из Домреми дали королевский выкуп. Это показывает, во сколько ценили ее силу англичане. Выкуп был принят. За эту сумму была продана Жанна д'Арк, Освободительница Франции, — продана своим врагам, врагам ее родины, которые истязали, топтали, терзали и разоряли Францию целых сто лет, превратив это глумление в забаву; врагам, которые давно позабыли, как выглядит француз в лицо, — до того они привыкли видеть только его спину; врагам, которым она дала отпор, которых укротила, которых научила уважать французскую доблесть, воскрешенную ее великим примером; врагам, жаждавшим уничтожить ее как единственную преграду на пути к полному торжеству англичан и полному унижению французов. Продана французским принцем французскому попу, — а неблагодарный французский король и французский народ видели это и безмолвствовали.

А что же она сама? Она тоже молчала. Ни одного слова упрека не сорвалось с ее уст. Она была выше этого, она была Жанной д'Арк, а этим все сказано.

Ее воинская репутация была безупречна. По этой статье ее не в чем было обвинить, надо было найти другую придирку. И ее нашли: Жанну решили судить церковным судом за преступления против веры. Если их не было, надо было их придумать; об этом постарался злодей Кошон.

Местом суда выбрали Руан. Он находился в самом центре английской территории. Его жители так долго прожили под английским владычеством, что вряд ли могли считаться французами, разве только по языку. В городе стоял сильный английский гарнизон. Жанна была доставлена туда в конце декабря 1430 года и брошена в темницу. Да, и закована в цепи... — она, воплощенное свободолюбие!

А Франция все еще бездействовала. Чем можно объяснить это? Мне кажется, только одним. Вспомним, что, когда с ними не было Жанны, французы ни на что не отваживались; под ее водительством они сокрушали все — пока видели впереди ее знамя или ее белые доспехи; всякий раз, когда она бывала ранена или разносился слух о ее гибели — как это случилось в Компье, — они приходили в смятение и разбегались, словно стадо овец. Я заключаю из этого, что они еще не перебороли в себе страха, порожденного бесконечными поражениями, а также недоверия друг к другу и к своим вождям — следствие долгого и горького опыта во всякого рода предательствах; ибо их короли поступали вероломно со своими вассалами и полководцами, а те, в свою очередь, предавали главу государства и друг друга. Солдаты увидели, что они могут всецело положиться на Жанну, но только на нее одну. Потеряв ее, они потеряли все. Она была солнцем, которое растопило замерзший поток и заставило его бурлить. Солнце зашло, и поток снова затянуло льдом; войско и вся Франция снова стали тем, чем были раньше, — трупами, неспособными мыслить, надеяться, желать и действовать.

ЖАННА ПРОДАНА АНГЛИЧАНАМ

До начала октября я не мог оправиться от своей раны. Когда похолодало, силы мои стали восстанавливаться. Все это время носились слухи, что король намерен выкупить Жанну. Я верил им: ведь я был молод и еще не познал низость и гнусность жалкого рода человеческого, который так доволен собой и мнит себя выше и лучше других живых существ.

В октябре я уже настолько оправился, что участвовал в двух вылазках и во второй из них, 23-го числа, был снова ранен. Меня, как видите, преследовала неудача. В ночь на 25-е осаждающие снялись с места и в суматохе упустили одного пленного, который благополучно добрался до Компьена и, прихрамывая, вошел в мою комнату, бледный и жалкий.

— Как?! Ноэль Рэнгессон? Ты жив?

Да, это был он. Наша встреча была радостной, как вы можете себе представить, но вместе с тем и грустной. Мы не решались произнести имя Жанны: голос нам не повиновался бы. Мы знали, кого имеем в виду, говоря: «она» и «ее», но имени не называли.

Мы вспомнили товарищей. Старик д'Олон, раненный и взятый в плен, находился при Жанне и, с разрешения герцога Бургундского, продолжал служить ей. К Жанне относились со всем уважением, подобающим ее рангу главнокомандующего и положению военнопленного, захваченного в честном бою. Так было — как мы узнали позднее, — до тех пор, пока она не попала в руки исчадия сатаны — Пьера Кошона, епископа города Бовэ.

Ноэль с нежностью вспомнил и похвалил нашего дюжего и хвастливого Знаменосца, который теперь умолк навеки — покончил и с настоящими и с вымышленными сражениями, сделал свое дело и с честью кончил жизнь.

— Повезло же человеку! — воскликнул Ноэль со слезами на глазах. — Всегдашний, неизменный баловень фортуны! Она была верна ему с первых его ша-

гов, на бранном поле и всюду! Всюду он блистал, всюду вызывал восхищение и зависть; всегда ему представлялись случаи отличиться, и он их не упускал. Получил прозвище Паладина сначала в шутку, а потом и всерьез, — потому что оправдал это прозвище великолепными делами. И наконец — самая большая удача — погиб на поле брани, на боевом посту, со знаменем в руке! Погиб — подумай только! — на глазах у Жанны д'Арк. Осушил до дна чашу славы и упокоился навек, не ведая о позоре, который за этим последовал. Это ли не удача! А мы? За какие грехи мы еще живы, неужели и мы не заслужили почетной смерти?

Потом он сказал:

— Враги вырвали священное знамя из его мертвых рук и унесли его как самую драгоценную добычу после той, кому оно принадлежало. Но они недолго им владели. Месяц назад мы рискнули ради него жизнью: я и наши славные рыцари, мои товарищи по плену, похитили знамя и с верными людьми отправили в Орлеан; теперь оно будет храниться в городской сокровищнице.

Я был рад это слышать. Теперь я часто вижу его, когда езжу в Орлеан в день годовщины, 8 мая; с тех пор как не стало в живых братьев Жанны, я бываю в этот день почетным гостем города и участвую во всех банкетах и торжественных шествиях. Пройдет тысяча лет — а знамя все еще будет свято храниться французами, куда не истлеет последний его лоскут¹.

¹ Оно хранилось там 360 лет, но потом было сожжено на костре вместе с двумя мечами, шапочкой, украшенной пером, церемониальными одеждами и некоторыми другими реликвиями Орлеанской Девы. Это произошло во время революции. Сейчас не осталось ни одного предмета, которого касались руки Жанны д'Арк, кроме бережно хранимых документов с ее подписью; рукою ее при этом водил писец, быть может Луи де Конт. Существует также камень, с которого, по преданию, она однажды села на лошадь, отправляясь в сражение. Лет двадцать пять назад был еще цел волос с ее головы, — он прилип к воску печати, скреплявшей один государственный документ. Печать была варварски вырезана и похищена каким-то вандалом — собирателем редкостей. Вероятно, она цела до сих пор, но одному только вору известно, где она находится. (Прим. переводчика)

Спустя две или три недели после этого разговора мы услышали страшную весть, поразившую нас точно громом: Жанна д'Арк продана англичанам!

Такой мысли мы не допускали ни на минуту. Мы были молоды, вот в чем дело; как я уже говорил, мы еще не знали людей. Мы всегда так гордились своей родиной, мы были так уверены в ее благородстве, щедрости и умении помнить добро! От короля мы многого не ждали, но от Франции мы ждали всего. Было известно, что во многих городах священники-патриоты призывали жителей жертвовать деньги и имущество, чтобы купить свободу своей Освободительнице, посланной небесами. Мы не сомневались, что нужная сумма будет собрана.

А теперь все было кончено, все кончено! Горькое это было время для нас! Небо над нами потемнело, и вся радость ушла из наших сердец. Неужели у моего изголовья сидел тот самый весельчак Рэнгессон, которому жизнь казалась сплошной забавой и который чаще смеялся, чем дышал? *Того* Ноэля мне уже больше не пришлось видеть. Сердце его было разбито. Он стал печален и рассеян, и смех его иссяк, как пересохший родник.

Что ж, так было даже лучше. Это было под стать моему собственному настроению. Мы подходили друг к другу. Он терпеливо ухаживал за мной много недель, и наконец в январе я окреп настолько, что мог выходить. Тогда он спросил меня:

— Ну что ж, пора в путь?

— Да.

Мы поняли друг друга без объяснений. Сердца наши были в Руане, надо было и нам самим спешить туда. Та, что была нам дороже всего в жизни, томилась там в крепости. Мы не могли помочь ей, но хотели хотя бы быть к ней поближе, дышать с ней одним воздухом и смотреть на каменные стены, за которыми ее заперли. А если и нас запрут туда же? Что ж, мы сделаем все, что от нас зависит, — а там пусть решает судьба.

И мы отправились. Нас поразила перемена, происшедшая за это время во всем крае. Мы шли где хотели и куда хотели, и никто нас не останавливал. Пока

Жанна сражалась, англичане не знали покоя; теперь, когда ее устранили, у врагов совсем не осталось страха. Никто не боялся нас и не обращал на нас внимания, никто не любопытствовал, кто мы такие и зачем едем.

Мы сообразили, что можем добираться по Сене, не утомляя себя сухопутным путешествием. Так мы и сделали. Баржа доставила нас в Руан; за один лье до города мы сошли на берег — не на холмистой стороне, а на другой, там, где берег отлогий и ровный, как пол. В город никого не впускали и не выпускали без опроса: опасались, что будут попытки освободить Жанну.

Но у нас все вышло удачно. Мы остановились у пригородных крестьян и прожили у них неделю, помогая им в работе в благодарность за приют и стараясь подружиться с ними. Мы раздобыли и надели крестьянскую одежду. Когда нам удалось войти к ним в доверие, мы обнаружили, что в глубине души они — французы. Тогда мы решились открыться им во всем, и они охотно предложили нам свою помощь. План наш бы скоро готов и очень прост. Мы взялись помочь нашим хозяевам отогнать овец на городской рынок. Однажды, хмурым, дождливым утром, мы привели наш план в исполнение и благополучно миновали угрюмые городские ворота. У наших друзей были знакомые в городе, они жили над винной лавкой, в высоком доме причудливой архитектуры, на одной из узких улиц, ведущих от собора к реке. Здесь-то мы и приютились; а на другой день нам доставили туда нашу одежду и другое имущество. Приютившая нас семья Пьерронов была всецело предана Франции, и от них нам нечего было таиться.

Глава III

СЕТЬ СТЫГИВАЕТСЯ

Надо было как-то добывать пропитание себе и Ноэлю. Узнав, что я грамотен, Пьеррон поговорил со своим духовником, и тот доставил мне место при добром священнике по имени Маншон, который был

назначен главным протоколистом на предстоящем Великом Суде над Жанной д'Арк. Я оказался писцом у протоколиста: странное положение для меня — и опасное, если б обнаружились мои симпатии и моя прежняя должность. Но, в сущности, опасность была не так уж велика. Маншон в глубине души был расположен к Жанне и не выдал бы меня; фамилия тоже меня не выдавала — я отбросил ее и назвался просто по имени, как было принято у простолюдинов. Весь январь и февраль я постоянно находился при Маншоне и часто бывал с ним в крепости — в той самой, где была заключена Жанна, но в других помещениях и, конечно, не видел ее.

Маншон рассказал мне все, что произошло до моего прибытия. С тех пор как им продали Жанну, Кошон долго подбирал таких присяжных, которые вернее погубили бы ее; этим гнусным делом он был занят несколько недель. Парижский университет прислал ему нескольких ученых и надежных богословов желательного для него образа мыслей; кроме того, он сам набрал отовсюду единомышленников и сумел составить грозный трибунал, насчитывавший полсотни известных имен; имена были французские, но интересы и симпатии — всецело английские.

Из Парижа прибыл также важный чиновник инквизиции, потому что обвиняемую надлежало судить инквизиционным судом; но он оказался человеком смелым и справедливым; он прямо заявил, что суд неправомочен разбирать это дело, и отказался в нем участвовать. Так же честно высказались еще двое-трое.

Инквизитор был прав. Дело, возбужденное против Жанны, давно было разобрано и решено в ее пользу еще в Пуатье. Решено более высоким судом, чем этот, ибо во главе его стоял архиепископ Реймский, у которого Кошон был в подчинении. А теперь суд низшей инстанции нагло собирался пересматривать дело, уже решенное судом с большими полномочиями. Можете вы это себе представить? По закону, такое дело не могло рассматриваться вновь. По закону, Кошон не имел права председательствовать в суде, и по многим

причинам: Руан не входил в его епархию; Жанна не была взята по месту ее жительства — ведь она числилась жительницей Домреми; и, наконец, предполагаемый судья был ярым врагом обвиняемой и уже по одному этому не мог ее судить. Однако все эти серьезные препятствия были устранены. Руанский капитул, уступая давлению, выдал Кошону все полномочия; на инквизитора тоже оказали давление, и ему пришлось подчиниться.

Итак, малолетний английский король, через своего представителя, передал Жанну в руки этого суда, но с одной оговоркой: *если суд не признает ее виновной, король получит ее обратно!*

На что же могла надеяться покинутая, одинокая девочка? Одинокая во всем страшном значении этого слова. Она сидела в темнице, и дюжина грубых солдат днем и ночью находилась в комнате, где стояла ее клетка, — да, ее держали в железной клетке и приковали к постели за шею, за руки и за ноги. Возле нее не было ни одного знакомого лица, ни одной женщины. Это ли не одиночество, не беззащитность!

Жанна была взята в плен вассалом Жана Люксембургского; Жан-то и продал ее герцогу Бургундскому. У этого Жана Люксембургского хватило бесстыдства прийти посмотреть на Жанну в ее клетке. Он пришел с двумя английскими лордами — Варвиком и Стаффорд. Это было жалкое пресмыкающееся. Он обещал ей свободу, если она не станет больше сражаться против англичан. Она уже долго просидела в клетке, но дух ее не был сломлен. Она ответила с презрением:

— Боже правый! Ты смеешься надо мной! Ведь ты не хочешь, да и не можешь отпустить меня на свободу.

Он настаивал. Тогда в Жанне пробудилась воинская гордость; она подняла закованные руки, с грохотом уронила их и сказала.

— Гляди! Эти руки знают больше вашей. Я знаю, что англичане хотят меня убить. Они думают, что после моей смерти им будет легко завладеть Францией. Только не бывать этому! Пусть их будет хоть сто тысяч — и то не бывать!

Такой вызов привел Стаффорда в ярость: этот свободный и сильный мужчина выхватил кинжал и бросился на беспомощную, закованную девушку, чтоб заколоть ее. Но Варвик удержал его. Варвик был мудр. Лишить ее жизни таким способом? Отправить на небо незапятнанной и неопороченной? Чтобы Франция молилась на нее и, вдохновляясь ее именем, пошла в бой за освобождение? О нет, ее надо приберечь для иной участи!

Время, назначенное для суда, приближалось. Уже более двух месяцев Кошон старательно выкапывал отовсюду показания, подозрения и слухи, которые хоть как-нибудь могли быть использованы во вред Жанне, и тщательно уничтожал все, что было в ее пользу. В его руках были неограниченные возможности подготовить обвинение и всячески отяготить его; этими возможностями он не преминул воспользоваться.

А вот защиту для Жанны некому было подготовить. Запертая в каменных стенах, она ни к кому не могла обратиться за помощью. Она не могла вызвать ни одного свидетеля: все они были далеко и воевали под французским знаменем, а здесь был английский суд; покажись кто-нибудь из них у ворот Руана, он был бы немедленно схвачен и повешен. Заключение предстояло быть единственным свидетелем — и обвинения и защиты, — а смертный приговор был вынесен еще до того, как суд начал заседать.

Узнав, что в состав суда вошли одни лишь священники, приверженные англичанам, Жанна попросила, справедливости ради, добавить к ним такое же число священников французской партии. Кошон посмеялся над этой просьбой и не соблаговолил даже ответить.

По церковным законам, Жанна, как несовершеннолетняя, не достигшая двадцати одного года, имела право на защитника, который вел бы ее дело и указывал ей, как отвечать на вопросы, чтобы не попасть в ловушки, хитро расставляемые обвинителями. Вероятно, она не знала, что имела право требовать защитника, — ведь никто ей этого не объяснил. Но она об этом попросила. Кошон отказал. Она продолжала умолять, говорила, что она молода и незнакома с тонкостями за-

конов и с судебной процедурой. Кошон снова отказал: пусть сама ведет свое дело как сумеет. Да, у него было каменное сердце!

Кошон подготовил *procès-verbal*, попросту говоря — обвинительный акт. Это был подробный список предъявленных ей обвинений, на которых и должен был основываться суд. Обвинений? Нет — *подозрений и слухов*; именно так и было там сказано. Она подозревалась в ереси, колдовстве и тому подобных преступлениях против религии.

По церковным законам, такой процесс не мог быть начат, пока не выяснена вся история жизни и не установлена репутация обвиняемого; эти сведения должны обязательно приобщаться к делу. Если вы помните, именно с этого начал суд в Пуатье.

Теперь все это было проделано заново. В Домреми послали священника. Он тщательно выяснил по всей округе, какая молва шла о Жанне и каково ее прошлое, и составил себе весьма определенное мнение. Он доложил, что репутация Жанны была во всех отношениях такова, «что лучшей он не пожелал бы собственной сестре». Если помните, примерно то же самое было сказано и в Пуатье. Репутация Жанны выдерживала самое придирчивое расследование.

Вы скажете, что это было важным свидетельством в пользу Жанны. Да, *могло бы* быть, если бы было оглашено на суде. Но Кошон не дремал, и оно исчезло из обвинительного акта еще до начала суда. Никто не отважился справиться, куда оно девалось.

Казалось, что теперь Кошон мог смело начинать разбирательство. Но нет — он придумал еще одно средство погубить бедную Жанну, пожалуй самое страшное. В числе именитых богословов, выбранных и посланных Парижским университетом, был некто Николя Луазелер. Он был строен, красив, благообразен, пленял ласковой речью и мягким обхождением и казался неспособным на предательство или лицемерие, — однако таил в себе и то и другое. Его провели ночью к Жанне под видом сельского башмачника. Он назвался ее земляком, сказал, что в душе — патриот, и открыл свое духовное звание. Жанна очень обрадо-

валась пришельцу из милых ей родных краев; еще больше обрадовалась она тому, что он священник и что ей можно облегчить душу исповедью, — ведь церковные таинства были для нее насущным хлебом, дыханием жизни, а она так долго была их лишена. Она открыла этому негодяю свое невинное сердце, а он дал ей советы относительно предстоящего суда, которые наверняка погубили бы ее, если бы природный ум не побудил ее пренебречь ими.

Вы спросите: какая тут могла быть ловушка — ведь тайна исповеди священна и нерушима? Это верно; но разве не могло какое-нибудь третье лицо подслушать ее слова? А оно уже не обязано хранить тайну. Так и сделали. Кошон заранее велел просверлить дыру в стене, самолично приложил к ней ухо — и все услышал. Страшно подумать! Как могли они так поступать с несчастной девушкой? Она ведь не сделала им никакого зла.

Глава IV

ВСЕ ГОТОВЫ ОСУДИТЬ

Вечером, во вторник 20 февраля, когда я переписывал работу для своего патрона, он пришел очень опечаленный и сообщил, что суд начнется завтра, в восемь часов утра, и что я должен буду сопровождать его туда.

Я уже давно ждал этого известия, и все же оно сразило меня; я задохнулся и задрожал всем телом. Должно быть, я все время бессознательно надеялся, что в последнюю минуту что-нибудь помешает роковому суду: может быть, Ла Гир ворвется в город со своими удальцами или господь сжалятся и прострет над ней свою мощную десницу... Теперь надежды уже не оставалось.

Суд должен был заседать в крепостной часовне, и заседания будут открытые.

Я печально побрел домой и сказал Ноэлю, чтобы он приходил пораньше и занял место. Пусть снова уви-

дит черты, дорогие всем нам. По пути мне попадались ликующие английские солдаты и французские горожане, предавшиеся врагу. Все только и говорили, что о суде. Я много раз слышал слова, сопровождавшиеся безжалостным смехом: «Наконец-то толстый епископ добился своего! Говорят, он скорехонько расправится с нечестивой колдуньей!»

Однако на некоторых лицах я читал сочувствие и огорчение — и не всегда это были французы. Английские солдаты боялись Жанны, но восхищались ее подвигами и ее неукротимым духом.

На другой день мы с Маншоном пришли спозаранку, но огромная крепость уже была полна народу, и люди все прибывали. Часовня была полна, и туда уже не пускали посторонних лиц. Мы заняли предназначенные нам места. Председатель суда Кошон, епископ города Бовэ, в парадных одеждах, восседал на особом возвышении, а впереди него рядами сидели члены суда: пятьдесят именитых богословов, важных сановников Церкви; все это были люди весьма умные и ученые, опытные мастера казуистики, понаторевшие в искусстве ставить ловушки несведущим и неосторожным. Оглядев это сборище мастеров юридического фехтования, пришедших вынести заранее определенный приговор, я подумал, что Жанне придется одной отстаивать против них свое доброе имя и свою жизнь. Я спросил себя: что может сделать в столь неравной борьбе бедная, неученая деревенская девушка девятнадцати лет? — и сердце у меня упало. Когда я взглянул на тучного председателя, пыхтевшего на своем возвышении, сотрясая при каждом вздохе свой огромный живот; увидел его тройной подбородок, шишковатое и пятнистое багровое лицо, отвратительный нос, ноздреватый, как цветная капуста, и холодные, злобные глазки — истинное чудовище! — мне стало еще страшнее. А когда я заметил, что все боятся этого человека и беспокойно ежатся под его взглядом, у меня исчез последний слабый проблеск надежды.

В зале оставалось только одно незанятое место. Оно было у стены, на виду у всех. То была деревянная скамья без спинки, стоявшая отдельно, на чем-то вроде

помоста. По обе стороны ее стояли рослые стражники в шлемах, латах и стальных рукавицах, недвижные, как их собственные алебарды, — и больше никого. Я с волнением смотрел на эту скамью: я знал, для кого она предназначена; она напомнила мне суд в Пуатье, когда Жанна, сидя на такой же скамье, хладнокровно состязалась с изумленными докторами богословских и юридических наук и встала с нее победительницей, осыпаемая похвалами, и отправилась на подвиги, увенчавшие ее мировой славой.

Как хороша она была, как невинна, трогательна и прелестна в расцвете своих семнадцати лет! То были славные дни. Много ли времени прошло с тех пор — ей ведь и сейчас было всего девятнадцать, — а сколько она с тех пор повидала и сколько чудес успела свершить!

А теперь — теперь все было иначе. Почти девять месяцев она протомилась в темнице, не видя ни света, ни свежего воздуха, ни дружеских лиц, — она, дитя солнца, подруга птиц и всех счастливых, свободных созданий! Она измучена долгим заточением, и силы ее ослабели; она наверняка пала духом, понимая, что для нее нет надежды. Да, все было теперь иначе.

В зале слышался приглушенный говор, шелест одежд и шарканье ног, сливавшиеся в общий шум. И вдруг раздалось:

— Введите обвиняемую!

У меня захватило дух, и сердце застучало, как молот. А в зале наступила полная тишина. Всякий шум сразу прекратился. Ни звука — тишина стала тягостной и давила на нас. Все лица были обращены к дверям; большинство присутствующих поняло, что они сейчас воочию увидят ту, которая до сих пор была для них воплощенным чудом, именем, прогремевшим на весь мир.

Ничто не нарушало тишины. Но вот издали, по каменным коридорам, раздались шаги и лязг железа — это гремели цепи Жанны д'Арк, Освободительницы Франции!

Все передо мной поплыло и закружилось. Наконец-то и я понял, что я сейчас увижу.

ПЯТЬДЕСЯТ УЧЕНЫХ ПРОТИВ ОДНОГО НЕУЧЕНОГО

Клянусь честью, я не стану ни в чем искажать или приукрашивать события этого злополучного процесса. Я честно и подробно изложу факты так, как мы с Маншоном ежедневно заносили их в официальный протокол и как их можно прочесть в книгах. С одним только различием: обращаясь к вам, я буду комментировать и пояснять эти факты, чтобы вы лучше их поняли, и добавлю кое-какие подробности, интересные вам и мне, но не настолько значительные, чтобы попасть в протокол¹.

Продолжу свой рассказ с того места, где прервал его. Мы услышали в коридоре звон цепей — это вели Жанну.

Она появилась. По толпе пробежал трепет, и многие ахнули. В нескольких шагах позади нее шли два стражника. Голова ее была склонена; она двигалась медленно — она была слаба, а оковы тяжелы. Она была вся в черном с головы до ног. На ней была мужская одежда из мягкой шерстяной материи густого траурного черного цвета, без всякой отделки. На плечах и груди складками лежал большой воротник из той же черной материи; рукава короткой куртки были широкие сверху и до локтей, а внизу плотно облегали руку. Под курткой были узкие черные рейтузы, спускавшиеся до ее закованных щиколоток.

Не дойдя до скамьи, она остановилась — как раз там, где из окна падал косой луч света, — и медленно подняла голову. По залу снова прошел трепет. В лице ее не было ни кровинки; белое, как снег, оно резко выделялось над тоненькой фигуркой, облаченной в черное. Лицо было ясное, девическое, несказанно прекрасное, бесконечно печальное и кроткое. Но что это? Когда ее бесстрашный взор встретился с глазами судьи, поникшая фигурка воинственно и гордо выпрями-

¹ Он сдержал свое слово. Его рассказ о Великом Суде во всем соответствует фактам, дошедшим до нас под присягой. (Прим. переводчика.)

лась, — и сердце мое радостно дрогнуло. «Все хорошо, все хорошо, — сказал я себе, — они не сломили ее, не покорили, это прежняя Жанна д'Арк!» Мне стало ясно, что страшным судьям не удастся подчинить и устрани-ть ее высокий дух.

Она прошла на свое место, поднялась на возвыше-ние и села на скамью, подобрав цепи к себе на колени и сложив на них маленькие белые руки. Она пригото-вилась слушать со спокойным достоинством; казалось, что из всех присутствующих она одна не испытывает никакого волнения. Рослый загорелый английский сол-дат, стоявший в первом ряду, поднял огромную ру-чищу и почтительно отдал ей честь, а она с дружеской улыбкой ответила на его приветствие; это вызвало со-чувственные аплодисменты, которые судья прервал сер-дитым окриком.

Началась пытка, известная в истории под названи-ем — Великий Процесс. Пятьдесят искусных законове-дов против одной неопытной жертвы — и никого, кто бы ей помог!

Судья кратко изложил обстоятельства дела — слухи и подозрения, на которых основывалось обвинение. Затем он потребовал, чтобы Жанна преклонила колени и присягнула, что ответит на все вопросы точно и прав-диво.

Жанна была настороже. Она поняла, что за этим, по-видимости справедливым требованием могла скры-ваться опасность. Она ответила с той простотой, кото-рая столько раз обезоруживала ее искусных обвини-телей в Пуатье:

— Нет. Ведь я не знаю, о чем вы будете спраши-вать; может быть, о том, о чем я хотела бы умолчать.

Судьи пришли в ярость, раздались гневные воскли-цания. Это не смутило Жанну. Кошон возвысил голос, покрывая шум, но он был так взбешен, что едва мог говорить. Он сказал:

— С божьей помощью мы хотим разобрать это дело ради спасения твоей души. Клянись, положи руку на святое евангелие, что правдиво ответишь на все во-просы, какие будут заданы! — И он с силой ударил жирным кулаком по председательскому столу.

Жанна ответила спокойно:

— Я охотно отвечу на все, что касается отца или матери, или моей веры, или дел, которые я совершила во Франции; но про откровения, явленные мне господом, Голоса мои запретили мне говорить с кем бы то ни было, кроме моего короля...

Снова раздались гневные угрозы и поднялся сильный шум. Ей пришлось переждать, пока шум утихнет; ее восковое лицо зарумянилось, она выпрямилась, устремила пристальный взгляд на судью и dokonчила голосом, в котором звучали прежние ноты:

— ...и про это я ничего не скажу, хоть отрубите мне голову!

Вы, вероятно, знаете, как ведут себя французы в собраниях. Председатель и половина судей вскочили на ноги, грозя обвиняемой кулаками, и оглушительно закричали все разом, так что ничего нельзя было слышать. Это длилось несколько минут. Невозмутимость Жанны бесила их больше всего. Только раз она сказала с проблеском бывшего веселого озорства в глазах и движениях:

— Пожалуйста, не все сразу, милостивые господа, и я вам всем отвечу.

После трех часов яростных препирательств о присяге дело ничуть не продвинулось. Епископ продолжал требовать присяги без оговорок, а Жанна в двадцатый раз отказывалась присягать иначе, чем она предложила вначале. В судьях произошла заметная перемена: все они охрипли, утомились от долгого неистовства и даже как-то осунулись; только Жанна была по-прежнему безмятежна, и незаметно было, чтобы она устала.

Наконец шум утих, наступило выжидательное молчание. Судье пришлось уступить: он раздраженным тоном велел ей присягать по-своему. Жанна тотчас опустилась на колени; когда она возложила руки на евангелие, тот же английский солдат не удержался и воскликнул:

— Клянусь богом, будь она англичанкой, мы бы мигом вызволили ее отсюда!

Он отдавал ей должное, как один воин — другому. Но какой укор французам и их королю! Как жаль, что

Орлеан не слышал этих слов! Я уверен, что благодарный город, который обожал ее, поднялся бы и все жители до единого пошли на Руан. Есть слова, которые обжигают человека нестерпимым стыдом и так и остаются выжженными в его памяти. Так выжжены у меня в памяти слова английского солдата.

Когда Жанна дала присягу, Кошон спросил, как ее имя, где она родилась, в какой семье и сколько ей лет. На все это она ответила. Потом он спросил, чему она училась.

— Мать научила меня молитвам: «Отче наш», «Богородица» и «Верую». Всему, что я знаю, меня научила мать.

Эти ненужные вопросы длились еще довольно долго. Все устали, кроме Жанны. Судьи приготовились расходиться. Кошон пригрозил Жанне, что попытки к бегству будут считаться за доказательства ее виновности. Странная логика!

Она ответила просто:

— Я не считаю себя связанной этим запрещением. Я убежала бы, если бы могла, — тут я не давала никаких обещаний и не дам.

Потом она пожаловалась на тяжесть оков и просила снять их, потому что ее неусыпно стерегли и оковы были не нужны. Епископ отказал, напомнив, что она уже дважды пыталась бежать. Жанна д'Арк была слишком гордой, чтобы настаивать. Готовясь выйти вместе со стражей, она сказала только:

— Это правда, что я хотела бежать, и теперь хочу. — И добавила так жалобно, что тронула бы любого: — Ведь это право каждого узника.

И она ушла из зала среди общего безмолвия, в котором слышнее звенели ее ужасные цепи, надрывая мне сердце.

Какое необычайное присутствие духа! Ее невозможно было застать врасплох. Она увидела Ноэля и меня сразу, как только села на скамью, и мы вспыхнули от волнения, но ее лицо ничего не выразило и ничего не выдало. Десятки раз за этот день глаза ее останавливались на нас, но она ничем не показала, что

узнает нас. Другая вздрогнула бы при виде нас — и тогда нам пришлось бы плохо.

Мы медленно возвращались домой, погруженные в свою печаль и не обменявшись ни словом.

Глава VI

ДЕВА СТАВИТ В ТУПИК СВОИХ ПРОТИВНИКОВ

Вечером Маншон сообщил мне, что Кошон спрятал в амбразуре окна писцов, которые должны были извращать ответы Жанны. Неслыханная жестокость и неслыханное бесстыдство! Однако замысел не удался. У писцов была совесть: гнусное поручение возмутило их, и они честно записали все, как было. За это Кошон осыпал их проклятиями, прогнал и пригрозил утопить — его любимая, часто повторяемая угроза. Слух об этом разнесся, вызвал много нежелательных толков, и теперь Кошон вряд ли отважится на новую попытку. Я услышал это с удовольствием.

Придя в крепость на следующее утро, мы застали там перемены. Часовня не могла вместить всех. Заседания суда перенесли в просторное помещение, смежное с большим залом замка. Число судей увеличили до шестидесяти двух — и все против одной неграмотной девушки, которой неоткуда было ждать помощи.

Привели обвиняемую. Она была все так же бледна, но так же бодра, как и в первый день. Не удивительно ли? Накануне она пять часов просидела с цепями на коленях, на неудобной скамье, затравленная, запугиваемая всем этим зловещим синклитом, — и ни разу не освежилась даже глотком воды; никто ей этого не предложил. И если я сумел обрисовать ее вам, то вы догадаетесь, что сама она ничего не попросила. Ночь она провела в холодной клетке, обремененная цепями, но была по-прежнему спокойна, тверда и готова к борьбе; единственная среди собравшихся, она не выказывала после вчерашнего никаких признаков утомления. А ее глаза — ах, если б вы видели их, ваше

сердце разорвалось бы! Видали ли вы когда-нибудь, сколько затаенного огня, раненой гордости, непобежденной и непобедимой отваги в глазах пойманного орла, — не правда ли, вам становилось нестерпимо стыдно от его немого упрека? Таковы были ее глаза. Как много умели сказать эти чудесные глаза! Всегда и при любых обстоятельствах они красноречиво выражали все ее чувства со всеми их бесконечными оттенками. В них таились и щедрые лучи солнца, и задумчивые мирные сумерки, и опустошительные грозы. Не было в мире очей, подобных этим. Так кажется мне; и все, кто имел счастье их видеть, скажут то же самое.

Судебное заседание началось. С чего же оно началось — как вы думаете? С того же, что и первое: с тех же споров, которые уже были улажены накануне после стольких препирательств. Епископ начал так:

— Теперь ты должна дать присягу, без всяких оговорок, что ответишь правдиво на все вопросы.

Жанна сказала спокойно:

— Я уже давала присягу вчера, монсеньёр; этого достаточно.

Епископ стал настаивать, все больше раздражаясь. Жанна качала головой и молчала. Наконец она сказала:

— Я вчера присягала — этого довольно. — И добавила со вздохом: — Право же, вы чересчур притесняете меня.

Епископ продолжал настаивать, но ничего не мог поделать. Наконец он вынужден был отступить и поручил допрос старому мастеру на всякие коварные ловушки — доктору богословия Бопэру. Заметьте, как искусно этот хитрец задал свой первый вопрос — небрежно и словно между прочим; это хороший способ заставить человека врасплох.

— Дело обстоит очень просто, Жанна: ты должна откровенно отвечать на мои вопросы, ведь ты в этом клялась.

Но он потерпел неудачу. Жанна не дремала. Она разгадала его хитрость и сказала:

— Нет. Ты можешь спросить такое, на что я отвечать не могу и не стану. — Потом ей, должно быть, подумалось, как непристойны для служителей церкви

эти попытки проникнуть в то, что сам господь запечатлел печатью тайны, и она добавила предостерегающе: — Если вы все обо мне знаете, вам бы лучше не трогать меня. Все, что я делала, я делала по велению господя.

Бопэр переменял тактику и начал с другого конца. Он попробовал подкрасться к ней под прикрытием невинных и незначащих вопросов:

— Обучалась ли ты дома какому-нибудь ремеслу?

— Да, я умею шить и прясть. — И тут непобедимый воин, победительница при Патэ, та, что укротила льва Тальбота, освободила Орлеан, вернула королю корону и командовала армиями целой страны, гордо выпрямилась, тряхнула головой и сказала с наивным самодовольством: — В этом я могу поспорить с любой женщиной Руана.

Раздались шумные одобрения, — это понравилось Жанне, — и многие приветливо заулыбались ей. Но Кошон гневно приказал соблюдать тишину.

Бопэр задал еще несколько вопросов. А потом:

— Чем еще ты занималась дома?

— Я помогала матери по хозяйству и пасла коров и овец.

Голос ее слегка дрогнул, но это не было замечено. А я вспомнил минувшие счастливые дни и некоторое время не видел, что я пишу.

Бопэр продолжал осторожно подбираться к запретной теме и наконец повторил вопрос, на который она уже однажды отказалась отвечать, а именно: причащалась ли она в какие-либо праздники, кроме пасхи.

Жанна сказала только:

— *Passez outre*, — то есть «спрашивайте лучше о том, во что вам дозволено совать нос».

Я услышал, как один из судей сказал своему соседу:

— Допрашиваемые обычно тупеют, и их легко сбить с толку, запутать и запугать, но эту девочку не запугаешь и не застигнешь врасплох.

Но вот зал насторожился и стал слушать особенно жадно: Бопэр спрашивал о Голосах, возбуждавших общее любопытство. Он хотел вызвать Жанну на неосторожные ответы, которые показали бы, что Голоса

иной раз давали ей дурные советы, — а следовательно, исходили от дьявола, но не от бога. Если она имела дело с дьяволом — ей была прямая дорога на костер, а это и было нужно суду.

— Когда ты впервые услышала эти Голоса?

— Мне было тринадцать лет, когда я впервые услышала Голос. Он наставлял меня к праведной жизни. Я испугалась. Это было в полдень, летом, у нас в саду.

— Ты в тот день постилась?

— Да.

— А накануне?

— Нет.

— Откуда слышался Голос?

— Справа, со стороны церкви.

— А сияние при этом было?

— О да! Яркое сияние. И с тех пор как я приехала во Францию, мне тоже очень явственно слышались Голоса.

— Какой же это был Голос?

— Очень благозвучный, и я сразу подумала, что он от бога. Когда я услышала его в третий раз, я поняла, что это ангел.

— И ты понимала его?

— Без труда. Он всегда говорил внятно.

— Что же он советовал тебе для спасения души?

— Он велел мне жить праведно и не пропускать церковных служб. И еще говорил, что мне надо идти во Францию.

— А когда тебе являлось видение, какой оно принимало облик?

Жанна подозрительно взглянула на священника и ответила:

— Этого я не скажу.

— И часто ты слышала Голос?

— Да. Дважды, а то и трижды в неделю. Он повторял мне: «Покинь свой дом и ступай во Францию».

— А отцу известно было твое намерение?

— Нет. Голос говорил: «Ступай во Францию», и я не могла дольше оставаться дома.

— А что еще он тебе говорил?

— Что мне суждено снять осаду Орлеана.

— И это все?

— Нет. Он повелевал мне идти в Вокулёр, и там Робер де Бодрикур даст мне солдат, чтобы отправиться во Францию; а я отвечала, что я бедная девушка и не умею ни сидеть на коне, ни воевать.

Она рассказала, сколько препятствий встретила в Вокулёре и как наконец получила солдат и отправилась в путь.

— Как ты оделась в поход?

Суд в Пуатье особо разъяснил, что если бог поручил ей мужское дело, то и одежда ей подобала мужская, и никакого греха в том не было; но Руанский суд готов был пустить в ход против Жанны любое оружие, даже брошенное и признанное негодным. К вопросу об одежде он возвращался ещё не раз.

— Я оделась в мужскую одежду и опоясалась мечом, который мне дал Робер де Бодрикур, другого оружия у меня не было.

— Кто же посоветовал тебе надеть мужскую одежду?

Жанна опять почувяла недоброе. Она отказалась отвечать.

Вопрос повторили.

Она снова отказалась.

— Отвечай. Суд тебе приказывает.

— *Passez outre*, — вот все, что она сказала.

Бопэру пришлось временно отступить.

— Что говорил тебе Бодрикур, когда провожал тебя?

— Он взял с солдат обещание охранять меня, а мне сказал: «Поезжай, и будь что будет!» («*Adviennne que pourra!*»)

После множества других вопросов ее снова спросили про ее одежду. Она сказала, что носить мужскую одежду ей было необходимо.

— Так советовали тебе Голоса?

На это Жанна сказала спокойно:

— Голоса всегда давали мне хорошие советы.

Больше от нее ничего не сумели добиться; стали спрашивать о другом, в том числе о первой встрече с

королем в Шиноне. Она сказала, что узнала короля, которого никогда прежде не видела, благодаря указанию Голосов. Ее расспрашивали о всех подробностях этой встречи. И наконец:

— А теперь ты слышишь эти Голоса?

— Да, ежедневно.

— Чего ты просишь у них?

— Я никогда ничего не просила у них для себя, кроме спасения души.

— Итак, значит, Голос неизменно приказывал тебе быть при войске?

Это он опять подкрадывался к ней. Она отвечала:

— Он велел мне оставаться в Сен-Дени. Я повиновалась бы, если бы могла, но я была ранена, и рыцари увезли меня силой.

— Когда ты была ранена?

— Во рву перед Парижем, во время штурма.

Следующий вопрос показывает, куда клонил Бопэр:

— А это было не в праздник?

Понимаете? Они считали, что если Голос исходил с небес, то он едва ли посоветовал бы осквернить праздник кровопролитием.

Жанна на мгновение смутилась, потом ответила:

— Да, это было в праздник.

— Тогда отвечай: разве не грех, по-твоему, сражаться в такой день?

Этот выстрел мог бы пробить первую брешь в стене, которая до сих пор стояла несокрушимо. В зале наступила тишина, и видно было, что все напряженно ждут. Но Жанна разочаровала судей. Она сделала легкое движение рукой, точно отгоняла муху, и сказала пренебрежительно:

— *Passez outre.*

На многих суровых лицах заиграли улыбки, а некоторые даже откровенно рассмеялись. Западню готовили так долго и так старательно, и вот она захлопнулась, но — оказалась пуста!

На этом суд прервал заседание. Оно длилось много часов, и все крайне устали. Большую часть времени отняли, казалось бы, ненужные и бесцельные вопросы о Шиноне, об изгнанном герцоге Орлеанском, о пер-

вом послании Жанны к англичанам и тому подобном, но все эти по видимости случайные вопросы изобиловали скрытыми ловушками. Жанна благополучно избегала их все: одни — благодаря той особой удаче, которая сопутствует невинности и неведенню; иные — по счастливой случайности, а иные с помощью лучшего своего советчика: необыкновенно ясного и быстрого ума.

Эта ежедневная злобная травля одинокой, беззащитной девушки, закованной в цепи, длилась очень долго — свора догов и ищеек нашла себе достойную забаву: травить котенка. Я могу привести показания, данные под присягой, что именно так оно и было с первого дня до последнего. Спустя четверть века после гибели бедной Жанны папа римский созвал особый суд для пересмотра ее дела; справедливое решение этого суда очистило ее славное имя от всякого пятна и навеки заклеямило позором Руанский трибунал. Маншон и некоторые другие его участники были вызваны на Оправдательный Процесс в качестве свидетелей. Вспоминая гнусные ухищрения, о которых я вам рассказываю, Маншон показал следующее (и это стало теперь официальным историческим документом):

«Когда Жанна говорила о своих видениях, ее прерывали почти на каждом слове. Ее мучили бесконечными допросами о всевозможных вещах. Утренний допрос почти каждый день длился *часа три-четыре*; из него отбиралось все наиболее трудное, и это служило материалом для вечерних допросов; они тоже продолжались *часа два-три*. Допрашивающий поминутно перескакивал с одного предмета на другой; несмотря на это, *она всегда отвечала удивительно мудро и обнаруживала необыкновенную память*. Часто она поправляла судей, говоря: «На это я уже отвечала, справьтесь у протоколиста», то есть у меня».

А вот что показал один из судей Жанны. И не забудьте, что эти свидетели описывают не каких-нибудь два-три дня, а томительно долгую вереницу дней:

«Ей задавали мудренные вопросы, но она отлично с ними справлялась. Иногда допрашивающий внезапно менял тему, чтобы проверить, *не станет ли она противоречить себе*. Ее томили двух- и трехчасовыми допросами, после которых сами *судьи крайне уставали*. Ей ставили такие ловушки, из которых самый *опытный человек мог бы выпутаться лишь с величайшим трудом*. Она отвечала столь разумно, что все три недели я думал, что она отвечает по внушению свыше».

Теперь вы видите, что я правильно изобразил ее вам. Ведь это показали под присягой те самые священники, которые нарочно были отобраны в этот страшный трибунал за ученость, за опытность, за остроту ума и за сильное предубеждение против обвиняемой. Даже по их словам выходит, что бедная деревенская девушка более чем успешно состязалась с шестьюдесятью двумя учеными мужами. Вот оно как! Они пришли туда из Парижского университета, а она — из овечьего загона и коровника! Да, она поистине велика и достойна изумления! Потребовалось шесть тысяч лет, чтобы на земле появилось это чудо; а другой, подобной ей, не будет и через пятьдесят тысяч лет. Я убежден в этом.

Глава VII

ТЩЕТНЫЕ ХИТРОСТИ

Третье заседание суда состоялось на следующий день, 24 февраля, в той же просторной зале. С чего оно началось? Да опять с того же. Когда были закончены все приготовления и шестьдесят два судьи в мантиях расселись по креслам, а стража стала по местам, Кошон с высоты своего трона приказал Жанне положить руки на евангелие и поклясться, что она будет отвечать без утайки обо всем, о чем бы ее ни спросили.

Глаза Жанны сверкнули, и она встала; выпрямившись с благородной гордостью и обратясь к епископу, она сказала:

— Остерегитесь, монсеньёр! Вы злоупотребляете своей властью и берете на себя слишком уж тяжкую ответственность.

Это вызвало большое волнение, а Кошон пригрозил немедленно произнести приговор, если она не повинуется. Я весь похолодел, да и многие вокруг заметно побледнели — это ведь означало костер! Но Жанна, все еще стоя, ответила гордо и спокойно:

— Осудить меня, не имея на то права, не может даже все духовенство Руана и Парижа.

Это снова вызвало шум, выражавший главным образом одобрение. Жанна села. Епископ все еще настаивал. Она сказала:

— Я уже присягала. Этого довольно.

Епископ закричал:

— Отказываясь присягнуть, ты навлекаешь на себя подозрения!

— Пусть будет так. Я присягала. Довольно.

Епископ не отступался. Жанна сказала, что будет говорить, что знает, но не все, что знает.

Епископ продолжал грозить, пока она не сказала устало:

— Я была послана богом. Больше мне здесь делать нечего. Отпустите меня к господу, пославшему меня.

Больно было слушать ее. Ведь это значило: вам нужна моя жизнь, так возьмите же ее и оставьте меня в покое.

Епископ все еще бушевал:

— Еще раз приказываю тебе!..

Жанна прервала его небрежным «Passez outre!» — и Кошон прекратил борьбу, но на этот раз предложил некий компромисс. Жанна своим ясным умом тотчас поняла, что это сулит ей некоторое облегчение, и охотно согласилась. Теперь ей предстояло меньше неожиданностей: в безбрежном океане вопросов был все же проложен какой-то курс, которого им придется держаться. Она присягнула, «что будет говорить правду обо всем, что значит в обвинительном акте». Епископу пришлось обещать больше, чем он хотел и чем намерен был выполнить.

По его приказанию Бопэр возобновил допрос. Дело было великим постом, и они надеялись уличить Жанну в каком-нибудь упущении по части религиозных обрядов. Я мог бы сказать им, что они надеялись напрасно. Ее вера была для нее самой жизнью!

— Когда ты в последний раз пила или ела?

Если бы она проглотила хоть крошку, ничто не было бы ей оправданием — ни молодость, ни скудость тюремной пищи: ей предъявили бы опасное обвинение в пренебрежении к церковным обрядам.

— Я не пила и не ела со вчерашнего полудня.

Священник вновь начал спрашивать о Голосах:

— Когда ты слышала Голос?

— Вчера и сегодня.

— В какое время?

— Вчера это было утром.

— Что ты делала в это время?

— Я спала — это меня пробудило.

— Он до тебя догронулся?

— Нет, он разбудил меня, не дотрагиваясь.

— И что же, ты поблагодарила его? Ты стала на колени?

Он имел в виду дьявола и надеялся доказать, что она преклоняла колени перед врагом бога и людей.

— Да, я поблагодарила его и стала на колени на постели, к которой я прикована; я сложила руки и просила его предстательствовать за меня перед господом: да вразумит меня и наставит, как отвечать на суде.

— Что сказал на это Голос?

— Он велел мне отвечать без боязни, и господь мне поможет. — Тут она повернулась к Кошону и сказала: — Вы взялись судить меня, а я опять говорю вам: берегитесь! Воистину я послана богом, и вы подвергаете себя большой опасности.

Бопэр спросил, не случается ли Голосу впадать в противоречия?

— Нет, он никогда не противоречит себе. Вот и сегодня он снова велел мне отвечать смело.

— Это он запретил тебе отвечать на некоторые вопросы?

— Об этом я вам ничего не скажу. Мне бывают откровения, касающиеся короля, моего повелителя, и об этом я вам не скажу. Она пришла в сильное волнение, на глазах ее выступили слезы, и она сказала горячо: — Я верю — так же крепко, как верю в христианское вероучение и в то, что Спаситель искупил нас, грешников, — что этим Голосом мне вещает господь!

На дальнейшие вопросы относительно Голоса она сказала, что ей не дозволено всего говорить.

— Ты думаешь, что прогневишь бога, если откроешь нам всю правду?

— Голос повелевает мне хранить иные из откровений для одного только короля, а не для вас; еще вчера он вещал мне нечто такое, что королю надо бы знать, — у него будет спокойнее на душе.

— Почему же Голос не обратится к самому королю, как это было при вашей встрече? Если ты попросишь об этом — станет он вещать королю?

— Я не знаю, есть ли на то воля божья.

Она задумалась и, казалось, унеслась мыслями куда-то далеко, а потом произнесла слова, в которых Бопэр, все время подстерегавший ее, усмотрел возможность ее поймать. Вы думаете, он обнаружил свою радость, как поступил бы менее опытный ловец людей? О нет, он точно и не заметил ее слов. Он с безразличным видом заговорил о другом и начал задавать пустяковые вопросы, собираясь, так сказать, обойти ее и напасть с тыла. Он спросил, не обещал ли ей Голос освобождение из тюрьмы, не научил ли, как отвечать на сегодняшнем допросе, и был ли он окружен сиянием, и были ли у него глаза и т. п. Какие же неосторожные слова вырвались у Жанны? А вот какие:

— Я ничего не могла бы без божией благодати.

Судьи увидели, чего добивается от нее Бопэр, и следили за его игрой с жестоким любопытством. Бедная Жанна стала рассеянна и задумчива — должно быть, она утомилась. Жизнь ее была в опасности, а она этого не подозревала. Настала удобная минута, и Бопэр осторожно захлопнул западную:

— Почнет ли на тебе божия благодать?

Даже среди этой своры нашлось два-три порядочных человека. Одним из них был Жан Лефевр. Он вскочил и крикнул:

— Это — страшный вопрос! Обвиняемая не обязана отвечать на него!

Кошон потемнел от злобы, увидев, что гибнущей девочке брошена доска, и закричал:

— Молчать! Сядь на место! Обвиняемая ответит на этот вопрос!

Казалось невозможным, чтобы Жанна вышла из этого затруднения. Скажет ли она «нет», или «да» — все равно она себя погубит, ибо в писании сказано, что это *никому не дано* знать. Жестокое надо иметь сердце, чтобы расставить такую ловушку несведущей девочке, да еще гордиться этим и радоваться. Минута ожидания была для меня страшной, она показалась мне годом. Все были возбуждены, и большинство — радостно возбуждено. Жанна ясными, невинными глазами оглядела все эти хищные лица и кротко произнесла бессмертные слова, которыми смахнула страшную западню, точно паутину:

— Если на мне нет благодати, молю господа даровать ее мне; если да — молю, чтобы не лишал ее.

Действие этих слов вы не можете себе представить. Сперва воцарилось гробовое молчание. Люди изумленно переглядывались; иные, устранившись, осеняли себя крестным знаменiem. Я услышал шепот Лефевра:

— Людская мудрость не в силах была бы придумать такой ответ. *Кто же* вразумляет этого младенца?

Бопэр снова взялся за дело, но он был так унижен своим поражением, что спрашивал вяло и бестолково, без всякого воодушевления.

Он задал Жанне бесчисленное множество вопросов о ее детстве, о дубовой роще, о лесовичках, о детских играх и забавах под нашим милым Волшебным Буком; заставив ее вспомнить все это, он вызвал у нее слезы, но она крепилась и на все отвечала.

В заключение священник снова вернулся к ее одежде — этот вопрос на протяжении всей коварной

травли невинной жертвы постоянно висел над ней зло-
вещей угрозой.

— Ты не хотела бы переодеться в женское платье?

— Да, если выйду из тюрьмы, а здесь — нет.

Глава VIII

ЖАННА РАССКАЗЫВАЕТ О СВОИХ ВИДЕНИЯХ

В следующий раз суд собрался в понедельник, двадцать седьмого. Поверите ли, епископ словно забыл, что уговорился спрашивать только о том, что значится в обвинительном акте, и снова приказал Жанне дать присягу без оговорок. Она сказала:

— Неужели я не довольно присягала?

Она так и не сдалась, и Кошону пришлось отступить.

Жанну снова стали спрашивать о Голосах:

— Ты говоришь, что признала в них святых, когда услышала их в третий раз. Какие же это были святые?

— Святая Екатерина и святая Маргарита.

— Откуда ты знала, что это они? Как ты отличала их друг от друга?

— Я знала, что это они, и я их различаю.

— Но как?

— По тому, как они ко мне обращаются. Они наставляют меня уже семь лет, а кто они — об этом они сказали мне сами.

— А чей был первый Голос, который ты слышала тринадцати лет от роду?

— Это был голос святого Михаила. Он сам предстал мне, и не один, а в сонме ангелов.

— Ты видела архангела и его служителей телесными очами или духовными?

— Телесными — вот как я вижу вас; а когда они скрылись, я заплакала, зачем они не взяли меня с собой.

Мне вспомнилось ослепительно сияющее видение, явившееся ей в тот день под Волшебным Буком, и я

содрогнулся, хотя это было так давно. Впрочем, не очень давно, — но так казалось, потому что слишком много событий произошло с тех пор.

— В каком же виде предстал тебе святой Михаил?

— Это мне открыть не дозволено.

— Что он сказал тебе в тот первый раз?

— На это я сегодня отвечать не стану.

Это значило, должно быть, что ей надо прежде просить разрешения у Голосов.

После многочисленных вопросов об откровениях, которые получил через нее король, она пожаловалась, что ее мучат без нужды.

— Я повторяю, как делала уже много раз в этом суде, что на все эти вопросы я отвечала в Пуатье. Нельзя ли доставить сюда протоколы и прочесть? Прощу вас, пошлите за ними.

Никто ей не ответил. Этой темы старались не касаться. Протоколы первого суда были благоразумно упрятаны подальше — в них содержались вещи, которые были сейчас весьма нежелательны, в том числе признание, что Жанна послана небом. А этот, низший суд стремился доказать, что она послана дьяволом. Там было также решение о том, что Жанне можно носить мужскую одежду. А теперь и это хотели обернуть против нее.

— Что побудило тебя явиться во Францию? Собственное твое желание?

— Да, и веление бога. Не будь на то его воли, я бы не поехала. Я лучше бы дала привязать себя к лошадям и растерзать.

Бопэр еще раз вернулся к вопросу о мужской одежде и произнес на эту тему торжественную речь. Жанна потеряла терпение и прервала его:

— Это пустяк, не стоящий внимания. Но и тут я поступила не по советам людей, а по велению бога.

— Значит, это не Робер де Бодрикур велел тебе так одеться?

— Нет.

— И ты не считала за грех одеться мужчиной?

— Раз я повиновалась богу, значит поступала хорошо.

— И в этом случае ты тоже считаешь, что поступала правильно?

— Я ничего не делала помимо веления бога.

Бопэр сделал множество попыток заставить ее противоречить себе или найти в ее словах противоречие с писанием. Но он лишь даром потерял время. Он ничего не добился. Тогда он вернулся к ее видениям, сиянию, которое ей являлось, к ее встречам с королем и так далее.

— Когда ты впервые увидела короля, над ним витал ангел?

— О пресвятая Дева!.. — Она поборола вспышку нетерпения и закончила спокойно: — Если так и было, то я его не видела.

— А сияние было?

— Там было более трехсот солдат и пятьсот факелов, не считая света небесного.

— Что заставило короля поверить твоим словам?

— Ему были знаки; кроме того, он совещался с духовными лицами.

— Какие же откровения получил через тебя король?

— В этом году я вам этого не скажу.

Потом она добавила: — Священники в Шиноне и в Пуатье опрашивали меня три недели. Королю было знамение, и он только после этого поверил, а священники все признали, что в моих делах — добро, а не зло.

Пришлось на время оставить и эту тему, и Бопэр заговорил о чудесном мече из Фьербуа: он надеялся обвинить Жанну в колдовстве.

— Откуда ты узнала, что во Фьербуа под алтарем церкви святой Екатерины зарыт древний меч?

Здесь Жанне нечего было скрывать:

— Что меч там — мне открыли Голоса; и я послала за ним, чтобы вооружиться им в битву. Мне казалось, что он зарыт неглубоко. Священники вырыли его и очистили, и ржавчина сошла очень легко.

— Он был при тебе, когда тебя взяли в плен в Компьене?

— Нет; но он был при мне постоянно, пока я не уехала из Сен-Дени, после штурма Парижа.

Этот меч, так таинственно найденный и одержавший столько побед представлялся им заколдованным.

— А был этот меч освящен? Кто освятил его?

— Никто. Я любила его потому, что он был найден в церкви святой Екатерины, а эту церковь я очень чту. Она чтит ее потому, что церковь была сооружена в честь одной из являвшихся ей святых.

— Ты не возлагала его на алтарь, чтобы он приносил тебе победу? (Бопэр имел в виду алтарь в Сен-Дени).

— Нет.

— Ты молилась, чтобы он приносил победу?

— А разве грешно призывать божье благословение на свое оружие?

— Значит, в Компьене с тобой был другой меч? Какой?

— Это был меч бургундца Франке из Арраса, которого я взяла в плен при Ланьи. Я оставила его себе, потому что это добрый боевой меч — им очень ловко рубить.

Она сказала это очень просто; и разительный контраст между ее хрупкой фигуркой и суровыми солдатскими словами, которые так легко слетели с ее уст, заставил многих улыбнуться.

— А что случилось с тем, другим мечом? Где он теперь?

— А это есть в обвинительном акте?

Бопэр не ответил.

— Что тебе дороже — знамя или меч?

Глаза ее радостно блеснули при упоминании о знамени, и она вскричала:

— О, знамя мне дороже во сто крат! Иной раз я сама держала его, когда шла на врага, чтобы никого не убить. — И она наивно добавила (нас снова поразило несоответствие между предметом разговора и ее нежной девической прелестью): — Я никого сама не убила.

Многие улыбнулись, и не удивительно — она выглядела такой нежной и кроткой. Не верилось, что она была в боях, где убивают людей; она казалась созданной совсем не для этого.

— А при штурме Орлеана говорила ты солдатам, что вражеские стрелы и ядра из их катапульт и пушек поражают только тебя?

— Нет, не говорила. И вот доказательство: более сотни солдат были ранены. Я говорила солдатам, чтобы они не робели и не сомневались, что они снимут осаду. Когда мы штурмовали предмостное укрепление, я была ранена стрелой в шею; но святая Екатерина пособила мне, и я выздоровела за две недели; не понадобилось даже слезать с седла и бросать мое дело.

— А ты знала, что будешь ранена?

— Да, и я заранее сказала об этом королю. Это открыли мне Голоса.

— Когда ты взяла Жаржо, почему ты не потребовала выкуп с начальника гарнизона?

— Я предложила ему беспрепятственно уйти со всем гарнизоном, а если он не согласится, сказала, что возьму крепость приступом.

— Ты так и сделала?

— Да.

— Это Голоса посоветовали тебе брать ее приступом?

— Не помню.

Так и окончилось ничем это томительно долгое заседание. Были испробованы все средства уличить Жанну в дурных мыслях, дурных поступках, нарушении церковных установлений, в каких-либо прегрешениях в детстве или позже, — но все оказалось напрасно. Она с честью вышла из испытания.

Вы думаете, судьи пали духом? Нет. Они были, конечно, крайне удивлены тем, что задача, которая казалась такой простой и легкой, доставила им столько хлопот и трудов. Но у них были мощные союзники: голод, холод, утомление, преследования, обман и предательство, а в качестве противника — всего только беззащитная и неопытная девушка, которая должна же рано или поздно обессилеть телом и душою или попасться в одну из тысячи ловушек, которые ей представляли.

И разве эти по видимости бесплодные заседания не дали совсем уж никаких результатов? Этого нельзя

сказать. Трибунал все-таки нащупал почву и отыскал кое-какие, еле заметные, следы, которые могли привести их к желаемому результату. Например, мужская одежда или видения и Голоса. Никто не сомневался в том, что она видела неземных существ, что они говорили с ней и наставляли ее. Никто не сомневался, что с их помощью Жанна творила чудеса, — с их помощью она узнала в толпе короля, которого никогда раньше не видела, и нашла волшебный меч, зарытый под алтарем. Сомневаться в этом было бы нелепо, — всем известно, что вокруг нас роятся демоны и ангелы и что они видимы либо колдунам, либо безгрешным праведникам. Но многие — пожалуй, большинство — сомневались в том, что видения, и Голоса Жанны, и свершенные ею чудеса исходили от бога. Надеялись со временем доказать, что они исходят от дьявола.

Вы видите теперь, что суд упорно возвращался к этим предметам и разбирал их снова и снова не ради препровождения времени — тут была вполне определенная цель.

Глава IX

ЖАННЕ ПРЕДСКАЗАНО ИЗБАВЛЕНИЕ

Следующее заседание состоялось в четверг, 1 марта. Присутствовало пятьдесят восемь судей, остальные отдыхали от трудов.

Как всегда, от Жанны потребовали присяги без оговорок. На этот раз она не выказала раздражения. Она крепко надеялась на уговор не выходить за пределы обвинительного акта — уговор, который Кошон всячески силился обойти; поэтому она просто-напросто отказалась присягать — решительно и твердо, но тут же честно пообещала:

— Зато обо всем, что упомянуто в обвинительном акте, я скажу всю правду, как сказала бы самому папе.

Вот еще удобный повод для судей! У нас в то время было два или три папы, но, конечно, только

один из них мог быть настоящим. Каждый благоразумно обходил вопрос о том, который из них настоящий, и избегал называть папу по имени: входить в такие подробности было опасно. А тут представлялся случай поймать несведущую девушку в западню, и несправедливый судья не преминул им воспользоваться. Он спросил рассеянно и небрежно.

— Кого ты считаешь истинным папой?

Зал насторожился и ждал ее ответа с глубоким вниманием; все ждали, что жертва сейчас попадется в капкан. Но ответ был таков, что посрамленным оказался судья, а многие из присутствующих исподтишка засмеялись. Жанна спросила таким невинным тоном, что даже я был введен в заблуждение:

— А разве их два?

Один из преподобных судей, известный всею ученостью, а также пристрастием к божбе, произнес почти на весь зал:

— Клянусь богом, мастерский удар!

Оправившись от смущения, судья снова пошел на приступ, но благоразумно оставил вопрос Жанны без ответа:

— Верно ли, что ты получила письмо от графа Арманьяка, где он спрашивал, которого из трех пап надо признавать?

— Да, получила; и ответила ему.

Копии письма и ответа были тут же прочитаны. Жанна сказала, что копия ее ответа не вполне верна. Она сказала, что письмо графа пришло, когда она садилась на коня, и добавила:

— Я продиктовала несколько слов в ответ и сказала, что постараюсь ответить ему подробно из Парижа или откуда-нибудь еще, как только выдастся свободный час.

Ее снова спросили, которого из пап она признает за истинного.

— Я так и не написала графу Арманьяку, которого из них надлежит слушаться. — И она добавила с бесстрашной прямоотой, которую так приятно, так отраднo было услышать в этом вертепе лжи и лукавства: — Но

мне думается, что следует признавать того, который в Риме.

Этот вопрос пришлось оставить. Затем огласили копию первого письма, продиктованного Жанной, — ее обращение к англичанам, где она предлагала им снять осаду Орлеана и уйти из Франции, — поистине прекрасное и мудрое послание, удивительное для неопытной семнадцатилетней девушки.

— Ты признаешь, что сочинила послание, которое было только что прочитано?

— Да, но в нем есть ошибки: получается, что я всюду ставлю себя на первое место. — Я понял, в чем дело, и смутился. — Вот, например, я не говорила: «Сдавайтесь Деве» (*rendez à la Pucelle*), я говорила: «Сдавайтесь королю» (*rendez au Roi*). И я не именovala себя главнокомандующим (*chef de guerre*). Эти изменения сделал, наверное, мой секретарь, а может быть, он меня не расслышал или не все запомнил.

Говоря это, она не смотрела на меня, не желая меня смущать. А я тогда все отлично расслышал и ничего не забыл. Я намеренно сделал некоторые изменения: она ведь действительно была главнокомандующим и имела право так себя называть; значит, так было правильнее; а сдаваться королю никто не стал бы — он тогда ничего не значил. Если бы стали сдаваться, так только Вокулёрской Деве, — о ней уже шла громкая молва, хотя она еще не нанесла врагу ни одного удара.

Плохо мне пришлось бы, если бы беспощадный трибунал узнал, что тот самый писец, которому она все диктовала, — секретарь Жанны д'Арк, — находится среди них и даже участвует в составлении протокола; больше того — что ему суждено в будущем свидетельствовать против лжи и искажений, внесенных туда Кошоном, и предать действия суда вечному позору!

— Итак, ты признаешь, что продиктовала это послание?

— Да, признаю.

— И ты не раскаиваешься в этом? Не отказываешься от него?

Это привело ее в негодование.

— Нет! Даже этими оковами... — и она потрясла своими цепями, — ...даже этими оковами вам не удастся сковать надежды, которые там выражены. И вот еще что... — Она встала, и лицо ее дивно озарилось, а слова полились потоком: — Говорю вам, что не пройдет и семи лет, как на англичан обрушится бедствие, во много раз худшее, чем падение Орлеана, а...

— Молчать! Сядь на место!

— ...а вскоре они потеряют и всю Францию!

Вспомним, как обстояло тогда дело. Французского войска не существовало. Все бездействовало; бездействовал и король. Откуда нам было знать, что скоро коннетабль Ришмон продолжит великое дело Жанны д'Арк и завершит его? И в такое время Жанна уверенно предсказала будущее, и предсказание ее сбылось.

Пять лет спустя, в 1436 году, пал Париж, и наш король вступил в него победителем. Так исполнилась первая часть пророчества, а в сущности — и все оно целиком, потому что, завладев Парижем, мы обеспечили себе все остальное. А двадцать лет спустя вся Франция была наша, кроме одного только города Кале.

Вспомним другое, более раннее пророчество Жанны. Когда она хотела взять Париж и легко сделала бы это, если бы имела согласие короля, она сказала, что для этого сейчас золотое время: если мы возьмем Париж, то через полгода овладеем всей Францией; но если мы упустим эту возможность освободить Францию, сказала она, *«тогда на это потребуется двадцать лет»*.

Она оказалась права. После того как в 1436 году был взят Париж, остальное пришлось завоевывать город за городом, замок за замком, и на это понадобилось двадцать лет.

Итак, первого марта 1431 года, в зале суда, она во всеуслышание сделала это поразительное предсказание. Бывает, что предсказания сбываются, но если разобратся в каждом таком случае, то обычно можно заподозрить, что предсказание сделано задним числом. Здесь — другое дело. Пророчество Жанны было зане-

сено в протоколы суда сразу же, за много лет до его исполнения, вы можете прочесть его там и теперь. Через двадцать пять лет после смерти Жанны эти протоколы были представлены на Оправдательный Процесс, и мы с Маншоном и другими судьями, которые еще были живы к тому времени, клятвенно подтвердили их верность.

Поразительное пророчество Жанны в этот памятный день 1 марта вызвало большое волнение, которое не сразу улеглось. Все были встревожены; и это понятно: в пророчестве всегда есть нечто жуткое, откуда бы оно ни исходило — из ада или с небес. В одном все были уверены: что Жанна говорит по внушению великой и таинственной силы. Каждый дал бы отсечь себе правую руку, чтобы узнать, что это за сила.

Снова начались вопросы:

— Откуда тебе известно, что так будет?

— Мне было откровение. Я знаю это так же достоверно, как то, что вы сидите передо мной.

Такой ответ не мог способствовать успокоению слушателей. Помявшись еще немного, судья оставил этот предмет и перешел к другому, который был ему больше по душе:

— На каком языке говорят твои Голоса?

— На французском.

— И святая Маргарита также?

— Разумеется, — а почему бы нет? Она ведь стоит за нас, а не за англичан.

Итак, оказалось, что святые и ангелы пренебрегают английским языком! Это было воспринято как оскорбление. Их нельзя предать суду и покарать за такое неуважение, но можно заметить это себе, чтобы со временем использовать против Жанны. Так и было сделано. Может быть, пригодится.

— А драгоценности на них были — венцы, перстни, серьги?

Подобные вопросы показались Жанне суетным вздором, недостойным внимания. Она отвечала равнодушно. Но они напомнили ей о другом, и, обернувшись к Кошону, она сказала:

— У меня было два перстня. Их у меня отняли, когда взяли в плен. Я вижу — один из них у вас. Это подарок моего брата. Верните мне его. А если нельзя мне, тогда прошу — отдайте церкви.

Судьи решили, что перстни волшебные. Нельзя ли и это обратить против Жанны?

— А где твой другой перстень?

— Его взяли бургундцы.

— А он у тебя откуда?

— Его подарили мне родители.

— Опиши его.

— Это простое и дешевое кольцо; на нем вырезана надпись: «Иисус и Мария».

Всем стало ясно, что подобное орудие едва ли пригодно для сношений с нечистой силой. По этому следственно не стоило идти. Все же один из судей на всякий случай спросил Жанну, не случалось ли ей с помощью этого перстня исцелять больных. Она ответила, что не случалось.

— Ну, а теперь о лесовичках, которые, по местным поверьям, водились вблизи Домреми. Говорят, что твоя крестная мать однажды в летнюю ночь подглядела их пляски под деревом, которое прозвали Волшебным Бурлемонским Буком. Может быть, твои святые и ангелы — не кто иные, как эти лесовички?

— А об этом что-нибудь есть в обвинительном акте? Больше она ничего не ответила.

— Тебе не случалось беседовать со святой Маргаритой и святой Екатериной именно под этим деревом?

— Не помню.

— Или у источника возле дерева?

— Да, иногда.

— Что они тебе сулили?

— Ничего такого, на что не было господнего соизволения.

— Ну а все-таки — что?

— Этого нет в вашем обвинительном акте, но я все же отвечу: они сказали, что король, несмотря на все козни врагов, отвоюет свое королевство.

— А еще что?

Молчание, потом она сказала смиренно:

— Они обещали ввести меня в рай.

Если по лицам можно судить о душевном состоянии — многих из присутствующих в эту минуту обуял страх: как знать, уж не собираются ли они осудить на смерть божью избранницу, провозвестницу его воли? Напряжение возросло еще более. Движение и перешептывания прекратились, воцарилась напряженная тишина.

Вы, вероятно, заметили, что, задавая Жанне вопросы, допрашивающий большей частью заранее знал ответ на них. Вы заметили, что допрашивающие знали, что именно они хотят выпытать у Жанны, и вообще почти все про нее знали, — хотя она и не подозревала этого, — и их задача состояла только в том, чтобы заставить ее проговориться.

Помните лицемерного Луазелера, священника-предателя, орудие Кошона? Помните, как Жанна, свято веря в тайну исповеди, рассказала ему все о себе, кроме лишь тех из полученных ею откровений, о которых ее Голоса запретили сообщать кому бы то ни было, — а несправедливый судья Кошон все время подслушивал ее исповедь?

Теперь вам понятно, откуда у инквизиторов бесконечные и подробные вопросы, которые могут удивить своей пронизательностью и тонкостью, если не знать о комедии, разыгранной Луазелером, о том, как он добыл им все сведения. Да, епископ города Бовэ! Долго тебе еще гореть в аду за твою жестокость, если только кто-нибудь не вступится за тебя! А в обители праведных только одна душа способна на это, и боюсь, что она уже это сделала. Это Жанна д'Арк.

Вернемся к суду и допросу.

— А больше они тебе ничего не обещали?

— Да; но этого нет в обвинительном акте. Сейчас я на это не отвечу, я отвечу через три месяца.

Судья, как видно, знает, о чем спрашивает. Это можно заключить из его следующего вопроса:

— Это Голоса сказали тебе, что ты будешь освобождена через три месяца?

Жанна иной раз обнаруживала удивление перед необыкновенной догадливостью судей; так было и сейчас. И я стал с ужасом замечать, что невольно осуж-

даю ее Голоса: «Советуют ей отвечать смело — точно она и без них этого не сделала бы; а когда надо сообщить ей что-нибудь нужное — например, какой хитростью эти негодяи сумели проникнуть в ее тайны, — тут им словно недосуг».

Я от природы богобоязнен, и когда мне приходили в голову такие мысли, я холодел от страха; а если случалась в ту пору гроза и гремел гром, мне становилось до того худо, что я едва мог усидеть на месте и выполнять свою работу.

Жанна ответила:

— Этого нет в обвинительном акте. Я не знаю, когда придет мое избавление, но некоторые из тех, что желают моей смерти, сами умрут раньше меня.

Кое-кто при этом вздрогнул.

— Разве Голоса не обещали тебе освобождение из тюрьмы?

Конечно обещали; и судья знал это прежде, чем задал вопрос.

— Спроси меня через три месяца, тогда я отвечу.

Каким счастьем озарилось при этом лицо измученной узницы! А я? А Ноэль, который сидел печально понурившись? Нас охватила бурная радость, и нам стоило большого труда не обнаружить ее, — это было бы для нас роковым.

Итак, через три месяца она будет свободна. Так мы ее поняли. Это предсказали ей Голоса, и предсказали с точностью до одного дня: 30 мая. Теперь-то мы знаем, что они милосердно сокрыли от нее, *как* придет к ней избавление. Она вернется домой! — вот как мы истолковали это обещание Голосов, Ноэль и я; и мы стали мечтать об этом и считать дни, часы и минуты. Они пролетят быстро — и скоро все будет позади. Мы увезем наше божество домой, и там, вдали от суетного и шумного света, мы снова будем счастливы и проживем жизнь, как начали ее, — на солнце, на свежем воздухе, среди кротких овечек и дружелюбных людей. Краса лугов, лесов и речки будет радовать наши взоры, а их мир и покой снизойдет к нам в душу. Это стало нашей мечтой и помогло нам ждать три месяца, вплоть до ужасной развязки; я думаю, что ожидание

убило бы нас, если бы мы все знали наперед и так долго должны были бы нести в душе это страшное бремя.

Вот как мы толковали пророчество: король почувствует угрызения совести и вместе со старыми соратниками Жанны — герцогом Алансонским, Дюнуа и Ла Гиром — устроит ее побег; и это произойдет через три месяца. Мы надеялись принять в нем участие.

На этом заседании и на следующих от Жанны требовали, чтобы она точно назвала день своего освобождения, но этого она не могла сделать. Голоса не разрешали ей. Впрочем, они и сами не называли определенного дня. Когда пророчество сбылось, я решил, что Жанна все время ждала избавления в виде смерти. Но не *такой* же смерти! Как ни бесстрашна она была в бою, как ни возвышалась над людьми, она все же была человеком. Это была не только святая и ангел, но вместе с тем земная девушка, наделенная всеми человеческими чувствами, всей нежностью и робостью, свойственными девушкам. И такая смерть! Нет, она не могла бы прожить три месяца с этой мыслью! Вы помните, что, когда она впервые была ранена, она испугалась и заплакала, как любая другая семнадцатилетняя девушка, хотя она и знала за три недели, что будет ранена в этот самый день. Нет, обычной смерти она не страшилась, — именно так она, наверное, и представляла себе свое избавление, потому что, когда она о нем говорила, лицо ее выражало радость, а не ужас.

Сейчас я объясню, почему я так думаю. За пять недель до того, как она попала в плен при Компьене, Голоса тоже предсказали ей это. Они не называли ни числа, ни места, а только сказали, что она будет взята в плен до Иванова дня. Она стала молиться, чтобы плен был кратким, а смерть — мгновенной и легкой. Ее вольный дух страшился заточения. Голоса ничего ей не обещали и только велели терпеливо сносить все испытания. Но они ведь не отказали ей в скорой смерти. Молодости свойственно надеяться, и Жанна стала лелеять эту надежду и утешаться ею. Теперь, когда ей обещали «избавление» через три месяца, она, наверное, подумала, что ей суждено умереть в темнице, — вот отчего на лице ее появилось выражение

счастья и спокойствия. Скоро, скоро раскроются перед ней врата рая, близок конец ее мучений, близка небесная награда. Вот что радовало ее, вот что дало ей терпение и мужество и помогло бороться до конца, как подобает храброму воину. Она старалась отстоять себя как умела — такова уж она была по природе, — но если нужно, готова была умереть не дрогнув.

Позднее, когда она заявила, что Кошон пытался отравить ее рыбой, она должна была еще тверже уверовать в то, что ей суждено избавление через смерть в тюрьме.

Я, однако, отвлекся от моего повествования. Жанне велели точно назвать время, когда ей обещано освобождение.

— Я повторяю, что мне не все дозволено говорить. Я буду освобождена, но чтобы назвать день и час, я должна испросить разрешения у Голосов. Поэтому я прошу подождать с этим вопросом.

— Что же, значит твои Голоса запрещают тебе говорить правду?

— А о чем вам хотелось бы знать — о короле Франции? Так повторяю вам, что он будет снова владеть своим королевством, и это так же верно, как то, что вы передо мной сидите. — Она вздохнула и, помолчав, добавила: — Если б не это обещание, я давно умерла бы, — оно дает мне силы.

Ей задали несколько пустяковых вопросов о том, в каком облике и каком одеянии является ей св. Михаил. Она отвечала с достоинством, но было заметно, что ей обидно. Немного спустя она сказала:

— При виде его я испытываю большую радость: мне кажется тогда, что мне отпускаются смертные грехи. — Потом она добавила: — Иногда святая Маргарита и святая Екатерина позволяют мне исповедоваться им.

Это был еще один удобный случай расставить западню ее неведению:

— А ты думаешь, что перед исповедью ты находишься в состоянии смертного греха?

Но и на это она сумела ответить, не повредив себе. Допрос опять перешел на откровения, которые получил

король. Эти тайны суд снова и снова пытался вырвать у Жанны, но безуспешно.

— Так вот, о знамении, которое было явлено королю...

— Я уже говорила, что об этом я ничего вам не скажу.

— А ты знаешь, что это было за знамение?

— Этого вы от меня не узнаете.

Речь шла о тайной беседе Жанны с королем, когда он отошел с ней в сторону, хотя и на глазах у нескольких человек. Стало известно, — разумеется, через Луазелера, — что этим знамением была корона; ею подтверждалась божественная миссия Жанны.

Но что это была за корона — остается тайной по сей день и останется тайной навеки. Мы так и не узнаем, была ли то настоящая корона, возложенная на голову короля, или же речь шла о некоем мистическом символе.

— Ты видела корону на голове короля, когда он получал откровение?

— Этого я не могу вам сказать, не нарушив запрета.

— Эта самая корона и была на нем в Реймсе?

— Король возложил себе на голову ту корону, которая там была, но потом ему принесли другую, еще более драгоценную.

— А ту ты видела?

— Я не могу этого сказать, а не то я буду клятвопреступницей. Но видела я ее или нет — я знаю, что она была роскошной и драгоценной.

Они еще долго допытывались у нее о таинственной короне, но больше ничего не добились. Заседание закрылось. Это был долгий и тяжелый день для всех нас.

Глава X

ИНКВИЗИТОРЫ СТАНОВЯТСЯ В ТУПИК

Судьи отдыхали целый день и возобновили заседание в субботу, 3 марта.

Это было одно из самых бурных заседаний. Судьи вышли из терпения — и не мудрено. Шестьдесят уче-

ных церковников, искусных стратегов, испытанных ветеранов судебных битв оставили важные дела, требовавшие их присутствия, и съехались со всех сторон ради простого и легкого дела: осудить и послать на казнь девятнадцатилетнюю деревенскую девушку, которая не умела ни читать, ни писать, ничего не смыслила в судебных делах, не могла вызвать в свою защиту ни одного свидетеля, не имела адвоката или советчика и должна была сама вести свое дело перед враждебным ей судом и особо подобранными присяжными. За каких-нибудь два часа ее можно вконец запутать, разбить, изобличить и осудить — это дело верное! Так они рассуждали. Но они ошиблись. Два часа превратились во много дней; то, что обещало быть легкой стычкой, потребовало осады; задача, казавшаяся столь легкой, оказалась на редкость трудной. Противник, которого они думали повергнуть в прах одним дуновением, стоял твердо, как скала; вдобавок, если кто-нибудь имел основания смеяться, так именно деревенская девушка, а не судьи.

Она этого не делала — это было не в ее характере, зато другие делали это за нее. Весь город украдкой смеялся; судьи знали об этом, и самолюбие их было жестоко уязвлено. Они не могли скрыть своего раздражения. Итак, заседание было бурным. Было ясно, что судьи решили на этот раз во что бы то ни стало вырвать у Жанны нужные признания, ускорить ход дела и быстрее привести его к концу. Видно, что при всей своей опытности они еще не знали ее. Они принялись за дело весьма ревностно. На этот раз допрос не был доверен кому-либо одному из них — в нем участвовали все. Вопросы сыпались на Жанну со всех сторон; иной раз их бывало столько сразу, что ей приходилось просить, чтобы в нее стреляли по одиночке, а не все разом. Начало было обычное:

— Еще раз приказываем тебе дать присягу без всяких оговорок.

— Я буду отвечать на то, что перечислено в обвинительном акте. В других случаях я сама буду решать, отвечать или нет.

Снова разгорелся ожесточенный бой за эту, уже отвоеванную ею, территорию. Судьи осыпали Жанну угрозами, но она осталась тверда, и им пришлось перейти к другому. Полчаса было потрачено на видения Жанны — их одеяние, волосы, облик и тому подобное, — в надежде выудить из ее ответов что-нибудь пубное для нее. Но все старания были напрасны.

Потом, разумеется, вернулись к вопросу о мужской одежде. После повторения многих старых вопросов ей задали новые:

— А король или королева никогда не просили тебя снять мужскую одежду?

— Этого нет в вашем обвинительном акте.

— Ты думала, что согрешишь, если оденешься, как подобает твоему полу?

— Я старалась повиноваться, как умела, моему небесному владыке.

Потом ее стали спрашивать о знамени, надеясь отыскать в нем какое-нибудь колдовство:

— Правда ли, что твои воины делали себе вымпелы, срисованные с твоего знамени?

— Да, копьеносцы моей охраны, — чтобы отличаться от других войск. Они сами это придумали.

— И часто они их обновляли?

— Да. Когда копья ломались, вымпелы приходилось делать заново.

Следующий вопрос ясно показывает, чего от нее хотели добиться:

— Ты не говорила солдатам, что вымпелы, срисованные с твоего знамени, принесут им удачу?

Воинский дух Жанны был оскорблен этим вздорным предположением. Она выпрямилась и ответила с достоинством и твердостью:

— Я им говорила только одно: «Бейте англичан!» — и сама показывала пример.

Всякий раз, когда она бросала подобные презрительные слова в лицо этим французам в английских ливреях, они приходили в бешенство. Так было и на этот раз. Человек двадцать, а то и тридцать вскочили на ноги и долго выкрикивали пленнице яростные угрозы, но Жанна осталась невозмутимой.

Тишина постепенно восстановилась, и допрос продолжался.

Теперь Жанне старались поставить в вину многочисленные знаки любви и почитания, которые ей оказывали, когда она подымала Францию из грязи и позора столетнего рабства и унижения.

— Ты не приказывала писать с себя портреты?

— Нет. В Аррасе я видела свое изображение: я стою на коленях перед королем, в доспехах, и подаю ему грамоту; но я ничего этого не заказывала.

— Бывало ли, чтоб в честь тебя служили мессу?

— Если это и делалось, то не по моему приказу. Но если за меня молились, что же в том дурного?

— Французский народ верил, что ты послана богом?

— Этого я не знаю. Но — верили или нет — это в самом деле так.

— Значит, если они в это верили, они, по-твоему, поступали правильно?

— Те, кто верил в это, не обманулся.

— Что побуждало их целовать твои руки, ноги и одежду?

— Они были мне рады и показывали это. Я не смогла бы им помешать, если бы даже у меня хватило на это духу. Они шли ко мне с любовью — ведь я не причиняла им зла, напротив — я старалась сделать для них все что могла.

Видите, как скромно она описывала волнующие сцены, когда она проезжала по Франции, а вокруг нее теснилась восторженная толпа. «Они были мне рады». Рады? Они были вне себя от восторга. Когда они не могли дотянуться до ее руки или ноги, они становились на колени в грязь и целовали следы копыт ее коня. Они молились на нее — это и хотели доказать попы. Какое им было дело, что сама она тут ни при чем? Ей поклонялись — этого довольно: значит, она повинна в смертном грехе. Странная логика, нечего сказать!

— Тебе не случалось крестить младенцев в Реймсе?

— Это было в Труа и в Сен-Дени. Мальчикам я давала имя Карл — в честь короля, а девочкам — Жанна.

— Верно ли, что женщины прикладывали свои перстни к твоим?

— Да, это делали многие, не знаю зачем.

— Правда ли, что в Реймсе твое знамя внесли в церковь и ты стояла с ним у алтаря во время коронации?

— Да.

— Проезжая по Франции, ты исповедовалась и причащалась в церквях?

— Да.

— В мужской одежде?

— Да. Только не помню, были ли на мне доспехи.

Это была почти уступка! Она не напомнила о своем праве на мужскую одежду, которое признал за ней церковный суд в Пуатье. Хитрые судьи тотчас переменили тему: иначе Жанна могла заметить свою маленькую ошибку и исправить ее с присущей ей сообразительностью. Но весь этот шум измучил ее и притупил ее внимание.

— Говорят, что в церкви в Ланьи ты воскресила мертвого ребенка. Как ты это сделала — молитвами?

— Этого я не знаю. За ребенка молились и другие девушки; я стала молиться вместе с ними, только и всего.

— Продолжай.

— Пока мы молились, ребенок ожил и заплакал. Он был мертв уже три дня и почернел, как моя куртка. Его тут же окрестили, он снова скончался, и его похоронили в освященной земле.

— Почему ты спрыгнула ночью с башни в Боре-вуаре и пыталась бежать?

— Я хотела идти на помощь компьенцам.

Они стремились представить это как попытку свершить страшный грех — самоубийство, чтобы не попасть в руки англичан.

— Не говорила ли ты, что согласна лучше умереть, чем попасть в руки англичан?

Не замечая ловушки, Жанна чистосердечно ответила:

— Да, я говорила так: пусть лучше душа моя возвратится к богу, чем я попаду в руки англичан.

Затем на нее взвели клевету, будто она сквернословила и богохульствовала, когда пришла в себя после прыжка с башни; и что то же самое она делала, когда узнала об измене коменданта Суассона. Это возмутило ее, и она сказала:

— Неправда! Я ни разу не богохульствовала. У меня нет привычки сквернословить.

Глава XI

УБИЙЦЫ В НОВОМ СОСТАВЕ

Объявили перерыв. И как раз вовремя. Кошон терпел одно поражение за другим, а Жанна начинала одерживать верх. Некоторые из судей явно стали восхищаться мужеством Жанны, ее находчивостью и стойкостью, ее благочестием, простотой и искренностью, ее чистотой и благородством, ее тонким умом и тем, как отважно она защищалась — одна в этой неравной борьбе; можно было опасаться, что судьи окончательно смягчатся, и тогда Кошону трудно будет осуществить свой план.

Надо было что-то предпринять, и он это сделал. Кошон не отличался жалостливостью, но теперь он доказал, что не чужд ее. Он пожалел судей и решил, что не стоит утомлять их всех долгими заседаниями, когда достаточно нескольких. О милостивый судья! Он не вспомнил при этом, что юная узница также нуждалась в отдыхе.

Он сказал, что отпустит судей, кроме нескольких, но отберет их сам. Так он и сделал. Он отобрал тигров. Если в их число все же попали один-два ягненка, то единственно по недосмотру, и он знал, как с ними расправиться, когда он их обнаружит.

Суд собрался в малом составе и в течение пяти дней разбирал ответы, полученные от Жанны. Из них отсеяли все лишнее, всю мякину — иначе говоря, все, что было в ее пользу, — и тщательно собрали все, что можно было исказить и повернуть против нее. Из этого соз-

дали новый процесс, которому придали видимость продолжения прежнего. Было сделано и еще одно изменение. Суд при открытых дверях оказался явно нежелательным: он обсуждался по всему городу и у многих вызвал сострадание к обвиняемой, с которой поступали так несправедливо. Этому решили положить конец. Отныне заседания должны были происходить тайно, без посторонних лиц. Теперь Ноэль уже не мог на них присутствовать. Я послал предупредить его. У меня не хватило духу самому сообщить это. Пусть он немного успокоится к вечеру, до того как мы увидимся с ним.

Тайное судилище начало заседать с 10 марта. Я не видел Жанну целую неделю и был поражен происшедшей в ней переменой. Она казалась усталой и ослабевшей, была рассеянна и витала мыслями где-то далеко; ответы ее показывали, что она подавлена и не всегда улавливает то, что вокруг нее говорится и делается. Всякий другой суд постыдился бы воспользоваться таким состоянием обвиняемой — ведь речь шла о ее жизни, — он пощадил бы ее и отложил разбирательство. А этот? Этот мучил ее целыми часами, со злобным наслаждением; подавленное состояние их жертвы было им на руку, и они не желали упускать такой возможности.

Ее сумели запутать в тех показаниях, которые касались «знамений», явленных королю; на следующий день ее допрашивали о них несколько часов подряд. В конце концов она отчасти проговорила о подробностях, которые ее Голоса запретили разглашать; при этом в ее речах действительность смешивалась с аллегориями мистических видений.

На третий день она выглядела бодрее и не такой измученной. Она снова была почти сама собой и держалась хорошо. Было сделано много попыток выманить у нее неосторожные заявления, но она понимала, к чему клонят судьи, и отвечала умно и осмотрительно.

— Ты полагаешь, что святая Екатерина и святая Маргарита ненавидят англичан?

— Они любят тех, кого возлюбил господь, и ненавидят тех, кто ему ненавистен.

— Ну а господь ненавидит англичан?

— О любви или ненависти господа к англичанам мне ничего не известно. — Тут она заговорила с прежней уверенностью и воинственной отвагой: — Одно я знаю: господь пошлет французам победу, и все англичане уберутся из Франции, кроме тех, кто сложит здесь свои головы.

— А когда англичане *одерживали победы* во Франции, господь был на их стороне?

— Я не знаю, ненавидит ли господь французов, но я думаю, он допустил это, чтобы покарать их за грехи.

Конечно, наивно было говорить о каре, которая длилась уже девяносто шесть лет. Но это никого не удивило. Каждый из присутствующих способен был наказывать грешника девяносто шесть лет подряд, и никому из них и в голову не пришло бы, что господь может быть милосерднее их.

— Случалось ли тебе обнимать святую Маргариту и святую Екатерину?

— Да, обеих.

При этих словах злобное лицо Кошона выразило удовлетворение.

— Когда ты вешала венки на Волшебный Бурлемонский Бук, ты это делала в честь твоих видений?

— Нет.

Кошон явно удовлетворен и этим. Теперь он будет считать доказанным, что она вешала их из греховной привязанности к лесовичкам.

— Когда тебе являлись святые, ты преклоняла колени?

— Да, я воздавала им все почести, какие умела.

Это тоже могло быть очком в пользу Кошона, если б удалось доказать, что она воздавала их не святым, а демонам, принявшим обличие святых.

Стали спрашивать, почему Жанна хранила свои видения в тайне от родителей. Это тоже могло пригодиться. Этому придавалось большое значение, как видно из записи на полях обвинительного акта: «*Свои видения она скрывала от родителей и от всех*». Подобная скрытность могла сама по себе доказывать, что Жанна имела дело с нечистой силой.

— По-твоему, ты хорошо поступила, когда ушла воевать без согласия родителей? В писании сказано: чти отца своего и мать свою.

— Я слушалась их во всем, кроме этого. А в этом я просила у них прощения в письме — и получила его.

— Ах вот как, ты просила прощения? Значит, ты *сознавала*, что согрешила, когда уехала без их позволения?

Жанна вскипела. Глаза ее сверкнули, и она вскричала:

— Меня послал господь — значит, надо было ехать! Будь у меня сто отцов и матерей, будь я хоть королевская дочь — я все равно поехала бы!

— А ты никогда не спрашивала у Голосов, можно ли открыться родителям?

— Голоса мне этого не запрещали, но я сама ни за что не хотела причинять родителям такое горе.

По мнению судей, это своеволие пахло гордыней. А гордыня может повлечь за собой кощунственную жажду почестей, не подходящих смертным.

— Верно ли, что Голоса называли тебя дочерью господа?

Жанна ответила просто и доверчиво:

— Да, до взятия Орлеана и позже они не раз называли меня дочерью божьей.

Стали отыскивать еще доказательства ее гордости и тщеславия.

— Какой конь был под тобой, когда ты была взята в плен? Кто подарил его тебе?

— Король.

— Ты принимала от короля и другие драгоценные дары?

— У меня были кони и оружие — и деньги, чтобы платить жалованье моей свите.

— А казна у тебя была?

— Да, десять — двенадцать тысяч крон. — Она наивно добавила: — Это не так уж много для ведения войны.

— Эти деньги до сих пор у тебя?

— Нет. Это ведь королевские деньги. Они отданы на сохранение моим братьям.

— Что за оружие ты пожертвовала на алтарь в Сен-Дени?

— Мои серебряные доспехи и меч.

— Ты оставила их там, чтобы на них молились?

— Нет. Это было приношением по обету. У солдат есть такой обычай, когда они ранены. А я была ранена под Парижем.

Ничто не трогало эти каменные сердца, не волновало эти тупые умы — даже трогательная картина, нарисованная ею в немногих словах: раненая девушка-воин вешает свои миниатюрные доспехи рядом с суровыми стальными кольчугами прославленных защитников Франции. Нет, они ее не видели, раз из нее нельзя было ничего извлечь на пагубу невинному созданию.

— Кто кому больше помогал: ты — знамени, или знамя — тебе?

— Дело не во мне и не в знамени. Победы даровал господь.

— Но все же на что ты больше полагалась — на себя или на знамя?

— Ни на то, ни на другое. Я уповала только на бога.

— Верно ли, что во время коронации твоим знаменем осенили короля?

— Нет, неверно.

— Почему именно *твое* знамя внесли тогда в Реймский собор, а не знамена других полководцев?

Тут она кротко произнесла трогательные слова, которые будут жить, пока живет человеческая речь, и повторяться на всех языках, и волновать все благородные сердца до скончания веков:

— *Оно вынесло тяжесть — оно и заслужило почет*¹.

Как просто и как прекрасно! Как это посрамляет изощренное красноречие ораторов! Красноречие было

¹ Эти ее слова переводились много раз, но это никому вполне не удалось. В оригинале они обладают прелестью, которая не поддается переводу. Эта прелесть неуловима, как аромат; при переводе она пропадает. Вот что она сказала: «Il avait été à la peine, c'était bien raison qu'il fut à l'honneur». Монсеньёр Рикар, почетный викарий архиепископа Экса,

у Жанны природным даром, оно давалось ей без усилий и без подготовки. Слова ее так же благородны, как ее дела, как весь ее облик. Они рождались в великом сердце и чеканились великим умом.

Глава XII

У ЖАННЫ ОТНИМАЮТ ЕЕ ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ

Следующим делом тайного судилища святейших убийц была такая подлость, что я до сих пор, на склоне лет, не могу рассказывать о ней хладнокровно.

Еще ребенком, с тех самых пор как в Домреми она впервые услышала Голоса, Жанна торжественно посвятила себя богу, отдав ему на служение свою чистую душу и непорочное тело. Вспомним, что родители, желая помешать ей уйти на войну, повлекли ее на суд в Туль, чтобы принудить к браку, — на который она никогда не давала согласия, — с бедным славным хвастуном, нашим незабвенным товарищем, Знаменосцем, который пал смертью храбрых и покоится с праведными вот уже шестьдесят лет, — мир праху его! Вспомним, как шестнадцатилетняя Жанна сама вела свое дело в этом почтенном суде и не оставила клочка от притязаний бедного Паладина и как изумленный старик судья назвал ее «дикуинное дитя».

Вы, конечно, помните это. Представьте же себе, что я почувствовал, когда гнусные попы, с которыми Жанна на протяжении трех лет четыре раза выдерживала неравную битву, вывернули все это наизнанку и представили дело так, будто Жанна потащила Паладина в суд за нарушение брачного обещания и требовала, чтобы он его сдержал.

отлично сказал о них (см. «Jeanne d'Arc la Vénérable», стр. 197): «...бессмертный ответ, который навеки сохранится в числе прославленных изречений, — ибо это крик души христианки и дочери Франции, смертельно оскорбленной в своей вере и своей любви к отечеству». (Прим. переводчика)

Поистине, эти люди были готовы на любую низость в своем стремлении затравить беззащитную девушку. Они хотели доказать, что Жанна тогда позабыла данный ею обет безбрачия и намеревалась нарушить его.

Жанна рассказала, как было дело в действительности, но под конец вышла из себя и дала Кошону такую отповедь, что он наверняка еще помнит ее, где бы он сейчас ни был — жарится ли в пекле, где ему надлежит быть, или сумел обманом пробраться в другое место.

Остаток этого дня и часть следующего были посвящены старой теме — мужской одежде. Гнусное занятие для почтенных людей! Ведь они отлично знали, что Жанна держалась за мужскую одежду больше всего потому, что в ее темнице безотлучно находились солдаты, и мужская одежда лучше защищала ее стыдливость, чем любая другая.

Судьям было известно, что Жанна намеревалась освободить пленного герцога Орлеанского, и им хотелось знать, как она думала это осуществить. Этот план, как все ее планы, был разумен, а рассказ о нем, как все ее речи, был прост и деловит.

— Я набрала бы достаточно английских пленных, чтобы обменять на него, а не то — пошла бы на Англию и освободила его силой.

Так она поступала всегда. Сперва пробовала добром, а если не удавалось, то решительным ударом, без проволочек. Потом она добавила со вздохом:

— Если бы я побыла на свободе три года, я освободила бы его.

— Твои Голоса разрешили тебе бежать из тюрьмы, если к этому представится случай?

— Я не раз просила их дозволения, но они не разрешают.

Вот поэтому-то я и думаю, что она надеялась на избавление через смерть в темнице в ближайшие три месяца.

— А ты убежала бы, если бы дверь оказалась открытой?

Она ответила откровенно:

— Да, потому что я увидела бы в этом божье соизволение. Бог помогает тем, кто сам не плошает, как

говорит пословица. Но если бы я не считала, что он позволяет, я бы не убежала.

Тут произошло нечто такое, что убедило меня — и доньше убеждает всякий раз, как я об этом вспоминаю, — что в тот миг ее мысли обратились к королю и у нее мелькнула та же надежда, что и у меня с Ноэлем: спасение с помощью ее соратников. Я думаю, что это пришло ей в голову, но только на миг.

Какое-то замечание епископа заставило ее еще раз напомнить ему, что он судит несправедливо и не имеет права председательствовать и что это грозит ему большой опасностью.

— Какой опасностью? — спросил он.

— Не знаю. Святая Екатерина обещала помочь мне, только не знаю как. Может быть, меня освободят отсюда, а может быть, вы пошлете меня на казнь и тогда произойдет замешательство, которое позволит мне спастись. Я над этим не размышляю, но какой-нибудь случай наверное представится. — Помолчав, она добавила следующие памятные слова (возможно, что она толковала их неверно, — этого мы никогда не узнаем; а может быть, и верно, — этого нам тоже не дано узнать, — но сокровенный смысл их стал со временем ясен и теперь известен всему миру):

— Голоса ясно сказали мне, что я получу избавление через *большую победу*.

Она умолкла, а мое сердце сильно забилося, — мне эта победа представилась так: внезапно ворвутся мои старые соратники с боевым кличем и бряцанием оружия и в последний момент спасут Жанну. Но увы! Мне тут же пришлось расстаться с этой мечтой. Жанна подняла голову и закончила торжественными словами, которые часто цитируют до сих пор, — словами, от которых на меня повеяло ужасом, ибо они звучали как пророчество:

— Голоса повторяют мне: «Терпи и покоряйся, *не страшись мученической кончины*, ибо через нее войдешь в царствие небесное».

Думала ли она при этом о костре? Едва ли. Я подумал о нем, но ей, мне кажется, представлялось мученичество долгого заключения, оковы, оскорбления. Все это несомненно было мученичеством.

Допрашивал в это время Жан де Ла Фонтэн. Он постарался извлечь из ее слов все, что было возможно:

— Раз Голоса обещают тебе рай — ты в этом уверена и не боишься попасть в ад, не так ли?

— Я верю тому, что они говорят. Я знаю, что спасусь.

— Это ответ, чреватый последствиями.

— Сознание, что я спасусь, — для меня драгоценное благо.

— Ты, очевидно, полагаешь, что после такого обещания не можешь впасть в смертный грех?

— Этого я не знаю. Моя надежда на спасение в том, что я стараюсь сдержать свой обет: блюсти чистоту своего тела и души.

— Если ты наверняка знаешь, что спасешься, зачем тебе ходить к исповеди?

Ловушка была поставлена весьма искусно, но Жанна ответила так просто и смиренно, что ловушка захлопнулась впустую:

— Заботиться о чистоте своей совести никогда не лишне.

Близился последний день нового процесса. До сих пор Жанна благополучно проходила искуc. Борьба оказалась тяжелой и утомительной для всех участников. Все средства обличить ее были испробованы, но до сих пор все они оказывались тщетны. Инквизиторы были крайне недовольны и раздражены. Однако они решили сделать еще одну попытку и потрудиться еще один день. Это было 17 марта. Уже в начале заседания Жанне была поставлена опасная ловушка:

— Согласна ли ты отдать на суд Церкви все твои слова и дела — и хорошие и дурные?

Это было ловко придумано. Жанне грозила неминуемая опасность. Если бы она неосторожно ответила «да», этим она передала бы на суд и свою миссию, а судьи уж сумели бы очернить ее. Если бы она сказала «нет», ее обвинили бы в ереси.

Но она справилась и с этим. Она четкой гранью отделила себя и свои обязанности как члена церковной паcтвы от своей божественной *миссии*. Она сказала, что преданна Церкви и христианскому вероучению; но

что касается ее миссии и дел, совершенных во исполнение ее, то их судить может один лишь бог, ибо они совершались по его велению.

Судья продолжал настаивать, чтобы она и их передала на рассмотрение Церкви. Она сказала:

— Я передам их на суд господ, который послал меня. Мне казалось, что он и его Церковь едины и что тут спорить не о чем. — Обращаясь к судье, она спросила: — Зачем вы придумываете трудности там, где их не может быть?

Жан де Ла Фонтэн поправил ее, разъяснив, что Церковь не едина. Их две: есть Церковь Торжествующая, та, что на небесах, — то есть бог, святые, ангелы и праведники; и есть Церковь Воинствующая — то есть его святейшество папа, являющийся божьим наместником, прелаты, священники и все верующие католики; эта церковь находится на земле, ею руководит святой дух, и она непогрешима.

— Ну так как же? Согласна ты отдать свои деяния на суд Воинствующей Церкви?

— Я послана к королю Франции небесным главою Торжествующей Церкви; этой Церкви я и отчитаюсь во всем, что я совершила. Для Воинствующей Церкви у меня сейчас нет другого ответа.

Суд отметил этот смелый отказ, надеясь в дальнейшем извлечь из него пользу, но сейчас эту тему пришлось оставить; и охотники погнались за своей дичью по старому следу: лесовички, видения, мужская одежда и все прочее.

На вечернем заседании проклятый епископ самостоятельно руководил допросом. Под конец один из судей спросил:

— Ты обещала монсеньеру епископу, что будешь отвечать ему, как самому папе, а между тем на некоторые вопросы ты отказываешься отвечать. Может быть, папе ты ответила бы более откровенно, чем отвечаешь епископу Бовэ? Разве ты не обязана отвечать папе, наместнику бога на земле?

И тут на судей грянул гром среди ясного неба:

— *Везите меня к папе.* Ему я отвечу все что следует.

Даже багровое лицо епископа побелело при этих словах. Если бы только Жанна знала, ах, если бы она могла знать! Она подвела такую мину под их гнусный заговор, что могла бы взорвать его ко всем чертям, а она и не догадывалась об этом. Она произнесла эти слова по наитию, не подозревая о том, какие возможности в них таятся, а объяснить ей было некому. Это мог сделать я или Маншон; и если бы она умела читать, мы, может быть, сумели бы известить ее, но на словах это было невозможно: к ней никого не подпускали достаточно близко. И вот она еще раз оказалась Победоносной Жанной д'Арк, но не признавала этого. Должно быть, она была крайне измучена долгой борьбой и изнурена болезнью — иначе она заметила бы действие, произведенное ее словами, и догадалась бы о причине.

Много она наносила мастерских ударов, но этот был самым метким. *Она воззвала к папе.* Это было ее неоспоримым правом, и если бы она стала на нем настаивать, все планы Кошона рухнули бы, словно карточный домик, и он ушел бы с судилища осмеянный, как никто из его современников. Он был смел, но не настолько, чтобы противодействовать такому требованию, если бы Жанна стала упорствовать. Но она не знала, бедняжка, какой великолепный удар она нанесла в борьбе за свою жизнь и свободу.

Франция не имела права одна представлять Церковь. А Риму незачем было губить божью посланницу. Рим судил бы ее по справедливости, — а большего ей было не нужно. Она ушла бы с суда свободной, ушла с почетом, напутствуемая благословениями.

Но этому не суждено было свершиться. Кошон поспешил отвлечь ее внимание другими вопросами и быстро закончил заседание.

Жанна медленно удалилась, влача свои цепи, а я ошеломленно повторял про себя: «Она только что произнесла спасительное слово и могла бы освободиться, а теперь она идет отсюда на смерть — я это знаю, я это чувствую. Теперь они удвоят караулы, они никого не подпустят к ней до самого приговора, чтобы кто-нибудь не подсказал ей, что ее требование надо повторить». То был самый горький для меня день за все это страшное время.

ТРЕТЬЕ СУДИЛИЩЕ КОНЧАЕТСЯ НИЧЕМ

Итак, кончился и второй суд над Жанной. Кончился, но не дал никаких определенных результатов. Как ее судили, я уже описал. Кое в чем второй суд был еще гнуснее первого: на этот раз Жанне даже не сообщили предъявляемых ей обвинений, так что она боролась вслепую. Она не имела возможности ничего обдумать заранее, не могла предвидеть, какие ловушки будут ей поставлены, и не могла к ним приготовиться. Разве не гнусно было так злоупотреблять ее беззащитным положением? Случилось, что во время этого второго суда в Руане побывал известный законовед из Нормандии, мэтр Лойэ, и я хочу привести его мнение о процессе, чтобы вы убедились, что я стараюсь быть беспристрастным и что из преданности Жанне я не преувеличиваю беззаконий, которые над ней совершали. Кошон показал Лойэ обвинительный акт и спросил его мнение. И вот что Лойэ сказал Кошону. Он сказал, что все это незаконно и недействительно — и вот почему: во-первых, потому, что суд был тайный и не обеспечивал всем присутствующим свободу высказываний; во-вторых, потому, что он затрагивал честь короля Франции, а между тем сам он не был вызван, чтобы защищаться, и никто его не представлял; в-третьих, потому, что подсудимой не сообщили, какие ей предъявлены обвинения; в-четвертых, потому, что подсудимая, несмотря на молодость и неопытность, была вынуждена сама вести свою защиту, без помощи адвоката, хотя речь шла о ее жизни.

Понравилось ли это епископу Кошону? Разумеется, нет. Он обрушил на Лойэ ужасные проклятия и угрозил его утопить. Лойэ поспешил убраться из Руана и из Франции и только этим спас свою жизнь.

Итак, как я уже сказал, вторичное разбирательство не дало определенных результатов. Но Кошон не отступался. Он мог затеять еще одно, а потом еще, и еще, если понадобится. Ему была почти обещана щедрая награда — архиепископство Руанское, — если ему

удастся сжечь на костре тело и обречь адскому огню душу этой девушки, не причинившей ему никакого зла. Ради такой награды человек, подобный епископу Бовэ, готов был сжечь и отправить в ад пятьдесят невинных девушек, а не то что одну.

На следующий день он снова взялся за дело, откровенно и цинично похваляясь, что на этот раз непременно добьется своей цели. Ему и прочим негодяям, его приспешникам, понадобилось девять дней, чтобы набрать из показаний Жанны и собственных своих измышлений достаточно материала для нового обвинения. Они составили внушительный документ из шестидесяти шести пунктов.

27 марта этот объемистый документ был доставлен в замок, и там, в присутствии десятка тщательно подобранных судей, началось новое разбирательство.

Посоветовавшись, они решили на этот раз прочесть обвинение Жанне. Может быть, они учли все, что сказал на этот счет Лойэ, а может быть, надеялись замучить ее чтением документа — оно заняло несколько дней. Было решено также, что Жанна должна ответить на каждый пункт, а если откажется, то будет признана виновной. Как видите, Кошон все время уменьшал ее шансы и все туже стягивал вокруг нее сети.

Привели Жанну, и епископ обратился к ней с речью, за которую даже ему следовало бы краснеть — так она была лицемерна и лжива. Он сказал, что в состав суда вошли благочестивые служители церкви, преисполненные к ней сочувствия и благоволения, и что они не умышляют на ее жизнь, а хотят только наставить ее на путь истины и спасти ее душу.

Это был не человек, а сущий дьявол! Подумать, что он мог так изображать себя и своих жестоких приспешников!

Но самое худшее было впереди. Помня еще одно замечание Лойэ, он имел наглость сделать Жанне предложение, которое вас наверняка удивит. Он сказал, что судьи, видя ее неопытность и неспособность разобраться в сложных и трудных вопросах, подлежащих рассмотрению, решили, движимые состраданием к ней,

позволить ей выбрать *из их числа* защитника и советчика!

Подумайте только — из числа таких, как Луазелер и подобные ему мерзавцы! Это было все равно что позволить ягненку искать защиты у волка. Жанна взглянула на него, желая убедиться, что он не шутит, и, разумеется, отказалась.

Епископ и не ждал иного ответа. Он проявил заботу о подсудимой и мог занести это в протокол — больше ему ничего не было нужно.

Потом он приказал Жанне давать точные ответы на каждый пункт обвинения и пригрозил отлучить ее от Церкви, если она не станет этого делать или замешкается с ответом дольше определенного времени. Да, он теснил ее все больше, шаг за шагом.

Томá де Курсель начал чтение нескончаемого документа, пункт за пунктом. Жанна отвечала по каждому пункту: иногда она просто отрицала, иногда ссылалась на протоколы предыдущих заседаний и просила найти там ее ответ.

Удивительный это был документ! Удивительно ярко отразилась в нем гнусность, на которую способен человек — единственное существо, похваляющееся тем, что создано по образу и подобию божью! Всякий, кто знал Жанну д'Арк, знал, что она чиста, благородна, правдива, мужественна, сострадательна, великодушна, благочестива, бескорыстна, скромна, непорочна, как полевой цветок, — возвышенная натура, великая душа. А по документу все выходило наоборот. Там не сказано ничего о том, чем она *была*; а все, чем она *не была*, описано с большими подробностями.

Послушайте некоторые из обвинений и вспомните, о ком идет речь. Она названа там лжепророчицей, пособницей нечистой силы, колдуньей, занимавшейся черной магией; она обвинялась в незнании католических догматов и в ереси; была повинна в кощунстве, идолопоклонстве и отступничестве; она хулила бога и его святых, злонамеренно возбуждала раздоры и нарушала мир; она подстрекала к войне и кровопролитию; она позабыла приличия, подобающие ее полу, надев мужское платье и занявшись солдатским ремеслом; она

обманывала короля и народ; она требовала себе божеских почестей, заставляла себе поклоняться и целовать свои руки и одежду.

Все события ее жизни были в этой бумаге извращены, искажены. В детстве она была привязана к лесовичкам; она вступилась за них, когда их изгнали из родных мест; она играла под их деревом и возле их источника, — значит, она была пособницей нечистой силы. Она подняла опозоренную Францию, побудила ее биться за свободу и повела от победы к победе, — значит, она нарушила мир — ну что ж, это верно! — и подстрекала к войне — тоже правда! Но Франция будет горда этим и благодарна ей еще много столетий. Ей поклонялись — точно она могла этому помешать, бедняжка, или была в этом повинна! Упавший духом ветеран и необстрелянный новобранец черпали отвагу в ее взгляде, прикладывали свои мечи к ее мечу и шли побеждать, — значит, она была колдуньей.

Так, шаг за шагом, обвинительный документ превращал живую воду в отраву, золото в негодный мусор, все свидетельства благородной и прекрасной жизни — в доказательства гнуснейших преступлений.

Разумеется, все шестьдесят шесть пунктов обвинения повторяли то, что уже говорилось на предыдущих процессах, — поэтому я не буду долго на них задерживаться. Жанна говорила очень мало, обычно она отвечала только: «Это неправда», *«Passez outre»*, или: «На это я уже отвечала, пусть прочтут в протоколе», или еще как-нибудь, столь же кратко.

Она не согласилась отдать свою миссию на суд земной Церкви. Отказ ее был принят к сведению и записан.

Она отвергла обвинение в идолопоклонстве и в том, будто она требовала себе божеских почестей. Она сказала:

— Если кто целовал мне руки и одежду, то не по моему желанию; напротив, я старалась этому помешать.

Она имела мужество заявить страшному трибуналу, что не считает лесовичков нечистой силой. Она знала, что говорить так опасно, но она умела говорить одну

только правду. В таких случаях она не думала об опасности. Эти слова ее также были записаны.

Она отказалась — в который уж раз! — когда ей предложили исповедаться при условии, чтобы она сняла мужскую одежду, и прибавила:

— Когда мы причащаемся святых таин, одежда наша ничего не значит в глазах господа.

Ее обвинили в том, что она упорно отказывается снять мужскую одежду даже ради того, чтобы быть допущенной к мессе. Она сказала пылко:

— Я скорей умру, нежели нарушу обет, данный господу!

Ее упрекнули в том, что она взялась за мужское дело и пренебрегла своими женскими обязанностями. Она ответила с оттенком мужественного презрения:

— На женскую работу и без меня найдется много.

Меня всякий раз радовало, когда в ней пробуждался воинский дух. Пока он в ней жив, она останется Жанной д'Арк и сумеет смело смотреть в глаза опасности.

— Как видно, миссия, которую ты, по твоим словам, получила от бога, состояла в том, чтобы воевать и проливать кровь?

На это Жанна ответила кратко, заметив, что сражение бывало у нее не первым ходом, а вторым:

— Я сначала предлагала мир. Если противник отвергал его, я давала бой.

Говоря о противнике, с которым воевала Жанна, судьи объединяли вместе англичан и бургундцев. Но она показала, что делала между ними различие и на словах, и на деле: бургундцы были все-таки французами, и относиться к ним надо было мягче, чем к англичанам. Она сказала:

— Что касается герцога Бургундского, я предлагала ему — письменно и через его собственных посланцев — помириться с нашим королем. Что до англичан, то условием мира было, чтобы они убирались из Франции и отправлялись к себе домой.

Затем она сказала, что даже с англичанами старалась избегать кровопролития и, прежде чем атаковать их, посылала предупреждения.

— Если бы они послушались меня, — сказала она, — они поступили бы разумно. — Тут она повторила свои пророческие слова и произнесла с воодушевлением: — Не пройдет семи лет, как они убедятся в этом сами.

Ей снова начали досаждают расспросами о мужской одежде и убеждать отказаться от нее. Я не обладаю особой проницательностью, и меня удивила их настойчивость в таком пустяке; я не мог понять, какая могла быть этому причина. Теперь-то мы все знаем. Мы знаем, что это был еще один коварный заговор против нее. Если бы удалось убедить ее сменить одежду, это позволило бы им подстроить Жанне гнусную ловушку, которая погубила бы ее доброе имя.

Они продолжали свое злое дело, пока она не воскликнула:

— Довольно! Без божьего соизволения я не сниму ее, хоть отрубите мне голову!

В одном пункте она внесла поправку в обвинительный акт, сказав:

— Тут говорится, что все мной сделанное я делала по указанию свыше. Этого я не говорила. Я говорила: «...все, что мною сделано *хорошо*».

Судьи выразили сомнение в ее миссии, потому что для нее была выбрана столь простая и невежественная девушка. Жанна улыбнулась. Она могла бы напомнить им, что господь не отдает предпочтения знатым и для великих дел чаще избирал своим орудием смиренных и простых людей, чем епископов и кардиналов, но она ответила проще:

— Господь волен избирать орудием своей воли кого захочет.

Ее спросили, в каких словах она испрашивала помощи свыше. Она сказала, что молитвы ее были просты и кратки. Она подняла бледное лицо вверх и произнесла, сложив закованные руки:

— Милосердный господи, молю тебя, во имя страстей твоих, смилуйся надо мною и укажи, как отвечать этим служителям церкви. Что до моей одежды, то я надела ее по твоему велению, но не ведаю, когда мне будет дозволено снять ее. Господи, вразуми и научи меня!

Ее обвинили в том, что она преступила божьи заповеди, приняв на себя власть над людьми и звание главнокомандующего. Это задело ее воинскую гордость. Она глубоко чтит служителей Церкви, но как воин невысоко ценила их мнения относительно дел чисто военных; по этому пункту она не стала даже входить в объяснения и ответила с полным хладнокровием и военной краткостью:

— Я стала главнокомандующим, чтобы побить англичан.

Смерть глядела ей в лицо — ну что ж, пускай! Ей нравилось дразнить этих французов с английской душой и видеть, как они корчатся; при каждом удобном случае она вонзала в них острое жало насмешки. Это было для нее глотком свежей воды. Она влачила свои дни в пустыне, а такие минуты были блаженными оазисами.

Ее обвинили в том, что, идя на войну вместе с мужчинами, она забыла женскую скромность. Она ответила:

— Всюду, где было можно — на всех городских квартирах, — я имела при себе женщину. В поле я всегда спала не снимая доспехов.

Ее обвинили также в том, что король даровал ей и ее родным дворянство, — следовательно, ею руководили низкие, корыстные стремления. Она ответила, что не просила этой награды у короля; он сам ее назначил.

Кончился наконец и третий процесс. И снова без всяких результатов.

Может быть, четвертый суд сломит наконец ее непокорство? Злобный епископ тотчас же принялся подготавливать его.

Он назначил комиссию, которой надлежало свести шестьдесят шесть пунктов обвинения к двенадцати основным. Эта ложь в компактной форме должна была послужить для новой попытки обвинения. Так и сделали. На это ушло несколько дней.

Тем временем Кошон посетил Жанну в темнице, вместе с Маншоном и двумя судьями — Изамбаром де Ла Пьером и Мартином Ладвеню; он хотел попытаться заставить Жанну передать вопрос о ее миссии на суд

Воинствующей Церкви — точнее, той ее части, которая была представлена им самим и его послушными пособниками.

Жанна снова решительно отказалась. У Изамбара де Ла Пьера было сердце; ему стало так жаль несчастную, затравленную девушку, что он решился на весьма смелый шаг: он предложил ей передать ее дело на Базельский собор и сказал, что в нем представлено столько же священников от ее партии, сколько от английской.

Жанна воскликнула, что с радостью предстанет перед трибуналом, составленным столь справедливо. Но не успел Изамбар ответить хоть слово, как Кошон обернулся к нему и свирепо крикнул:

— Замолчи, черт бы тебя побрал!

Маншон в свою очередь сделал смелую попытку, хотя она могла стоить ему жизни. Он спросил Кошона, надо ли заносить в протокол, что Жанна согласилась предстать перед Базельским собором.

— Нет. Незачем.

— Ах, — сказала Жанна с укоризной, — ты записываешь все, что против меня, и ничего в мою пользу

Какой горькой была эта жалоба! Она могла бы тронуть сердце дикого зверя. Но Кошон был хуже всякого зверя.

Глава XIV

ЖАННА БОРЕТСЯ ПРОТИВ «ДВЕНАДЦАТИ ЛЖИВЫХ ОБВИНЕНИЙ»

Наступил апрель. Жанна была больна. Она заболела 29 марта, на другой день после окончания третьего судилища, — ей было совсем плохо, когда произошла только что описанная мною сцена в темнице. Это было очень похоже на Кошона: попытаться воспользоваться ее болезненным состоянием.

Разберем некоторые из пунктов нового обвинительного документа, который можно назвать «Двенадцать лживых обвинений».

В первом пункте говорилось, что Жанна утверждала, будто ей обеспечено спасение души. Никогда она не говорила ничего подобного. Там было сказано также, что она отказалась подчиниться Церкви. И это тоже ложь. Она согласилась передать на суд Руанского трибунала все свои дела, кроме тех, которые совершила по божьему велению, выполняя возложенную на нее миссию: эти деяния она согласилась представить только на божий суд. Она отказалась признать Церковью Кошона и его покорных рабов, но была готова предстать пред судом папы или Базельского собора.

В одном из Двенадцати Пунктов утверждалось, будто она, по собственному признанию, угрожала смертью тем, кто ей не повиновался. Это явная ложь. Еще в одном было сказано, что она уверяла, будто все свои поступки совершала по божьему велению; в действительности она сказала: «все то, что делала *хорошо*», — эту поправку, как вы помните, она внесла сама.

Еще в одном пункте говорилось, что она называла себя непогрешимой. Никогда она так себя не называла.

Еще один пункт объявлял греховной ее мужскую одежду. Если так, то она имела на то разрешение авторитетных духовных лиц — архиепископа Реймского и всего трибунала в Пуатье.

Пункт десятый ставил ей в вину то, что она заявила о французских симпатиях св. Екатерины и св. Маргариты и о том, что они говорили на французском, а не на английском языке.

Эти Двенадцать Пунктов подлежали одобрению ученых богословов Парижского университета. К вечеру 4 апреля они были переписаны и готовы. Тут Маншон совершил еще один смелый поступок: он написал на полях, что многие из Двенадцати Пунктов приписывают Жанне нечто противоположное тому, что она говорила в действительности. Эта малость не могла иметь значения для Парижского университета; она не повлияла бы на его решение и не вызвала бы его сострадания, если университет был на него способен, — а он явно отбросил его для выполнения своей политической задачи, но все же славный Маншон поступил благородно.

На другой день, 5 апреля, документ был отправлен в Париж. В тот день в Руане царило волнение, по главным улицам ходили возбужденные толпы и все жадно ждали новостей: разнесся слух, что Жанна д'Арк лежит при смерти. Бесконечные заседания действительно измучили ее, и она захворала. Главари английской партии не на шутку встревожились: а вдруг Жанна умрет, не дождавшись церковного осуждения, и сойдет в могилу незапятнанной? Любовь и жалость народа обратят ее страдания и смерть в мученичество, и после смерти она станет во Франции еще более мощной силой, чем при жизни.

Граф Варвик и английский кардинал Винчестер поспешили в замок и послали за лекарями. Варвик был жестокий и грубый человек, чуждый сострадания. Больная девушка лежала в железной клетке, закованная в цепи, — кажется, это зрелище могло бы удерживать от жестоких слов, а Варвик при ней громко сказал лекарям:

— Смотрите, лечите ее хорошенько. Король Англии вовсе не желает, чтобы она умерла своей смертью. Он дорожит ею — ведь он за нее дорого заплатил — и не даст ей умереть иначе как на костре. Ее надо вылечить во что бы то ни стало.

Врачи спросили Жанну, отчего она заболела. Она сказала, что епископ Бовэ прислал ей рыбы, — должно быть, от нее.

Тогда Жан д'Эстивэ стал бранить ее грубыми словами. Он решил, что Жанна обвиняет епископа в попытке отравить ее, а это было ему неприятно. Он был одним из самых раболепных прислужников Кошона и не мог допустить, чтобы Жанна вредила его господину в глазах английского начальства, которое могло расправиться с Кошоном и непременно сделало бы это, если бы заподозрило, что он хочет избавить Жанну от костра, подсыпав ей яду, и таким образом лишить англичан всех выгод, которых они ждали, когда купили Жанну у герцога Бургундского.

У Жанны был сильный жар, и врачи предложили пустить ей кровь. Варвик сказал:

— Только будьте осторожны. Это такая шельма! Она того и гляди убьет себя.

Он боялся, что Жанна, чтобы избежать костра, сорвет с себя повязки и истечет кровью. Врачи все же пустили ей кровь, и ей стало легче.

Впрочем, не надолго. Жан д'Эстивэ никак не мог успокоиться — так его взбесила жалоба на отравление, которое он усмотрел в ее словах. Вечером он пришел к ней снова и до тех пор угрожал ей, пока лихорадка не возобновилась у нее с прежней силой.

Когда об этом узнал Варвик, он пришел в ярость: опять его добыча готова ускользнуть, и все из-за чрезмерного усердия какого-то дурака. Варвик осыпал д'Эстивэ отборной бранью, — отличавшейся, по мнению сведущих людей, скорее силой, чем изяществом, — и тот больше не вмешивался.

Жанна хворала более двух недель; наконец ей стало лучше. Она все еще была очень слаба, но уже могла выдержать некоторую дозу преследований без особой опасности для жизни.

Кошон тотчас об этом позаботился. Он созвал некоторых из своих богословов и снова пришел к ней в темницу. Мы с Маншоном пошли тоже, чтоб вести протокол, то есть записывать все, что могло пригодиться Кошону, и опускать все остальное.

При виде Жанны я содрогнулся. От нее осталась одна тень! Мне не верилось, что эта тщедушная, бесильно поникшая фигурка со скорбным лицом была той самой Жанной д'Арк, которая столько раз на моих глазах, полная огня и воодушевления, скакала во главе войска под градом смертоносных ядер...

Теперь, глядя на нее, у меня сжималось сердце.

Но Кошон не смягчился. Он произнес еще одну из своих речей, полных лицемерия и коварства. Он сказал Жанне, что некоторые ее показания подрывают основы религии; видя ее невежество и незнание священного писания, он привел к ней мудрых и сострадательных людей, которые могут наставить ее, если она того пожелает. Он сказал так:

— Мы — служители Церкви, и мы по долгу своему, а также и по внутреннему побуждению готовы сделать

для тебя все, что в наших силах, и радеем о спасении твоей души и твоего тела, как радели бы о самых близких или о самих себе. В этом мы лишь следуем примеру нашей святой Церкви, всегда отвергающей свои объятия тем заблудшим овцам, которые пожелали бы вернуться.

Жанна поблагодарила его за эти слова и сказала:

— Я больна и, как видно, близка к смерти. Если богу будет угодно, чтобы я умерла здесь, я прошу дать мне исповедаться и причаститься святых таин и похоронить меня в освященной земле.

Кошон сообразил, что ему представляется удобный случай: ослабев телесно, Жанна утратила страх смерти без покаяния и грядущих мук ада. Значит, теперь легче сломить ее непокорный дух. Он заговорил снова:

— Если ты хочешь причастия, ты должна подчиниться Церкви, как все добрые католики.

Он с нетерпением ждал ее ответа, но ответ показал, что она еще не сдается. Она отвернулась от него и сказала устало:

— Мне нечего больше сказать.

Кошон пришел в сильное раздражение; он угрожающе возвысил голос и сказал, что чем ближе она к смерти, тем больше должна бы стремиться искупить свои грехи; он снова отверг ее просьбу, раз она не соглашается подчиниться Церкви. Жанна сказала:

— Если я умру в тюрьме, я прошу похоронить меня в освященной земле; если же вы не захотите исполнить мою просьбу, я предаю себя в руки моего Спасителя.

Так продолжалось еще некоторое время, а потом Кошон снова грозно потребовал, чтобы она всецело подчинилась суду Церкви все свои деяния. Его угрозы и ярость были напрасны. Жанна ослабела телом, но ее дух оставался духом Жанны д'Арк. Он дал ей силы для мужественного ответа, не раз уже слышанного этими людьми и ненавистного им:

— Будь что будет, а я не скажу и не сделаю ничего иначе, чем уже говорила на суде.

Достойные священнослужители, сменяя друг друга, стали донимать ее рассуждениями, аргументами и

цитатами из священного писания и при этом постоянно держали перед ней, как приманку для ее алчущей души, причастие и пытались причастием подкупить ее: пусть отдаст свою миссию на суд Церкви, иначе говоря — на *их* суд. Как будто *они-то* и представляли Церковь! Но все было напрасно. Я мог бы предсказать им это заранее, если бы меня спросили. Но меня не спрашивали — я был человек маленький.

Они заключили беседу страшной угрозой — угрозой, которая повергает верующего католика в бездну отчаяния:

— Церковь повелевает тебе подчиниться. Если ты ослушаешься, она отступится от тебя, как от язычницы.

Быть отлученной от Церкви! Той высшей силы, которая держит в своих руках судьбу человечества; которая простирает свое могущество за пределы самых дальних созвездий, мерцающих в небе; которая имеет власть над миллионами живущих и миллиардами тех, кто с трепетом ожидает в чистилище искупления или вечной гибели! Если она благоволит к тебе — перед тобой раскрываются врата рая; стоит ей разгневаться — и ты ввергнут в неугасимый огонь ада; власть и мощь ее затмевает мощь земных владык настолько же, насколько мощь земного монарха подавляет какую-нибудь жалкую деревушку. Если от тебя отступился твой король — это означает смерть, и это немало; но быть отлученной от Рима, быть покинутой Церковью? Смерть перед этим — ничто, ибо это означает осуждение на вечную жизнь — но *какую жизнь!*

Я уже видел в своем воображении багровые волны, плещущие в безбрежном море пламени; видел, как тщетно борются с ними и погружаются в них черные сонмы погибших душ. Я знал, что задумавшейся Жанне предстала та же картина, и не сомневался, что ей придется сдаться; я даже желал этого — ведь эти люди способны были выполнить свою угрозу и обречь ее вечным мукам, — да, они были на это способны.

Но ждать этого и надеяться на это было глупостью. Ведь Жанна д'Арк была совсем особенной, непохожей на других. Верность принципу, верность истине, верность своему слову — все это было у нее в крови и

было от нее неотделимо. Она не могла изменить свою природу и отступить от этого. Она была олицетворением верности, воплощением стойкости. Во что она верила — того она держалась до конца, и самый ад не мог бы ее поколебать.

Голоса не разрешали ей подчиниться Церкви, как этого от нее требовали. Она повиновалась им и ждала своей участи.

Когда я вышел из темницы, на сердце у меня лежала свинцовая тяжесть, а она — она оставалась спокойной и безмятежной. Она выполняла то, что считала своим долгом, и этого ей было довольно. Будь что будет! Последние ее слова при этом свидании дышали безмятежностью и верой:

— Я христианкой родилась, крещена и христианкой надеюсь умереть.

Глава XV

ЖАННА НЕ СТРАШИТСЯ КОСТРА

Прошло две недели, наступило 2 мая, в воздухе потеплело, в долинах и на прогалинах расцвели полевые цветы, в лесах запели птицы; вся природа озарилась солнечным светом, у всех стало веселее на душе, ожила в мире радость и надежда. Равнина за Сеной ярко и нежно зазеленела, река струила прозрачные воды, на ней красовались одетые листвой островки, еще красивее были их отражения в светлой воде; с высокого обрыва, что повыше моста, Руан предстал во всей своей красе, радуя глаз, — самый прекрасный город под всем небесным сводом.

Когда я говорю, что все сердца радовались и ликовали, я говорю о людях вообще. Мы, друзья Жанны, не могли радоваться; не радовалась и она сама, бедняжка, запертая в хмурых стенах темницы. Как близки были щедрые лучи солнца, но для нее они были недосыгаемы; как она томилась по ним, и как безжалостно лишили ее всего этого волки в черных облачениях, замыщлявшие очернить и убить ее!

Кошон был готов продолжать свое гнусное дело. У него был теперь новый план. Надо попробовать убеждение — атаковать упорную пленницу доводами, красноречивыми проповедями искуснейших ораторов. Вот в чем заключался его план. Однако он не собирался читать ей Двенадцать Пунктов. Даже Кошон постыдился огласить эту чудовищную клевету — даже у него где-то на бесконечной глубине были запрятаны остатки стыда; и он не смог этого сделать.

В солнечный день 2 мая черная братия вновь сошлась в обширном помещении, примыкавшем к главному залу замка. Епископ Бовэ воссел на своем возвышении, а впереди него разместились шестьдесят два подчиненных ему судьи; писцы заняли свои места за столами, проповедник — на кафедре.

Вдали слышалось бряцанье цепей. Жанна вошла в сопровождении стражи и села на свою одинокую скамью. После двух недель отдыха от преследований она снова выглядела хорошо и была прекрасна.

Она огляделась и увидела человека на кафедре. Конечно, она догадалась, для чего он тут.

Речь оратора была написана заранее, и он держал ее в руке, стараясь не показывать. Рукопись была так объемиста, что походила на книгу. Он начал весьма бойко, но посреди какого-то цветистого периода память ему изменила, и ему пришлось украдкой заглянуть в рукопись, — это сильно испортило впечатление от его речи. Скоро это случилось с ним опять, а там и в третий раз. От смущения бедняга побагровел, а слушатели начали смотреть на него с сожалением, и от этого дело пошло еще хуже. Тут Жанна сделала замечание, окончательно его уничтожившее. Она сказала:

— Читай уж лучше по книжке, а потом я тебе отвечу.

Ветераны пергаментных боев рассмеялись самым жестоким образом, а у оратора был такой растерянный и беспомощный вид, что он невольно возбуждал жалость; я и сам готов был его пожалеть. Да, Жанна набралась сил во время этой передышки, и к ней вернулось присущее ей веселое лукавство. В ее последнем замечании оно было готово прорваться наружу.

Когда оратор несколько оправился от своего смущения, он поступил благоразумно: следуя совету Жанны, он больше не пытался произносить свои тирады якобы по вдохновению, а стал прямо «читать по книге». В этой речи двенадцать пунктов обвинения были сведены к шести; от них он и отправлялся.

Время от времени он останавливался и задавал вопросы, а Жанна на них отвечала. Ей разъяснили, что такое Воинствующая Церковь, и снова предложили подчиниться ей.

На это Жанна ответила то же, что и раньше.

Тогда ее спросили:

— Значит, ты считаешь, что Церковь способна заблуждаться?

— Нет, я этого не считаю; но за те мои слова и дела, которые были внушены мне господом, я отвечу ему одному.

— Значит, на земле ты не признаешь над собою судьи? Ты и святого отца нашего папу не признаешь своим судьей?

— На это я отвечать не буду. Надо мной есть милосердный владыка — господь. Перед ним я готова за все нести ответ.

Тогда раздались страшные слова:

— Если ты не подчинишься Церкви, собравшиеся здесь судьи признают тебя еретичкой и осудят на сожжение.

Вас или меня эти слова поразили бы смертельным ужасом, но в Жанне д'Арк они лишь разбудили ее львиную отвагу, и в ответе ее прозвучала та воинственная нота, которая вдохновляла ее солдат, точно боевая труба:

— Я не стану отвечать иначе, чем уже отвечала. И я готова повторить свой ответ на костре!

О, как отрадно было снова услышать воинственный тон и увидеть в ее глазах боевой огонь!

Многие из присутствующих были взволнованы; такие слова должны были взволновать всякого настоящего мужчину — будь то друг или враг. Добряк Маншон снова рискнул своей жизнью; он храбро и четко написал на полях протокола: *Superba responsio!*

Эта запись видна и сейчас, спустя шестьдесят лет, и вы можете ее прочесть.

Superba responsio! Вот именно. И этот «великолепный ответ» мы слышали из уст девятнадцатилетней девушки, когда смерть и ад уже зияли перед ней.

Разумеется, вопрос о мужской одежде обсуждался вновь и, как всегда, очень пространно; снова ее пытались подкупить обещаниями, — если она добровольно снимет ее, то будет допущена к мессе. Но она ответила, как отвечала уже не раз:

— Я готова ходить в женском платье ко всем церковным службам, если меня к ним допустят, но в темнице я снова надену мужскую одежду.

Ей стали расставлять ловушки, задавая вопросы в форме предположений. Но она всякий раз разгадывала игру и не поддавалась.

Ее спрашивали примерно так:

— Готова ли ты сделать то-то и то-то, если мы это разрешим?

Она отвечала:

— Когда вы разрешите, тогда и увидите.

Да, 2 мая Жанна была в отличном расположении духа. Она все время была настороже, и поймать ее было невозможно. Заседание длилось бесконечно долго; все старые вопросы один за другим задавались сызнова; искусный оратор истощил все средства убеждения и все свое красноречие, — а результат был обычный: бой окончился вничью. Шестьдесят два законника отступили на свои прежние позиции, а их одинокий противник удержался на своих.

Глава XVI

ЖАННА НЕ СТРАШИТСЯ ПЫТОК

Великолепная, солнечная, теплая погода радовала все сердца. Руан был настроен беззаботно и весело и готов был смеяться по малейшему поводу. Когда разнеслись слухи, что молодая узница еще раз выиграла бой с епископом Кошоном, было много смеха среди го-

рожан обеих партий, потому что епископа ненавидели все. Конечно, большинство населения, настроенное в пользу англичан, хотело увидеть Жанну на костре, но это не мешало им смеяться над ненавистным епископом. Смеяться над английским начальством или над большинством судей, пособлявших Кошону, было бы опасно; но можно было смело смеяться над Кошоном, или д'Эстиве, или Луазелером — никто бы на вас не донес.

Фамилия «Кошон» и слово «свинья»¹ произносятся одинаково — это давало отличные возможности для каламбуров, и ими, конечно, пользовались.

За два-три месяца, пока длился процесс, некоторые шутки даже поистерлись от частого употребления. Всякий раз, когда Кошон назначал новое разбирательство, люди говорили: «Свинья опять опоросилась»; а когда он терпел неудачу, они повторяли то же самое с другим значением: «Опять наша свинья барахтается в луже».

А иногда кто-нибудь осмеливался сказать, правда понизив голос:

— Шестьдесят три судьи и вся мощь Англии против одной девушки — и она уже пять раз отбивает нападение!

Кошон жил в архиепископском дворце, дворец охранялся английскими солдатами, но все равно после каждой темной ночи на стенах появлялись надписи и рисунки, показывавшие, что шутник успел побывать здесь с кистью и ведром краски. Священные стены были покрыты изображениями свиньи во всех видах — чаще всего в епископском облачении и в митре, ухарски сдвинутой набок.

Кошон семь дней бесновался в бессильной злобе, а потом придумал новый план. Сейчас я расскажу о нем; сами вы ни за что не догадаетесь — для этого надо иметь жестокое сердце.

9 мая нас с Маншоном потребовали в замок. Я собрал наши письменные принадлежности, и мы отпра-

¹ По-французски слово «свинья» — cochon (кошон).

вились. На этот раз нас привели в другую башню — не ту, где была заключена Жанна. Башня была круглая и массивная, сложенная из самого грубого и прочного камня, — пугающее и мрачное сооружение¹.

Мы вошли в круглую комнату нижнего этажа, и я с ужасом увидел палачей, державших наготове орудия пытки. Вот она — черная душа Кошона, вот доказательство, что в сердце его не было места жалости. Неужели он когда-нибудь знал материнскую ласку, неужели имел сестру?

Кошон уже был там, а с ним — главный викарий инквизиции, настоятель монастыря св. Корнелия и еще шестеро, в том числе предатель Луазелер. Вокруг была расставлена стража. Возле дыбы стоял палач с подручными в ярко-красной одежде, подобающей их кровавому ремеслу. Я представил себе, как Жанну положат на дыбу, привязав за ноги и за кисти рук, и как дюжие палачи в красном начнут крутить ворот и выворачивать ей члены из суставов. Мне уже чудился хруст костей и треск разрываемых мышц... Как могли все эти миропомазанные служители милостивого Иисуса равнодушно взирать на это?

Вскоре привели Жанну. Она увидела дыбу и палачей, и ей, должно быть, представилась та же картина, что и мне. Но вы думаете, она испугалась и задрожала? Ничуть. Она выпрямилась, и губы ее искривились презрением, но страха не было и следа.

Это было памятное заседание, но самое короткое из всех. Когда Жанна села, ей прочли краткий перечень ее «преступлений». Затем Кошон произнес торжественную речь. Он сказал, что во время процессов Жанна отказывалась отвечать на некоторые вопросы, а на другие давала лживые ответы, но что теперь он намерен добиться от нее правды, и притом всей правды.

На этот раз он держался очень уверенно: он был убежден, что нашел наконец способ сломить упорный

¹ Нижняя часть ее и доныне сохранилась в прежнем виде; верхняя надстроена позже. (*Прим. переводчика.*)

дух этой девочки и заставить её рыдать и молить о пощаде. На этот раз он не сомневался, что одержит верх и заткнет рты руанским шутникам. В этом он был похож на других людей — он не выносил насмешек. Он возвысил голос; его пятнистое лицо уже сияло злой радостью и предвкушением торжества, принимая от этого всевозможные оттенки: фиолетовые, желтые, красные, зеленоватые, а иногда даже синеватые, как у утопленника, — это было всего страшнее. В заключение он злобно крикнул:

— Вот дыба, а вот и палачи! Сейчас ты скажешь все, или мы будем тебя пытаться. Говори!

На это она ответила великими словами, которые будут жить в веках. Она произнесла их без малейшего хвастовства, благородно и спокойно:

— Я не скажу ничего, кроме того, что уже говорила, — хоть разорвите меня на части. А если и скажу что-нибудь другое, то всегда буду потом говорить, что сказала не я сама, а пытка.

Сломить ее дух было невозможно. Надо было вам видеть Кошона! Снова поражение, а этого он уж никак не ожидал. На другой день по городу говорили, что у него в кармане было заготовлено признание, которое Жанна должна была подписать. Не знаю, так ли это, но это очень вероятно. Признание, подписанное Жанной, было бы для Кошона и его сообщников особенно ценным — оно помогло бы убедить толпу.

Нет, они были не в силах сломить ее дух, помрачить ее ясный ум. Какая глубина и какая мудрость в этом ответе неопытной девушки! Найдется ли на свете десяток людей, которые понимают, что слова, вырванные у заключенного жестокими пытками, не обязательно являются истиной? А неграмотная крестьянская девушка указала на это с безошибочным чутьем. Я всегда считал, что пыткой добиваются правды, и все так считали; но простые слова Жанны, полные здравого смысла, словно озарили все ярким светом. Так иной раз вспышка молнии в полночь вдруг на мгновение показывает нам долину, изрезанную серебристыми ручьями, дома, сады и усадьбы там, где была до этого одна лишь непроглядная тьма. Маншон искоса посмотрел

на меня, и лицо его выразило крайнее удивление, то же самое я прочел и на других лицах. Все это были пожилые и ученые люди, и все-таки деревенская де-вushка сумела сказать им нечто новое для них. Я услышал, как один из них пробормотал:

— Вот необыкновенное создание! Она сейчас при-коснулась к общепризнанной истине, старой, как мир, — и та рассыпалась прахом от одного ее прикосновения. Откуда у нее эти прозрения?

Судьи начали вполголоса совещаться. По отдельным словам, которые до нас доносились, можно было судить, что Кошон и Луазелер настаивали на применении пытки, но большинство других решительно противи-лось этому.

Наконец Кошон весьма раздраженным тоном при-казал отвести Жанну обратно в темницу. Это удивило и обрадовало меня. Я не ожидал, что епископ отступит.

Возвратясь в тот вечер домой, Маншон сказал мне, отчего к Жанне не применили пытку. Для этого были две причины. Во-первых, боялись, как бы она не умерла под пыткой, а это было бы весьма невыгодно для ан-гличан. Во-вторых, пыткой ничего не надеялись достичь, раз Жанна заранее заявила, что отступится от своих слов, сказанных под пыткой. Что касается подписи под признанием, то все считали, что к этому ее не вы-нудила бы даже пытка.

И снова весь Руан смеялся и три дня повторял:

— Свинья в шестой раз опоросилась, и опять не-удачно!

А стены дворца украсились новым рисунком: свинья в митре уносит на плечах дыбу, а следом за ней идет плачущий Луазелер. За поимку неизвестных художников было обещано крупное вознаграждение, но никто на это не польстился. Даже английские часовые притворялись слепыми и не хотели замечать живопис-цев за работой.

Ярость епископа достигла предела. Особенно бесило его то, что не удалось применить пытку. Это была са-мая лучшая из его выдумок, и он не желал с нею рас-ставаться. Двенадцатого числа он созвал некоторых своих приспешников и снова потребовал пытки. Но он

не добился своего. Некоторые из судей были под впечатлением слов Жанны, другие опасались, как бы она не умерла под пыткой, третьи не верили, чтобы даже самая мучительная пытка могла заставить ее подписать ложное признание. На этом совещании присутствовало четырнадцать человек, включая самого епископа. Из них одиннадцать решительно высказались против пытки и твердо стояли на своем, несмотря на угрозы Кошона. Двое были с ним заодно и требовали пытки. Это были Луазелер и оратор — тот самый, которому Жанна посоветовала «читать по книжке», — Томá де Курсель, адвокат, прославленный своим красноречием.

К старости я научился сдерживать язык, но всякая сдержанность изменяет мне, стоит только вспомнить этих троих — Кошона, Курселя и Луазелера.

Глава XVII

НА КРАЮ ГИБЕЛИ ЖАННА ПРЕДСТАЕТ ВО ВСЕМ СВОЕМ ВЕЛИЧИИ

Еще десять дней прошли в ожидании. Именитые богословы Парижского университета, этого кладеза всякой мудрости и учености, все еще судили и редили относительно «Двенадцати лживых обвинений».

В эти десять дней у меня было мало работы, и я большую часть времени бродил по городу вместе с Ноэлем. Но эти прогулки не доставляли нам радости — так мы были удручены. Над Жанной все больше сгущались грозные тучи. Мы невольно сравнивали свою судьбу с ее судьбой; свободу и свет солнца — с цепями и мраком ее темницы; наш дружный союз — с ее одиночеством; все, что скрашивало нашу жизнь, — с ее жестокими лишениями. Она привыкла к свободе, — а теперь была лишена ее; она выросла на вольном воздухе, — а теперь была заперта день и ночь в железной клетке, как зверь. Она привыкла к свету, — а ее держали во мраке, едва позволявшем различать окружающие предметы. Она привыкла к бесконечному разнообразию

звуков, радостной музыки всякой деятельной жизни, — а сейчас слышала одни только мерные шаги часовых. Она любила беседы с товарищами, — теперь ей не с кем было перемолвиться словом. Она любила посмеяться, — но теперь этот смех умолк. Она была рождена для дружбы, для радостного и бодрого труда, движения, деятельности, — а здесь была только давящая тоска, томительное бездействие, зловещая тишина и безвыходный бесконечный круговорот тяжелых дум, изнуоряющих мозг и терзающих сердце. Да, это была смерть заживо. И вот что еще было мучительно. Страдающая женщина нуждается в сочувствии и попечении своих сестер, в тех нежных заботах, которые могут проявить лишь они одни. А Жанна за все долгие месяцы сурового заточения не видела около себя ни одной женщины. Как бы она обрадовалась женскому лицу!

Вот что вам надо представить себе, если вы хотите понять все величие Жанны д'Арк. Вот из какого ада она ежедневно, неделями и месяцами, выходила состояться в одиночку с наиболее изощренными умами Франции и разрушала самые хитроумные их планы, самые коварные заговоры, обнаруживала все их тщательно скрытые ловушки и капканы, вносила замешательство в их ряды, отбивала их атаки и выходила победительницей из каждого боя — неизменно стойкая в своей вере, неизменно верная своему идеалу, не страшась пыток, не страшась костра и отвечая тем, кто грозил ей муками ада: «Будь что будет, — а я стою на своем и не отступлю».

Да, если вы хотите постичь Жанну во всем величии ее души, во всей глубине ее мудрости и ясности ее ума, посмотрите на нее теперь, когда она в полном одиночестве ведет долгий последний бой не только с самыми изощренными умами и величайшей ученостью Франции, но и с самым гнусным обманом, самым подлым предательством и величайшей жестокостью, какие возможны в любой стране — христианской или языческой.

Мы знаем, что она показала себя великой в боях; в умении предвидеть; в любви к родине; в искусстве убеждать недовольных и примирять враждующих; в

умении распознавать в людях скрытые достоинства и способности; в образном и ярком красноречии; а более всего — в умении зажигать сердца отчаявшихся благородным энтузиазмом; превращать зайцев в героев; из трусливых рабов, которые прятались от войны, собирать полки, готовые идти на смерть с песней на устах. Все это — дела, возвышающие душу, придающие смелость руке, и сердцу, и уму; они приносят радость свершения, окрыляют и вдохновляют, даруют в награду восхищенное признание; тут душа переполняется до краев жизненной силой и отвагой; тут все способности напрягаются до предела; тут нет места усталости, унынию, апатии.

Да, Жанна д'Арк была великой всегда и во всем, но более всего — на Руанском судилище. Здесь она возвысилась над несовершенствами и слабостями человеческой природы и в самых удручающих и безнадежных условиях свершила не меньше, чем могла бы свершить, если бы огромные силы ее духа и ума нашли поддержку — если бы ей светила надежда, улыбались дружеские лица и предстоял равный и честный бой, которому дивился бы весь мир.

Глава XVIII

ОСУЖДЕНА, НО НЕ СЛОМЛЕНА

По истечении десяти дней Парижский университет вынес решение по Двенадцати Пунктам. Жанна была признана виновной по всем двенадцати; она должна отречься от своих заблуждений и покаяться или же быть предана светскому суду для наказания.

Решение Университета было, вероятно, принято еще до того, как ему прислали Двенадцать Пунктов, и, однако, для вынесения приговора ему потребовались две недели — с пятого по восемнадцатое. Мне думается, что задержка была вызвана двумя затруднениями:

1. Кто были бесы, являвшиеся Жанне в образе святых?

2. Говорили ли ее святые только на французском языке?

Университет единогласно постановил, что с Жанной беседовали злые духи, и ему надо было это доказать. Так он и сделал. Он выяснил, кто были эти духи, и в обвинительном заключении даже назвал их по именам: Велиал, Сатана и Бегемот. Это мне всегда казалось сомнительным и недостоверным, и вот по какой причине: если бы Университет доподлинно знал, что это были именно эти трое, он не преминул бы похвастать, *каким образом* это стало ему известно, и не ограничился бы одним лишь голословным утверждением. Ведь заставили же Жанну объяснять, почему она *не считает* их за бесов. Мне кажется, что это было бы логично. Позиция ученых мужей представляется мне слабой, и вот почему: они заявили, что Жанне являлись бесы в облики ангелов; всем известно, что бесы могут принимать такое обличие, и тут Университет был совершенно прав. Но дальше он впадал в противоречие: он утверждал, что *самому ему* дано распознавать природу таких видений, но не признавал этой способности за девушкой, у которой было не меньше ума в голове, чем у любого из университетских светил.

Ученым докторам надо было самим видеть этих духов, чтобы распознать их, и если Жанна была введена ими в обман, разве это не говорило за то, что и ученые в свою очередь могли ошибиться, ибо их разум и суждения, во всяком случае, не были яснее, чем у нее.

Что касается другой возможной причины затруднения и задержки, то я коснусь ее только мимоходом. Университет постановил, что Жанна кощунствовала, когда утверждала, будто ее святые говорили по-французски, а не по-английски и стояли за французов. Вот что, по-моему, смущало ученых богословов: они постановили, что Голоса исходили от сатаны и двух его собратьев; но они же постановили также, что эти Голоса не были на стороне французов, — иначе говоря, стояли за англичан; а раз за англичан, значит их надо считать уже не бесами, а ангелами. Иначе получался конфуз. Университет считался самым мудрым и уче-

ным заведением на свете и ради своей репутации желал быть последовательным. Вот почему он столько дней бился, пытаясь согласовать пункт первый, объявлявший, что Голоса исходили от дьяволов, с пунктом десятым, утверждавшим, что это были ангелы. Но от этих попыток пришлось отказаться. Выход найти не удалось. Так оно осталось и по сей день: по пункту первому Университет признал их дьяволами, а по пункту десятому — ангелами, — и этого расхождения никак не устранить.

Посланцы Университета доставили это решение в Руан, а при нем — письмо к Кошону, щедро расточавшее ему похвалы. Университет восхвалял его за усердие, с каким он стремился уличить женщину, «которая своим ядом отравила умы верующих на всем Западе», и в награду сулил ему «бессмертный венец в небесах».

Только и всего? Венец в небесах? Это что-то уж очень ненадежное, — что называется вексель без передаточной надписи. И ни слова насчет Руанского архиепископства, ради которого Кошон погубил свою душу. Венец в небесах! После всех его тяжких трудов это должно было звучать для него насмешкой. Что ему делать на небесах? У него там не нашлось бы знакомых.

19 мая в архиепископском дворце собралось пятьдесят судей, чтобы решить судьбу Жанны. Некоторые были за то, чтобы немедленно предать ее светскому суду, но большинство хотело еще раз испробовать «кроткое увещевание».

Поэтому двадцать третьего тот же состав суда собрался снова, и Жанна предстала перед ними. Руанский каноник Пьер Морис обратился к Жанне с речью в которой убеждал ее спасти свою жизнь и душу, отречься от своих заблуждений и подчиниться Церкви. Свою речь он закончил злобещей угрозой: если она будет упорствовать — это означает верную гибель ее души и, очевидно, также и тела. Но Жанна была непреклонна. Она сказала:

— Если бы меня уже осудили и я видела бы перед собой костер и палача, готового поджечь его; если бы

я была уже охвачена пламенем, — я и тогда ничего не сказала бы, кроме того, что уже говорила на суде, и с этим я умерла бы.

Воцарилось глубокое молчание, длившееся несколько минут.

Оно давило меня, точно тяжесть: я понимал, что оно предвещало. Потом Кошон торжественно и важно обратился к Пьеру Морису:

— Что ты еще имеешь сказать ей?

Каноник низко поклонился и сказал:

— Ничего, монсеньёр.

— А ты, обвиняемая, что ты имеешь еще сказать?

— Ничего.

— Тогда я объявляю заседание закрытым. Завтра будет вынесен приговор. Уведите обвиняемую.

Кажется, она ушла с гордо поднятой головой. Но я плохо видел: слезы застилали мне глаза.

Завтра — 24 мая! А ровно год назад в этот самый день она скакала по равнине во главе своего войска, ее серебряный шлем сверкал, серебристый плащ вился по ветру, белые перья трепетали, меч был поднят над головою; я видел, как она трижды атаковала бургундский лагерь и захватила его; как повернула вправо, навстречу резервному войску герцога, и здесь ринулась в последнюю атаку, какая была ей суждена. Наступила годовщина этого рокового дня — и вот что она принесла ей!

Глава XIX

НАШИ ПОСЛЕДНИЕ НАДЕЖДЫ РУШАТСЯ

Жанну признали виновной в ереси, колдовстве и всех остальных тяжких преступлениях, перечисленных в Двенадцати Пунктах. Наконец-то жизнь ее была в руках Кошона. Он мог немедленно отправить ее на костер. Труд его был как будто окончен. Новы думаете, он был удовлетворен? Как бы не так! Чего стоило бы его архиепископство, если бы народ понял, что пристрастные судьи, рабски повинувась английской плети,

несправедливо осудили и сожгли Жанну д'Арк, Освободительницу Франции? Из нее сделали бы мученицу. Дух ее восстал бы из пепла ее сожженного тела в тысячекратном могуществе и смёл бы в море английскую власть, а вместе с нею и Кошона. Нет, победа еще не была полной. Винодность Жанны надо было доказать так, чтобы все в ней убедились. Где же отыскать эти убедительные доказательства? Один лишь человек во всем мире мог их представить — сама *Жанна д'Арк*. Надо было, чтобы она сама публично осудила себя — хотя бы *по видимости*.

Но как добиться этого? Уже много недель было потрачено, чтобы заставить ее подчиниться, — и потрачено впустую. Чем же можно подействовать на нее теперь? Ей уже грозили пыткой, грозили костром, — что еще оставалось? Болезнь, смертельная усталость, вид пылающего костра — вот что оставалось.

Это был хитрый умысел. В конце концов она была все-таки девушка; должны же болезнь и изнурение ослабить ее, как всякую девушку.

Да, это было хитро задумано. Она ведь сама признала, что нестерпимые мучения на дыбе могут вырвать у нее ложное признание. Это стоило запомнить, и это запомнили.

Тогда же она сказала и другое: как только мучения кончатся, она отречется от вынужденного признания. Это также запомнили.

Как видите, она сама надоумила их, как надо поступить. Сперва истощить ее силы, потом пригрозить костром. А затем, пока она во власти страха, заставить ее подписать бумагу.

Но ведь она может потребовать, чтобы бумагу ей прочли. В этом они не посмеют ей отказать, особенно публично. А что, если во время чтения к ней снова вернется мужество? Ведь тогда она откажется подписать. Что ж, можно обойти и это затруднение. Можно прочесть ей какую-нибудь краткую и незначащую бумагу, а там незаметно подсунуть на ее место подробное, роковое для нее признание и добиться подписи обманным путем.

Оставалась еще одна трудность. Даже видимость отречения от грехов избавит ее от казни. Ее можно будет заключить в церковную тюрьму, но нельзя убить. А это не годится. Англичанам непременно нужна ее смерть. В тюрьме или на свободе — пока она жива, она опасна. Ведь она уже дважды пыталась бежать.

Но и это можно уладить. Кошон может надавать ей любых обещаний — пусть только она, в свою очередь, обязуется снять мужскую одежду. Он нарушит свои обещания и поставит ее в такое положение, чтобы она не смогла сдержать своего. А за это новое преступление ее можно отправить на костер, — костер уже будет наготове.

Итак, все ходы были обдуманы; оставалось сделать их в должном порядке — и игра будет выиграна. Уже можно было с точностью назначить день, когда самое невинное и благородное существо во Франции погибнет мучительной смертью.

Время для этого выдалось на редкость благоприятное. Дух Жанны еще не был сломлен, он по-прежнему парил высоко; но ее телесные силы за последние десять дней почти иссякли, — а ведь и сильный дух нуждается в поддержке здорового тела.

Сейчас весь мир знает, что план Кошона был именно таков, как я его изложил; но тогда мир этого не знал. Есть достоверные сведения, что Варвик и вообще английские власти, кроме высшей — кардинала Винчестерского, не были посвящены в этот план; а из французов о нем знали только Луазелер и Бонэр. Иногда я сомневаюсь даже, знали ли и они, — хотя кому же было знать, как не этим двоим?

Обычно в последнюю ночь перед казнью осужденного оставляют в покое; но, если верить слухам, несчастной Жанне было отказано даже в этой милости. К ней впустили Луазелера, и он провел с нею несколько часов, представляясь ее другом, духовником, тайным сторонником французов и ненавистником англичан и убеждая ее «сделать единственно правильное» — подчиниться Церкви, как надлежит доброй христианке; тогда она вырвется из когтей англичан и будет переведена в церковную тюрьму, где к ней при-

ставят женщин, где с ней будут хорошо обращаться. Он знал, что затрагивает ее больное место. Он знал, как мучительно для нее присутствие английских стражей — грубиянов и богохульников. Он знал, что Голоса смутно обещали ей нечто такое, что она истолковала как освобождение и возможность еще раз пойти на врагов Франции и победоносно завершить великое дело, назначенное ей небом. Была у него и другая цель: утомить и без того ослабевшее тело узницы, лишив ее сна и отдыха, чтобы наутро усталый, отуманенный мозг хуже соображал; чтобы ей труднее было устоять против уговоров, угроз и самого вида костра; труднее было бы различать ловушки и западни, которые она быстро обнаруживала, когда владела собой.

Нечего говорить, что в ту ночь мне было не до сна. И мне, и Ноэлю. Перед вечером мы пошли к главным городским воротам, надеясь на туманное пророчество Голосов, которые сулили Жанне избавление в последний час. Известие, что Жанна д'Арк наконец осуждена и что наутро ее заживо сожгут на костре, уже распространилось повсюду. К воротам стекались целые толпы; многих стража не впускала — тех, у кого были сомнительные пропуска или не было вовсе никаких. Мы с волнением вглядывались в этих людей, но ничто не указывало, что это были наши переодетые боевые товарищи, и мы не увидели среди них ни одного знакомого лица. Когда ворота наконец заперли, мы ушли, опечаленные и разочарованные сильнее, чем признавались себе даже мысленно.

Улицы были полны возбужденными людьми. Нам нелегко было пробираться среди них. Бесцельно бродя по городу, мы к полуночи очутились возле красивой церкви св. Уэна, где всюду шли приготовления. Площадь перед церковью была освещена факелами и полна народа. В толпе оставался проход, охраняемый солдатами, и по этому проходу рабочие вносили на церковный двор доски и брусья. Мы спросили, что тут строят; нам ответили:

— Помосты и костер. Разве вы не знаете, что завтра утром здесь сожгут французскую ведьму?

Мы ушли. Мы не в силах были оставаться там дольше.

На рассвете мы снова были у городских ворот — на этот раз наше измученное и разгоряченное воображение превратило надежду в полную уверенность. Мы прослышали, что настоятель аббатства Жюмьеж со всеми своими монахами собирается присутствовать при казни. Наше разыгравшееся воображение превратило этих девятьсот монахов в воинов Жанны, а настоятеля — в Ла Гира, а быть может, Дюнуа или герцога Алансонского; их впустили беспрепятственно, толпа почтительно расступилась и обнажила головы, а мы стояли затаив дыхание, со слезами радости и гордости; мы старались заглянуть под капюшоны и были готовы, если узнаем кого-нибудь, подать знак, что и мы тоже верные солдаты Жанны, жаждущие сразиться и погибнуть за ее правое дело. О, как мы были глупы! Но ведь мы были молоды, а молодость на все надеется и во все верит.

Глава XX

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Утром я приготовился выполнять свои обязанности. Нас усадили на помосте в рост человека, воздвигнутом в ограде церкви св. Уэна. Там же разместились священники, именитые горожане и некоторые из адвокатов. Поблизости был построен другой помост — побольше, устланный богатыми коврами и защищенный от солнца и дождя навесом; на нем были расставлены удобные кресла; два из них, роскошнее прочих, стояли отдельно. На одном восседал принц английского королевского дома, его высокопреосвященство кардинал Винчестерский, на другом — Кошон, епископ Бовэ. На остальных креслах сидели три епископа, викарий инквизиции, восемь аббатов и шестьдесят два монаха и благочестивых законника, недавно судившие Жанну.

Шагах в двадцати от этих помостов было еще одно возвышение — в виде усеченной каменной пирамиды в

несколько ярусов, которые служили ступенями. На ней был установлен позорный столб, а вокруг него навалены вязанки хвороста и дров. У подножья пирамиды стояли три фигуры в красном — палач и его подручные. Возле них тлела грудa головешек, уже превратившихся в угли; тут же были еще запасы дров и хвороста — целых шесть выюков, наваленные кучей почти в рост человека. Подумать только! На вид мы так хрупки, нас так легко уничтожить, — но, оказывается, легче спсепелить гранитную статую, чем человеческое тело.

При виде костра каждый мой нерв болезненно затрепетал, но глаза невольно вновь и вновь обращались к нему, — так притягивает нас все ужасное.

Вокруг помостов и костра плотной стеной, плечо к плечу, стояли английские солдаты, рослые и статные, в блестящих стальных доспехах; за ними простиралось море человеческих голов; каждое окно, каждая крыша — сколько хватал глаз — чернели зрителями.

Но при этом царило такое безмолвие и неподвижность, точно все вокруг умерло. Под стать зловещей тишине был свинцовый полумрак; солнце окуталось саваном из низких грозовых туч; над горизонтом вспыхивали бледные зарницы, и по временам глухо ворчал отдаленный гром.

Но вот молчание было нарушено. Через площадь к нам долетели отдаленные, но знакомые звуки: краткие, отрывистые слова команды. Человеческое море расступилось, и показался мерно шагавший отряд. Я радостно дрогнул. Уж не идет ли Ла Гир со своими удальцами? Нет, это не их поступь. Это шла стража, сопровождавшая осужденную. Это была Жанна д'Арк и ее конвой. Сердце мое мучительно заныло. Она была очень слаба, но ее заставили идти, чтобы она ослабела еще больше. Пройти надо было немного, всего несколько сот ярдов, — но и это трудно тому, кто долгие месяцы был закован в цепи и отвык от ходьбы. Притом еще Жанна целый год провела в холодном и сыром подземелье, а сейчас ее гнали в палящий зной, когда нечем было дышать. Она вошла в ворота шатаясь, а рядом, наклонившись к ней и что-то нашептывая ей,

пагал негодяй Луазелер. Мы узнали потом, что в то утро он снова побывал у нее в темнице, донимал ее уговорами и наставлениями, соблазняя лживыми обещаниями; он и сейчас продолжал свое дело, убеждая ее согласиться на все, что от нее потребуют, и уверяя, что тогда все будет хорошо — она будет спасена из рук англичан и найдет приют под могущественной защитой Церкви. О, негодяй с жестоким, безжалостным сердцем!

Заняв свое место на помосте, Жанна закрыла глаза, опустила голову — и так сидела, сложив руки на коленях, безразличная ко всему, желая лишь одного — покоя. Она снова была бледна, бела, как алебастровая статуя.

Каким любопытством засветились все лица в бесчисленной толпе, с какой жадностью все впились глазами в эту хрупкую девушку! И не мудрено. Они наконец видели ту, которую так хотели увидеть, — девушку, которая прославилась на всю Европу, затмив своей славой все другие имена; Жанну д'Арк — чудо своего века и всех будущих веков. На изумленных лицах людей я ясно читал их мысли: «Возможно ли? Можно ли поверить, что это маленькое создание, эта девочка, еще почти ребенок, с таким кротким, добрым, пригожим личиком, брала приступом крепости, мчалась во главе победоносного войска, одним своим дыханием развеивая английское могущество; а потом долго сражалась в одиночку с учнейшими мужами Франции — и тут снова победила бы, если бы с ней вели честный бой!» Должно быть, Кошон стал опасаться Маншона, заметив его расположение к Жанне: на его месте сидел другой протоколист, а мне и моему патрону оставалось только глядеть на происходящее.

Кажется, было сделано все возможное, чтобы измучить Жанну духовно и телесно, — но нет, оказывается еще не все: кое-что приберегли под конец. В этой удушливой жаре ее заставили выслушать длинейшее увещевание.

При первых словах проповедника она бросила на него печальный и разочарованный взгляд и тут же

снова опустила голову. Проповедник был Гийом Эрар, прославившийся своим красноречием. Темой проповеди он избрал «Двенадцать лживых обвинений». Он излил на Жанну все клеветнические вымыслы, собранные в этом сосуде с ядом; обозвал ее всеми оскорбительными именами, какие там перечислялись, и при этом все больше ярился. Но старания его были напрасны — она погрузилась в глубокую задумчивость и, казалось, ничего не слышала. Наконец он разразился следующей тирадой:

— О Франция, как ты заблуждалась! Ты всегда была обителью христианского благочестия; а ныне Карл, именующий себя твоим королем, стал еретиком и вероотступником, положившись на слова и дела низкой и презренной женщины! — Жанна подняла голову, и в ее глазах сверкнули молнии. Проповедник повернулся к ней: — Это я говорю тебе, Жанна. Твой король — вероотступник и еретик!

Себя она дала оскорблять сколько угодно; это она готова была терпеть. Но до последних минут своей жизни она не позволила сказать ни одного слова против подлого, неблагодарного короля, которому сейчас надлежало быть возле нее. Он должен был бы мечом разогнать всю эту гнусную свору и спасти самого верного, самого благородного защитника, какого когда-либо имели короли, — вот как он должен был поступить, если бы не был подлецом. Жанна, оскорбленная в своей верности, бросила проповеднику слова, которые сразу подтвердили толпе все, что они знали о неукротимом духе Жанны д'Арк:

— Клянусь своей верой! Я утверждаю и готова поклясться жизнью, что он — лучший из христиан и самый стойкий защитник веры и Церкви!

Слова эти были встречены громом рукоплесканий, очень разгневавших проповедника. Он сам давно ждал рукоплесканий, а они достались не ему. Для чего же он так старался, если награда досталась другому? Он топнул ногой и крикнул шерифу:

— Заставь ее замолчать!

В толпе раздался хохот.

Толпа не склонна уважать дюжего мужчину, который взывает к шерифу, прося защитить его от больной, измученной девушки.

Одной своей фразой Жанна достигла большего, чем проповедник всей длинной речью; он смешался и лишь с трудом смог начать снова. Но он напрасно старался, в этом не было нужды. Толпа в большинстве своем была настроена в пользу англичан. Она просто поддавалась естественному и неодолимому побуждению — приветствовать смелый и умный ответ, от кого бы он ни исходил. Толпа была на стороне проповедника; это была у нее лишь минутная причуда, не больше. Она собралась поглядеть, как будут сжигать девушку; лишь бы ей доставили это зрелище без лишних проволочек — и она останется довольна.

Наконец проповедник призвал Жанну подчиниться Церкви. Он высказал это требование с большой уверенностью; Луазелер и Бопэр внушили ему, что она измучена до крайности и не сможет дольше сопротивляться; и действительно, так казалось — стоило лишь взглянуть на нее. Но она все еще пыталась устоять и сказала устало:

— Насчет этого я уже отвечала моим судьям. Я просила передать все мои слова и дела на суд его святейшества папы — я взываю к нему, а прежде всего — к богу.

Снова она произнесла эти слова; они были подсказаны ее природной мудростью, но она не сознавала всего их значения. Они не могли спасти ее теперь, когда костер был готов и тысячи врагов окружали ее. И все же они заставили служителей церкви вздрогнуть и побледнеть, а проповедник поспешно перевел речь на другое. Не мудрено, что злодеи побледнели при этих словах Жанны. Обращение Жанны к папе лишало Кошона прав судьи и зачеркивало все, чего он добился со своими приспешниками, и все, что еще мог сделать.

Затем Жанна повторила, что в своих словах и поступках руководствовалась велениями бога. Когда была снова сделана попытка обвинить короля, а также близких к нему лиц, она воспротивилась этому и сказала:

— В моих словах и поступках не повинны ни король и никто другой. Если в них есть что дурное, я одна за это в ответе.

Ее спросили, согласна ли она отказаться от тех своих слов и дел, которые ее судьи признали греховными. Ответ ее снова вызвал смятение:

— Пусть их рассудит господь и папа.

Снова папа! Как это было некстати! Ей предлагали передать ее дело на суд Церкви, и она с готовностью согласилась — хочет передать его главе Церкви. Чего же еще можно было от нее требовать? И что делать с этим согласием, которое никак не согласуется с планом?

Встревоженные судьи шепотом начали совещаться и спорить. Наконец они выдвинули следующий, довольно неуклюжий предлог — лучшее, что им удалось придумать в столь затруднительном положении: папа чересчур далеко, да и нет надобности обращаться именно к нему, ибо здесь присутствуют судьи, облеченные достаточными полномочиями и представляющие Церковь. В другое время они сами усмехнулись бы такому своему притязанию, но только не сейчас, сейчас им было не до смеха.

Толпа начала проявлять нетерпение и громко роптать. Она устала ждать в жаре и духоте; гроза приближалась, молнии сверкали все ярче. Надо было кончать поскорее. Эрар показал Жанне заранее заготовленную бумагу и потребовал отречения.

— Отречение? Что значит «отречение»?

Она не знала этого слова. Массье объяснил. Она пыталась понять, но силы оставили ее, и она не могла уловить смысла объяснений, незнакомые слова путали ее мысли. Она воскликнула с отчаянием и мольбой:

— Я взываю к Вселенской Церкви: должна я отречься или нет?

Эрар вскричал:

— Ты немедленно отречешься — или будешь предана сожжению!

При этих страшных словах она подняла голову и впервые увидела костер и груды раскаленных углей, которые особенно зловеще пламенели в предгрозовом

сумраке. Она вскочила с места, задыхаясь, бормоча что-то невнятное и устремив на толпу растерянный взгляд, словно не понимала, где она, и думала, что все это — страшный сон.

Священники окружили ее, убеждая, умоляя подписать бумагу. Все они заговорили разом, и толпа тоже возбужденно зашумела:

— Подпиши, подпиши! — твердили священники. — Подпиши, подпиши — и ты спасешься!

А Луазелер шептал ей на ухо: «Делай, как я тебе говорю, не губи себя!»

Жанна сказала им жалобно:

— Не надо, не надо искушать меня!

Судьи присоединили свои голоса к этому хору. Даже *их* железные сердца, казалось, смягчились, и они заговорили:

— Жанна, нам жаль тебя! Отрекись от своих слов, или мы вынуждены будем исполнить над тобой приговор.

И тут, покрывая шум, с судейского возвышения раздался еще один голос — это Кошон торжественно читал смертный приговор.

Жанна не в силах была дольше бороться. Она растерянно огляделась вокруг, потом медленно опустилась на колени, склонила голову и сказала:

— Я покоряюсь.

Они не дали ей времени одуматься — они знали, что это опасно. Едва она произнесла эти слова, как Массье начал читать ей текст отречения, а она бессознательно повторяла его вслед за ним и *улыбалась*: как видно, мысли ее были далеко, в каком-нибудь счастливом краю.

Короткий, в шесть строк, документ отложили в сторону, а на его место подсунули другой, гораздо пространный. Ничего не замечая, она поставила под ним крест, робко извинившись, что не умеет писать. Секретарь английского короля взялся пособить этой беде: он стал водить ее рукой и вывел ее имя: «Жанна».

Так свершилось это гнусное преступление. Она подписала — но что же именно? Она этого не знала — зато

знали другие. Она подписала бумагу, в которой признавала себя виновной в колдовстве и сношениях с нечистой силой, во лжи, в хуле на бога и его святых, в кровожадности, в подстрекательстве к смутам, в жестоких и злых делах, внушенных дьяволом; кроме того, она обязывалась снова надеть женское платье. Были там и другие обязательства, но одного этого было довольно, чтобы ее погубить.

Луазелер протиснулся к ней и похвалил за правильное решение.

Но она вряд ли слышала — она была точно во сне.

Кошон произнес положенные слова, снимавшие с нее отлучение; ее возвращали в лоно Церкви и допускали ко всем церковным таинствам. Это она расслышала. Лицо ее выразило глубокую благодарность и преобразилось от радости.

Но радость эта была недолгой. Недрогнувшим голосом Кошон добавил:

«...Дабы она раскаялась в своих грехах и не впала в них снова, она осуждается на вечное заключение и будет питаться хлебом скорби и водою раскаяния».

Вечное заключение! Об этом она никогда не думала, на это даже не намекали ей ни Луазелер, ни другие. Луазелер прямо обещал, что «ей будет хорошо». А последними словами Эрара, когда он призывал ее отречься, вот здесь, на этом самом месте, было ясное и безоговорочное обещание: сделай это, и ты уйдешь отсюда свободной.

Несколько мгновений она стояла ошеломленная и безмолвная, потом с облегчением вспомнила, что — опять-таки согласно обещанию, на этот раз самого Кошона, — она хотя бы будет узницей Церкви, и к ней приставят женщин вместо грубых иноземных солдат. Она повернулась к священникам и сказала с печальной покорностью:

— Ведите меня в вашу темницу, божьи слуги, и не оставляйте в руках англичан, — и, приподняв свои цепи, она приготовилась идти.

Но тут послышался насмешливый хохот Кошона и жестокие слова:

— Уведите ее туда, откуда привели!

Бедное, обманутое дитя! Она стояла убитая, уничтоженная! Ей солгали, ее обманули, предали — теперь она поняла это.

В тишине раздался треск барабанов, и она на миг вспомнила о чудесном избавлении, обещанном ей Голосами, — я прочел это на ее просиявшем лице; потом она увидела, что это ее тюремная стража, — свет на ее лице погас и уже более не появлялся. Она стала тихо раскачиваться взад и вперед, как бывает при нестерпимых страданиях, разрывающих сердце, и ушла, закрыв лицо руками и горько рыдая.

Глава XXI

КАЗНЬ ОТСРОЧЕНА ДЛЯ НОВЫХ ПЫТОК

Трудно сказать с точностью, кто еще в Руане, кроме кардинала Винчестерского, был посвящен в тайну игры, которую вел Кошон. Может поэтому вообразить изумление толпы и духовенства, собравшегося на помостах, когда Жанну д'Арк увели живой и невредимой, когда она все-таки спаслась от них, после того как их напрасно и долго томили ожиданием.

Некоторое время никто не двигался и не говорил — так велико было всеобщее изумление, так не верилось, что костер был приготовлен напрасно, а жертва ускользнула. За этим последовал общий взрыв ярости: раздались проклятия, обвинения в предательстве, полетели даже камни; один из них едва не убил кардинала Винчестерского — так близко он пролетел возле его головы. Бросивший его человек был неповинен в промахе — он был чересчур возбужден, а в таком состоянии редко удается попасть в цель. Шум и смятение были велики. Один из капелланов кардинала настолько забылся, что оскорбил самого епископа Бовэ; потрясая кулаками перед самым его носом, он крикнул:

— Клянусь богом, ты изменник!

— Лжешь! — отвечал епископ.

Это он-то изменник? Вот уж нет! Этого обвинения со стороны англичан он заслуживал меньше любого другого француза.

Граф Варвик тоже вышел из себя. Он был храбрый вояка, но по части уловок и плутней не отличался особой проницательностью. Свое негодование он выразил с солдатской прямотой: он заявил, что король английский изменнически обманут, а Жанну д'Арк хитростью избавили от костра. Но ему шепнули утешительные слова:

— Не тревожьтесь, милорд, скоро она снова будет в наших руках.

Возможно, что эти вести облетели собравшихся, — ведь приятные вести распространяются так же быстро, как и дурные. Как бы то ни было, ропот смолк, и огромная толпа стала расходиться. Наступил полдень рокового дня — четверга, 24 мая.

Мы с Ноэлем были счастливы — так счастливы, что этого не выразить словами; ведь мы тоже не были посвящены в тайну. Жизнь Жанны была спасена — этого было для нас довольно. Франция услышит о сегодняшнем позорном деянии — и тогда берегитесь! Ее доблестные сыны тысячами и десятками тысяч соберутся под боевые знамена, и ярость их будет подобна ярости океана в бурю; они ринутся на проклятый город, точно неудержимый океанский прилив, и Жанна д'Арк будет освобождена! Каких-нибудь шесть-семь дней — одна неделя — и благодарная Франция в праведном гневе, с грохотом постучит в ворота! Так будем же считать часы, минуты и секунды! О, счастливый, о, благословенный день! Как сердца наши пели у нас в груди!

А все потому, что мы были молоды; да, очень молоды.

Вы думаете, измученной пленнице дали отдохнуть и уснуть, когда она из последних сил дотацилась до своей темницы?

Нет, для нее не было покоя, пока кровожадные псы гнались по ее следам. Кошон и несколько его приспешников тотчас последовали за нею; они застали ее в полном телесном и душевном изнеможении. Они

напомнили ей, что она отреклась и дала при этом некоторые обещания — например, надеть женское платье, — и если она этого не выполнит, Церковь отвергнет ее уже навсегда и бесповоротно. Она слышала их, но не понимала. Точно человек, выпивший сонного зелья, она жаждала только одного: уснуть, отдохнуть, остаться одной. Почти не сознавая, что делает, она выполнила все требования своих мучителей и надела платье, принесенное Кошоном и его свитой; когда она потом пришла в себя, она сперва не могла припомнить, когда и как это произошло.

Кошон удалился довольный и счастливый: Жанна беспрекословно облачилась в женское платье; она получила официальное предостережение насчет того, что ее ожидает, если она снова провинится. Это было сделано при свидетелях. Что могло быть лучше?

А что, если она *ни в чем* не провинится?

Тогда ее надо вынудить к этому.

Должно быть, Кошон намекнул английским стражникам, что отныне они могут безнаказанно глумиться над узницей — власти не будут этого замечать. Должно быть так, потому что стража тотчас привела это в исполнение, а власти ничего не заметили. С этого дня жизнь Жанны в темнице стала невыносимой. Не требуйте от меня подробностей. Я не в силах об этом писать.

Глава XXII

ЖАННА ДАЕТ РОКОВОЙ ОТВЕТ

Пятница и суббота были счастливыми днями для меня и Ноэля. Мы были полны нашей великолепной мечтой о Франции, которая пробуждается — встряхивает гривой — выступает в поход — приближается к Руану — предает все огню и освобождает Жанну! Головы наши пылали, мы обезумели от восторга и гордости. Как я уже говорил, мы были очень молоды.

Нам ничего не было известно о том, что произошло накануне вечером в темнице. Мы полагали, что, раз

Жанна отрелась и снова принята в лоно милосердной Церкви, с ней теперь обходятся хорошо, и заключение облегчено ей, насколько возможно. Успокоенные и довольные, мы строили планы, мечтали участвовать в ее освобождении и в течение этих двух блаженных дней были счастливы, как не бывали уже давно.

Наступило воскресное утро. Я прерснулся, радуясь мягкой погоде, и принялся мечтать. О чем? Ну разумеется о предстоящем освобождении Жанны! Я не мог думать ни о чем другом. Я был поглощен этой мыслью и упивался ею.

Вдруг с улицы донесся голос; когда он приблизился, я различил слова:

— *Жанна д'Арк снова впала в ересь! Теперь уж конец проклятой колдунье!*

Сердце мое замерло, и кровь застыла в жилах. С тех пор прошло шестьдесят с лишком лет, а этот торжествующий голос звучит в моей памяти так же ясно, как прозвучал в моих ушах в то давно минувшее летнее утро. Так странно мы созданы: счастливые воспоминания исчезают без следа; остаются лишь те, что разрывают нам сердце.

Скоро крик был подхвачен другими голосами — десятками и сотнями голосов. Казалось, что злорадные выкрики наполняют собой все вокруг. Послышались и другие звуки: топот бегущих ног, веселые поздравления, взрывы грубого хохота, бой барабанов, отдаленный грохот победной и благодарственной музыки, осквернявшей святость воскресного дня.

Около полудня нас с Маншоном потребовали в темницу — требовал сам Кошон. Но к тому времени англичанам и их солдатам снова почудился обман, и весь город пришел в раздражение. Это было видно нам из окон — всюду поднятые кулаки, хмурые, злые лица, бурливые потоки возбужденных людей.

Оказалось, что в замке дела обстояли очень плохо: там собралась большая толпа, считавшая слухи о новых провинностях Жанны поповской уловкой. В толпе было много подвыпивших английских солдат. Они скоро перешли от слов к делу и схватили нескольких

священников, пытавшихся войти в замок; спасти их удалось лишь с большим трудом.

Поэтому Маншон отказался идти. Он заявил, что не двинется с места, пока Варвик не обеспечит нам безопасность. На следующее утро Варвик прислал охрану, и мы пошли. Возбуждение все нарастало. Солдаты защитили нас от телесных увечий, но пока мы пробирались в замок, нам досталось немало оскорблений и брани. Я все сносил терпеливо и думал с тайным удовлетворением: «Погодите, ребята, дня через четыре вы запоете по-другому. Вот когда я вас послушаю!»

Я уже считал их за мертвых. Много ли их уцелеет, когда подспеют наши избавители? Наверняка не много; палачу останется работы на каких-нибудь полчаса.

Слухи сказались верными. Жанна нарушила свои обязательства. Она снова сидела перед нами в цепях, и снова в мужском платье.

Она никого не обвиняла. Такова уж она была всегда. Не в ее обычае было сваливать вину на слуг за то, что они исполняли приказания господ; ум ее снова проявился, и она понимала, что мерзкий обман, учиненный над нею накануне утром, не был делом подчиненных, а делом самого хозяина — Кошона.

А случилось вот что. Ранним утром в воскресенье, пока Жанна спала, один из часовых украл ее женское платье и положил на его место мужское. Проснувшись, она попросила женское платье, но часовые отказались его отдать. Она настаивала, говорила, что ей запрещено носить мужскую одежду. Они не отдавали. Ей надо было во что-то одеться из чувства стыдливости. К тому же она увидела, что ей все равно не отстоять свою жизнь, если против нее пущено в ход такое вероломство. И она надела запрещенную одежду, отлично зная, чем это кончится. Бедняжка, она устала бороться.

Мы вошли к ней вслед за Кошоном, викарием инквизиции и еще несколькими — всего человек шесть — восемь; увидев Жанну измученной, удрученной и по-прежнему в цепях, когда я ожидал увидеть ее в совершенно иной обстановке, я не знал, что и подумать. Я был потрясен. До тех пор мне не верилось, что

Жанну вновь обвинили, — то есть я, может быть, и верил, но по-настоящему еще не признавал этого.

Победа Кошона была полной. Раздраженное, озабоченное и кислое выражение, в последнее время не сходившее с его лица, сменилось безмятежным довольством. Его багровая физиономия выражала злорадное торжество. Волоча свою длинную мантию, он с важностью приблизился к Жанне и долго стоял, расставив ноги, наслаждаясь видом своей несчастной жертвы, доставившей ему высокое положение в Церкви, на службе кроткого и милосердного Иисуса, господя нашего и Спасителя... если только англичане сдержат данное ему обещание; сам-то он никогда не выполнял своих.

Судьи принялись допрашивать Жанну. Один из них, по имени Маргери, человек наблюдательный, но неосторожный, заметил смену одежды и сказал:

— Тут что-то неладно. Как же она могла взять эту одежду без постороннего вмешательства? А может, и хуже?

— Тысяча чертей! — яростно взревел Кошон. — Придержи язык!

— Арманьяк! Изменник! — закричали стражники и направили на Маргери острия своих пик. Они едва не закололи его на месте, и после этого бедняга больше уже не пытался вмешиваться в допрос. Другие судьи продолжали:

— Почему ты снова надела мужскую одежду?

Я плохо расслышал ее ответ — как раз в эту минуту один из солдат уронил свою алебарду, и она с грохотом упала на каменный пол, но, кажется, Жанна сказала, что сделала это по собственной воле.

— Но ведь ты обещала и клялась, что больше ее не наденешь.

Я с волнением ждал ее ответа, и он оказался таков, какого я ожидал. Она произнесла спокойно:

— Я не думала и не намеревалась давать такой клятвы.

Так я и знал. В четверг, на помосте, она не признавала, что говорит и что делает; ее теперешний ответ подтверждал мою догадку. Потом она добавила:

— Но я все равно имела право снова надеть ее, потому что вы сами не сдержали слова; ведь вы обещали допустить меня к мессе и к причастию и снять с меня эти цепи, — а они все еще на мне, как видите.

— Однако ж ты отреклась от своих еретических заблуждений и особо обязалась никогда больше не надевать мужскую одежду.

Жанна с тоской протянула к этим бесчувственным людям свои закованные руки и сказала:

— Легче умереть, чем жить так дальше. Но если бы с меня сняли оковы и дали помолиться в церкви и причаститься, если б меня перевели в церковную тюрьму и приставили ко мне женщину, я бы во всем стала вас слушаться и все делать, как вы скажете.

Кошон насмешливо фыркнул в ответ. Выполнить данные ей обещания? Это еще зачем? Обещания были хороши, пока из них можно было извлекать выгоду и склонять ее к уступкам. Теперь они уже сослужили свою службу — надо придумать что-нибудь более новое и действенное. Жанна надела мужское платье; этого, пожалуй бы, и довольно, но нельзя ли еще как-нибудь ввести ее в грех, чтобы было верней? И Кошон спросил ее, не беседовали ли с ней Голоса после четверга, при этом он напомнил ей об ее отречении.

— Да, — ответила она.

Оказалось, что Голоса говорили с ней об ее отречении, и я думаю, что именно от них она и узнала про него. Она вновь подтвердила, что верит в свою небесную миссию, с невинным видом человека, который и не подозревает, что уже отрекался от этих самых слов. Я еще раз убедился, что в то утро, на помосте, она поставила свою подпись бессознательно. Наконец она сказала:

— Голоса сказали мне, что я поступила очень дурно, признав себя виновной. — Она вздохнула и просто душно добавила: — Меня вынудил к этому страх перед костром.

Так и есть: страх при виде костра заставил ее подписать бумагу, содержания которой она тогда не поняла, — а поняла позже, благодаря Голосам и из слов своих гонителей.

Сейчас она была в здравом уме и менее измучена. К ней снова вернулось мужество, а с ним — врожденная правдивость. Она снова спокойно и смело говорила правду, хоть и знала, что этим предает свое тело огню, которого так страшилась.

Ответ ее был обстоятельным и откровенным. Она ничего не пыталась смягчить или утаить. Я содрогался: ведь она произносила себе смертный приговор. Это же думал и бедный Маншон. В этом месте протокола он написал на полях:

RESPONSIO MORTIFERA. — *Роковой ответ.*

Все присутствующие понимали это. Наступило молчание, какое бывает у постели умирающего, когда его близкие прислушиваются, затаив дыхание, и шепчут друг другу: «Кончено».

Да, все было кончено. Но Кошон, желая упрочить свою победу, задал еще такой вопрос:

— А ты все еще веришь, что твои Голоса принадлежат святой Маргарите и святой Екатерине?

— Да, их посылает ко мне господь.

— А ведь тогда, на площади, ты все отрицала.

Тут она ясно и прямо заявила, что никогда не имела намерения это отрицать, а если — я отметил это «если» — на площади она что-то отрицала и от чего-то отступалась, то это было неправдой и было вынуждено у нее боязнью костра.

Вот видите — опять то же. Она не понимала, что делала; ей всё уж потом растолковали Голоса и эти люди.

Затем она положила конец тяжелой сцене, произнеся следующие слова, в которых звучала бесконечная усталость:

— Пусть бы уж меня покарали сразу. Дайте мне умереть. Я больше не в силах выносить заточение.

Дух, рожденный для солнца и свободы, так томился, что любое избавление было для него желанным, даже такое.

Некоторые из судей ушли смущенные и опечаленные; другие — отнюдь нет. Во дворе замка граф Варвик с пятьюдесятью англичанами нетерпеливо ожидал из-

вестий. Завидев их, Кошон крикнул им со смехом — да, он только что загубил беззащитное создание и *может смеяться*:

— Не тревожьтесь, с ней покончено!

Глава XXIII

ЧАС БЛИЗИТСЯ

В молодости мы легко впадаем в отчаяние — так было со мной и Ноэлем. Но зато и надежда легко воскресает в юных сердцах — так было и с нами. Мы снова вспомнили неясное обещание Голосов и повторяли друг другу, что избавление было обещано «в последний миг»; тогда он еще не наступил, но теперь уж наверняка наступил, теперь-то и придет избавление: подоспеет король, подоспеет Ла Гир, а с ним наши старые боевые товарищи, а за ними — вся Франция! Мы снова повеселели, и нам уже слышался бодрящий звон стали, боевые кличи и шум схватки; нашему воображению уже рисовалась пленница на свободе, без оков, с мечом в руке.

Но этой мечте не суждено было сбыться. Поздно вечером вернулся Маншон и сказал:

— Я только что из темницы. У меня есть к тебе поручение от несчастной девушки.

Поручение ко мне! Если бы он наблюдал за мной, я, вероятно, выдал бы себя, — он увидел бы, что мое равнодушие к судьбе узницы было притворным: я был застигнут врасплох и так взволнован, так тронут оказанной мне честью, что мои чувства, вероятно, отразились у меня на лице.

— Поручение ко мне, ваше преподобие?

— Да. У нее есть до тебя просьба. Она сказала, что заметила моего писца, то есть тебя, и что у тебя доброе лицо, — не окажешь ли ты ей услугу? Я поручился, что ты не откажешь, и спросил, в чем дело. Она сказала, что хочет просить тебя написать письмо ее матери. Я сказал, что ты, конечно, напишешь; что я и

сам охотно это сделаю. Но она ответила: «Нет, вы и без того обременены хлопотами, а молодому человеку нетрудно оказать эту услугу неграмотной, которая не умеет писать». Я уже хотел послать за тобой, и она просияла. Бедное, одинокое дитя, можно подумать, что ей обещали свидание с другом! Но мне не разрешили. Я долго добивался, но сейчас там очень строго, и вход воспрещен всем, кроме должностных лиц. Как и вначале, к ней не допускают никого из посторонних. Я вернулся и сказал ей об этом; она вздохнула и опять запечалилась. Вот что она просит тебя написать матери... слова какие-то странные и непонятные, но она сказала, что мать поймет. Ты должен написать ее родным и землякам, что она любит их всем сердцем, но чтобы они ни на что не надеялись, потому что нынешней ночью ей опять являлось в видении Дерево, и это уже третий раз за год.

— Да, непонятно!

— Правда, непонятно? Но она именно так просила передать — говорит, что родители все поймут. Потом она глубоко задумалась и стала шевелить губами; я разобрал несколько слов. Она их повторила несколько раз, и казалось, находила в них утешение. Их я тоже записал, думая, что они как-нибудь связаны с ее письмом и тоже пригодятся; но нет — это какие-то обрывки, случайно возникшие в ее усталой голове. По-моему, они ничего не значат, во всяком случае к письму они не относятся.

Я взял у него листок и прочел то, что ожидал прочесть:

В годину бед, в краю чужом
Явись нам, старый друг.

Последняя надежда исчезла. Теперь я это знал. Я понял, что письмо Жанны предназначалось не только ее родным, но и мне с Ноэлем; Жанна хотела уничтожить у нас напрасные надежды и сама подготовить нас к удару; это был приказ нам, ее солдатам: снести испытание, как подобает нам и ей; смириться перед божьей волей и в этом найти утешение. Это было похоже на нее — она всегда думала о других, а не

о себе. Да, она печалилась о нас, она вспомнила о нас, смиреннейших из ее слуг, она пыталась смягчить наше горе, облегчить нам бремя скорби, — а сама пила в то время горькую чашу и шла Долиной Смертных Теней.

Я написал это письмо. Вы поймете, чего мне это стоило. Я написал его тем самым деревянным стилосом, которым когда-то занес на пергамент первые слова, продиктованные Жанной д'Арк, — ее требование к англичанам, чтобы они уходили из Франции. То было два года назад, ей было тогда семнадцать лет. Теперь я написал этим стилосом последние слова, которые ей суждено было продиктовать. Потом я сломал его. Перо, служившее Жанне д'Арк, не должно было служить после нее никому на земле, — это было бы профанацией.

На следующий день, 29 мая, Кошон созвал своих приспешников. Их собралось сорок два. Предположим, ради их чести, что остальные двадцать постыдились прийти. Собравшиеся объявили Жанну клятвопреступницей и постановили выдать ее светскому суду. Кошон выразил им одобрение. Затем он распорядился, чтобы Жанну на следующее утро доставили на так называемый Старый Рынок и передали светским судьям, а те отдадут ее в руки палача. Это значило, что она тут же будет сожжена.

Весь день и весь вечер вторника 29 мая это известие распространялось дальше и дальше, и окрестные жители стекались в Руан поглядеть на страшное зрелище — по крайней мере все те, кто мог доказать англичанам свою благонадежность и надеялся, что его впустят. Толпа на улицах становилась все гуще, возбуждение росло. Сейчас снова было заметно то, что нередко наблюдалось и раньше: многие в душе жалели Жанну. Эта жалость проявлялась всякий раз, когда ей грозила опасность; вот и сейчас на многих лицах читалась безмолвная печаль.

На другой день, в среду, рано утром, Мартин Ладвеню и еще один монах пошли приготовить Жанну к смерти; пошли и мы с Маншоном, — тяжкая обязанность для меня! Мы прошли темными извилистыми

коридорами, все дальше углубляясь в сердце каменной громады, и наконец увидели Жанну. Она нас не заметила. Она сидела сложив руки на коленях, опустив голову, и лицо ее было очень печально. Трудно сказать, о чем она думала. О родном доме, о мирных лугах, о друзьях, которых ей не суждено было больше видеть? О своих страданиях, о жестокостях, которым ее подвергали? Или, быть может, о смерти, которую она призывала и которая была теперь так близка? Или о том, *какая* смерть ей уготована? Я надеюсь, что не об этом.

Именно эта смерть внушала ей несказанный ужас. Я думаю, она так боялась ее, что усилием своей могучей воли отгоняла от себя эту мысль и уповала на бога — он сжалятся и пошлет ей более легкий конец. Страшная весть, которую мы ей принесли, могла оказаться для нее неожиданной.

Некоторое время мы стояли молча; она все еще не замечала нас, погруженная в свои скорбные думы. Наконец Мартин Ладвеню тихо проговорил:

— Жанна!

Она подняла глаза, слегка вздрогнув, слабо улыбнулась и сказала:

— Говори. Что тебе поручено объявить мне?

— Мужайся, бедное мое дитя. Ты сможешь выслушать нас спокойно?

— Да, — сказала она тихо и снова поникла.

— Я пришел приготовить тебя к смерти.

Легкая дрожь прошла по ее исхудавшему телу. Наступило молчание. В тишине нам было слышно собственное дыхание. Потом она спросила все так же тихо:

— Когда?

В эту минуту до нас донеслись глухие удары колокола.

— Сейчас. Время уже настало.

Она снова задрожала.

— Как скоро! О, как скоро!

Снова наступило долгое молчание. Теперь в него врывался отдаленный звон колокола, и мы слушали его молча, не двигаясь.

— Какая смерть меня ждет?

— Костер.

— О, я это знала, знала!

Она вскочила как безумная, схватилась за голову и так тоскливо заметалась, так жалобно зарыдала! Поворачиваясь то к одному, то к другому из нас, она с мольбой вглядывалась в наши лица, ища помощи, участия, бедняжка! Она — которая никогда не отказывала в сострадании ни одному живому существу, даже раненому врагу на поле боя.

— О, как жестоко, как жестоко! Неужели мое тело, которое я блюла в такой чистоте, должно сегодня стогреть, обратиться в пепел? Пусть бы мне лучше семь раз отрубили голову, чем эта лютая казнь! Ведь меня обещали перевести в церковную тюрьму, если я покорюсь... А если бы я была там, а не в руках врагов, меня не постигла бы эта ужасная судьба. О праведный боже! Ты все видишь! Ты видишь, как несправедливо со мной поступили!

Никто из присутствующих не мог этого вынести. Все отвернулись, и по всем лицам потекли слезы. Я упал к ее ногам. Но в этот миг она подумала только о том, как это для меня опасно; она наклонилась ко мне и шепнула: «Встань! Не губи себя, добрая душа. Воздай тебе бог!» — И она быстро сжала мне руку. Моя рука была последней, которую она пожала на земле. Никто не видел этого; история об этом не знает и не рассказывает, но все было так, как я говорю. Она увидела входящего Кошона и подошла к нему, говоря:

— Епископ, ведь это ты посылаешь меня на смерть!

Он не устыдился и не был растроган. Он сказал вкрадчиво:

— Смирись со своей участью, Жанна. Ты умираешь потому, что не сдержала своих обещаний и снова впала в грех.

— Увы! — сказала она. — Если бы ты поместил меня в церковную тюрьму и приставил ко мне порядочных стражей, как обещал, этого не случилось бы. За это ты ответишь перед богом.

Кошон слегка вздрогнул. Самодовольная улыбка исчезла с его лица. Он повернулся и вышел.

Жанна стояла задумавшись. Она стала спокойнее; по временам она вытирала глаза и вздрагивала от рыданий, но они постепенно стихали и становились реже. Она подняла глаза, увидела Пьера Мориса, который пришел вместе с епископом, и спросила:

— Мэтр Пьер, где я буду нынче вечером?

— Разве ты не уповаешь на милость божью?

— Да, я надеюсь, что по его милосердию буду на небесах.

Мартин Ладвеню исповедал ее, и она попросила дать ей причастие. Но как допустить к причастию ту, которая была публично отринута Церковью и имела теперь не больше прав на церковные таинства, чем некрещеная язычница? Монах не решился исполнить ее просьбу и послал спросить Кошона, как ему поступить. Для того все законы, земные и небесные, были одинаково безразличны; он не уважал ни те, ни другие. Он приказал дать Жанне все, что она пожелает. Быть может, ее последние слова, обращенные к нему, испугали его, хотя и не смягчили его сердца, — сердца-то у него не было.

И вот святые дары принесли этой бедной душе, так жаждавшей их все долгие месяцы. Это была торжественная минута. Пока мы находились в ее темнице, дворы замка наполнились толпами простого народа; стало известно, что происходит в камере Жанны, и народ собрался, опечаленный и умиленный, — а зачем собрался, он не знал и сам. Мы ничего этого не видели. Снаружи, за стенами замка, собрались еще толпы городской бедноты. Когда мимо них в темницу прошла процессия со святыми дарами, все стали на колени и молились за Жанну, а многие плакали; когда же в темнице начался обряд причащения, до нас донеслись издалека трогательные звуки — это невидимый народ пел отходную отлетающей душе.

Страх перед огненной смертью оставил Жанну д'Арк и вернулся к ней потом лишь на один краткий миг, — он сменился спокойствием и мужеством, которые уже не покидали ее до конца.

ЖАННА — МУЧЕНИЦА

В девять часов Орлеанская Дева, Освободительница Франции, юная, прелестная и невинная, вышла из темницы, чтобы отдать свою жизнь за родину, которую любила так беззаветно, и за короля, который покинул ее на произвол судьбы. Ее посадили в повозку, в которой возили преступников. Кое в чем с ней обошлись даже хуже, чем с преступниками: ее еще только предстояло предать светскому суду, а ей уже надели на голову высокий колпак в виде митры, на котором было написано:

**ЕРЕТИЧКА — КЛЯТВОПРЕСТУПНИЦА —
ВЕРООТСТУПНИЦА — ИДОЛОПОКЛОННИЦА**

Вместе с нею в повозку сел монах Мартин Ладвеню и мэтр Жан Массье. В длинных белых одеждах она была прекрасна юной девической красотой. Когда она вышла из мрака на солнечный свет и еще стояла под темными сводами темницы, толпы простого народа воскликнули: «Видение! Небесное видение!» — и упали на колени, молясь; многие женщины плакали. В толпе снова запели трогательную молитву за умирающих; пение росло и ширилось; волны торжественных звуков сопровождали осужденную, утешая и благословляя ее на всем ее скорбном пути к месту казни: «Иисусе, смилуйся над ней! Святая мученица Маргарита, смилуйся над ней! Святые архангелы и блаженные мученики, молитесь бога о ней! Не оставь ее, боже, своею благодатью. Милосердный боже, спаси ее и помилуй!»

Верно сказано в одной из исторических книг: «Бедняки ничего не могли дать Жанне д'Арк, кроме своих молитв, но можно надеяться, что их молитвы дошли. История не много знает таких трогательных зрелищ, как плачущая, молящаяся, беспомощная толпа, с зажженными свечами, преклонившая колени возле стен старой крепости-темницы».

Так было на всем пути: многие тысячи людей стояли на коленях, и далеко вокруг все было густо усеяно бледно-желтыми огоньками свечей, точно поле золотых цветов.

Но были и такие, что не становились на колени. Это были английские солдаты. Они стояли плотными рядами по обе стороны пути, а за этими живыми стенами стоял на коленях народ.

Вдруг обезумевший человек в одежде священника, громко рыдая, прорвался сквозь толпу и сквозь ограду из солдат, бросился на колени перед повозкой, с мольбою простер руки к Жанне и закричал:

— О, прости, прости меня!

Это был Луазелер.

И Жанна простила его — простила от всего сердца, знавшего одно лишь прощение, одно лишь милосердие ко всем страждущим, каковы бы ни были их грехи. Она ни единым словом не упрекнула негодея, который день за днем, лицемерно и коварно заманивал ее в смертельную западню.

Солдаты хотели его убить, но граф Варвик спас его. Что случилось с ним потом — неизвестно. Он скрылся от мира и где-нибудь в уединении терзался угрызениями совести.

На площади Старого Рынка были воздвигнуты те же два помоста и костер, которые были уже однажды приготовлены в ограде церкви св. Уэна. Как и в первый раз, на одном из помостов поместили Жанну и ее судей, на другом — высоких особ во главе с Кошоном и кардиналом Винчестерским. Площадь была заполнена народом, окна и крыши окружающих зданий были черны от людских голов.

Когда приготовления были закончены, всякий шум и движение стихли и воцарилась торжественная тишина.

По приказанию Кошона священник по имени Николя Миди произнес проповедь, в которой объяснил, что когда одна из ветвей лозы, — под лозой разумелась Церковь, — бывает поражена болезнью, ее надлежит отсечь, иначе она может заразить всю лозу. Он доказал, что Жанна и ее преступные деяния представляли

погибельную угрозу для чистоты и святости Церкви, и смерть ее была, таким образом, необходимой. Окончив свою речь, он повернулся к ней и произнес:

— Жанна, Церковь лишает тебя своего покровительства. Ступай с миром.

Жанну посадили отдельно, чтобы показать, что Церковь действительно отреклась от нее; она сидела в полном одиночестве, терпеливо и покорно дожидаясь конца. Теперь к ней обратился Кошон. Ему советовали прочесть ей бумагу с ее отречением, и он взял ее с собою, но передумал, опасаясь, как бы она не сказала всю правду, — а именно: что она ни от чего сознательно не отрекалась, — и тем не навлекла на него вечного позора. Он лишь кратко напомнил ей о ее грехах и предложил раскаяться и помыслить о спасении души. Потом он торжественно объявил об ее отлучении от Церкви. В заключительных словах он передал ее светскому правосудию для произнесения над ней приговора.

Жанна опустилась на колени и со слезами начала молиться. За кого? За себя? О нет — за короля Франции! Ее кроткий голос проник во все сердца. Она не вспомнила о его коварстве, о том, что он покинул ее, что из-за его неблагодарности ей предстояло умереть лютой смертью, — она помнила лишь одно: что он — ее король, а она — его верная подданная; что его враги возводят на него напраслину, а его при этом нет, чтобы защититься. Перед лицом смерти она позабыла о себе и молила всех слушавших ее поверить, что он добр, благороден и правдив; что на него нельзя воздавать вину за ее поступки; что он ничего не поручал ей. Потом в смиренных и трогательных словах она попросила всех присутствующих помолиться за нее и простить ей ее грехи; попросила об этом и врагов своих, и тех, кто, быть может, чувствует к ней сострадание.

Едва ли был там хоть один человек, который не был тронут, — даже англичане, даже судьи. У многих дрожали губы и глаза затуманились слезами, да, даже у английского кардинала; для политических дел у него было каменное сердце, но, значит, было у него еще и человеческое.

Председатель светского суда, которому надлежало огласить приговор, был так взволнован, что позабыл о своих обязанностях, и Жанна пошла на смерть без приговора, — так, еще одним беззаконием окончился этот процесс, беззаконный с самого начала. Судья ограничился тем, что сказал страже:

— Возьмите ее! — А палачу: — Делай свое дело.

Жанна попросила дать ей крест. Его не оказалось. Тогда один из английских солдат, подвижимый состраданием, переломил надвое палку, связал куски крест-накрест и дал ей этот крест; она приложилась к нему и спрятала на груди. Изамбар де Ла Пьер сходил в ближайшую церковь и принес ей освященный крест; этот крест она также поцеловала, прижала к груди и снова поцеловала, обливая его слезами и славя бога и святых.

Плача и прижимая крест к губам, она взшла по роковым ступеням вместе с Изамбаром. Ее поставили на кучу дров, нагроможденную вокруг столба на одну треть его высоты. Она прислонилась спиной к столбу, а толпа смотрела на нее затаив дыхание. Палач поднялся к ней и обвинил ее хрупкое тело цепями, прикрепив их к столбу. Потом он спустился, чтобы завершить свое страшное дело, а она осталась одна, — она, имевшая в дни свободы столько друзей, окруженная такой любовью и преданностью.

Я видел все это, хотя взор мой был затуманен слезами. Но дальше я не в силах был смотреть. Я не ушел, но то, что я расскажу дальше, я расскажу со слов других очевидцев. До меня доносились ужасные звуки, раздиравшие мне сердце, но последнее, что запечатлелось в тот страшный час в моих глазах, — была Жанна д'Арк во всей своей юной прелести, еще не искаженной муками. Этот образ, не тронутый временем, сохранился в моей памяти до конца моих дней. А теперь я продолжу свой рассказ.

Если кто-нибудь надеялся, что в страшную минуту, когда все преступники сознаются и каются в своих грехах, Жанна подтвердит свое отречение и скажет, что ее подвиги были злыми делами, внушенными дьяволом, они ошибались. Ее чистые помыслы были далеки от этого. Она не думала о себе и своих мучениях, —

она думала о других и о бедах, которые им грозят. Скорбно оглядев башни и шпили города, она сказала:

— О Руан, неужели тебе суждено стать моей могилой? О Руан, Руан, боюсь, что ты пострадаешь за мою смерть!

Дым поднялся к ее лицу; на мгновение ее охватил ужас, и она закричала: «Воды! Дайте мне святой воды!» Но минуту спустя страх рассеялся и уже больше не терзал ее. Она услышала у своих ног треск пламени и прежде всего встревожилась за ближнего, которому грозила опасность, — за брата Изамбара. Перед тем она отдала ему свой крест и попросила все время держать его перед нею, чтобы она могла черпать в нем надежду и утешение, пока не отойдет к богу. Теперь она заставила Изамбара уйти от опасной близости огня. Успокоившись на этот счет, она сказала:

— Держи его так, чтобы он был мне виден до конца.

Но и тут злодей Кошон не мог дать ей умереть спокойно; он подошел к ней, не стыдясь своих черных дел, и крикнул:

— В последний раз увещаю тебя, Жанна! Покайся и моли господа о прощении!

— Я гибну из-за тебя, — сказала она; и это были ее последние слова.

Черный дым, пронизанный красными языками пламени, поднялся густыми клубами и скрыл ее от взоров; из-за этой завесы слышался ее голос, громко и вдохновенно читавший молитвы; когда по временам ветер относил дым в сторону, видно было обращенное к небу лицо и шевелящиеся губы. Наконец милосердное пламя быстро взметнулось вверх, и это лицо навеки сокрылось, этот голос навсегда умолк.

Жанна д'Арк ушла от нас. Как трудно в этих кратких словах рассказать, что мир обеднел и осиротел!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Брат Жанны, Жак, умер в Домреми во время Руанского процесса. Так исполнилось пророчество, некогда произнесенное Жанной на лугу, когда она сказала, что

он останется дома, а мы все пойдем на войну. Ее бедный старый отец, узнав об ее мученической кончине, не выдержал удара и умер.

Мать ее получила пенсию от города Орлеана и жила на нее до конца жизни, а жизнь ее была долгая. Через двадцать четыре года после гибели своей славной дочери она приехала зимой в Париж и присутствовала в Соборе Парижской Богоматери на диспуте, который положил начало восстановлению доброго имени Жанны. Люди собрались тогда в Париж со всех концов страны, чтобы поглядеть на почтенную старуху; целые толпы выстроились на ее пути, почтительно и со слезами на глазах глядя, как она шла к собору, где ее ожидали такие почести. С нею были Жан и Пьер, — не те беззаботные юноши, которые некогда ушли с нами из Вокулёра, а бывалые воины, у которых уже серебрились головы.

После мученической кончины Жанны мы с Ноэлем возвратились в Домреми, но вскоре, когда коннетабль Ришмон сменил Ла Тремуйля в качестве главного советника при короле и решил завершить великое дело Жанны, мы снова надели военные доспехи, вернулись в строй и сражались за короля во всех больших и малых битвах, пока Франция окончательно не освободилась от англичан. Этого, конечно, пожелала бы от нас Жанна, — а ее воля, даже после ее смерти, оставалась для нас законом. Все уцелевшие воины ее свиты остались верны ее памяти и до конца воевали за короля. Судьба рассеяла нас по всей стране; но при взятии Парижа мы случайно оказались все вместе. То был великий и радостный день, но вместе с тем и грустный, потому что с нами не было Жанны и она не вступала с нами в завоеванную столицу.

Мы с Ноэлем всю жизнь были неразлучны; я был рядом с ним и в его смертный час. Он пал в последнем большом бою с англичанами. В той же битве погиб и старый грозный противник Жанны — Тальбот. Ему было восемьдесят пять лет, и всю свою жизнь он провел в боях. Это был неукротимый духом, свирепый старый лев с густой седой гривой, и силы в нем было

еще довольно; в тот день он сражался не хуже любого из молодых.

Ла Гир пережил Жанну на тринадцать лет и тоже постоянно воевал. Это было главной отрадой его жизни. Я не встречался с ним за это время, мы были далеко друг от друга, но я частенько слышал о нем.

Дюнуа, герцог Алансонский и д'Олон дожили до полного освобождения Франции и вместе с Жаном и Пьером д'Арк, Паскерелем и мной выступали свидетелями на Оправдательном Процессе. Сейчас все они давно уж почили в мире. Из всех боевых соратников Жанны д'Арк остался я один. Ведь она предсказала, что я доживу до той поры, когда эти войны будут позабыты. Но это пророчество не сбылось. Оно не сбудется, проживи я хоть тысячу лет. Все касающееся Жанны д'Арк — бессмертно.

Братья Жанны женились и оставили потомство. Все они принадлежат к дворянскому сословию, и их знаменитое имя приносит им честь, какой не удостаиваются обыкновенные дворяне. Вы видели вчера, как все обнажали головы перед детьми, которые пришли навестить меня. Это не потому, что они дворяне, а потому, что они внуки братьев Жанны д'Арк.

Расскажу теперь о восстановлении доброго имени Жанны. Жанна короновала короля в Реймсе. В награду за это он дал затравить ее на смерть, не сделав ни малейшего усилия, чтобы спасти ее. В продолжение двадцати трех лет он оставался равнодушен к ее памяти, к тому, что ее доброе имя очернено попами за подвиги, совершенные ради спасения его и его престола; к тому, что Франция мучается стыдом и жаждет восстановить честь своей Освободительницы. Все это время он оставался равнодушен. Потом в нем свершилась внезапная перемена, и он сам потребовал правосудия для бедной Жанны. Почему? Быть может, он наконец проникся благодарностью? Или его черствое сердце ощутило угрызения совести? Нет, тут была более веская причина — более веская для подобного человека. Теперь, когда англичане были изгнаны окончательно, они стали поговаривать, что король получил свою корону из рук женщины, которую Церковь уличила в сноше-

ниях с дьяволом и сожгла как колдунью. А чего стоит такой король? Ясно, что немногого и что его напрасно терпят на престоле.

Пора было что-то предпринять, и король это сделал. Вот отчего Карл VII внезапно загорелся желанием посмертно восстановить добрую славу своей благодетельницы.

Он воззвал к папе, и папа назначил авторитетную комиссию из духовных лиц для расследования всей истории Жанны и вынесения окончательного приговора. Комиссия заседала в Париже, Домреми, Руане, Орлеане и некоторых других местах и работала несколько месяцев. Она изучила протоколы суда над Жанной, выслушала свидетельские показания Дюнуа, герцога Алансонского, д'Олона, Паскереля, Курселя, Изамбара де Ла Пьера, Маншона, мои и многих других, чьи имена знакомы вам из моего рассказа; она допросила также более сотни свидетелей, которые, вероятно, менее знакомы вам: это друзья Жанны в Домреми, Вокулёре, Орлеане и других местах, а также судьи и иные очевидцы руанских процессов, отречения и мученической кончины Жанны. Это тщательное расследование не обнаружило ни единого пятна на имени Жанны и на ее делах, — так записано в решении комиссии, и так оно останется в веках.

Я часто присутствовал при работах комиссии и при этом встретился со многими, кого не видел четверть столетия; в том числе с теми, кого я горячо любил: с моими прежними командирами, с Катериной Буше (увы, она была замужем!); но были среди них и другие, всколыхнувшие во мне много горьких чувств: Бопэр, Курсель и их братья во диаволе. Встретился я и с Ометтой, и с Маленькой Менжеттой — обоим было уже под пятьдесят, и у них было множество детей. Встретился также с отцом Ноэля, с родителями Паладина и Подсолнуха.

Радостно было слышать, как герцог Алансонский хвалил выдающиеся военные способности Жанны и как Дюнуа красноречиво подтверждал его свидетельства и рассказывал, как добра была Жанна, сколько в ней было отваги, огня и пылкости, сколько шаловливой

веселости, нежности, милосердия и всего чистого, прекрасного, благородного и пленительного. Слушая еѳо, я видел ее перед собой, как живую, и сердце мое обливалось кровью.

На этом я закончу свою повесть о Жанне д'Арк, этом диковинном ребенке, этой благородной душе, этой личности, которая в одном не имеет и не будет иметь себе равных: в чистоте стремлений, в полном отсутствии своекорыстия и личного честолюбия. В ней вам не найти и следов этих побуждений, как бы вы ни искали; а этого не скажешь о других лицах, чьи имена мы находим в истории, — если не говорить об истории священной.

У Жанны д'Арк любовь к родине была больше чем чувством — она была страстью. Жанна воплотила Дух Патриотизма, стала его олицетворением, его живым, видимым и осязаемым образом.

Любовь, Милосердие, Доблесть, Война, Мир, Поэзия, Музыка — для всего этого можно найти множество символов, все это можно представить в образах любого пола и возраста. Но хрупкая, стройная девушка в расцвете первой юности, с венцом мученицы на челе, с мечом в руке, которым она разрубила узы своей родины, — разве не останется она, именно она, символом ПАТРИОТИЗМА до скончания времен?

ТОМ СОЙЕР — СЫЩИК

ПЕРЕВОД

Б. Г Р И Б А Н О В А

ТОМ И ГЕК ПОЛУЧАЮТ ПРИГЛАШЕНИЕ ¹

Это случилось весной, на следующий год после того, как мы с Томом Сойером освободили нашего старого негра Джима, когда его, как беглого раба, посадили на цепь на ферме дяди Сайласа в Арканзасе.

Земля уже начала оттаивать, в воздухе повеяло теплом, и с каждым днем приближалось то блаженное время, когда можно будет бегать босиком, а потом начнется игра «в шарики», «в чижика», можно будет гонять обруч, запускать воздушного змея, — а там, глядишь, уже и лето, и можно купаться. Любой мальчишка в эту пору начинает тосковать и считать дни до лета. В такое время вздыхаешь, грустишь и сам не знаешь, что с тобой творится. Просто места себе не находишь — хандрить, задумываешься о чем-то, и больше всего хочется уйти, чтобы никто тебя не видел, забраться на холм, куда-нибудь на опушку леса, сидеть там и смотреть вдаль на Миссисипи, которая катит свои воды далеко-далеко, на много миль, где леса окутаны словно дымкой и так все вокруг торжественно,

¹ Необычайные события, изложенные в этой повести, не придуманы мною, они имели место в действительности, даже публичное признание подсудимого. Я взял эти факты из старого судебного процесса в Швеции, изменил действующих лиц и перенес действие в Америку. Некоторые детали я добавил, но только одна или две из них являются существенными. — М. Т.

что кажется, будто все, кого ты любишь, умерли, и самому тебе тоже хочется умереть и уйти из этого мира.

Вы, конечно, знаете, что это такое? Это весенняя лихорадка. Вот как это называется. И если уж вы подхватили ее, вам хочется — вы даже сами не знаете, чего именно, — но так хочется, что просто сердце щемит. Если разобраться, то, пожалуй, больше всего вам хочется уехать, уехать от одних и тех же знакомых вам мест, которые вы видите каждый день и которые уже осточертели вам; уехать, чтобы увидеть что-нибудь новенькое. Вот что вам хочется — уехать и стать путешественником, вас тянет в далекие страны, где все так таинственно, удивительно и романтично. Ну а если вы же можете сделать это, то вы согласны и на меньшее: уехать туда, куда возможно, — и на том спасибо.

Так вот, мы с Томом Сойером заболели этой весенней лихорадкой в самой тяжелой форме. Но нечего было и думать, что Тому удастся удрать куда-нибудь, потому что, как он сам объяснил, тетя Полли никогда не позволит ему бросить школу и шататься без дела. Так что настроение у нас с Томом было самое унылое. Сидели мы так однажды вечером на крыльце и болтали, как вдруг выходит тетя Полли с письмом в руке и говорит:

— Том, придется тебе собираться и ехать в Арканзас. Ты зачем-то понадобился тете Салли.

Я чуть не подпрыгнул от радости. Я был уверен, что Том тут же бросится к тетке и задушит ее в объятиях, а он (вы подумайте только) сидел неподвижно, как скала, не вымолвив ни единого слова. Я чуть не заплакал от злости, что он ведет себя как дурак, когда представляется такая замечательная возможность. Ведь все может погибнуть, если он не заговорит и не покажет, как он счастлив и благодарен ей. А Том сидел и раздумывал, пока я от отчаяния уже не знал, что и делать. Наконец он заговорил, да так спокойно, что я просто застрелил бы его, если бы мог.

— Очень жаль, тетя Полли, — сказал он, — ты меня извини, только я сейчас не могу поехать.

Тетя Полли была так огорошена этой хладнокровной дерзостью, что по крайней мере на полминуты ли-

шила дар речи, а я воспользовался этой передышкой, чтобы подтолкнуть Тома локтем и прошепнуть:

— Ты что, с ума сошел? Разве можно упускать такой случай?

Но Том даже глазом не моргнул и только шепнул мне в ответ:

— Гек Финн, неужели ты хочешь, чтобы я показал ей, до чего мне хочется поехать? Она тут же начнет сомневаться, воображать всевозможные болезни, опасности, придумывать всякие возражения — и кончится тем, что она передумает. Предоставь это дело мне, я знаю, как с ней обращаться.

Мне все это, конечно, и в голову не пришло бы. Однако Том был прав. Вообще Том Сойер всегда оказывается прав — второй такой головы я не видывал, — всегда знает, что к чему, и готов к любой случайности.

Тетя Полли пришла наконец в себя и напустилась на Тома:

— Извинить его! Он не может! Да я в жизни ничего подобного не слышала! Да как тебе в голову пришло так разговаривать со мной! Немедленно убирайся отсюда и иди укладывать свои вещи. И если я еще раз услышу хоть слово о том, что ты можешь и что нет, то ты увидишь, как я тебя извиню розгой!

Мы помчались в дом, но она успела щелкнуть Тома наперстком по голове, и Том, взлетая по лестнице, притворялся, что хнычет от боли. Очутившись наверху, в своей комнате, Том бросился обнимать меня; он был вне себя от счастья — ведь ему предстояло путешествие! Он сказал мне:

— Мы еще и уехать не успеем, как она начнет жалеть, что отпускает меня, но будет уже поздно. Гордость не позволит ей взять свои слова обратно.

Том собрал вещи в десять минут, — все, кроме тех, которые предстояло укладывать тете Полли и Мэри. Потом мы выждали еще десять минут, чтобы тетя Полли успела остыть и вновь стать милой и доброй. Том объяснил мне, что ей требуется не менее десяти минут, чтобы успокоиться, в том случае если она наполовину выведена из себя, и двадцать минут — когда возмущены все ее чувства; а на этот раз они

были возмущены все до единого. Затем мы спустились вниз, сгорая от любопытства и желания узнать, что же написано в письме.

Тетя Полли сидела в мрачной задумчивости, письмо лежало у нее на коленях. Мы присели, и она сказала:

— У них там какие-то серьезные неприятности, и они думают, что ты и Гек поможете им отвлечься, «успокоите» их, как они пишут. Представляю себе, как вы с Гekom Финном «успокоите» их! У них есть сосед по имени Брейс Данлеп, который месяца три ухаживал за Бенни, и наконец они наотрез отказали ему. Теперь он злится на них, и это их очень вслуует. Как мне кажется, они считают, что он такой человек, с которым лучше не ссориться, и поэтому они стараются всячески ублажить его. Они наняли его никчемного братца в работники, хотя у них нет лишних денег и вообще он им совсем не нужен. Кто такие эти Данлепы?

— Они живут в миле от фермы дядя Сайласа и тети Салли. Там все фермы приблизительно в миле друг от друга. А Брейс Данлеп — самый большой богач во всей округе, и у него целая куча негров. Он вдовец, тридцати шести лет, детей у него нет; он ужасно гордится своими деньгами и очень любит всеми командовать, и все его немного побаиваются. По-моему, он просто уверен, что стоит ему только захотеть, и любая девушка с радостью пойдет за него замуж. И то, что он получил отказ от Бенни, конечно должно было взбесить его. Ведь он вдвое старше Бенни, а она такая милая и такая красивая, — ну вы ведь сами видели ее. Бедный дядя Сайлас, подумать только, с чем ему приходится мириться; ему и так туго, а он еще должен нанимать этого бездельника Юпитера Данлепа только ради того, чтобы угодить его братцу.

— Что это еще за имя — Юпитер? Откуда оно взялось?

— Да это просто прозвище. По-моему, все давным-давно забыли его настоящее имя. Ему сейчас двадцать семь лет, а зовут его так с тех пор, как он впервые пошел купаться. Он разделся, и учитель увидел у него над коленом коричневую родинку величиной с десятицентовую монету, окруженную еще четырьмя малень-

кими родинками, и сказал, что они похожи на Юпитера и его спутников. Мальчишкам это показалось очень смешным, и они стали называть его Юпитером. Так он и остался Юпитером. Он высокий, ленивый, хитрый, трусливый, а в общем — довольно добродушный парень. У него длинные каштановые волосы, а борода у него не растет. У него никогда нет ни цента, Брейс кормит его, дает ему свою старую одежду и ни в грош его не ставит. А вообще у Юпитера был еще один брат — близнец.

— А какой он?

— Говорят, точная копия Юпитера. Во всяком случае, был таким; только он вот уже семь лет как пропал. Он начал воровать, когда ему было лет девятнадцать — двадцать, и его засадили в тюрьму. А он удрал и исчез — сбежал куда-то на север. Иногда до них доходили слухи, что он занимается воровством и грабежами, но это было давно. Теперь он уже помер. Во всяком случае, они так говорят. Они ничего о нем с тех пор не слышали.

— А как его звали?

— Джек.

Наступило длительное молчание — тетя Полли думала. Наконец она сказала:

— Тетю Салли больше всего беспокоит то, что этот Юпитер доводит дядю до бешенства.

Том очень удивился, да и я тоже.

— До бешенства? Дядю Сайласа? Убей меня бог, тетя, вы шутите! Я не представляю себе, чтобы его вообще можно было рассердить.

— Во всяком случае, тетя Салли пишет, что этот Юпитер доводит дядю просто до бешенства. Временами дядя доходит до того, что может ударить Юпитера.

— Тетя Полли, этого не может быть. Дядя Сайлас мягок, как каша.

— И все-таки тетя Салли волнуется. Она пишет, что из-за этих ссор дядя Сайлас совершенно переменялся. Все соседи уже говорят об этом и, конечно, обвиняют дядю Сайласа, потому что он проповедник и не должен ссориться. Тетя Салли пишет, что ему так стыдно, что он с трудом заставлял себя читать пропо-

веди; и все стали хуже к нему относиться, и его теперь любят гораздо меньше, чем раньше.

— Ну и дела! Вы ведь знаете, тетя Полли, дядя Сайлас всегда был таким добрым, таким рассеянным, не от мира сего — ну просто как ангел! И что с ним произошло, ума не приложу!

Глава II

ДЖЕК ДАНЛЕН

Нам здорово повезло — мы попали на пароход, который плыл с севера в какую-то из мелких рек в Луизиане, так что мы могли проехать всю Верхнюю и Нижнюю Миссисипи прямо до фермы дяди Сайласа в Арканзасе без пересадки в Сент-Луисе — ни много ни мало чуть не тысячу миль.

Пароход нам попался на редкость унылый, пассажиров было совсем мало, всё старики и старухи, которые держались подальше друг от друга, дремали, и их вообще не слышно было. Четыре дня ушло на то, чтобы выбраться с верховьев реки, потому что пароход то и дело садился на мель. И все-таки нам не было скучно — разве могут скучать мальчишки, которые путешествуют!

С самого же начала мы с Томом решили, что в соседней с нами отдельной каюте находится какой-то больной, потому что стюард относил туда еду. В конце концов мы спросили об этом у стюарда, — то есть Том спросил. Стюард сказал, что там мужчина, но что он совсем не выглядит больным.

— Как, разве он не больной?

— Понятия не имею, может и больной, только, по моему, он просто притворяется.

— А почему вы так решили?

— Да потому, что, если бы он был больным, он хоть когда-нибудь раздевался бы, — как по-вашему? А он никогда не раздевается. Даже сапог не снимает.

— Ну да? Даже когда ложится спать?

— Так и ложится в сапогах.

Ну, Тома Сойера хлебом не корми, только дай ему какую-нибудь тайну. Если вы перед ним и передо мной положите рядом тайну и кусок пирога, то вам и предлагать нечего, чтобы мы выбирали то или другое; все решится само собой. Уж такой я человек, что тут же брошусь к пирогу, а Том обязательно бросится к тайне. Люди ведь бывают разные. Да это и к лучшему. Так вот, Том и спрашивает у стюарда:

— А как его фамилия?

— Филлипс.

— А где он сел на пароход?

— Кажется, что в Александрии, в Айове.

— А как по-вашему, что он затеял?

— Понятия не имею, я никогда над этим не задумывался.

Вот еще один человек, подумал я, который потянется за пирогом.

— А вы ничего не заметили особенного в том, как он ведет себя, как разговаривает?

— Да нет, ничего. Разве только пугливый он очень, дверь каюты всегда запирает — и днем и ночью. А когда стучишь к нему, никогда не откроет, пока через щелочку не увидит, кто это.

— Черт возьми, это интересно! Хотелось бы мне взглянуть на него. Послушайте, когда вы следующий раз понесете ему еду, как вы думаете, не удастся ли вам пошире открыть дверь и...

— Ничего не выйдет. Он всегда стоит за дверью. Так что из этого ничего не выйдет.

Том подумал, подумал и говорит:

— Вот что! Дайте мне свой фартук, и я утром отнесу ему завтрак. А вам я за это дам двадцать пять центов.

Парень согласился, при условии, если старший стюард не будет против. Том заверил его, что все будет в порядке и что он сумеет договориться со старшим стюардом. Так оно и получилось. Том условился, что мы оба наденем фартуки и понесем завтрак.

Тому до того не терпелось попасть в соседнюю каюту и раскрыть тайну Филлипса, что он никак не мог заснуть: всю ночь он строил догадки. По-моему, это было вовсе ни к чему, — если вы собираетесь что-то

выяснить, что толку гадать заранее и тратить порох попусту? Я лично прекрасно выспался. Плевать мне на тайну этого самого Филлипса, сказал я себе.

Утром мы с Томом надели на себя фартуки, взяли по подносу с едой, и Том постучал в дверь соседней каюты. Пассажир приоткрыл дверь, впустил нас и быстро захлопнул ее. Бог мой! Как только мы увидели его, мы чуть не выростили наши подносы; а Том воскликнул:

— Юпитер Данлеп! Как вы сюда попали?

Пассажир, ясное дело, остолбенел от удивления; в первую минуту он, похоже, не знал, испугаться ему или обрадоваться, а может, и то и другое вместе, но потом, видимо, решил обрадоваться. Во всяком случае, щеки его опять порозовели, хотя поначалу он ужасно побледнел. Пока он завтракал, мы разговорились. И он нам заявляет:

— Только я не Юпитер Данлеп. Я вам сейчас расскажу, кто я, если вы поклянетесь, что будете молчать. Дело в том, что я и не Филлипс.

Тут Том ему и выпалил:

— Молчать-то мы будем, но если вы не Юпитер Данлеп, то можете и не говорить, кто вы.

— Почему?

— Потому, что если вы не Юпитер, то вы его близнец — Джек. Вы просто копия Юпитера.

— Ты прав, парень. Я и есть Джек. Только ты мне объясни, откуда ты нас, Данлепов, знаешь?

Том рассказал ему о наших приключениях прошлым летом на ферме дяди Сайласа. И когда Джек понял, что нам известно все о его семье, да и о нем самом, он перестал таиться и начал разговаривать совершенно откровенно. Ни чуточки не стесняясь, он признался нам, что был вором, что он занимается этим ремеслом и сейчас, и не сомневается, что будет воровать до конца дней своих. Конечно, заявил он, это жизнь, полная опасностей и...

Тут он затаил дыхание и наклонил голову, прислушиваясь к чему-то. Мы молчали, и секунду или две в каюте царила глубокая тишина и не было слышно ничего, кроме поскрипывания деревянных перегородок и стука машины под полом.

Затем нам с Томом удалось его успокоить, и мы

принялись рассказывать Джеку о его родных, о том, что жена Брейса вот уже три года как умерла и он хотел жениться на Бенни, а она отказала ему; что Юпитер работает у дяди Сайласа и они все время ссорятся; наконец Джек размяк и начал смеяться.

— Ах, черт меня поberi! — воскликнул он. — До чего же это приятно, совсем как в былые времена, слушать все эти сплетни! Вот уже больше семи лет, как я ничего не знаю о доме. А что они обо мне говорят?

— Кто?

— Ну, соседи и братья.

— А они никогда и не говорят о вас. Разве только редко-редко когда упомянут случайно.

— Черт! — с изумлением воскликнул Джек. — А почему же они никогда не говорят обо мне?

— Да потому, что они думают, что вы давным-давно умерли.

— А ты не врешь? Дай честное слово! — Джек даже вскочил от возбуждения.

— Честное благородное. Все там уверены, что вас давно нет в живых.

— Тогда я спасен! Ей-богу, я спасен! Я еду домой. Они спрячут меня и спасут. А вы будете молчать. Поклянитесь, что вы никогда на меня не донесете. Ребята, вы должны пожалеть такого беднягу, как я, за которым охотятся днем и ночью и который носу высунуть не может. Я ведь никогда ничего худого вам не делал и никогда не сделаю, видит бог! Поклянитесь, что вы не выдадите меня и поможете мне спастись.

Конечно, мы поклялись; будь на его месте собака, все равно мы бы не отказались. А он, бедняга, был так счастлив, что не знал, как нас благодарить, готов был просто задушить нас в объятиях.

Мы опять принялись болтать, а Джек вытащил маленький саквояж, попросил нас отвернуться и открыл его. Мы отвернулись, а когда он сказал нам, что можно смотреть, то перед нами оказался совсем другой человек. На нем были синие очки и самого что ни на есть натурального вида каштановые бакенбарды и усы. Родная мать не узнала бы его. Он спросил нас, похожи ли он сейчас на своего брата Юпитера.

— Ничуть. — сказал Том, — ничего похожего, кроме разве длинных волос.

— Ладно, я их подстригу покороче, прежде чем приеду к ним. А там Юпитер и Брейс будут держать все в секрете, и я смогу жить у них как чужой. Соседи никогда не узнают меня. Как вы считаете?

Том немного подумал и сказал:

— Конечно, мы с Геком будем молчать, а вот если вы будете разговаривать, то в этом деле есть риск, — может, и небольшой, а все-таки риск. Я что хочу сказать: если вы будете говорить, люди могут обратить внимание, что у вас голос совершенно как у Юпитера, а потом могут припомнить второго близнеца, о котором был слух, что он умер, и догадаться, что все это время он скрывался под чужим именем.

— Ей-богу, ты умный парень! — воскликнул Джек. — Ты совершенно прав. Когда кто-нибудь из соседей будет поблизости, я буду притворяться глухонемым. Если бы я пробрался домой, а о голосе бы забыл... Впрочем, я ведь не думал пробираться туда. Я искал какое-нибудь местечко, где я мог бы укрыться от ребят — тех, которые преследует меня. Там бы я загримировался, переоделся и...

Джек Данлеп побледнел, бросился к двери, прильнул к ней ухом и, тяжело дыша, стал прислушиваться. Нам он прошептал:

— Мне послышалось, что взводят курок. Бог мой, ну и жизнь!

Он упал в кресло, совершенно обессиленный и разбитый, и принялся вытирать пот со лба.

Глава III

ПОХИЩЕНИЕ БРИЛЛЯНТОВ

С этого утра мы почти все время проводили вместе с Джеком Данлепом и по очереди ночевали у него в каюте на верхней койке. Джек говорил, что он ужасно одинок и очень рад, что при его неприятностях у него

есть друзья, с которыми он может поговорить. Мы сговорили от желания узнать его тайну, но Том сказал мне, что лучший способ — не проявлять любопытства, тогда он в каком-нибудь разговоре обязательно проболтается, а если мы будем расспрашивать его, он перестанет нам доверять, и тогда уж из него ничего не вытянешь. Так оно и получилось. Мы ясно видели, что Джеку хочется рассказать нам все, но каждый раз, когда он, казалось, вот-вот выложит свою тайну, он пугался и начинал говорить о чем-нибудь другом.

Но в конце концов он все-таки не выдержал.

Джек все расспрашивал нас о пассажирах, которых мы видим на палубе, но делал вид, что его это не интересует. Мы рассказали. Однако Джек остался недоволен, он сказал, что мы рассказываем недостаточно подробно, и попросил описать пассажиров во всех деталях. Том описал ему всех. И вот, когда Том дошел до одного из самых неотесанных и оборванных пассажиров, Джек вздрогнул, у него перехватило дыхание, и он пробормотал:

— Бог мой, это один из них! Они здесь, на пароходе, я так и знал. Я надеялся скрыться от них, но никогда не верил, что мне это удастся. Ну, продолжай.

Том стал описывать ему другого противного и грубого палубного пассажира; Джек опять задрожал и сказал:

— Это он! Это второй! Если бы только была хоть одна темная грозовая ночь, я сумел бы сойти на берег. Они наверняка поручили кому-нибудь следить за мной. Они ведь могут пойти в буфет и раздобыть там выпивку, вот они и воспользовались этим, чтобы подкупить какого-нибудь грузчика или юнгу следить за мной. Если бы даже мне удалось ускользнуть на берег так, чтобы никто меня не видел, они все равно узнают об этом самое большее через час.

Тут он принялся ходить взад-вперед по каюте и в конце концов рассказал нам свою историю. Он рассказал нам о всяких своих делах и неудачах, а потом перешел к последнему делу.

— Это была игра на доверии. Мы сыграли ее с ювелирным магазином в Сент-Луисе. Охотились мы за

парочкой шикарных брильянтов, крупных, как орехи. Все в городе бегали на них смотреть. Мы были одеты с иголочки и проделали все это среди бела дня. Мы приказали принести нам эти брильянты в гостиницу, а там мы рассмотрим их и решим, покупать ли их. И пока мы рассматривали брильянты, мы подменили их поддельными. Эти-то стекляшки и унес с собой приказчик, после того как мы заявили, что брильянты недостаточно чистой воды, чтобы стоить двенадцать тысяч долларов.

— Двенадцать тысяч долларов! — воскликнул Том. — И вы уверены, что они стоят таких денег?

— До последнего цента.

— И вам удалось их увезти?

— Это было проще простого. Я думаю, что эти ювелиры до сих пор не догадываются, что их обокрали. Но оставаться в Сент-Луисе, конечно, было глупо, и мы стали думать, куда нам скрыться. Один предлагал одно, другой другое, тогда мы бросили монету, и выпала Верхняя Миссисипи. Мы положили брильянты в бумажный пакетик, написали на нем наши имена и отдали их на хранение конторщику в гостинице с условием, чтобы он не отдавал этого пакета никому из нас в отдельности. После этого мы, каждый сам по себе, отправились в город. Вероятно, у всех у нас была одна и та же мысль. Я, конечно, не уверен, но думаю, что дело было именно так.

— Какая мысль? — спросил Том.

— Обокрасть остальных.

— Как, одному забрать все, что вы добыли вместе?

— Конечно.

Том Сойер возмутился и заявил, что никогда в жизни не слышал о такой низости. Но Джек Данлеп объяснил, что в их профессии это дело обычное. Если уж ты взялся за такое дело, сказал он, то должен сам защищать свои интересы, никто другой за тебя этого не сделает. Потом он стал рассказывать дальше.

— Понимаете, вся трудность была в том, что невозможно разделить два брильянта между тремя. Вот если бы их было три... но об этом нечего говорить, их было не три, а только два. Так вот, бродил я по самым глухим улочкам и все думал, думал. И наконец я ска-

зал себе — я стяну эти брильянты при первом же удобном случае, приготовлю себе другую одежду и все, что нужно, чтобы меня нельзя было узнать, удеру от своих приятелей и, как только окажусь в безопасности, переоденусь, — пусть они потом найдут меня, если сумеют. Купил я себе фальшивые бакенбарды, очки и вот эту одежду, спрятал все это в саквояж и пошел. Вдруг в одной из тех лавок, где продается всякая всячина, вижу через окно одного из своих приятелей. Это был Бэд Диксон. Сами понимаете, как я обрадовался. Посмотрим, сказал я себе, что он будет покупать. Притаился и слежу. Ну, как вы думаете, что он купил?

— Бакенбарды? — спросил я.

— Нет.

— Очки?

— Нет.

— Да помолчи ты, Гек Финн! Ты ведь только мешаешь. Так что же он купил, Джек?

— Никогда в жизни не догадаешься. Это была все-го-навсего отвертка. Просто маленькая отвертка.

— Вот так-так! А зачем она ему понадобилась?

— Вот и я задумался над этим. Это было очень странно. Я просто ничего не мог понять. Стою и думаю, что же он собирается делать с этой штукой? Когда Бэд вышел из магазина, я сначала спрятался, а потом стал следить за ним дальше. Он зашел к старьевщику и купил там красную фланелевую рубаху и еще какие-то отрепья. Те самые, которые сейчас на нем, — как вы сказали. Потом я отправился на пристань, спрятал свои вещи на пароходе, на котором мы решили уехать вверх по реке, и пошел обратно. Тут мне второй раз чертовски повезло. Я увидел третьего нашего компаньона, когда он покупал старую одежду. Ну, забрали мы наши брильянты и сели на пароход.

Вот тут-то мы и оказались в затруднительном положении: никто из нас не мог лечь спать, — мы должны были сидеть и караулить друг друга. Это было просто ужасно, что мы оказались связанными друг с другом. Дело в том, что мы никогда друзьями не были и сошлись только для этого дела. А недели за две до этого мы вообще перессорились.

Но что поделаешь, когда два брильянта на троих. Ну, мы поужинали, потом часов до двенадцати бродили вместе по палубе и курили, затем спустились в мою каюту, заперли дверь и развернули бумагу, чтобы убедиться, что брильянты на месте. Положили мы наш сверток на нижней койке на самом виду, а сами сидим и сидим. А спать хочется — чем дальше, тем больше, просто сил нет. Наконец первым сдался Бэд Диксон. Когда он уже захрапел во всю мочь, голова у него упала на грудь и стало ясно, что он спит крепким сном, Гэл Клейтон кивнул на брильянты и на дверь — и я его понял. Я дотянулся до бумажного свертка, мы оба с Гэлом встали и замерли — Бэд не пошевелился; тогда я с величайшей осторожностью повернул ключ, нажал ручку двери, мы на цыпочках выбрались из каюты и тихонечко прикрыли за собой дверь.

Кругом все спали, пароход спокойно плыл по широкой реке в туманном свете луны. Мы, не говоря друг другу ни слова, пробрались на верхнюю палубу над кормой и уселись там на световом люке. Нам не нужно было ничего говорить друг другу, каждый из нас отлично понимал, на что мы пошли. Бэд Диксон проснется, обнаружит кражу и бросится сюда, к нам, — этот человек никого и ничего на свете не боялся. Он прибежит сюда, и либо мы должны будем выбросить его за борт, либо он попытается убить нас. При этой мысли меня начинала пробирать дрожь, потому что я не такой храбрец, как некоторые, но я слишком хорошо знал, чем все для меня кончится, если я покажу, что струсил. Я надеялся только на то, что пароход где-нибудь пристанет и мы сможем ускользнуть на берег и избежать таким образом схватки с Бэдом Диксоном. Но надежды на это было мало — на Верхней Миссисипи пароходы редко пристают к берегу.

Время шло, а Бэд Диксон не появлялся. Уже рассветать начало, а его все не было.

— Черт меня побери! — говорю я. — Что ты думаешь по этому поводу? По-моему, здесь что-то не так!

— Ах, дьявол! — восклицает мне в ответ Гэл. — Уж не думаешь ли ты, что он обдурил нас? Разверни-ка бумагу!

Я разворачиваю, и — бог мой! — в ней нет ничего, кроме двух кусочков сахара. Вот почему Бэд Диксон мог сидеть там и спокойно спать всю ночь! Здорово, а? По-моему, очень здорово! У него заранее был заготовлен второй такой же пакетик, и он подменил его у нас под носом.

Мы поняли, как он нас обдурил. Однако надо было что-то придумать, какой-то план. Так мы и сделали. Мы решили, что завернем бумагу точно так, как она была, тихонечко проберемся обратно в каюту, положим ее на старое место, на койку, и притворимся, что мы и не подозреваем, что он обдурил нас и посмеивался над нами, притворяясь, что храпит. А потом мы уж ни на шаг не отстанем от него и в первую же ночь, как окажемся на берегу, напоим его, обыщем и заберем брильянты. Ну, а потом придется прикончить его, если это не будет слишком рискованно. Если нам удастся отобрать у него добычу, волей-неволей от него нужно будет избавиться, а не то он наверняка будет нас преследовать и так или иначе прикончит нас. По правде говоря, я не очень-то надеялся на этот план. Напоить-то мы его напоим — от выпивки он никогда не откажется, — а что толку от этого? Его можно хоть год обыскивать и так и не найти...

Вот тут-то меня и осенило, я чуть не задохнулся от волнения! Мне в голову пришла такая догадка, что я почувствовал, словно у меня мозги все перевернулись. И, черт побери, я сразу обрадовался и успокоился. Понимаете, я сидел, сняв сапоги, чтобы ноги немного отдохнули, и как раз в этот момент я взял один сапог, чтобы надеть, и случайно глянул на каблук. Тут меня и осенило! Вы помните о той маленькой отвертке?

— Ну еще бы, конечно! — в возбуждении воскликнул Том.

— Так вот, когда я взглянул на этот каблук, я понял, где он спрятал брильянты! Смотрите на мой каблук. Видите, здесь есть стальная пластинка, и прикреплена она маленькими винтиками. У Бэда нигде больше не было винтиков, кроме как на каблуках. И раз ему понадобилась отвертка, то я, кажется, догадался, для чего.

— Гек, вот здорово! — воскликнул Том.

— Надел я, значит, свои сапоги, мы спустились вниз, пробрались в каюту, положили бумажку с двумя кусочками сахара на койку, уселись сами и тихо, спокойно слушаем, как храпит Бэд Диксон. Очень скоро уснул и Гэл Клейтон, но я держался. Никогда в жизни я не был таким бодрым, как тогда. Я надвинул шляпу пониже, чтоб не видно было лица, а сам шарю глазами по полу, ищу обрезки кожи. Долго я так высматривал, даже начал подумывать, что, может, моя догадка неправильна, и наконец все-таки заметил их. Кусочек кожи лежал у стеной перегородки, почти такого же цвета, как ковер. Это был маленький круглый кусочек, не толще моего мизинца. Значит, на месте этого кусочка лежит сейчас брильянт, сказал я себе. Через некоторое время я увидел и вторую такую же пробку.

Нет, вы подумайте, какой хладнокровной продувной бестией оказался этот Бэд! Он продумал весь свой план и заранее знал, что мы будем делать; и мы, как два идиота, точно проделали все, как он хотел. Он остался сидеть в каюте, и у него было сколько угодно времени, чтобы отвинтить стальные пластинки на своих каблучках, вырезать в них две ямки, запрятать туда брильянты и привинтить пластинки обратно. Он дал нам украсть кусочки сахара и сидеть потом всю ночь ждать его, чтобы выбросить за борт. И клянусь дьяволом, мы именно так и сделали! По-моему, это было здорово хитро придумано.

— Еще бы! — с восторгом воскликнул Том.

Глава IV

ТРОЕ СПЯЩИХ

— Так мы весь день и просидели, притворяясь, что наблюдаем друг за другом. И должен вам сказать, что для двух из нас это была паршивая работа и нам было чертовски трудно притворяться. К вечеру мы высадились в одном из маленьких городков в штате Миссури,

не доезжая Айовы, поужинали в местной гостинице и взяли себе наверху комнату с койкой и двухспальной постелью. А когда мы туда отправились — впереди хозяин с сальной свечой, а за ним все гуськом, причем я последним, — я спрятал свой саквояж в темной прихожей под столом. Мы запаслись виски и сели играть в карты по маленькой. Но как только Бэд начал пьянеть, мы перестали пить, а его продолжали угощать. И так мы его угощали, пока он не свалился со стула и не захрапел.

Тут мы и приступили к делу. Я предложил разуться, чтобы не шуметь, и снять с Бэда сапоги, чтобы легче его было переворачивать и обыскивать. Так мы и сделали. Я поставил свои сапоги рядом с сапогами Бэда, чтобы они были под рукой. Потом мы раздели Бэда и принялись шарить по его карманам, в швах, в носках, в сапогах, в его вещах — повсюду. Брильянтов нигде не было. Когда мы нашли отвертку, Гэл мне и говорит:

— Как ты думаешь, зачем она ему понадобилась?

Я сказал, что понятия не имею, а как только он отвернулся, сунул ее в карман. Наконец Гэлу все это надоело, у него что называется руки опустились, и он мне говорит:

— Пора бросить это дело.

А я только этого и ждал. И говорю ему:

— Есть одно место, где мы еще не искали.

— Где?

— У него в животе.

— Ах, черт меня побери! Мне это и в голову не пришло. Вот уж когда мы до них добрались! А как мы их достанем?

— А вот как, — говорю ему, — ты оставайся здесь с ним, а я пойду разыщу аптеку, и там я наверняка достану кое-что, чтобы его вывернуло наизнанку вместе с брильянтами.

Гэл согласился на этот план, и тут я прямо у него на глазах надеваю сапоги Бэда вместо своих, и он ничего не замечает. Сапоги оказались немного велики

мне, но хуже было бы, если б они были малы. В при-
хожей я прихватил свой саквояж и через минуту уже
был на улице и припустил по дороге вдоль реки со
скоростью пять миль в час.

Так вот, должен вам сказать, это совсем не такая
плохая штука — ходить на брильянтах. Прошло минут
пятнадцать, и я подумал, что отмахал уже больше
мили, а в той комнате в гостинице все спокойно. Еще
пять минут, и я сказал себе, что нас разделяет уже
гораздо большее пространство, а Гэл начинает удив-
ляться, что могло со мной случиться. Еще пять ми-
нут — и я представляю себе, что он уже беспокоится —
ходит, наверное, по комнате. Еще пять минут — я одо-
лел мили две с половиной, а он уже в полном волне-
нии — не иначе как ругается последними словами. Еще
немного — и я себе говорю: прошло сорок минут — он
уже понимает, — тут что-то неладно. Пятьдесят ми-
нут — и он наконец догадался! Он решил, что, пока мы
обыскивали Бэда, я нашел брильянты, спрятал их в
карман и виду не показал. Теперь он бросается в по-
гоню за мной. Он начнет разыскивать в пыли свежие
следы, но они с таким же успехом могут повести его
вниз по реке, как и вверх.

И вот тут-то я увидел человека, который ехал на-
встречу мне на муле, и я, не подумав, вдруг бросился в
кусты. Такая глупость! Когда этот человек поравнялся
со мной, он остановился и некоторое время ожидал,
пока я выйду, а потом поехал дальше. Только я уж
больше не веселился. Я сказал себе, что этой глупостью
испортил все дело, что не миновать мне беды, если
только этот человек повстречается с Гэлом Клейто-
ном.

Часам к трем утра я добрался до Александрии,
увидел там у пристани этот пароход и ужасно обра-
довался, потому что решил, что я теперь в полной
безопасности. Уже рассветало. Я поднялся на борт,
взял эту каюту, переделался в новое платье и поднялся
в рубку лоцмана, чтобы понаблюдать, хотя и считал,
что большой нужды в этом нет. Сажу там, думаю о
своих брильянтах и все жду, когда пароход отчалит.
Жду, жду — а он не отплывает. Оказывается, чинили

машину, а я ничего не знал; мне, понимаете, очень редко приходилось ездить на пароклодах.

Короче говоря, так мы стояли до самого полудня, только я задолго до этого спрятался в своей каюте, потому что перед завтраком я увидел вдалеке человека, который шел к пристани, и походка у него была похожа на походку Гэла Клейтона. Мне просто нехорошо стало. Я сказал себе: если он узнает, что я нахожусь на этом пароклоде, то я попал, как мышь в мышеловку. Ему нужно будет только следить за мной и ждать, ждать, пока я сойду на берег, в полной уверенности, что он остался за тысячу миль, сойти вслед за мной, идти за мной до какого-нибудь подходящего места, заставить меня отдать ему брильянты, а после этого... я-то знаю, что он сделает потом! Это ужасно, ужасно! А теперь получается, что и *второй* на борту. Вот уж не везет мне, ребята, так не везет! Но вы ведь можете мне спастись, правда ведь? Мальчики, вы не бросите несчастного, за которым охотятся, чтобы убить его? Вы спасете меня? Я буду благословлять землю, по которой вы ходите!

Мы успокоили Джека и улеглись спать, сказав, что придумаем какой-нибудь план и поможем ему, а он не должен так бояться. Вскоре к нему вернулось хорошее настроение, он отвинтил стальные пластиночки на своих каблуках, вытащил брильянты и принялся поворачивать их и так и эдак, любоваться ими, восхищаться. И что правда, то правда, когда свет падал на брильянты, они выглядели замечательно — они вроде бы вспыхивали, и вокруг них словно разливалось сияние. И все-таки я подумал, что Джек порядочный дурак. Если бы я был на его месте, я отдал бы эти брильянты тем парням, и пусть бы они сошли на берег и оставили меня в покое. Но Джек был сделан из другого теста. Он говорил, что в этих брильянтах целое состояние и что он не в силах с ними расстаться.

Наш пароклод дважды останавливался, чтобы чинить машину, и стоял подолгу, один раз — ночью; но было не так уж темно, и Джек побоялся сходить. А вот когда мы остановились в третий раз, случай оказался

подходящим. Во втором часу ночи пароход причалил у дровяного склада, милях в сорока от фермы дяди Сайласа. Ночь была темная, и собирался дождь. Тут Джек решил попытать счастья и попробовать незаметно удрать. На пароход начали грузить дрова. Вскоре дождь полил как из ведра, да еще поднялся сильный ветер. Ну, ясно, все матросы, которые носили дрова, нахлобучили на головы мешки, чтобы прикрыться от дождя. Мы нашли такой же мешок для Джека, и он, прихватив свой саквояж, сошел на берег вместе с матросами. Когда мы увидели, что он миновал освещенное факелом место и исчез в темноте, мы наконец вздохнули с облегчением. Только радость наша оказалась преждевременной. Кто-то, я думаю, сообщил им, потому что минут через десять его два компаньона стремглав бросились вслед за ним на берег и пропали из виду. До самого рассвета мы с Томом ждали и надеялись, что они вернутся, только они так и не вернулись. Мы совсем расстроились и пали духом. Единственная наша надежда была, что Джек намного опередил их и они не найдут его следов, а он сумеет добраться до фермы своего брата, спрятаться там и будет наконец в безопасности.

Джек собирался идти вдоль реки и просил нас, чтобы мы узнали, дома ли Брейс и Юпитер и нет ли там кого-нибудь чужого, а после захода солнца прибежали и рассказали бы все ему. Он сказал, что будет ждать нас в маленькой платановой рощице позади табачной плантации дяди Сайласа, у дороги, — место такое, что там никто не бывает.

Долго сидели мы с Томом и обсуждали, удалось ли ему от них скрыться, и Том сказал, что если эти парни пустились вверх по реке, вместо того чтобы направиться вниз, тогда все в порядке, — только вряд ли так оно получится. Может быть, они знают, откуда Джек родом. Скорее всего, они двинутся куда надо, будут весь день следить за ним, — а он ведь ничего не подозревает, — и как только стемнеет, убьют его и заберут сапоги. Так что у нас с Томом на душе было очень скверно.

ТРАГЕДИЯ В РОЩЕ

Машину чинили до конца дня, и мы добрались до места только на закате и, никуда не заходя, бросились к платановой роще, чтобы объяснить Джеку, почему мы задержались, и попросить его подождать, пока мы сходим к Брейсу и узнаем, как там обстоят дела. Когда мы, потные и запыхавшиеся от быстрой ходьбы, добрались до опушки леса и ярдах в тридцати впереди показалась платановая роща, мы увидели двух мужчин, вбегавших в рощу, и слышали отчаянные крики о помощи. «Ну вот, — сказали мы, — значит, убили беднягу Джека». Перепугались мы насмерть, бросились к табачной плантации и спрятались там. А дрожали мы так, словно и одежда нас уже не грела. Только мы успели прыгнуть в канаву, как мимо нас стремглав пробежали двое мужчин и скрылись в роще, а еще через секунду из рощи выбежало уже четверо: двое удирали со всех ног, а двое других преследовали их.

Мы лежали ни живы ни мертвы и прислушивались, что будет дальше; но ничего не было слышно, кроме стука наших сердец. Мы думали о том страшном, что лежит там, под платанами; и мне все казалось, что где-то рядом с нами привидение, так что меня холодный пот прошибал. За деревьями взошла луна, огромная, круглая и яркая, похожая на лицо, выглядывающее из-за тюремной решетки. Кругом появились черные тени и белые пятна, которые перемещались, повеял ночной ветерок, и стало до жути тихо, словно на кладбище. И вдруг Том прошептал:

— Смотри, что это?

— Перестань, — говорю я ему, — нельзя так пугать людей. Я и без того чуть не умираю от страха.

— Смотри сюда, говорю тебе! Там, между платанами, что-то виднеется.

— Перестань, Том!

— Оно ужасно высокое!

— Господи, спаси нас!

— Помолчи! Оно идет сюда!

Том был так взволнован, что у него дух захватывало. Тут я уже не выдержал — я должен был взглянуть. Теперь мы оба стояли на коленях, приподнявшись над перекладной изгороди, и смотрели не отрываясь, а душа у нас ушла в пятки. Оно двигалось по направлению к нам, сначала оно еще было в тени деревьев, и мы не могли рассмотреть его как следует, потом оно приблизилось и вступило в полосу лунного света — и тут мы оба нырнули в нашу канаву: это был дух Джека Данлепа! В этом мы не сомневались.

Минуту или две мы не могли пошевелиться. За это время привидение исчезло. Тогда мы начали шептаться. Том заговорил первым:

— Обычно *они* всегда туманны и расплывчаты, как будто сделаны из дыма, а это привидение совсем не такое.

— Да уж, — говорю я, — я совершенно ясно видел очки и бакенбарды.

— Да и все на *нем* яркое, словно на нем праздничный костюм — клетчатые брюки, зеленые с черным...

— И вельветовый жилет в красную и желтую клетку...

— А на брюках у него кожаные штрипки, и одна болтается...

— А шляпа!..

— Да уж, странная шляпа для привидения!

Понимаете, дело в том, что такие шляпы — черные, с твердыми полями и высоким круглым верхом, похожие на сахарную голову, — только в этом году вошли в моду.

— Ты не заметил, Гек, волосы у него остались прежними?

— Нет... Сначала мне показалось, что такие же, а потом вроде нет.

— Я тоже не заметил. А вот саквояж с ним был, это я видел.

— И я. Слушай, Том, а разве саквояж может стать привидением?

— Ну вот! На твоём месте, Гек, *я* не проявлял бы такого невежества. Все, что *есть* у привиде-

ния, тоже становится привидением. Они же, как и все, должны иметь свои вещи. Ты же сам видел, что вся его одежда тоже стала привидением, а чем саквояж от нее отличается? Конечно он тоже стал привидением.

Это было справедливо. Мне нечего было возражать. В это время мимо нас прошли Билл Уиверс со своим братом Джеком, и мы услышали, как Джек сказал:

— Как ты думаешь, что он тащил?

— Откуда я знаю, что-то тяжелое.

— Да уж, он весь согнулся. Наверное, какой-нибудь негр стащил кукурузу у проповедника Сайласа.

— Наверное. Потому я и не скажу, что видел его.

— И я тоже.

Они рассмеялись и прошли дальше. Нам стало ясно, насколько хуже относились теперь здесь к дяде Сайласу. Уиверсы никогда в жизни не позволили бы негру безнаказанно украсть кукурузу у кого-нибудь другого.

Вскоре мы услышали еще голоса и смех, какие-то люди приближались к нам. Оказалось, что это Лем Биб и Джим Лейн. Джим Лейн говорил:

— Кто? Юпитер Данлеп?

— Ну да.

— Ну, не знаю. Наверное, там. Я видел его с час назад, как раз перед заходом солнца. Он копал там что-то вместе с проповедником. Он сказал, что вряд ли пойдет с нами сегодня, но если мы хотим, то можем взять его собаку.

— Небось устал, бедняга!

— Да уж, работает он прилежно, ничего не скажешь!

— Еще бы!

Лем и Джим хихикнули и пошли дальше. Том предложил вылезти и пойти за ними, так как нам с ними по пути, а встретить опять привидение и оказаться с ним наедине нам совсем не хотелось. Так мы и сделали и благополучно добрались до дома.

Это было второе сентября, суббота. Никогда не забуду этого дня. Скоро вы сами поймете почему.

КАК ДОБЫТЬ БРИЛЬЯНТЫ

Так мы тащились вслед за Джимом и Лемом, пока не добрались до заднего перелеза, где стояла хижина, в которой был заперт наш негр Джим, когда мы его освобождали. Тут нас окружили собаки, прыгая и приветствуя лаем, в доме горел свет, так что мы уже перестали бояться и собирались перелезть во двор, как вдруг Том говорит мне:

— Подожди, присядь-ка на минутку.

— Что такое? — спрашиваю я.

— Есть дело, и серьезное, — говорит он. — Ты, конечно, думаешь, что мы немедленно побежим рассказывать родным о том, кто лежит убитый там, под платанами, о мошенниках, которые убили его, о брильянтах, которые они утащили с трупа, — что мы выложим всю эту историю и о нас пойдет слава, будто мы больше всех знаем об этом деле?

— Ну еще бы! Ты не был бы Томом Сойером, если бы упустил такой случай. Уж я-то знаю, что когда ты примешься рассказывать, то разукрасишь все как надо.

— А что ты скажешь, — совершенно спокойно заявляет он мне, — если я сообщу тебе, что не собираюсь ничего рассказывать?

Я был поражен, услышав от него такие слова.

— Скажу, что это чепуха. Ты ведь шутишь, Том Сойер?

— Так вот, ты сейчас сам увидишь. Скажи мне, привидение было босое?

— Нет. Ну и что из этого?

— Подожди, подожди, сейчас поймешь. Были на нем сапоги?

— Конечно, я ясно видел их.

— Ты можешь поклясться, что видел их?

— Конечно.

— Ну и я могу. А понимаешь ли ты, что это значит?

— Ничего не понимаю. Что это значит?

— А вот что. Это значит, что брильянты не достались ворами!

— Вот так штука! Почему ты так думаешь?

— Я не думаю, я знаю. Разве брюки, и очки, и бакенбарды, и саквояж, и все его вещи не превратились в привидения? Все, что на нем было, все превратилось в привидения. А из этого ясно, что его сапоги тоже превратились в привидения, потому что они были на нем в тот момент, когда Джек стал привидением. И если это не доказательство того, что сапоги грабителям не достались, хотел бы я знать, какое тебе еще нужно доказательство.

Нет, вы подумайте только. Такой головы, как у этого парня, я никогда еще не встречал. У меня ведь тоже есть глаза, и я тоже все видел, но мне и в голову не придет такое. А вот Том Сойер другой человек. Когда Том Сойер смотрит на какую-нибудь вещь, то эта вещь встает на задние лапы и разговаривает с ним, она просто раскрывает ему все свои секреты. Право, я такой головы не встречал еще.

— Том Сойер, — сказал я, — я еще раз скажу то, что говорил уже много раз: я недостойн чистить твои башмаки! Ну да ладно, это к делу не относится. Господь бог создал нас всех, и одним он дал глаза, которые ничего не видят, а другим дал глаза, которые видят все; а для чего он это сделал — не нам судить. Значит, так и надо было, иначе он бы устроил это по-другому. Теперь я понял, что воры не унесли брильянтов. А вот почему, как ты думаешь?

— Да потому, что те двое спугнули их раньше, чем они успели снять с трупа сапоги.

— Вот оно как? Все понятно. Только скажи мне, Том, почему бы нам не пойти и не рассказать все это?

— Да ну тебя, Гек Финн, неужели ты сам не понимаешь? Ты сообрази, что будет дальше? Завтра утром начнется расследование. Те двое расскажут, как они слышали крики и прибежали туда, но слишком поздно, чтобы спасти незнакомца. Потом присяжные будут долго болтать и наконец вынесут решение, что человек этот был застрелен, или зарезан, или его стукнули чем-нибудь по голове и по воле господ бога он отдал ему душу. После этого его похоронят, а вещи

продадут с аукциона, чтобы оплатить расходы. Вот тут-то и придет наш черед.

— Каким образом, Том?

— Мы купим эти сапоги за пару долларов!

Я чуть не задохнулся от восторга.

— Господи, Том, так мы получим брильянты!

— А как же ты думал! За их находку будет наверняка объявлена большая награда — тысяча долларов, не меньше. И мы ее получим! Ну а теперь пошли в дом. И не забудь, что мы ничего не знаем ни о каком убийстве, ни о каких брильянтах, ни о каких ворах.

Мне оставалось только вздохнуть по поводу такого решения. Я бы, конечно, продал эти брильянты — да, да, уважаемые господа! — за двенадцать тысяч долларов. Но я промолчал. Все равно спорить с Томом толку не было. Я спросил только:

— Том, а как мы объясним тете Салли, где мы пропадали столько времени?

— Ну, это я предоставляю тебе, — заявил он. — Я рассчитываю, ты что-нибудь придумаешь.

Вот он всегда такой — строгий и щепетильный. Никогда сам не будет врать.

Мы прошли через большой двор, узнавая на каждом шагу знакомые предметы, которые так приятно было опять увидеть, подошли к крытому проходу между большим бревенчатым домом и кухней, — на стене, как и всегда, висели все те же вещи, даже застиранная зеленая рабочая куртка дяди Сайласа с капюшоном; на ней была грубая белая заплатка между лопатками, так что всегда казалось, что в дядю Сайласа кто-то засадил снежком. Мы подняли щеколду и вошли.

Тетя Салли в этот момент рвала и метала, дети жались в одном углу, а старик, укрывшись в другом, молился о ниспослании помощи в час нужды. Тетя Салли бросилась нам навстречу, смеясь и плача, закатила нам обоим по оплеухе, сжала нас в объятиях, расцеловала и выдала нам еще по одной пощечине. Казалось, ей это никогда не надоест, так она была рада видеть нас. А потом она сказала:

— Где же вы плялись все это время, негодные бездельники? Я уж до того беспокоилась, что не знала,

что и делать. Ваши вещи привезли уже бог знает когда, и я уже четыре раза заново стряпала ужин, чтобы накормить вас получше, как только вы приедете, пока у меня уж окончательно не лопнуло терпение, и я теперь готова заживо с вас шкуру снять. Бедненькие мои, вы же, наверное, умираете с голода! А ну, все за стол, быстрее, не тратьте зря времени.

Ну и приятно же было, должен вам сказать, опять, как когда-то, сидеть за столом, а перед тобой этот вкуснейший ржаной хлеб, и свиные отбивные, и вообще все, что можно пожелать на этом свете. Дядя Сайлас выдал нам одно из самых своих замысловатых благословений, в котором сложных оборотов было не меньше, чем слоев в луковице, и пока ангелы разбирались в этом, я мучительно придумывал, как же мне объяснить причину нашего опоздания. Когда нам положили еду на тарелки и мы принялись за дело, тетя Салли сразу же спросила меня об этом, и я принялся мямлить:

— Да вот, понимаете... миссис...

— Гек Финн! С каких это пор я стала для тебя «миссис»? Или я когда-нибудь скупилась на подзатыльники и поцелуи для тебя с того дня, как ты появился в этой комнате и я приняла тебя за Тома Сойера и благодарила бога за то, что он послал мне тебя, хотя ты наговорил мне сорок бочек вранья, а я, как дурочка, всему поверила? Зови меня, как и раньше, тетей Салли.

Так я и сделал и говорю ей:

— Так вот, мы с Томом решили пройтись пешком и подышать лесным воздухом, и тут мы встретили Лема Биба и Джима Лейна, а они предложили нам пойти вместе с ними собирать чернику и сказали, что они могут взять собаку Юпитера Данлепа, так как они только что говорили с ним...

— А где они его видели? — спросил дядя Сайлас.

Я посмотрел на него, удивившись, почему это он заинтересовался такой мелочью, и вижу, что он ну прямо впился в меня глазами, так его это задело. Я удивился и даже растерялся, но потом собрался с мыслями и говорю ему:

— Да когда он вместе с вами копал что-то, перед заходом солнца или около этого.

Дядя Сайлас только хмыкнул, вроде как разочарованно, и перестал меня слушать. Тогда я решил продолжать и говорю:

— Ну так вот, как я уже объяснял...

— Достаточно, дальше ты можешь не продолжать! — прервала меня тетя Салли. Она с возмущением смотрела на меня в упор. — Гек Финн, — сказала она. — может быть, ты объяснишь, с чего это они собрались за черникой в сентябре в наших краях?

Тут я понял, что запутался, и прикусил язык. Тетя Салли подождала, по-прежнему глядя на меня в упор, и наконец заявила:

— И как могла прийти людям в голову такая идиотская мысль — идти собирать чернику ночью?

— Да ведь они... мэм, э-э... они сказали, что у них есть фонарь, и что...

— Замолчи, с меня хватит! И скажи-ка мне, что они собирались делать с собакой? Охотиться с нею на чернику?

— Я думаю, мэм, что они...

— Ну а ты, Том Сойер, какое вранье ты собираешься добавить к этому вороху лжи? Ну-ка, говори, только, прежде чем ты начнешь, предупреждаю тебя, что я не верю ни одному твоему слову. Я прекрасно знаю, что вы с Геком Финном занимались тем, чем не следовало, я ведь отлично знаю вас обоих. А теперь объясни мне все про собаку, и про чернику, и про фонарь, и про всю эту чепуху. И не вздумай водить меня за нос, слышишь?

Том напустил на себя весьма обиженный вид и с достоинством заявил:

— Мне очень жаль, что Гека ругают за то, что он оговорился, а это со всяким может случиться.

— Как же это он оговорился?

— Он сказал «черника», вместо того чтобы сказать «земляника».

— Том Сойер, если ты и дальше будешь злить меня, я...

— Тетя Салли, вы по незнанию и, конечно, не намеренно, впали в ошибку. Если бы вы изучали естественную историю, как полагается, вы бы знали, что во всем мире, за исключением Арканзаса, землянику *всегда* ищут с собакой... и с фонарем...

Но тут она обрушилась на него, словно снежная лавина, и совершенно подавила его. Она была в такой ярости, что слова не успевали выскакивать у нее изо рта, они изливались сплошным нескончаемым потоком. А Тому только этого и нужно было. Он всегда так — даст ей повод, разозлит ее и предоставит ей выкрикаться. После этого всякое упоминание о том, из-за чего шел спор, так будет раздражать ее, что она никогда уже ни слова не скажет и другим не позволит. Так оно и случилось. Когда тетя Салли пришла наконец в изнеможение и должна была остановиться, он совершенно спокойно начал:

— И все-таки, тетя Салли...

— Замолчи! — закричала она. — Я не желаю больше слушать об этом!

Таким образом, нам больше ничего не грозило и никто к нам больше не приставал с этим опозданием. Том провел это дело блестяще.

Глава VII

НОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Бенни во время ужина казалась ужасно огорченной и то и дело вздыхала, но вскоре она принялась расспрашивать нас о Мэри, о Сиде, о тете Полли; потом и тучи, омрачавшие тетю Салли, разошлись, к ней вернулось ее обычное хорошее настроение, и она тоже начала забрасывать нас вопросами. Таким образом, конец ужина прошел весело и приятно. Один только дядя Сайлас не принимал никакого участия в нашем разговоре, он был рассеян, без конца вздыхал и явно был чем-то обеспокоен. Очень тяжело было видеть его таким унылым, расстроенным и встревоженным.

Вскоре после ужина явился негр, постучал в дверь, просунул голову внутрь и, держа в руке старую соломенную шляпу и расшаркиваясь и кланяясь, сказал, что масса Брейс стоит у перелаза и ждет своего брата; ему надоело ждать его с ужином, и не будет ли масса Сайлас так добр и не скажет ли, где Юпитер?

Я никогда раньше не видел, чтобы дядя Сайлас разговаривал с таким раздражением. Он закричал:

— Разве я сторож брату его? — Тут он сразу как будто сник; похоже было, что он пожалел, что сказал так, и деликатно продолжал: — Ты только не передавай твоему хозяину того, что я сказал, Билли; я стал очень раздражителен последнее время, и ты застал меня врасплох. И вообще я нехорошо себя чувствую и с трудом соображаю. Скажи ему, что его брата здесь нет.

Негр ушел, а дядя Сайлас принялся ходить взад и вперед, бормоча что-то себе под нос и ероша волосы. Было просто до невозможности жалко смотреть на него. Тетя Салли шепнула нам, чтобы мы не обращали на дядю внимания, потому что это смущает его. С тех пор, сказала тетя Салли, как начались все эти неприятности, он все время вот так думает и думает, и ей кажется, что когда на него такое находит, то он сам вряд ли понимает, где он и что с ним. И еще она добавила, что дядя Сайлас теперь гораздо чаще бродит во сне, чем раньше, а иногда во сне ходит по дому и даже по двору, и если, сказала тетя Салли, мы его встретим в такую минуту, то надо оставить его в покое и не трогать. По ее мнению, это не причиняет ему вреда, а может быть, даже идет на пользу. В такие дни помочь ему может одна только Бенни. Она одна знает, когда его нужно успокаивать, а когда лучше оставить его в покое.

А дядя Сайлас продолжал ходить взад и вперед по комнате и бормотать что-то про себя, пока не утомился, тогда Бенни подошла к нему, взяла его за руку, другой рукой обняла и увела. Дядя Сайлас улыбнулся ей и, нагнувшись, поцеловал ее. Лицо его мало-помалу стало спокойнее, и Бенни уговорила его уйти в его комнату. Они так были ласковы друг с другом, что на них было умилительно смотреть.

Тетя Салли принялась укладывать детей спать, нам с Томом стало скучно, и мы пошли погулять при луне, забрели в огород, сорвали арбуз и за разговором съели его. Том сказал мне, что он готов держать пари, что ссоры происходят по вине Юпитера, и он, Том, при первой же возможности, постарается быть при такой ссоре и понаблюдать. И если он прав, то сделает все возможное, чтобы дядя Сайлас прогнал Юпитера.

Так вот мы часа два сидели, курили, болтали и объедались арбузами; наконец стало совсем поздно, и когда мы вернулись, в доме все было темно и тихо, все спали.

Том — он всегда все замечает. Вот и теперь он заметил, что старая зеленая рабочая куртка исчезла, и сказал, что, когда мы выходили, она была на месте. Он заявил, что здесь что-то не так, и мы пошли спать.

Мы слышали, как за стеной ходит Бенни по своей комнате, и решили, что она волнуется из-за отца и не может уснуть. Но мы и сами тоже не могли уснуть. Долго мы так сидели, курили, разговаривая вполголоса, и было нам грустно и тоскливо. Мы без конца говорили об убийстве и о привидении и до того сами себя напугали, что уже никак не могли уснуть.

Кругом стояла такая полная тишина, которая бывает только глубокой ночью, и вдруг Том толкнул меня локтем и шепнул мне, чтобы я посмотрел в окно. Мы увидели человека, бесцельно бродившего взад и вперед по двору так, словно он сам не знает, чего ищет. Ночь была довольно темная, и мы не могли рассмотреть его как следует. Но вот он направился к перелазу; свет луны упал на него, — и мы увидели, что в руках у него лопата с длинной рукояткой, а на спине старой рабочей куртки светилась белая заплата. Тут Том и говорит:

— Это он во сне разгуливает. Хотел бы я пойти за ним и посмотреть, куда это он собрался. Смотри, он повернул к табачной плантации. Ну, теперь совсем пропал из виду. Это ужасно, что он не находит себе покоя.

Долго мы ожидали, но он так и не вернулся, а может быть, он вернулся другим путем. Наконец мы совсем уже сомнели от усталости и уснули. Нам снились страшные сны, миллионы страшных снов. Однако перед

рассветом мы проснулись — началась гроза, гремел страшный гром и сверкали молнии, ветер сгибал деревья, косой ливень лил как из ведра, и каждая канава превратилась в бурную реку. Том сказал мне:

— Послушай, Гек, я скажу тебе одну очень странную вещь. Вот уж сколько времени прошло с тех пор, как мы пришли сюда вчера вечером, а никто еще не знает об убийстве Джека Данлепа, а ведь те люди, что спугнули Гэла Клейтона и Бэда Диксона, должны были в первые же полчаса разболтать всем встречным, и каждый, кто услышал об этом, сразу побежал бы по соседним фермам, чтобы первым сообщить новость. Еще бы, такого случая у них не было, наверное, лет тридцать. Все это очень странно, Гек, я ничего не понимаю.

Том сгорал от нетерпения, ожидая, когда кончится дождь, чтобы можно было выскочить на улицу, завязать с кем-нибудь разговор и послушать, что будут нам рассказывать об убийстве. Он предупредил меня, что мы должны делать вид, будто ужасно удивлены и поражены.

Едва кончился дождь, мы уже были на улице. Было раннее погожее утро. Мы слонялись по дороге, то и дело встречая знакомых, здоровались с ними, рассказывали о том, когда мы прехали, как дела у нас дома, сколько времени мы собираемся пробыть здесь, и все в таком роде, — и никто, ни один человек, не сказал нам ни слова об убийстве. Это было совершенно непонятно, однако это было так. Том сказал, что если мы пойдем в платановую рощу, то наверняка найдем там труп и ни единой души вокруг. Не иначе, говорит, как те люди, что спугнули воров, гнались за ними так далеко в лес, что воры, может быть, решили воспользоваться этим и сами напали на них. В конце концов, может, они все поубивали друг друга и не осталось никого в живых, кто мог бы рассказать об этом.

Так мы болтали, пока не дошли до платановой рощи. Тут у меня уж мурашки побежали по спине, и, как Том ни настаивал, я сказал, что дальше ни шагу не сделаю. Но Том не мог удержаться, он *должен* был посмотреть, остались ли на трупе сапоги. И он пошел туда, но уже через минуту он выскочил обратно, и глаза у него прямо чуть не на лоб вылезли от удивления.

— Гек, — выдавил он, — его там нет!

Я чуть не обалдел.

— Том, — сказал я, — этого не может быть.

— А я тебе говорю, что его там нет. И никаких следов не осталось. Земля немного приотптана, но если там и была кровь, то ее смыло дождем, теперь там, кроме грязи и слякоти, ничего нет.

Наконец я сдался и решился сам пойти туда и посмотреть. Все было так, как сказал Том, — труп исчез бесследно.

— Вот тебе и фунт изюму! — только и мог выговорить я. — Брильянты-то приказали кланяться. Как ты думаешь, Том, может это воры прокрались обратно и утащили его?

— Похоже на то. Так оно, видимо, и есть. Только вот где они могли спрятать его, как ты думаешь?

— Понятия не имею, — с отвращением сказал я, — и все это меня вообще уже больше не интересует. Сапоги они забрали, и это единственное, что меня волновало. А покойнику долгонько придется лежать здесь, в лесу, прежде чем я начну разыскивать его.

Тома, в общем, тоже не очень уж теперь интересовала судьба покойника, ему было просто любопытно, что случилось с трупом. Но он сказал, что мы все-таки должны помалкивать и ничего не рассказывать, потому что вскоре собаки или еще кто-нибудь обязательно наткнется на труп.

Домой к завтраку мы вернулись расстроенные, разочарованные, чувствуя, что нас надули. Никогда еще в жизни я так не расстраивался из-за какого-то покойника.

Глава VIII

РАЗГОВОР С ПРИВИДЕНИЕМ

Невеселый это был завтрак. Тетя Салли выглядела усталой и постаревшей; она словно и не замечала, что дети ссорятся и шумят за столом, — а это было на нее совсем не похоже. Том и я помалкивали, нам было о

чем подумать и без разговоров. Бенни, наверное, вообще почти не спала ночью, и когда она чуть приподнимала голову от тарелки и бросала взгляд на своего отца, в ее глазах блестели слезы. Что же касается дяди Сайласа, то завтрак стыл у него на тарелке, а он как будто и не замечал, что перед ним, — он все думал и думал о чем-то своем, так и не проронив ни слова и не прикоснувшись к еде.

И вот в этой тишине в дверь опять просунулась голова того же самого негра, и он сказал, что масса Брейс ужасно беспокоится за массу Юпитера, который до сих пор не пришел домой, и не будет ли масса Сайлас так добр...

Негр посмотрел на дядю Сайласа, и слова застряли у него в горле: дядя Сайлас поднялся, держась руками за стол и дрожа всем телом; он задыхался, глаза его впились в негра, он сделал несколько судорожных глотков, схватился рукой за горло и наконец сумел выдавить из себя несколько бессвязных слов:

— Что он... что он... что он думает? Скажи ему... скажи ему... — Тут он без сил рухнул обратно в кресло и пролепетал чуть слышным голосом: — Уходи... уходи...

Перепуганный негр немедленно скрылся, а мы почувствовали себя... — не могу даже сказать, как мы себя чувствовали, но страшно было смотреть, как задыхается наш старый дядя Сайлас, — глаза у него остановились, и вообще у него был такой вид, словно он умирает. Никто из нас не мог сдвинуться с места, одна только Бенни тихо скользнула вокруг стола, слезы текли по ее лицу; обняв отца, она прижала к своей груди его старую седую голову и принялась баюкать его, как ребенка. При этом она сделала нам всем знак уйти, и мы вышли, стараясь не шуметь, как будто в комнате был покойник.

Мы с Томом пошли в лес, и нам было очень грустно; по дороге мы говорили о том, как все изменилось по сравнению с прошлым летом, когда мы жили здесь. Тогда все было мирно, все были счастливы, кругом все уважали дядю Сайласа, а он сам был весел, простоду-

шен, ласков и чудаковат. А посмотрите на него сейчас! Если он еще не свихнулся, говорили мы, то ему до этого недалеко.

Был чудесный день, яркий и солнечный, мы уходили все дальше за холмы, в сторону прерии, деревья и цветы становились все красивее, и так странно было думать, что в таком замечательном мире существуют горе и беда. И вдруг у меня перехватило дыхание, я уцепился за руку Тома, а все мои печенки и легкие ушли в пятки.

— Вот оно! — прошептал я, и мы оба, дрожа от страха, спрятались за кустом.

— Т-с-с! — зашипел Том. — Ни звука!

Оно сидело, задумавшись, на бревне на лужайке. Я попытался увести Тома, но он не хотел, а сам я не мог пошевелиться. Том стал объяснять мне, что второго случая увидеть это привидение у нас не будет и что он решил как следует насмотреться на него, хотя бы ему угрожала смерть. Мне ничего не оставалось делать, как тоже смотреть, хотя меня от этого било как в лихорадке. Том не мог молчать; но он говорил все-таки шепотом.

— Бедный Джеки, — бормотал он, — он успел переодеться, как собирался. Теперь ты можешь увидеть то, в чем мы не были уверены, — его волосы. Они не такие длинные, как были, он постриг их покороче, как я и говорил. Гек, я никогда в жизни не видел ничего более естественного, чем это привидение.

— И я не видел, — согласился я. — Я его где хочешь узнаю.

— И я узнаю. Оно выглядит совсем заправдашним человеком, совершенно таким же, как до смерти.

Так мы продолжали глазеть, пока Том не сказал:

— Гек, а знаешь, это привидение какое-то странное. Днем-то ему ходить не положено.

— А ведь и правда, Том! Я никогда не слышал, чтобы они ходили днем.

— Вот именно, сэр! Мало того, что они появляются только по ночам, — они не могут появиться, пока часы не пробьют двенадцать. А с этим привидением что-то не в порядке, помани мои слова. Я уверен, что оно не

пимет права появляться днем. И до чего же естественно *оно* выглядит! Слушай, Джек ведь собирался изображать из себя глухонемого, чтобы соседи не узнали его по голосу. Как ты думаешь, если мы окликнем его — оно отзовется?

— Бог с тобой, Том, что ты говоришь! Я тут же умру, если ты окликнешь его.

— Да успокойся, я не собираюсь окликать его. Смотри, смотри, Гек, *оно* чешет голову! Ты видишь?

— Вижу, ну и что из этого?

— Как что! Зачем привидению чесать голову? Там же нечему чесаться: у привидения голова из тумана или чего-то вроде этого. Она не может чесаться! Туман не может чесаться, это каждому дураку ясно.

— Послушай, Том, если оно не должно чесаться и не может чесаться, так чего ради оно лезет рукой в затылок? А может быть, это просто привычка?

— Нет, сэр, я этого не думаю. Не нравится мне, как ведет себя это привидение. У меня сильное подозрение, что оно не настоящее. Это так же точно, как то, что я сижу здесь. Потому что, если оно... Гек!

— Ну, что еще?

— Гек, ведь кустов сквозь него *не видно!*

— А ведь правда, Том. Оно плотное, как корова. Я начинаю думать...

— Гек, оно откусило кусок табака! Пусть меня сожрут черти, но привидения не жуют табак — им *нечем* жевать! Гек!

— Ну, что?

— Гек, это не привидение. Это Джек Данлеп собственной персоной.

— Да ты рехнулся! — воскликнул я.

— Скажи мне, Гек Финн, нашли мы труп в платановой роще?

— Нет.

— Или хоть какие-нибудь следы трупа?

— Нет.

— Вот тебе и отгадка. Там никогда и не было никакого трупа.

— Подожди, Том, но ведь мы слышали...

— Да, мы слышали крики. Но разве это доказывает, что кого-то убили? Конечно нет. Мы видели четырех бегущих мужчин, потом мы увидели его и решили, что это привидение. А он был таким же привидением, как мы с тобой. Это был не кто иной, как сам Джек Данлеп. И сейчас это Джек Данлеп. Он, как и собирался, остриг себе волосы и притворяется, что он здесь никого не знает, точно так, как он и говорил. Привидение! Это он-то привидение? Да он здоров как бык!

Тут я все понял и сообразил, что мы слишком много сами насочиняли. Я очень обрадовался, что Джек жив, и Том тоже обрадовался. Мы стали раздумывать, что предпочтет Джек — чтобы мы делали вид, что никогда его прежде не видели, или наоборот? И Том сказал, что, пожалуй, самое правильное спросить самого Джека, и пошел к нему. Я все-таки держался позади, потому что кто его знает, а может, это все-таки привидение. Том подошел к Джеку и сказал:

— Мы с Геком ужасно рады видеть вас, и вам нечего бояться, что мы проболтаемся. Если вы считаете, что вам безопаснее, чтобы мы, встречая вас, делали вид, что не знаем вас, только скажите, и вы увидите, что можете на нас положиться. Мы лучше дадим отрубить себе руку, чем подвергнем вас хоть какой-нибудь опасности.

В первый момент он посмотрел на нас с удивлением и, пожалуй, без всякого удовольствия, но по мере того как Том говорил, лицо его становилось добрее, а когда Том кончил, он улыбнулся нам, закивал головой, стал делать какие-то знаки руками и замычал «гу-у-у-гу-у-у», как делают глухонемые.

В эту минуту мы увидели Стива Никерсона с женой и детьми, — они живут по ту сторону поля. И Том сказал:

— Вы отлично делаете это, я просто никогда в жизни не видел, чтобы кто-нибудь делал это лучше. Так и надо, притворяйтесь и при нас, для вас это будет практика, и вы не наделаете ошибок. Мы будем держаться подальше и делать вид, что не знаем вас, но

в любое время, когда вам потребуется наша помощь, дайте нам только знать.

Потом мы пошли, как будто гуляя, навстречу Никерсонам; ну и они, конечно, принялись расспрашивать, что это за человек, и откуда он, и как его зовут, баптист он или методист, и за какую он партию — за демократов или вигов, и сколько времени он здесь пробудет, — в общем, все те вопросы, которые задают обычно люди, когда появляется новый человек. Собаки, впрочем, делают то же самое. Том сказал, что это глухонемой и он только мычит и размахивает руками, так что понять ничего нельзя. Никерсоны тут же подошли к глухонемому и принялись подшучивать над ним, а мы с тревогой следили за этим. Том сказал, что Джек не сразу привыкнет вести себя как глухонемой и того гляди заговорит прежде, чем успеет сообразить, что делать. Наконец мы убедились, что Джек ведет себя совершенно правильно и отлично делает руками всякие знаки, и отправились в школу, которая находилась милях в трех отсюда, с тем чтобы попасть к перерыву между уроками.

Я был так огорчен тем, что Джек не рассказал о схватке в платановой роще и о том, как его чуть не убили, что у меня даже настроение испортилось; да и Том чувствовал себя так же, но он сказал, что если бы мы были на месте Джека, то мы тоже были бы осторожны и помалкивали, чтобы не попасться.

Мальчишки и девчонки в школе ужасно обрадовались нам, и мы очень весело провели там все время их перерыва. Сыновья Гендерсона по дороге в школу увидели неизвестного глухонемого и рассказали о нем, так что все только о нем и говорили, все хотели увидеть его, потому что никогда в своей жизни не видели глухонемого, словом это вызвало всеобщее волнение.

Том сказал мне, что молчать при таких обстоятельствах ужасно трудно и что если бы мы сейчас рассказали все, что мы знаем, то стали бы героями, но еще более героически хранить молчание, — может, только двое мальчишек из миллиона способны на это. Вот как рассудил Том Сойер, и попробовал бы кто-нибудь раскусить лучше!

ЮПИТЕР ДАНЛЕП НАЙДЕН

В первые же дни глухонемой стал всеобщим любимцем. Его знали уже на всех фермах в округе, все с ним возились и ухаживали за ним и были ужасно горды тем, что у нас появился такой чудной человек. Одни приглашали его к завтраку, другие к обеду, третьи к ужину, его набивали до отказа кукурузной кашей со свиной и никогда не уставали глазеть на него, дивиться ему, и все старались хоть что-нибудь узнать о нем — уж очень он казался необычной фигурой. Толку от его знаков никакого не было, никто не мог его понять, да и он, наверное, сам не знал, что хотел сказать, однако гудел он исправно, и все вокруг были чрезвычайно довольны и с интересом слушали, как он гудел. Он повсюду носил с собой грифельную доску и грифель, — все писали на ней вопросы, а он писал ответы; но никто, кроме Брейса Данлепа, не мог ничего разобрать в его каракулях. Брейс говорил, что он тоже не очень-то хорошо разбирается в них, а большей частью догадывается, о чем идет речь. По рассказам Брейса выходило, что глухонемой приехал сюда издалека; раньше он был богат, но мошенники, которым он доверял, разорили его, теперь он нищий и жить ему не на что.

Все кругом расхваливали Брейса Данлепа за его доброту: он дал бедному калеке отдельную деревянную хижину, приказал своим неграм заботиться о нем и носить ему еды, сколько он захочет.

Бывал глухонемой несколько раз и в нашем доме, — дело в том, что дядя Сайлас так страдал сам в эти дни, что всякий другой несчастный человек был ему утешением. Мы с Томом ничем не выдали, что встречали его раньше, и он никак не показывал, что знал нас. Семья дяди Сайласа разговаривала при глухонемом о своих бедах так, будто его и нет здесь, но мы рассудили, что ничего худого в том, что он слышит эти разговоры, нет. Обычно он не обращал внимания на эти разговоры, но иногда как будто и прислушивался.

Так прошло два или три дня, и все вокруг всерьез встревожились из-за того, что Юпитер Данлеп пропал неизвестно куда. Все расспрашивали друг друга, что же могло с ним случиться. Но никто ничего не знал, все только качали головами и говорили, что это очень странно. Прошел еще один день, и еще один, и все вокруг начали говорить, что, наверное, его убили. Ох, и всполошились тут все! Языки так и трещали. В субботу несколько человек — по двое, по трое — отправились обыскивать лес, в надежде найти останки Юпитера. Мы с Томом взялись помогать им, и это было замечательно интересно. Том был так увлечен этим делом, что ему было уже не до еды, не до отдыха. Он говорил, что если мы найдем труп, то мы прославимся и разговоров об этом будет больше, чем если бы мы утонули.

Остальным поиски скоро надоели, и они их бросили, но только не Том Сойер — это было не в его характере. В субботу ночью он вовсе не спал — все старался придумать план. И к утру план был готов. Том вытащил меня из постели и, страшно волнуясь, сказал:

— Гек, одевайся скорее, я придумал! Нам нужна ищейка!

Через две минуты мы мчались по дороге к городку. У старого Джефа Гукера была ищейка, и Том надеялся выпросить ее. Я ему говорю:

— Слушай, Том, ведь следы слишком старые, и, кроме того, ты же знаешь, прошел дождь.

— Это не имеет никакого значения, Гек. Если тело спрятано где-нибудь здесь, в лесу, то ищейка найдет его. Если его убили и зарыли, то вряд ли зарыли глубоко, и если собака попадет на это место, то она его наверняка почует. Гек, клянусь, мы прославимся, — это так же верно, как то, что ты родился на свет.

Он весь загорелся, а уж когда Том чем-нибудь загорается, то остановить его невозможно. Так было и на этот раз. Не прошло и двух минут, как он все себе представил — не только отыскал труп, нет — он уже напал на след убийцы. Так как ему и этого было мало,

он уже собирался преследовать убийцу до тех пор, пока...

— Ну ладно, — сказал я, — ты сначала найди труп. Я думаю, что пока и этого будет достаточно. А может, никакого трупа нет и в помине и вообще никого не убивали. Этот малый мог просто уйти куда-нибудь, и никто его не убивал.

Том как будто растерялся и говорит:

— Гек Финн, я никогда еще не встречал такого человека, как ты, который бы так старался все испортить. Если ты сам ни на что не надеешься, так ты и другим мешаешь. Ну что тебе за радость вылить ушат холодной воды на этот труп и говорить, что убийства вообще не было? Никакой. Не понимаю, как ты можешь так делать. Я бы так не сделал по отношению к тебе, ты это знаешь. У нас есть такая замечательная возможность прославиться и...

— Ну, валяй, валяй, — говорю я ему, — я очень извиняюсь и беру свои слова обратно. Я ничего не хотел сказать. Поступай, как ты хочешь. Мне до него нет никакого дела. Если его убили, то я так же рад этому, как и ты, а если его...

— Я никогда не говорил, что я рад, я только...

— Ну ладно, тогда я так же огорчен, как и ты. В общем, пользуйся этой возможностью так, как ты считаешь нужным. А этот тип..

— Никаких разговоров о возможности я не вел, Гек Финн. Никто об этом и не говорил. А что касается...

Тут Том забыл, о чем он говорил, и, задумавшись, пошел дальше. Видно было, что он опять постепенно приходит в раж; и действительно, вскоре он заявил мне:

— Гек, это же будет первоклассная штука, если мы найдем труп после того, как все бросили искать его, а потом мы еще и убийцу раскроем. Это будет честь не только для нас, но и для дяди Сайласа, потому что сделаем это мы. Это дело опять поднимет его, вот увидишь.

Однако когда мы заявили в кузницу Джефа Гукера и рассказали ему, зачем пришли, он высмеял всю нашу затею.

— Собаку вы можете взять, — сказал он, — только трупа вы не найдете, потому что его вообще нет. Все бросили искать и правильно сделали. Стоило немного подумать, и все поняли, что никакого трупа нет и в помине. И я вам объясню почему. Вот ответь-ка мне, Том Соьер: почему человек убивает другого человека? Отвечай-ка.

— Ну, как почему...

— Отвечай, отвечай. Ты ведь не дурак. Почему он его убивает?

— Иногда бывает из мести, иногда...

— Стоп. Не все сразу. Месть, говоришь ты. Правильно. А теперь скажи мне, кто мог иметь что-нибудь против этого дурачка? Ну подумай сам, кому могло понадобиться убивать такого кролика, как Юпитер?

Том был озадачен. Я понял, что до сих пор ему и в голову не приходило, что для убийства нужна какая-то причина, а теперь он понял, что действительно вряд ли у кого-нибудь был зуб против такого ягненка, как Юпитер. А кузнец продолжал:

— Теперь ты сам видишь, что месть тут ни при чем. Ну, что еще может быть? Ограбление? А знаешь что, это похоже на правду. Мы с тобой в самую точку попали! Да, да, не иначе, как кто-то позарился на его подтяжки, ну и...

Тут ему самому до того смешно стало, что он принялся хохотать. Он хохотал, заливался смехом, давился смехом, пока совсем не изнемог, а у Тома был при этом такой унылый и пристыженный вид, что я понимал: он жалеет, что пришел сюда. А старик Гукер не унимался. Он перечислил все возможные причины, по которым один человек может убить другого, и каждому дураку было ясно, что к этому случаю ни одна из этих причин не подходит. Насмешкам Гукера не было конца, он издевался над всей этой затеей и над теми, кто разыскивал тело. Наконец он сказал:

— Если бы у них была хоть капля мозгов в голове, они бы догадались, что этот ленивый бездельник удрал куда-то просто потому, что решил устроить себе отдых от работы. Через пару недель этот лодырь заявится обратно. И каково вам тогда будет! Но коли

тебе так хочется, дело твое, забирай собаку и отправляйтесь разыскивать останки!

И Джеф Гукер снова разразился своим громохочущим хохотом. Отступить Тому после всего этого было уже невозможно, и он сказал:

— Хорошо, спускайте ее с цепи.

Кузнец спустил собаку, и мы отправились с ней домой, слыша позади себя раскаты хохота.

Собака была замечательная. Ни у одной породы собак нет такого хорошего характера, как у ищейек, а эта ищейка знала и любила нас. Она прыгала и бегала вокруг, радуясь тому, что оказалась на свободе. Но Том до того приуныл, что даже не смотрел на нее. Он сказал, что очень жалеет, что не подумал как следует, прежде чем браться за это идиотское дело. Том уже заранее предполагал, как Джеф Гукер будет рассказывать о нас каждому встречному-поперечному, и шуткам не будет конца.

В таком мрачном настроении плелись мы задворками домой. Как раз когда мы проходили через дальний угол нашей табачной плантации, собака вдруг завывала; мы бросились к ней и увидели, что наша ищейка изо всех сил роет землю, время от времени поднимая морду кверху и воя.

Место, где рыла собака, было довольно четко обозначенным четырехугольником — под дождем земля здесь осела и образовалась впадина. Мы стояли молча, глядя друг на друга. Ищейка разрыла землю на несколько дюймов, схватила что-то зубами и вытащила — это была рука.

Том ахнул и прошептал:

— Бежим, Гек! Это он!

Я весь оледенел от страха. Мы бросились к дороге и позвали первых же встретившихся нам людей. Они взяли из сарая лопату и вырыли труп. Все были страшно взволнованы. Лица у покойника разобрать было невозможно, но в этом и не было надобности. Все говорили:

— Бедный Юпитер, это же его одежда, до последней тряпки.

Кое-кто бросился, чтобы рассказать эту новость соседям и сообщить судье, чтобы он начал расследовать. А мы с Томом помчались домой. Мы ворвались в комнату, где сидели дядя Сайлас, тетя Салли и Бенни, и Том, запыхавшийся и счастливый, выпалил:

— А мы с Геком нашли труп Юпитера Данлепа! Сами нашли, с ищейкой! Все бросили это дело! Если бы не мы, его *никогда* бы не нашли! А ведь его убили! Дубинкой или чем-то вроде этого. А теперь я займусь поисками убийцы — и найду его, вот увидите, я найду его!

Тетя Салли и Бенни вскочили, побледнев от изумления, а дядя Сайлас покачнулся в своем кресле и упал на пол, протонав:

— Боже мой, вы его *уже* нашли!

Глава X

АРЕСТ ДЯДИ САЙЛАСА

Мы в ужасе застыли от этих слов. По крайней мере полминуты мы были не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Наконец мы как-то пришли в себя, подняли дядю Сайласа и усадили его в кресло. Бенни принялась ласкать отца, целовать и успокаивать его. Бедняжка тетя Салли старалась делать то же самое. Но только обе они были так потрясены и сбиты с толку, что вряд ли понимали сами, что делают. На Тома страшно было смотреть — он совершенно оцепенел от мысли, что навлек на своего дядю неприятности, в тысячу раз худшие, чем прежде; и, быть может, всего этого не случилось бы, если бы не его желание прославиться и если бы он, по примеру всех остальных, предоставил бы трупу лежать там, где лежал. Но вскоре Том справился со своим волнением и сказал:

— Дядя Сайлас, никогда больше не говорите таких слов. Это опасно, и кроме того, в них нет и тени правды.

Тетя Салли и Бенни очень обрадовались, услышав это, и сами стали говорить то же самое, но старик го-

рестно и безнадежно качал седой головой, слезы катились у него по лицу, и он пробормотал:

— Нет... это я сделал... бедный Юпитер... это я сделал...

Слушать его было ужасно. Дядя Сайлас рассказал нам, что все случилось в тот день, когда приехали мы с Томом, как раз перед заходом солнца. Юпитер злился до тех пор, пока дядя Сайлас совсем не взбесился, схватил палку и изо всей силы стукнул Юпитера по голове так, что тот тут же свалился. Тут дядя Сайлас перепугался и огорчился, стал рядом с ним на колени, поднял его голову и стал умолять Юпитера сказать, что он жив. Прошло немного времени, Юпитер очнулся, увидел, кто поддерживает его голову, вскочил так, словно перепугался до смерти, перемахнул через изгородь и помчался в лес. После этого дядя Сайлас решил, что не так уж сильно стукнул его.

— Однако, — продолжал дядя Сайлас, — это только страх придал ему немного сил, но, конечно, силы вскоре оставили его, и он свалился где-нибудь в кустах; не было никого, кто мог бы помочь ему, и он там скончался.

При этих словах старик опять начал плакать и говорить, что он убийца и что на нем проклятие Каина, что он опозорил всю семью и что его обязательно разоблачат и повесят.

— Нет, нет, — прервал его Том, — никто вас не разоблачит. Вы не убивали его. Одним ударом его нельзя было убить. Это сделал кто-то другой.

— Увы, — причитал дядя, — это сделал я и никто другой. Кто еще мог иметь что-нибудь против него?

И он посмотрел на нас, словно в надежде, что кто-нибудь из нас назовет человека, который имел бы что-нибудь против этого безобидного ничтожества. Но смотреть было бесполезно — нам нечего было сказать. Он понял это и опять впал в отчаяние. Я никогда еще не видел более несчастного и жалкого лица, чем у него в этот момент. Тут Тома осенила неожиданная мысль, и он воскликнул:

— Пойдите! Но ведь кто-то закопал его! Кто же... И тут же осекся. Я знал почему. Когда Том про-

изнес эти слова, у меня дрожь пробежала по спине, потому что я вспомнил, как мы в ту ночь видели дядю Сайласа, кравшегося со двора с лопатой в руках. Я знал, что Бенни тоже видела его, потому что она как-то упомянула об этом.

Том тут же постарался переменить тему разговора и стал просить дядю Сайласа никому ничего не говорить. Мы все тоже принялись уговаривать дядю Сайласа, что он должен помалкивать и что это не его дело наговаривать на самого себя; что если он будет молчать, никто никогда и не узнает, а если все выяснится и на него обрушится беда, то он погубит всю семью и убьет их всех, а пользы никому от этого не будет. Наконец дядя Сайлас дал нам обещание молчать. Мы все вздохнули с облегчением и постарались приободрить дядю. Мы говорили ему, что главное — это чтобы он молчал, и вскоре все это дело забудется. Мы все в один голос уверяли дядю Сайласа, что никто никогда не заподозрит его, никому это и в голову не придет, он ведь такой добрый, и у него такая хорошая репутация, а Том со всей своей ласковостью и сердечностью стал говорить:

— Нет, вы только подумайте одну минутку, — говорил Том, — вы рассудите. Вот перед вами дядя Сайлас, все эти годы он был проповедником, не получая за это ни гроша, все эти годы он делал добро людям, не считаясь ни с чем, всегда, когда это было в его силах. Все его любят и уважают, он всегда был мирным человеком и никогда не вмешивался в чужие дела, все в округе знают, что он не может ударить человека. Подозревать его? Это так же невозможно, как...

— Именем штата Арканзас арестовываю вас по обвинению в убийстве Юпитера Данлепа! — загремел в дверях голос шерифа.

Это было ужасное мгновение. Тетя Салли и Бенни бросились к дяде Сайласу и повисли на нем с причитаниями и плачем. Тетя Салли принялась кричать шерифу и людям, которые пришли с ним, чтобы они убились, что она не отпустит дядю Сайласа; негры, столпившиеся у дверей, плакали. В общем, я не мог больше переносить этого. Такая сцена могла разбить человеческое сердце, и я вышел из комнаты.

Дядю Сайласа должны были поместить в жалкую деревенскую тюрьму, и мы пошли проводить его; Том по дороге в возбуждении принялся шептать мне: «Ты представляешь, какое это будет замечательное дело и сколько нам будет грозить опасностей, когда в какую-нибудь темную ночь мы будем выручать его отсюда. Об этом деле растрезвонят повсюду, и мы наверняка прославимся». Однако дядя Сайлас отверг этот план в ту же минуту, когда Том шепнул ему о нем на ухо. Старик заявил, что долг обязывает его подчиниться представителям закона, что бы они с ним ни делали, и что он останется в тюрьме столько, сколько потребуется, даже если там не будет дверей и запоров. Дядины слова сильно разочаровали Тома, однако делать было нечего.

И все-таки Том считал себя виноватым в несчастье дяди Сайласа и твердо решил, что, так или иначе, он должен освободить старика из тюрьмы. Поэтому, прощаясь с тетей Салли, он сказал ей, чтобы она не волновалась, потому что он решил вмешаться в это дело и будет заниматься им день и ночь, пока не сорвет эту игру и не докажет невиновность дяди Сайласа. Тетя Салли совсем растрогалась и принялась благодарить Тома. Она сказала ему, что уверена, что он сделает все возможное. Она поручила нам помогать Бенни вести хозяйство и смотреть за детьми. Мы со слезами попрощались с ней и отправились обратно на ферму, а тетя Салли осталась жить у жены тюремщика до октября, когда должен был состояться суд.

Г л а в а X I

ТОМ СОЙЕР РАЗОБЛАЧАЕТ УБИЙЦ

Этот месяц был очень тяжелым для всех нас. Бедняжка Бенни старалась быть как можно бодрее, да и мы с Томом прилагали все усилия, чтобы поддерживать настроение в доме, но все это, как говорится, было впустую. Такая же история происходила и в

тюрье. Мы ходили туда каждый день навещать стариков. Но настроение у них все равно было ужасное. Дядя Сайлас почти не спал по ночам и часто бродил во сне; выглядел он совершенно изнуренным и измученным, разум его как будто помутился, и мы все ужасно боялись, что эти тревожнения доконают его и сведут в могилу. А когда мы старались приободрить его, дядя Сайлас только качал головой и говорил, что, если бы мы несли у себя в сердце груз убийства, мы бы так не разговаривали. Том, да и все мы убеждали дядю Сайласа, что это было не умышленное убийство, а случайное, но для него разницы не было. Когда приблизилось время суда, он уже прямо заявлял, что он пытался убить Юпитера. Сами понимаете, это уже была катастрофа. Дело, таким образом, становилось во много раз хуже, и тетя Салли и Бенни совсем уже потеряли покой. С трудом мы добились от дяди Сайласа обещания, что он не будет говорить об убийстве при посторонних. Мы были и этому уже рады.

Весь месяц Том ломал себе голову над тем, какой придумать план, чтобы спасти дядю Сайласа. Сколько раз по ночам он не давал мне спать, без конца изобретая все новые и новые планы, но так ничего толкового и не мог придумать. Мне казалось, что из затей Тома ничего не выйдет. — слишком все это выглядело безнадежно, и я совсем пал духом. Но Том не поддавался унынию. Он накрепко вцепился в это дело и продолжал думать, строить планы и ломать себе голову.

Наконец в середине октября состоялся суд. Мы все сидели в зале, который, само собой разумеется, был битком набит. Бедный дядя Сайлас! Он сам выглядел не лучше мертвеца, глаза у него ввалились, он исхудал и был ужасно мрачен. Рядом с ним по одну сторону сидела Бенни, а по другую — тетя Салли, обе под вуалями, обе трепещущие от страха. Том сидел рядом с нашим защитником и уж конечно совал свой нос во все. И защитник и судья позволяли ему это. Временами Том, по существу, вообще оттеснял защитника и брал дело в свои руки. И надо сказать, что это было совсем

неплохо, потому что защитник был из заходустных адвокатишек и, как говорится, звезд с неба не хватал.

Присяжных привели к присяге, потом встал прокурор и начал свою речь. В ней были страшные обвинения против дяди Сайласа. Старик только громко вздыхал и стонал, а Бенни и тетя Салли горько плакали. Мы просто растерялись, когда услышали, как прокурор говорит об убийстве, настолько это выглядело иначе, чем в рассказе дяди Сайласа. Прокурор заявил, что докажет, что двое свидетелей видели, как дядя Сайлас убивал Юпитера Данлепа, и видели, что он это сделал намеренно, и слышали, как дядя Сайлас сказал, что убьет Юпитера, как раз в ту минуту, когда ударил его палкой, что свидетели видели, как дядя Сайлас спрятал труп в кустах, и видели, что Юпитер был мертв. Прокурор утверждал, что дядя Сайлас потом пришел и перетащил труп Юпитера на табачную плантацию, и еще двое свидетелей видели это. А ночью, продолжал обвинитель, дядя Сайлас вернулся и закопал труп, и опять-таки его при этом видели.

Я про себя подумал, что бедный дядя Сайлас наврал нам, полагая, что его никто не видел, — он не хотел разбивать сердце тети Салли и Бенни. И правильно сделал; если бы я был на его месте, я бы врал так же, как и он, да и всякий сделал бы то же самое, чтобы уберечь их от несчастья и горя, в котором они-то не виноваты.

Защитник наш при этом совсем скис, да и Том был сбит с толку, но потом он взял себя в руки и стал делать вид, что ему все это нипочем, но я-то видел, каково ему. Ну а публика — та совсем расшумелась и разволновалась.

Когда прокурор рассказал суду все, что он собирается доказать, он сел на место и начал вызывать свидетелей.

Поначалу, он вызвал кучу людей, чтобы они подтвердили, что между дядей Сайласом и покойным были очень плохие отношения. И все они показали, что много раз слышали, как дядя Сайлас угрожал Юпитеру, что отношения между дядей Сайласом и Юпитером

становились все хуже и хуже, все это знали и говорили об этом; сказали, что Юпитер боялся за свою жизнь и двум или трем из них сам говорил, что дядя Сайлас когда-нибудь разъярится и убьет его.

Том и наш защитник задали им несколько вопросов, но это было бесполезно — все свидетели твердо стояли на своем.

Затем обвинитель вызвал Лема Биба, и тот занял свидетельское место. Тут я вспомнил, что в тот вечер мы видели Лема и Джима Лейна, вспомнил, как они разговаривали о том, чтобы попросить у Юпитера собаку, и как потом из-за этого началась история с черникой и фонарем. Тут я вспомнил, как Билл и Джек Уиверс прошли мимо нас, разговаривая о том, что какой-то негр украл мешок кукурузы у дяди Сайласа, и как после них появилось наше привидение, и как мы перепугались... Глухонемой тоже был здесь, в суде, — из уважения ему поставили стул за барьером, чтобы он мог сесть со всеми удобствами, положив ногу на ногу, в то время как все остальные сидели в такой тесноте, чтодохнуть было невозможно. Мне припомнился весь тот день, и так грустно стало, когда я подумал, как все было тогда хорошо и какие несчастья обрушились на нас с тех пор.

Лем Биб принес присягу и стал говорить:

— В тот день, это было второго сентября, шел я, и был со мной Джим Лейн. Дело было перед заходом солнца. Услышали мы громкий разговор, вроде ссоры, подошли поближе — нас от разговаривавших отделяли только ореховые кусты, что растут вдоль изгороди, — и слышим голос: «Я тебе уже не раз говорил, что когда-нибудь убью тебя». Мы узнали голос подсудимого и тут же увидели, как над кустами мелькнула дубинка и опустилась, мы слышали глухой стук и стон. Мы потихоньку подошли ближе, чтобы посмотреть, и увидели мертвого Юпитера Данлепа, над которым стоял подсудимый с дубинкой в руке. Тут он потащил тело в кусты и спрятал там. А мы пригнулись пониже, чтобы он нас не заметил, и ушли.

Сами понимаете, каково было слушать это. У всех прямо-таки кровь в жилах застыла от этого рассказа,

в зале стояла такая тишина, словно там ни души не было. А когда Лем закончил, все стали вздыхать и охать и переглядываться, словно желая сказать: «Подумайте, какой ужас! Страсть-то какая!»

Тут меня поразила одна вещь. Все время, пока первые свидетели рассказывали суду о ссорах, угрозах и тому подобном, Том внимательно слушал их; как только они заканчивали, он тут же набрасывался на них и изо всех сил старался поймать их на лжи и опровергнуть их показания. А тут все пошло наоборот! Когда Лем начал говорить и ни словом не упомянул о том, что они разговаривали с Юпитером и собирались взять у него собаку, видно было, что Том так и рвется замучить Лема перекрестным допросом, и я уж был уверен, что мы с Томом вот-вот займем свидетельское место и расскажем, о чем они с Джимом Лейном разговаривали на самом деле. Но когда я опять посмотрел на Тома, меня прошиб холодный пот. Он был погружен в глубочайшее раздумье — похоже было, что он сейчас за много-много миль отсюда. Он не слышал ни слова из того, что говорил Лем Биб, и когда тот кончил, Том все еще был погружен в свои мысли. Наш защитник подтолкнул его локтем. Том вроде как бы очнулся и говорит ему:

— Займитесь этим свидетелем, если вам нужно, а меня оставьте в покое, я должен подумать.

Меня это совсем огорошило, я ничего не мог понять. А у Бенни и тети Салли был совсем убитый вид, так они разволновались. Они обе приподняли свои вуали и старались поймать взгляд Тома, но это было бесполезно, я тоже не мог поймать его взгляда. Наш растяпа защитник пытался сбить Лема своими вопросами, но из этого ничего не вышло, и он только напортил.

Затем судья вызвал Джима Лейна, и тот слово в слово повторил все, что перед ним говорил Лем. Том его уже совсем не слушал, он сидел глубоко задумавшись, и мысли его витали где-то далеко. Растяпа защитник опять в одиночку принялся допрашивать Лейна и опять попал впросак. Обвинитель сидел чрезвычайно довольный, но судья был огорчен. Дело в том, что Том

обладал правами настоящего защитника, потому что законы штата Арканзас разрешают обвиняемому выбирать кого угодно для помощи защитнику, и Том уговорил дядю Сайласа избрать его, а теперь, когда Том молчал, судье это не нравилось.

Нашему растяпе защитнику удалось только одно выжать из Лема и Джима, он спросил их:

— Почему вы не рассказали обо всем, что вы видели?

— Мы боялись, что сами окажемся замешанными в это дело. Кроме того, мы как раз уезжали на охоту вниз по реке на целую неделю. Но как только мы вернулись и услышали, что разыскивают тело Юпитера, мы пошли к Брейсу Данлепу и рассказали ему всё.

— Когда это было?

— В субботу вечером, девятого сентября.

Тут судья прервал их:

— Шериф, арестуйте обоих свидетелей по подозрению в укрывательстве убийцы.

Обвинитель в возмущении вскочил и начал возражать:

— Ваша честь, я протестую против столь неоправданного...

— Сядьте, — заявил судья, положив свой длинный охотничий нож на кафедру, — и прошу вас уважать суд!

На том дело и кончилось. Затем вызвали Билла Уигерса.

Билл принес присягу и заявил:

— В субботу, второго сентября, перед заходом солнца, я шел с моим братом Джеком мимо поля, принадлежащего подсудимому; мы увидели человека, который тащил что-то тяжелое на спине, и решили, что это негр, укравший кукурузу. Но потом мы разглядели, и нам показалось, что это один человек несет другого, и, судя по тому, как тот висел на нем, мы решили, что это, наверное, пьяный. Мы узнали по походке проповедника Сайласа и подумали, что он нашел на дороге пьяного Сэма Купера: проповедник ведь все старается вернуть Сэма на путь истинный, — вот он, не иначе, решил оттащить его от греха подальше.

Я видел, как сидящих в зале, что называется дрожь пробрала: они представляли себе, как дядя Сайлас тащил убитого на свою табачную плантацию, где потом собака разыскала труп. На лицах у всех было написано негодование, и я слышал, как какой-то парень сказал: «Вот уж самая что ни на есть хладнокровная работа — тащить вот так человека, которого только что убил, и зарыть его, как скотину. А еще проповедник!»

Том все сидел задумавшись и ни на что не обращал внимания. Пришлось адвокату самому допрашивать свидетеля, он старался, как мог, но толку от этого было мало.

Вслед за Биллом Уиверсом вызвали его брата Джека, который повторил всю историю слово в слово.

Следующим занял свидетельское место Брейс Данлеп. У него был совершенно убитый вид, он почти плакал. Кругом все зашептались, зашевелились, многие женщины уж вытирали слезы и жалостливо вздыхали: «Несчастный, бедненький!» В зале все затихли и приготовились слушать.

Брейс Данлеп принес присягу и начал свою речь:

— Я уже давно серьезно волновался за своего брата, но я, конечно, не предполагал, что дело зашло так далеко, как он мне говорил. Я никак не мог представить себе, что найдется человек, у которого поднимется рука ударить такое незащищенное создание, как мой брат. (Тут мне показалось, что Том встрепенулся, но тут же опять задумался.)

— Вы сами понимаете, — продолжал Брейс, — мне и в голову не могло прийти, что проповедник может причинить ему вред, — это было дико даже представить себе. И я не обращал внимания, а теперь я никогда в жизни не прощу себе: если бы я иначе отнесся, то мой бедный брат был бы сейчас со мной, а не лежал мертвым.

Тут у Брейса как будто не хватило сил продолжать, он переждал несколько минут, а все вокруг ахали и охали, женщины плакали; потом наступила мертвая тишина, и все услышали стон, вырвавшийся у бедного дяди Сайласа.

— В субботу, второго сентября — продолжал Брейс, — Юпитер не пришел домой к ужину. Через некоторое время я начал волноваться и послал одного из моих негров к подсудимому — узнать, в чем дело, но негр вернулся и сказал, что брата там нет. Я обеспокоился еще больше. Я лег спать, но никак не мог уснуть и уже поздно ночью встал, пошел к дому проповедника и долго бродил там, надеясь, что встречу своего бедного брата. Я не подозревал тогда, что его уже нет в живых... — Брейс опять умолк, теперь уже женщины плакали все как одна. — Я его, конечно, не встретил, вернулся домой и пытался уснуть, но не мог. Прошел день-другой, и соседи тоже начали беспокоиться и вспоминать угрозы, которыми осыпал брата подсудимый. Возникло подозрение, что мой брат убит, но я этому не поверил. Начались поиски, но тела его не нашли. Я тогда решил, что брат, вероятно, уехал куда-нибудь, чтобы отдохнуть от всех этих передраг, и вернется, когда забудет о своих обидах. Но девятого сентября ночью ко мне пришли Лем Биб и Джим Лейн и рассказали мне все... рассказали об ужасном убийстве. Сердце мое было разбито. И *тогда* я вспомнил один случай, на который в свое время я не обратил внимания. Я слышал, что подсудимый имеет привычку разгуливать во сне и сам не знает в этот момент, что он делает. Я расскажу вам, что я вспомнил. Поздно ночью в ту ужасную субботу, когда я в отчаянии бродил вокруг дома подсудимого, я остановился у табачной плантации и услышал, как кто-то копает окаменевшую землю. Я подошел поближе, раздвинул кустарник, что растет у него вдоль изгороди, и увидел подсудимого, у которого в руках была лопата с длинной ручкой, и он ~~начал~~ засыпать землей большую яму. Подсудимый стоял ко мне спиной, но ночь была лунная, и я узнал его по старой куртке: у нее на спине белая заплата, словно попали снежком. *Он закапывал человека, которого он убил!*

С этими словами Брейс упал на стул и зарыдал; в зале слышались только причитания, плач и возгласы: «Это ужасно! Это невероятно!» Все были в страшном волнении, и шум стоял такой, что можно было оглох-

нуть И вдруг дядя Сайлас вскочил белый, как бумага, и выкрикнул:

— Все это правда! До последнего слова! Я убил его, и убил намеренно!

Клянусь вам, это ошеломило зал. Все вскочили с мест стараясь получше рассмотреть его, судья из всех сил стучал своим молотком по столу, шериф орал: «Тише! Прекратите беспорядок в суде!»

И среди всего этого шума и гама стоял наш старик, весь трясясь, с горящими глазами; он старался не смотреть на жену и дочь, которые цеплялись за него и умоляли успокоиться, он отталкивал их и кричал, что он хочет очистить свою душу от преступления, хочет снять с себя это невыносимое бремя, что он ни часу не может более терпеть! И тут дядя Сайлас начал свой страшный рассказ, и все в зале — судья, присяжные, обвинитель и защитник, публика — слушали его затаив дыхание, а Бенни и тетя Салли рыдали так, что казалось, сердце разорвется. И вы подумайте — Том ни разу даже не глянул на дядю Сайласа! Ни разу! Вот так и сидел, уставившись на что-то, — не могу сказать, на что именно.

А дядя Сайлас, захлебываясь от волнения, говорил и говорил:

— Я убил его! Я виновен! Но я не хотел причинить ему вреда, — сколько бы здесь ни лгали, что я угрожал ему, — до той самой минуты, когда я замахнулся на него палкой, — тут мое сердце окаменело, жалость покинула мою душу, и я ударил его с желанием убить. В эту минуту во мне поднялось все зло, которое мне причинили, я вспомнил все оскорбления, которые нанес мне этот человек и его негодяй брат, как они сговорились оклеветать меня и опорочить мое доброе имя, как они толкали меня на поступки, которые должны были погубить меня и мою семью, а ведь мы никогда не сделали им ничего худого. Они хотели отомстить мне. За что? За то, что моя ни в чем не повинная бедная дочь, сидящая сейчас рядом со мной, отказалась выйти замуж за этого ~~благатого~~ наглого и невежественного труса Брейса Данлепа, который проливал здесь лживые слезы по поводу свсего брата, хотя на самом

деле он никогда не любил его. (Тут я заметил, что Том встрепнулся и как будто обрадовался чему-то.) В тот миг я забыл о боге и помнил только о своих бедах, да простит мне бог! И я ударил его! Я тут же пожалел об этом, меня охватило раскаяние, но я подумал о моей бедной семье и решил, что ради их спасения я должен скрыть содеянное мною, и я спрятал труп в кустах, потом перетащил его на табачную плантацию, а глубокой ночью отправился туда с лопатой и закопал его там...

В этот момент вскочил Том и закричал:

— Теперь я знаю!

Он очень величественно махнул рукой в сторону дяди Сайласа и сказал ему:

— Сядьте! Убийство было совершено, но вы не имеете к нему никакого отношения!

Ну, должен вам сказать, тут все замерло, и можно было услышать, как муха пролетит. Дядя Сайлас в полном замешательстве опустился на скамью, но тетя Салли и Бенни даже не заметили этого, до того они были потрясены, — они уставились на Тома, рты у них так и остались разинутыми, они просто ничего не могли сообразить. Да и все в зале сидели совершенно онемевшие. В жизни своей не видел, чтобы люди выглядели такими беспомощными и растерянными. А Том, совершенно спокойный, обратился к судье:

— Ваша честь, вы разрешите мне сказать?

— Ради бога, говори! — только и мог сказать растерявшийся и смущенный судья.

А Том постоял секунду-другую — для эффекта, как он это называл, — и спокойненько так начал говорить:

— Вот уже две недели на здании суда висит маленькое объявление, в котором предлагается награда в две тысячи долларов тому, кто найдет два большие брильянта, украденные в Сент-Луисе. Эти брильянты стоят двенадцать тысяч долларов. Но к этому мы еще вернемся. А сейчас я расскажу вам об убийстве — как оно произошло и кто совершил его, во всех подробностях.

Все так и подались вперед, стараясь не пропустить ни слова.

— Этот вот человек, Брейс Данлеп, который так горевал здесь о своем убитом брате, хотя вы все знаете, что он его ни в грош не ставил, хотел жениться на этой девушке, а она ему отказала. Тогда Брейс сказал дяде Сайласу, что он заставит его пожалеть об этом. Дядя Сайлас знал, какая сила у Брейса Данлепа и понимал, что он не может бороться с ним. Вот он и боялся, и волновался, и старался сделать все что мог, чтобы смягчить и задобрить Брейса Данлепа. Дядя Сайлас даже взял к себе на ферму это ничтожество, его брата Юпитера, и стал платить ему жалованье, лишая ради этого свою семью всего необходимого. А Юпитер стал делать все, что подсказывал ему его брат, чтобы оскорблять дядю Сайласа, терзать и волновать его. Он старался довести дядю Сайласа до того, чтобы тот обидел его, чтобы соседи стали думать о дяде Сайласе плохо. Так оно и получилось. Все отвернулись от дяди Сайласа и начали говорить о нем самые скверные вещи, и это так его расстраивало и мучило, что он бывал просто не в себе.

Так вот, в ту самую субботу, о которой здесь так много говорили, двое свидетелей, выступавших здесь, Лем Биб и Джим Лейн, проходили мимо того места, где работали дядя Сайлас и Юпитер Данлеп. Вот это единственная правда из того, что они здесь говорили, все остальное — ложь. Они не слышали, как дядя Сайлас сказал, что убьет Юпитера, они не слышали звука удара, они не видели убитого, и они не видели, как дядя Сайлас прятал что-то в кустах. Посмотрите на них — видите, как они жалеют теперь, что дали волю своим языкам. Во всяком случае, они пожалеют об этом прежде, чем я кончу говорить.

В тот субботний вечер Билл и Джек Уиверсы действительно видели, как какой-то человек тащил на себе другого. Тут они сказали правду, а все остальное — вранье. Во-первых, они решили, что это какой-то негр утащил кукурузу с поля дяди Сайласа. Они и не подозревали, что кто-то слышал их разговор. Обратите внимание, какой у них сейчас глупый вид. Дело в том, что они потом узнали, кто это был, а *почему* они присягали здесь, что по походке узнали дядю Сайласа,

известно им самим, — ведь они, когда клялись здесь, знали, что это был не он.

Один человек действительно видел, как убитого за-капывали на табачном поле, — но закапывал его совсем не дядя Сайлас. Дядя Сайлас в это время спокойно спал в своей постели.

А теперь, прежде чем продолжать, я хочу спросить вас, не обращали ли вы внимания на то, что, когда человек глубоко задумается или взволнован, он, сам того не замечая, делает какой-нибудь определенный жест. Некоторые поглаживают подбородок, некоторые почесывают нос, другие потирают шею, третьи крутят запястье, четвертые пуговицу. Есть и такие, которые рисуют пальцем на нижней губе, на щеке или под подбородком какую-нибудь цифру или букву. Так бывает со мной, например. Когда я волнуюсь или сильно задумаюсь, я рисую на щеке или на губе букву «В» и почти никогда не замечаю, что я делаю.

Это Том здорово подметил. Я сам делаю то же самое, только я рисую букву «О». И я увидел, что многие кивают головами, соглашаясь с Томом.

— Теперь я буду рассказывать дальше. В ту субботу, — хотя нет, это было накануне ночью, — к пристани Флаглера, в сорока милях отсюда, причалил пароход. Был сильный дождь и гроза. На этом пароходе находился вор, и у него были те два брильянта, о которых сказано в объявлении на дверях суда. Этот вор тайком высадился на берег со своим саквояжем и исчез в темноте, надеясь благополучно добраться до нашего городка. Но на том же пароходе прятались еще два его бывших сообщника, которые, он знал, собираются при первой же возможности убить его и забрать брильянты. Дело в том, что украли эти брильянты они втроем, а он один захватил драгоценности и скрылся с ними.

Не прошло и десяти минут после того, как этот человек сошел на берег, а эти ребята узнали об этом и бросились вслед за ним. Наверное, при свете спичек они обнаружили его следы. Во всяком случае, они незаметно шли по его следам всю субботу. Перед заходом солнца он добрался до платановой рощи около поля

дяди Сайласа и укрылся там, чтобы переодеться, прежде чем войти в город. Это случилось как раз после того, как дядя Сайлас ударил Юпитера Данлепа дубинкой по голове, — а он его действительно ударил.

Но в ту минуту, когда преследователи увидели, что вор скрылся в платановой роще, они выскочили из кустов и бросились туда вслед за ним. Они напали на него и принялись избивать. Он кричал и стонал, но они безжалостно убили его. Двое людей, которые шли в это время по дороге, услышали его крики и бросились в платановую рощу, — а они туда и так направлялись, — и когда убийцы увидели их, пустились наутек, а двое пришедших бросились за ними. Но гнались они совсем недолго — минуту или две, а потом потихоньку вернулись обратно в платановую рощу.

Что же они потом стали делать? Я вам расскажу. Они обнаружили одежду, которую убитый вор успел вытащить из своего саквояжа, и один из них надел ее на себя.

Том выждал минуту — опять-таки для пущего эффекта — и медленно продолжал:

— Человек, который надел на себя одежду убитого был... Юпитер Данлеп!

— Господи! — воскликнули в зале, а дядя Сайлас сидел совершенно ошеломленный.

— Да, да, это был Юпитер Данлеп. И, как вы понимаете, ничуть не мертвый. Затем эти двое сняли с убитого сапоги и надели на него старые рваные башмаки Юпитера, а сапоги убитого надел на себя Юпитер Данлеп. Затем Юпитер Данлеп остался в роще, а второй человек спрятал труп и после полуночи отправился к дому дяди Сайласа, взял там старую зеленую рабочую куртку, которая висела на веревке в проходе между домом и кухней, лопату с длинной ручкой, пробрался на табачную плантацию и зарыл там труп.

Том остановился и помолчал с полминуты.

— Кто бы вы думали, был этот убитый? Это был... Джек Данлеп, давным-давно пропавший без вести грабитель!

— Господи!

— А человек, который закопал его, был... Брейс Данлеп, его родной брат!

— Господи!

— А кто бы вы думали, этот гримасничающий идиот, который вот уже несколько недель притворяется глухонемым? Это Юпитер Данлеп!

Что тут началось! Поднялся такой шум, что вы за всю свою жизнь не увидели бы такой суматохи. А Том подскочил к Юпитеру и сорвал с него очки и фальшивые бакенбарды. Перед нами оказался убитый Юпитер, живой и целехонький. Тетя Салли и Бенни с плачем бросились обнимать и целовать дядю Сайласа, и до того затискали бедного старика, что он совсем потерял голову. А публика принялась кричать:

— Том Сойер! Том Сойер! Замолчите все, пусть он рассказывает дальше! Рассказывай дальше, Том Сойер!

Том был на вершине блаженства, потому что его хлебом не корми, только дай ему быть в центре внимания, стать героем, как он говорит. Когда все утихло, он опять заговорил:

— Мне осталось сказать немного: когда Брейс Данлеп измучил дядю Сайласа до того, что бедный старик совсем лишился ума и в конце концов стукнул его пустоголового братца по голове дубинкой, Брейс, вероятно, решил, что это подходящий случай. Юпитер побежал в лес, чтобы спрятаться там, и я думаю, что план у них был такой, — чтобы Юпитер той же ночью скрылся из этих мест. Тогда Брейс убедил бы всех, что дядя Сайлас убил Юпитера и где-то закопал его труп. Таким образом, Брейс рассчитывал доконать дядю Сайласа и добиться того, чтобы он уехал из этих мест, а может быть, и того, чтобы его повесили, этого я не знаю. Но когда они в платановой роще нашли своего убитого брата, — хотя они не узнали его, так он был изуродован, — они придумали другую штуку: переодеть Юпитера в одежду Джека, а того закопать в одежде Юпитера и подкупить Джима Лейна, Билла Уиверса и остальных дать ложные показания. Вот посмотрите на них всех, какой у них вид, — я ведь предупреждал их, что они пожалеют прежде, чем я кончу говорить, так оно и вышло.

Так вот, мы с Геком Финном плыли на одном пароходе с ворами, и покойник рассказал нам все про брильянты; кроме того, он сказал нам, что те двое убьют его, если только поймают. Мы обещали помочь ему, насколько это будет в наших силах. Мы как раз были около платановой рощи и слышали, как его там убивали, но попали мы в рощу только рано утром, после того как прошел ливень, и в конце концов решили, что там никого не убили. А когда мы увидели здесь Юпитера Данлепа, переодетого точно так, как собирался переодеться Джек, мы были уверены, что это Джек, к тому же он мычал, изображая из себя глухонемого, как и было условлено.

После того как все бросили разыскивать тело, мы с Геком продолжали поиски — и нашли труп. Конечно, мы ужасно гордились этим, но когда дядя Сайлас сказал нам, что это он убил Юпитера, мы просто оцепенели. Мы страшно жалели, что нашли труп, и решили спасти дядю Сайласа от виселицы, если только сможем. Это было нелегко, потому что дядя Сайлас не разрешил нам выкрасть его из тюрьмы, как мы украл, если вы помните, нашего негра Джима.

Весь этот месяц я ломал голову, чтобы придумать какой-нибудь способ спасти дядю Сайласа, но ничего не мог сообразить. Так что сегодня, когда мы пришли в зал суда, у меня никакого плана не было, и я не видел выхода. Но потом я заметил кое-что, и это кое-что заставило меня задуматься. Это был пустяк, и я не мог быть уверен, но я стал припоминать и следить. Все время, пока я делал вид, что сижу в раздумье, я наблюдал. И вскоре, как раз когда дядя Сайлас выпаливал свои признания, что это он убил Юпитера Данлепа, я снова увидел то, что ожидал. Тут я вскочил и прервал заседание, — я понял, что передо мной сидит Юпитер Данлеп. Я узнал его по одному движению, которое я заметил раньше и запомнил. Год назад, когда я был здесь, я это заметил.

На этом месте Том замолчал и с минуту раздумывал — опять-таки для эффекта, — я-то отлично знал его фокусы. Потом он повернулся, словно собираясь

вернуться на свое место, и протянул этак лениво и небрежно:

— Ну вот, кажется, и все.

Такого шума я еще не слыхивал, весь зал кричал:

— Что ты увидел? Не смей уходить, чертенок ты эдакий! Ты что же, расписывал все это, пока у нас слюнки не потекли, а теперь хочешь уйти? Ты говори, что он делал?!

Ну, вы сами понимаете, что Тому только этого и надо было, — он все это проделал для эффекта, на самом-то деле его с этой трибуны целой упряжкой волов нельзя было бы стащить.

— Да это пустяк, мелочь, — сказал он, — я заметил, что он немного взволновался, когда увидел, что дядя Сайлас сам лезет в петлю из-за убийства, которого он не совершал. Он волновался все больше и больше, а я наблюдал за ним, не показывая вида, — и вдруг его пальцы беспокойно задвигались, и вскоре он поднял левую руку и стал рисовать пальцем крест на щеке. Тут-то я и поймал его.

Все словно с ума сошли, начали кричать, стучать ногами и хлопать в ладоши, — а Том Соьер был так горд и счастлив, что уже не знал, как и вести себя. Тогда судья нагнулся со своей кафедры и спросил:

— Скажи мне, ты действительно видел все подробности этого странного заговора и всей этой трагедии, которые ты здесь рассказал?

— Нет, ваша честь, я ничего этого не видел.

— Ты ничего не видел? Но ведь ты рассказал нам эту историю так, словно ты видел все собственными глазами. Как ты сумел это сделать?

Том ответил ему спокойно и небрежно:

— Просто я внимательно слушал показания и сопоставлял их, ваша честь. Это обычное дело сыщика, каждый мог бы сделать то же самое.

— Ничего подобного! На это способен один из миллиона. Ты исключительный мальчик.

Тут Тому опять начали хлопать, а он... ну а он не променял бы эту минуту на целый серебряный рудник. Наконец судья опять спросил его:

— Но ты уверен, что правильно рассказал нам всю эту странную историю?

— Да, ваша честь. Вот Брейс Данлеп, пусть он, если хочет, попробует отрицать свое участие в этом деле. Я ручаюсь, что заставлю его пожалеть, если он на это решится. Вы видите, он молчит. И братец его тоже помалкивает. И все четверо свидетелей, которые так лгали потому, что им заплатили за это, не хотят ничего говорить. Ну а дядя Сайлас тоже не может ничего возразить, даже говори он под присягой.

Ну, сами понимаете, что эти слова вызвали новый шум и смех в зале, даже судья не выдержал и рассмеялся. Том чувствовал себя на верху блаженства. И тут, среди всеобщего смеха, он повернулся к судье и сказал:

— Ваша честь, здесь, в зале, вор.

— Вор?

— Да, сэр. И на нем находятся те самые брильянты стоимостью в двенадцать тысяч долларов.

Бог ты мой, это было как взрыв бомбы! Все кричали:

— Кто он? Кто он? Укажи на него!

А судья сказал:

— Укажи его, мой мальчик. Шериф, вы арестуете его. Кто это?

Том сказал:

— Вот этот воскресший покойник — Юпитер Данлеп.

Раздался новый взрыв изумленных и взволнованных криков, но Юпитер, который и так был потрясен всем, что произошло до этого, теперь выглядел совершенно ошеломленным. Он закричал, почти плача:

— Ну вот это уже вранье! Ваша честь, это несправедливо, мне и так худо пришлось. Все, что здесь говорили, — правда, меня на это толкнул Брейс, он уговорил меня, обещал сделать меня богатым, вот я и согласился. А теперь жалею; лучше бы я этого не делал. Но я не крал никаких брильянтов, провалиться мне на этом месте! Пусть шериф обыщет меня.

Том прервал его:

— Ваша честь, назвать его вором не совсем правильно, и я здесь несколько преувеличил. Он действительно украл брильянты, но сам не знал об этом. Он украл их у своего брата Джека, когда тот лежал мертвым, а Джек украл их у двух других воров. Просто Юпитер не знал, что крадет их, и целый месяц он разгуливал с ними. Да, сэр, на нем находятся брильянты ценой в двенадцать тысяч долларов — целое богатство, а он-то жил милостыней целый месяц. Да, ваша честь, они и сейчас находятся на нем.

Судья распорядился:

— Шериф, обыщите его.

Ну что вам сказать, шериф обшарил его с головы до ног всего — обыскал его шляпу, носки, швы, сапоги — все, что только можно было, а Том стоял рядом, совершенно спокойный, подготавливая новый эффект. Наконец шериф закончил, все сидели разочарованные, а Юпитер заявил:

— Ну, вы видите? Что я говорил?

Тогда судья сказал:

— Похоже, мой мальчик, что на этот раз ты ошибся.

Том тут принял театральную позу и, почесывая голову, сделал вид, что он мучительно думает. Затем он вроде как бы просиял и сказал:

— Ах, вот в чем дело! А я совсем забыл.

Я-то знал, что это вранье. А он говорит:

— Не будет ли кто-нибудь из присутствующих так добр одолжить мне маленькую отвертку? В саквояже вашего брата, который вы стащили, Юпитер, была такая отвертка, но я думаю, что сюда вы ее не принесли.

— Нет, конечно, она была мне ни к чему, и я ее отдал.

— Это потому, что вы не знали, для чего она нужна.

Юпитер к этому моменту опять надел свои сапоги, и когда отвертку, которую просил Том, передали через головы собравшихся, Том приказал Юпитеру:

— Положите ногу на стул.

Потом он стал на колени и начал отвинчивать стальную пластинку с каблука. Все с трепетом следили за его движениями. И когда Том вытащил из каблука огромный брильянт, поднял его и брильянт за-

сверкал в солнечных лучах, переливаясь всеми цветами радуги, все так и ахнули. А Юпитер выглядел таким жалким и убитым, что даже сказать невозможно. Ну а уж когда Том вытащил второй брильянт, Юпитер совсем скис. Он представил себе, как он мог бы удрать за границу и стать там богатым и независимым, если бы только ему пришло в голову, зачем в саквояже лежала отвертка. Волнение в зале было неопишное, а Том купался в лучах славы. Судья забрал брильянты, встал во весь рост за своей кафедрой, сдвинул очки на лоб, откашлялся и заявил:

— Я оставляю их пока у себя и извещу владельцев, а когда владельцы пришлют за ними, то для меня будет истинным удовольствием вручить тебе награду в две тысячи долларов, ибо ты заслужил эти деньги. А кроме того, ты заслужил самую глубокую и самую искреннюю благодарность всей нашей общины за то, что ты избавил невинную и оклеветанную семью от позора и гибели, а доброго и честного человека спас от позорной смерти. Мы также благодарны тебе за то, что ты разоблачил и передал в руки правосудия жестокого и гнусного негодяя и его подлых сообщников.

Ну что вам сказать, для полного счастья не хватало только духового оркестра. Том впоследствии сказал, что он чувствовал то же самое.

Шериф тут же забрал Брейса Данлепа и всю его компанию, а через какой-нибудь месяц судья приговорил их всех к тюремному заключению.

С этого дня, как и в былые времена, все жители округа опять стали собираться в маленькой старой церкви дяди Сайласа, все старались быть как можно добрее и любезнее к нему и ко всей его семье. А дядя Сайлас произносил такие несусветные, такие путанные и идиотские проповеди, что после них люди с трудом находили дорогу домой среди бела дня. Но все делали вид, что это самые лучшие и блестящие проповеди, какие они только слышали в своей жизни, стояли в церкви и плакали от любви и жалости к дяде Сайласу. Мне казалось, что я сойду с ума, что эти проповеди доведут меня просто до белой горячки и мозги у меня совершенно высохнут. Но постепенно, оттого, что все были

с ним так добры, к дяде Сайласу вернулся рассудок, и голова у него стала такой же крепкой, как и раньше, а это можно сказать без лести. Вся семья была совершенно счастлива, и не было границ их благодарности и любви к Тому Сойеру; эта любовь и благодарность распространялись и на меня, хотя я тут был ни при чем. А когда прибыли те две тысячи долларов, Том отдал мне половину и никому об этом не сказал. Ну, меня это не удивило, потому что уж я-то его хорошо знаю.

КОММЕНТАРИИ

Исторический роман Твена о народной героине Франции был начат в 1893 году и закончен весной 1895 года. Но замысел книги возник гораздо ранее и долго вынашивался писателем. Образ Жанны д'Арк поразил его еще в ранней юности. Твен на всю жизнь запомнил тот день, когда пятнадцатилетним подростком, типографским учеником в Ганнибале, он поднял на улице вырванный из книги листок, где рассказывалось о ее удивительной судьбе. Начиная с 1880 года Твен внимательно изучает литературу о Жанне д'Арк и документы ее времени.

В старости, оглядываясь на пройденный путь, Марк Твен с особенно нежным чувством вспоминал именно это свое произведение. В заметке, датированной 30 ноября 1908 года, он писал: «Из всех моих книг я больше всего люблю «Жанну д'Арк»; это лучшая из них; я это прекрасно знаю. А кроме того, она доставила мне в семь раз больше удовольствия, чем все остальные; двенадцать лет я ее готовил и два года писал. Для других подготовки не требовалось...»

Большинство читателей Твена вряд ли присоединится к столь высокой оценке «Жанны д'Арк». Но нет сомнения в том, что это произведение по-своему отвечало на жизненно-важные вопросы, возникшие перед писателем, и было подготовлено всем его предшествующим творчеством.

Нельзя согласиться с теми критиками, которые (как, например, американский исследователь Твена Э. Вагенкнехт) полагают, будто в «Жанне д'Арк» Твен отказался от своего прежнего критического отношения к феодальной старине и

преклонился перед тем самым рыцарством, которое высмеивал ранее. Феодалная Франция XV века обрисована в этой книге не менее темными красками, чем Англия Тюдоров в «Принце и нищем» или Англия легендарного короля Артура в сатирико-фантастическом романе о похождениях коннектикутского янки среди рыцарей Круглого Стола. Горестная нищета народа, разоряемого и иноземными врагами, и собственными разбойниками-феодалами; полная деморализация правящих кругов во главе с ничтожным, безвольным и трусливым королем Карлом VII; зловещая роль церкви, предающей интересы страны, — таков тот мрачный исторический фон, на котором выделяется в романе Твена светлый образ его героини.

Смысл и значение национального подвига Жанны д'Арк в ту пору, когда возник роман Твена, давали повод к различным, даже прямо противоположным трактовкам. Международная католическая реакция по-своему обрабатывала предание об Орлеанской деве, объявляя ее одинокой избранницей неба, орудием божественного промысла. В 1910 году Жанна д'Арк, сожженная пять веков тому назад по приговору католического церковного суда как еретичка и богоотступница, была канонизирована Ватиканом в качестве новоявленной католической святой. А с другой стороны, в это же самое время образ шиллеровской Иоанны в гениальном исполнении Марии Ермоловой вдохновлял массового демократического зрителя как символ свободолюбивого патриотического порыва и самоотвержения.

Твена, писателя-демократа и гуманиста, образ Жанны д'Арк привлекал прежде всего как воплощение героики народного патриотизма. Каковы бы ни были мистические иллюзии самой Жанны, считавшей себя посланницей бога, писателю ясно, что действительным источником мужества, стойкости и решимости этой юной воительницы была ее кровная связь с народом. «Она была крестьянкой. Этим все сказано. Она вышла из народа и знала народ. Те, другие, вращаясь в более высоких сферах, знали о нем немного. Мы не привыкли считаться с бесформенной, загадочной и косной массой, которую зовем «народом», придавая этому слову оттенок презрения. Это странно, потому что в душе мы отлично знаем: прочна лишь та власть, которую поддерживает народ, стоит убрать эту опору, и ничто в мире не спасет трон от падения».

В этих словах высказались заветные убеждения Твена. Его роман о легендарных подвигах средневековой французской пастушки из Домреми был теснейшим образом связан с раздумьями писателя о судьбе его собственного, американского народа. В хронологической летописи творчества Твена «Личные воспоминания о Жанне д'Арк» занимают место по соседству с «Простофилей Вильсоном» (1894) и «Человеком, который совратил Гедлиберг» (1899), где с потрясающей силой изображено нравственное убожество буржуазной Америки. В 1898 году, через два года после выхода «Жанны д'Арк» отдельной книгой, Твен начал работу над повестью «Таинственный незнакомец» — одним из самых мрачных своих произведений, где дал волю мучительным и безысходным сомнениям относительно природы человека и смысла человеческого существования вообще. В этом контексте становится понятным значение для американского художника героической темы, разработанной в его историческом романе. Жанна д'Арк предстает в сознании писателя как свидетельство того, на какие благородные подвиги может быть способен человек, не развращенный собственническим эгоизмом, тщеславием и ханжеством.

Жанна во многом близка прежним любимым героям Твена, таким же безродным плебейм, — Тому Кенти, Геку Финну, коннектикутскому янки. Твен любит ее нравственной цельностью ее характера, ее целомудренностью и волей к борьбе, ее ясным умом и житейской мудростью, позволившими этой семнадцатилетней девочке из деревенского захолустья вести к победам французскую армию, вопреки придворным интригам и проискам предателей-вельмож.

Характерно, что в дальнейшем, в начале нашего столетия, к той же теме вслед за Твеном обращаются два других мастера критического реализма — Анатоль Франс («История Жанны д'Арк», 1908) и Бернард Шоу (пьеса-хроника «Святая Жанна», 1923). И скептический Франс, и насмешливый Шоу, так же как и Твен, с глубоким сочувствием воссоздают образ пародной героини Франции. Но их произведения во многом отличны друг от друга по жанру и замыслу. Книга Франса — тщательно документированное научное сочинение; как беспристрастный историк, автор подвергает всестороннему критическому анализу свидетельства современников о подвигах и трагической гибели Орлеанской девы, показывая, в частности,

что одновременно с Жанной д'Арк во Франции появлялось в ту пору немало других «пророков» и «пророчиц», экзальтированные призывы которых находили поддержку в патриотическом настроении народа.

Критически переоценивает традиционное предание о Жанне д'Арк и Бернард Шоу. В его рационалистическом истолковании Жанна оказывается прежде всего «человеком благоразумия»: «Ни на одно мгновение она не была тем, чем многие сочинители средневековых романов и пьес ее представляли: романтической молодой леди, — пишет Шоу в предисловии к пьесе. — Она была всецело дочерью земли, с ее крестьянской рассудительностью и упорством, с ее приятием великих лордов и королей и прелатов такими, как они есть, без поклонения или снобизма...»

Предвосхищая эту демократическую трактовку образа Жанны д'Арк, Марк Твен, однако, расходится с Бернардом Шоу и Анатолем Франсом в своем отношении к традиционной средневековой легенде об этой героине. Он не считает нужным подвергать критическому анализу средневековое суждение о «чудесах», которыми якобы сопровождался недолгий жизненный путь Жанны. Чтобы не поступиться собственным свободомыслием, которое не могло принять за истину суеверные рассказы о таинственных «видениях» и «голосах», вдохновлявших Жанну, он предпочитает вовсе устранить их из повествования. В качестве «автора» книги выступает сьер Луи де Конт, земляк и друг детства Жанны, сопровождавший ее во всех боях и походах в качестве пажа и секретаря и присутствовавший в Руане при ее казни. Ведя рассказ от лица этого вымышленного участника изображаемых событий, Твен стилизует свое повествование в духе средневековой хроники (что сказывается не только в общем колорите и тоне, но и в несколько архаизированном языке романа). Народные предания о волшебном Бурлемонском буке и добрых лесовичках, друзьях маленькой Жанны, так же как и суеверные легенды о являвшихся ей архангелах и святых, вложены в уста человека XV столетия, разделяющего все религиозные верования и предрассудки средневековья.

Такое построение романа давало Твену возможность, не погрешая против психологического правдоподобия, сочетать фантастику средневековой легенды с изображением вполне реальных, земных человеческих страстей и поступков.

«Личные воспоминания о Жанне д'Арк» были первоначально напечатаны в журнале «Харперс мэгазин» без имени автора, как якобы перевод с французского оригинала. Имя Твена было предпослано роману лишь тогда, когда он был опубликован отдельным изданием в 1896 году.

Но своеобразная «маскировка», к которой прибег Твен, попытавшись скрыть от читателей свое авторство, объяснялась еще и другим обстоятельством. Как видно из его собственных признаний и воспоминаний современников, писателя в эту пору нередко тяготило то, что читатели привыкли видеть в нем только юмориста и готовы были принять за шутку каждое, даже самое серьезное его суждение. Биограф Твена А. Б. Пейн приводит слова самого художника, относящиеся к началу его работы над «Жанной д'Арк»: «То, что идет за моей подписью, никогда не будет принято всерьез. Людям всегда хочется смеяться над тем, что я пишу, и они бывают разочарованы, если не пахотят у меня шуток. Это будет серьезная книга. Она значит для меня больше, чем все, за что я когда-нибудь брался. Я напишу ее анонимно».

Как видно из так называемого «Предисловия переводчика» (то есть самого автора), которое предпослано роману, история Жанны д'Арк была полна для Твена огромного, воодушевляющего нравственно-философского смысла. Провозглашая характер своей героини воплощением «идеального совершенства», писатель отвечал на собственные горькие раздумья об измельчании и опошлении человека в условиях собственнического строя, всеобщей коррупции и погони за наживой. Но, понятый в таком отвлеченно-гуманистическом, идеализированном плане, образ Жанны терял иногда свою художественную убедительность, а повествование о ее подвигах становилось монотонным и сентиментальным. По воспоминаниям Сузи Клеменс, дочери писателя, Твен плакал, читая родным рукопись «Жанны д'Арк»; но по выходе книги она была довольно сдержанно принята читателями. Твен, впрочем, предвидел это: «...может быть, книга не будет продаваться, — замечает он в письме к Роджерсу, — но это не важно: ведь я писал ее для души». Друг Твена Гоуэлс, одобряя «честное, сильное, откровенно современное американское чувство» — то есть демократический пафос романа, отрицательно отнесся к стилизованному изображению средневековья у Твена: «Страдания мои начинаются там, где он (Твен) принимается за

псевдосредневековые дела, — писал Гоуэлс. — Тут-то я начинаю подозревать, что латы у него из олова, скалы и крепости — из картона, что толпа горожан и воинов. нанята по столько-то за спектакль и что Жанна иногда устраивает ужасные скандалы за кулисами» Эта проническая оценка стилизованной декоративной обрисовки средневековья в «Жанно д'Арк» представляется довольно меткой.

В отличие от лучших произведений Твена, «Личные воспоминания о Жанне д'Арк» иной раз утомляют читателя описательными длиннотами и сентиментальной риторикой; лигатурная мистификация, к которой прибегнул Твен, скрывшись под маской словоохотливого и все еще по-стариковски влюбленного в Жанну сьера Луи де Конта, временами кажется искусственной. Но, несмотря на это, исторический роман Твена, которым так дорожил сам писатель, поныне привлекает читателя взволнованным, прочувствованным изображением драматической судьбы народной героини, отдавшей жизнь за свободу родной страны.

«ТОМ СОЙЕР — СЫЩИК»

После выхода в свет «Приключений Тома Сойера» и «Приключений Гекльберри Финна» Твен не раз возвращался к своим любимым героям. В 1898 году он начал повесть «Том и Гек среди индейцев», но прекратил работу над рукописью, первые листы которой успели уже пройти корректуру. В 1894 году появилась повесть «Том Сойер за границей» Повесть «Том Сойер — сыщик», написанная в Париже, была напечатана в 1896 году.

В основу сюжета Твен положил запутанное происшествие, послужившее поводом к сенсационному уголовному процессу в Скандинавии XVII века. Автор перенес события на американскую почву, сделав их участниками Тома, Гека и группу других персонажей, уже знакомых читателям «Приключений Гекльберри Финна».

По своей социальной проблематике повесть кое в чем напоминает «Приключения Гекльберри Финна»: темные аферы похитителей брильянтов и преступные действия Брейса Дап-лепа, как и мошеннические проделки «короля и герцога», о чем с простодушным возмущением рассказывал Гек, характеризую

тот разгул хищнических, стяжательских и интересов, который с возрастающей горечью и тревогой наблюдал в эту пору Твен в общественной жизни США.

Но «детективный» жанр, обязывавший Твена сосредоточивать внимание читателей главным образом на внешних подробностях криминального сюжета, не дал ему достаточного простора для развития характеров Тома и Гека. Фигуры их в этой повести кажутся бледными и довольно условными по сравнению с их первоначальными классическими портретами.

Значение «Тома Сойера — сыщика», как и «Тома Сойера за границей», заключается главным образом в том, что они позволяют читателю еще раз побывать в обществе самых популярных героев Твена и добавляют к их образам некоторые дополнительные черты.

А ЕЛИСТРАТОВА

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава I

Стр. 5. Историческим прототипом Ле Конта был паж Жанны Луи Ле Кут, зачисленный в ее свиту д'Олоном и впоследствии дававший показания на посмертном Оправдательном Процессе Жанны.

Стр. 6. *Лайош Кошут* (1802—1894) — вождь национально-освободительного движения в Венгрии против австро-венгерской монархии, глава венгерского революционного правительства в 1848—1849 гг.

Стр. 17. *Арманьяки* — одна из двух феодальных клик в царствование помешанного короля Карла VI (1380—1422), получившая свое название от графов Арманьяков. Арманьяки называли себя также французской партией, в противовес своим противникам — бургундцам, заключившим союз с англичанами.

Стр. 18. *Вольные шайки* — так называемые «*routiers*» (франц.) — «дорожники»: разбойничьи отряды, состоявшие из дезертиров и разоренных войною крестьян; во главе их нередко становились рыцари-авантюристы, незаконные отпрыски крупных феодалов. Военачальники Столетней войны часто пользовались их помощью в боях с англичанами.

Стр. 19. ...и у нас стало трое пап. — Имеется в виду сорокалетний (с 1378 по 1417 год) раскол в истории папства. После «Авиньонского пленения» (1308—1377), то есть периода, когда папы, попав в зависимость от французских королей, находились в Авиньоне, папский престол был вновь перенесен в Рим. Оставшаяся в Авиньоне курия стала выбирать своих пап. Соперничающие партии, понося друг друга, разоблачили немало позорных дел в истории папства. Чтобы поднять упавший

авторитет церкви и вместе с тем ограничить власть и доходы Ватикана, правительства ряда стран попытались поставить над папой власть соборов (съездов) духовенства разных стран. В 1409 году Пизанский собор низложил обоих тогдашних пап — Григория XII и Бенедикта XIII — и, приступая к выборам нового, взял с кандидатов клятву провести совместно с собором реформу церкви. Избранный папа Александр V немедленно нарушил клятву и разогнал собор. Низложенные папы не отказались от своих притязаний, и пап оказалось уже трое. Вскоре Александра, умершего от яда, сменил на папском престоле Балтазар Косса, в прошлом пират. Следующий собор, Констанцкий (1414—1418), формально положил конец расколу, но занялся не столько обещанным «очищением» церкви, сколько подавлением социальных движений, принимавших в то время религиозную форму.

Глава III

Стр. 36. ...*двенадцать паладинов* (от лат. palatinus — дворцовый) — сподвижники Карла Великого. В 778 году они составили арьергард войск Карла, уходившего из Испании, и погибли в Ронсевальском ущелье, в засаде, устроенной басками. Летописи упоминают среди них бретонского маркграфа Роланда. Это событие легло в основу героической эпопеи «Песнь о Роланде», где Роланд оказывается племянником Карла, а вместо басков выступают мавры.

Глава IV

Стр. 39. *Салический закон* — одна из статей обычного права племени салических франков, согласно которой женщины не имели права наследовать землю. Эта статья послужила основанием для устранения женщин от престолонаследия во Франции, Испании, Италии, Бельгии и в некоторых немецких княжествах.

Глава V

Стр. 49. *Дюнуа Жан* (1402—1468) — побочный сын Людовика Орлеанского, один из наиболее стойких приверженцев Жанны д'Арк. После ее гибели руководил многими военными действиями против англичан. В 1439 году получил графство Дюнуа в дар от своего брата, герцога Карла Орлеанского.

Сентрайль — Жан-Потон, сеньор де Сентрайль (? — 1461), один из главных военачальников французской партии.

Ла Гир — Этьен де Виньоля (1390(?) — 1443), по прозвищу Ла Гир (старофранц.: la ire — гнев), французский военачальник, вместе со своим другом Сентрайлем хранивший верность дофину Карлу в пору его величайших неудач. Оказывая стойкое сопротивление захватчикам французской земли, он вместе с тем не брезговал грабежом и бывал страшен для населения городов и сел, которые защищал. С 1434 г. был маршалом Франции.

КНИГА ВТОРАЯ

Глава II

Стр. 71. *Мерлин* — герой ряда средневековых легенд, соратник легендарного британского короля Артура, прорицатель и маг, которому приписывалось большинство ходивших в народе «пророчеств».

Стр. 77. *Селедочная битва* (февраль 1429 г.) — битва между французами и отрядом сэра Джона Фастольфа (см. примечание к главе XVI), который вез провиант англичанам, осаждавшим Орлеан. Используя в качестве прикрытия повозки и бочки с селъдами, английский отряд отбил превосходящие силы противника.

Глава V

Стр. 94. *Жорж де ла Тремуиль* (1385(?) — 1466) — первый министр и любимец Карла VII, всеми средствами боровшийся с влиянием Жанны на армию и народ. В 1433 году был насильно удален от двора сторонниками коннетабля Ришмона. (См. примечание к главе XXIX.)

Стр. 95. *Рауль де Гокур* — видный участник войны с англичанами при Карле VI и Карле VII; занимал ряд высоких должностей, но не был балъи Орлеана. *Балъи* — должностное лицо в городах средневековой Франции, нечто вроде градоначальника.

Глава VIII

Стр. 119. *Парламент* — здесь название судебных органов, существовавших во Франции вплоть до французской буржуазной революции 1789 года. Сперва парламент был только в

Париже, где постепенно развился из королевской курии (совет вассалов при короле), первоначально совмещавшей судебные и административно-политические функции. По его образцу были затем созданы, или реорганизованы из прежних судов, двенадцать провинциальных парламентов. В Пуатье своего парламента не было. Но в описываемое Твеном время, когда почти вся Франция перешла в руки англичан, в Пуатье — одном из немногих городов, еще подвластных французской короне, — сосредоточились многие ее учреждения, в частности парламенты Парижа и Бордо.

Глава IX

Стр. 121. *Жанну назначают главнокомандующим.* — Факт официального назначения Жанны главнокомандующим оспаривается в некоторых исторических работах, вышедших после книги Твена (см. книгу А. Франса о Жанне д'Арк).

Глава X

Стр. 124. *...спрятан старинный меч...* — Этот эпизод, упоминаемый всеми историческими источниками, находит себе объяснение в том, что церковь св. Екатерины во Фьербуа была полна старого оружия, которое воины оставляли там как «приношения по обету». Св. Екатерина считалась покровительницей воинов, особенно пленных, и оружие посвящалось ей за удачный побег из плена.

Глава XIII

Стр. 135. *Маршал де Буссак* — Жан де Бросс, сеньор де Буссак (1375(?) — 1433), маршал Франции, участник большинства боев с англичанами в начале царствования Карла VII. Потратив на военные нужды все свое состояние, он разорился и, как несостоятельный должник, был отлучен от церкви.

Сир де Рец — Жиль де Рец, или Рэ (1404—1440), также некоторое время был маршалом Франции.

Стр. 139. *Герцог Орлеанский.* — Имеется в виду Карл Орлеанский (1391—1465), двоюродный брат Карла VII, который попал в плен при Азенкуре и пробыл в английском плену двадцать пять лет. В 1439 г. был выкуплен.

Стр. 143. *Герцог Бедфорд* Джон Плантагенет (1389—1435) — брат английского короля Генриха V, назначившего его правителем английских владений во Франции и опекуном своего сына, малолетнего Генриха VI. В союзе с герцогами Бретонским и Бургундским Бедфорд закрепил английское владычество на большей части французской территории, но в конце 20-х гг. испытывал серьезные затруднения и прежде всего нуждался в солдатах.

Уильям де ла Поль — граф (впоследствии герцог) Суффолк (? — 1451); принял от Бедфорда командование английскими войсками, осаждавшими Орлеан, но отступил перед Жанной д'Арк и снова был разбит ее войском при Жаржо. Кончил жизнь на эшафоте за измену и лихоимство.

Стр. 144. *Джон Тальбот*, Шрусбери (1373(?) — 1453) — полководец, прозванный английским Ахиллесом, одержавший до появления Жанны д'Арк ряд побед над французами. Был разбит Жанной под Орлеаном, в Менге и на равнине Бос, где он был ранен и сдался в плен; согласно некоторым историческим источникам, он был вскоре освобожден без выкупа.

Реньо Шартрский (1380(?) — ?) — архиепископ Реймский, один из лютых врагов Жанны д'Арк. Когда Жанна была взята в плен, архиепископ в обращении к жителям Реймса злобно писал, что она «наказана за свою гордыню».

Глава XVI

Стр. 159. *Сэр Джон Фастольф*, или Фальстаф (1378(?) — 1459), — английский полководец, видный участник войны во Франции с первых лет XV века вплоть до 1440 г.; известен своей победой в Селедочной битве. Однако некоторые исторические источники ставят ему в вину отступление при Патэ.

Шекспир дал имя Фальстафа пьянице, хвастуну и трусу, выведенному им в «Генрихе IV» (части I и II) и в «Виндзорских проказницах». По мнению ряда исследователей, это было случайностью, так как первоначально Шекспир дал этому персонажу имя Джона Олдкасла, но был вынужден заменить это имя другим по требованию потомков некоего реального Олдкасла. Существует, однако, и другое мнение: имя Фальстафа Шекспир предал осмеянию сознательно, ибо в народе его вспоминали как труса, бежавшего с поля битвы.

Глава XVIII

Стр. 163. ...*расступились, точно воды Красного моря*. — По библейскому преданию, воды Красного моря расступились перед Моисеем, уводившим свой народ из плена.

Глава XXVII

Стр. 204. *Бертран дю Геклен* (1320(?)—1380) — знаменитый французский полководец, коннетабль Франции, одержавший ряд побед над англичанами в первый период Столетней войны. Часто пользовался помощью партизанских отрядов.

Коннетабль — в средневековой Франции — главнокомандующий сухопутными силами страны.

Стр. 205. *Видам* — звание епископского наместника в феодальной Франции и Германии. Из епископских управителей видамы с течением времени превратились в наследственных владельцев земель, некогда вверенных им в управление.

Стр. 206. ...*зверства над жителями Динана*. — Имеется в виду жестокая расправа, которую бургундский герцог Карл Смелый учинил в 1466 г. над жителями Динана за попытку освободиться из-под власти его отца.

Глава XXIX

Стр. 215. *Коннетабль Ришмон* — Артур, граф де Ришмон, впоследствии герцог Бретонский (1395—1458); был взят англичанами в плен при Азенкуре и освобожден под честное слово; после этого служил Англии и был одним из составителей договора в Труа. Обиженный регентом Бедфордом, снова стал служить Франции, добиваясь для нее союза с Бретанью и Бургундией против англичан.

Глава XXXIII

Стр. 230. ...*ни папа, ни иная власть не может лишить священника его сана*. — Это утверждение Твена не вполне соответствует действительности. Католический священник может быть лишен сана, но только по распоряжению епископа, утверждаемому светскими властями.

Стр. 267. *Кошон Пьер* (?—1442) — ректор Парижского университета, а позже епископ города Бовэ. Изгнанный оттуда населением, державшим сторону Карла VII, он перешел на службу к англичанам и во время суда над Жанной д'Арк состоял у них на жалованье. Весьма усердно служа своим хозяевам, он не был, однако, единственным убийцей Жанны, каким он предстал посмертно, в 1456 году, на процессе восстановления доброго имени Жанны. Так было удобнее для высоких учреждений — Парижского университета и высших органов святой инквизиции, которых иначе тоже пришлось бы назвать главными из виновников, но которые признали только то, что были введены в заблуждение.

Глава XLI

Стр. 272. *Франке из Арраса*, взятый Жанной в плен, должен был быть обменян на парижского жителя, захваченного англичанами, когда они раскрыли заговор в пользу короля Карла VII (заговорщики хотели весной 1430 года открыть ему ворота Парижа). Но оказалось, что заговорщик был к этому времени уже казнен англичанами. Уступая настояниям балли Сенлиса, Жанна отдала ему своего пленного, а балли, добившись от него признания в грабежах и убийствах, казнил его. Гибель Франке была поставлена Жанне в вину на суде.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава VI

Стр. 298. ...с тех пор как я приехала во Францию. — Родина Жанны, село Домреми, находится в Лотарингии (на границе с французской провинцией Шампань). Связанная вековыми экономическими и культурными связями с Францией, Лотарингия в те времена еще формально не входила в ее состав.

Глава IX

Стр. 313. ...письмо от графа Арманьяка. — Имеется в виду гасконский феодал, мощный вассал французской короны. Арманьяк был отлучен «законным» папой и намеревался просить

его прощения за временную приверженность одному из самозванных пап, которые еще выдвигались то одним, то другим из европейских государей в ходе политических интриг. Но власть римского папы была восстановлена, и граф, видимо, не сомневался в ответе Жанны.

Глава X

Стр. 327. ...узнала об измене коменданта Суассона. — Комендант Суассона, Гишар Бурнель, когда войска короля Карла подходили к городу, уверил жителей, что они все целиком намерены там расположиться. Зажиточные горожане, боявшиеся любых постоев — своих и неприятельских, — постарались не допустить этого. В город были приглашены лишь несколько человек из сопровождавшего армию духовенства, а сама армия удалилась. Тогда комендант за крупную сумму уступил герцогу Бургундскому город, который он был назначен охранять от имени французского короля.

Глава XIII

Стр. 345. *Базельский собор (1431—1449)* — собор, собранный с целью проведения широких церковных реформ, но осуществивший их только частично. Большинство европейских монархов не оказало собору достаточной поддержки в его борьбе с папской властью. На соборе было представлено от Франции как духовенство англо-бургундского лагеря, так и сторонники короля Карла.

Глава XIV

Стр. 347. *Кардинал Винчестер* — Генрих де Боффор (?—1447), дядя регента Бедфорда; прибыл во Францию с пяти тысячным войском, которое он намеревался вести в «крестовый поход» в Богемию, против «еретиков», последователей Яна Гуса. Бедфорд, нуждавшийся в солдатах, оставил их во Франции. Воспользовавшись этим подкреплением и подъемом духа, который вызвала среди англичан поимка «колдуньи», Бедфорд добился некоторых незначительных успехов перед окончательным политическим и военным крахом, постигшим англичан во Франции.

Глава XVIII

Стр. 362. *Велиал* (от древнееврейского *beli ya'al* — без пользы) — слово, толкуемое как обозначение некоего злого, разрушительного начала, ставшее затем одним из обозначений дьявола.

Стр... *Бегемот* (от древнееврейского *behemah* — зверь). — Прежде чем утвердиться в зоологии, это слово было названием фантастического чудовища, упоминаемого в Библии.

Глава XXIV

Стр. 391. *Что случилось с ним потом — неизвестно.* — Некоторые сведения о дальнейшей судьбе Луазелера все же сохранились. Он не только не погиб от угрызений совести, но сыграл заметную роль на Базельском соборе, где выступал как ярый сторонник ограничения папской власти.

Заключение

Стр. 397. *Он воззвал к папе...* — Обращения Карла VII к Риму с целью восстановления доброго имени Жанны в течение нескольких лет не встречали поддержки, так как папа опасался раздражать англичан, а также признать ошибку святой инквизиции. Но выход был найден: хлопоты о восстановлении доброго имени Жанны стали вестись от имени ее родных, и делу был, таким образом, придан уже не политический, а частный характер. Вот почему в 1455 г. мать Жанны со своими сыновьями прибыла в Париж и в торжественной обстановке, в Соборе Парижской Богоматери, потребовала восстановления справедливости.

ТОМ СОЙЕР — СЫЩИК

Стр. 438. *Разве я сторож брату его.* — По библейскому преданию, Каин, убивший своего брата Авеля, был спрошен богом, где его брат. Каин ответил: «Не знаю; разве я сторож брату моему?» (кн. Бытия, гл. 4).

ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ЖАННЕ Д'АРК

сыера Луи де Конта, ее пажа и секретаря

Перевод З. Александровой

<i>Предисловие переводчика</i>	9
<i>Особенность истории Жанны д'Арк</i>	13
<i>Сьер Луи де Конт своим внучатым племянникам и племянницам</i>	15

Книга первая

В ДОМРЕМИ

<i>Глава I. Когда по Парижу рыскали волки</i>	17
<i>Глава II. Волшебное дерево Домреми</i>	19
<i>Глава III. Наши сердца горят любовью к Франции</i>	31
<i>Глава IV. Жанна укрощает Бесноватого</i>	38
<i>Глава V. О том, как Домреми разграбили и сожгли</i>	46
<i>Глава VI. Жанна и архангел Михаил</i>	53
<i>Глава VII. Жанна объявляет о своей великой миссии</i>	59
<i>Глава VIII. Почему смолкли насмешки</i>	66

Книга вторая

ПРИ ДВОРЕ И НА БОЙНЕ

<i>Глава I. Жанна прощается с родной деревней</i>	69
<i>Глава II. Правитель снаряжает Жанну в путь</i>	71
<i>Глава III. Паладин кряхтит, но хвастает</i>	77
<i>Глава IV. Жанна приводит нас в тыл противника</i>	83

<i>Глава V.</i> Мы прорываемся через последнюю засаду	90
<i>Глава VI.</i> Жанна убеждает короля	101
<i>Глава VII.</i> Паладин во всей своей славе	107
<i>Глава VIII.</i> Жанна убеждает своих инквизиторов	113
<i>Глава IX.</i> Жанну назначают главнокомандующим	121
<i>Глава X.</i> Меч и знамя Девы	123
<i>Глава XI.</i> Кампания начинается	127
<i>Глава XII.</i> Жанна воодушевляет войско	131
<i>Глава XIII.</i> Как нам мешала глупость мудрецов	136
<i>Глава XIV.</i> Что ответили англичане	142
<i>Глава XV.</i> Моя превосходная поэма пропадает даром	145
<i>Глава XVI.</i> У нас появляется Карлик	152
<i>Глава XVII.</i> Сладкие плоды горькой истины	160
<i>Глава XVIII.</i> Боевое крещение Жанны	162
<i>Глава XIX.</i> Бой с привидениями	167
<i>Глава XX.</i> Жанна превращает трусов в смелых победителей	169
<i>Глава XXI.</i> Жанна мягко укоряет свою подругу	174
<i>Глава XXII.</i> Судьба Франции решается	179
<i>Глава XXIII.</i> Жанна воодушевляет ничтожного короля	186
<i>Глава XXIV.</i> Дворянская мишура	193
<i>Глава XXV.</i> Наконец-то вперед!	196
<i>Глава XXVI.</i> Последние сомнения рассеиваются	201
<i>Глава XXVII.</i> Как Жанна взяла Жаржо	204
<i>Глава XXVIII.</i> Жанна предсказывает свою судьбу	211
<i>Глава XXIX.</i> Грозный Тальбот становится осмозрительным	214
<i>Глава XXX.</i> Кровавое поле Патэ	220
<i>Глава XXXI.</i> Франция возвращается к жизни	223
<i>Глава XXXII.</i> Добрые вести летят на крыльях	226
<i>Глава XXXIII.</i> Пять великих деяний Жанны	227
<i>Глава XXXIV.</i> Бургундские шутки	231
<i>Глава XXXV.</i> Коронование наследника французского престола	236
<i>Глава XXXVI.</i> Жанна получает вести из дому	245
<i>Глава XXXVII.</i> Снова к оружию	252
<i>Глава XXXVIII.</i> Король командует «вперед!»	257
<i>Глава XXXIX.</i> Мы побеждаем, но король упрямится	262
<i>Глава XL.</i> Жанна побеждена предательством	268
<i>Глава XLI.</i> Дева не пойдет больше в бой	271

Книга третья

СУД И МУЧЕНИЧЕСТВО

<i>Глава I.</i> Дева в цепях	276
<i>Глава II.</i> Жанна продана англичанам	280
<i>Глава III.</i> Сеть стягивается	283
<i>Глава IV.</i> Все готовы осудить	288
<i>Глава V.</i> Пятьдесят ученых против одного неученого	291
<i>Глава VI.</i> Дева ставит в тупик своих противников	295

<i>Глава VII.</i> Тщетные хитрости	302
<i>Глава VIII.</i> Жанна рассказывает о своих видениях	307
<i>Глава IX.</i> Жанне предсказано избавление	312
<i>Глава X.</i> Инквизиторы становятся в тупик	322
<i>Глава XI.</i> Убийцы в новом составе	327
<i>Глава XII.</i> У Жанны отнимают ее главный козырь	332
<i>Глава XIII.</i> Третье судилище кончается ничем	338
<i>Глава XIV.</i> Жанна борется против «Двенадцати лживых обвинений»	345
<i>Глава XV.</i> Жанна не страшится костра	351
<i>Глава XVI.</i> Жанна не страшится пыток	354
<i>Глава XVII.</i> На краю гибели Жанна предстает во всем своем величии	359
<i>Глава XVIII.</i> Осуждена, но не сломлена	361
<i>Глава XIX.</i> Наши последние надежды рушатся	364
<i>Глава XX.</i> Предательство	368
<i>Глава XXI.</i> Казнь отсрочена для новых пыток	376
<i>Глава XXII.</i> Жанна дает роковой ответ	378
<i>Глава XXIII.</i> Час близится	384
<i>Глава XXIV.</i> Жанна — мученица	390
<i>Заключение</i>	394

ТОМ СОЙЕР — СЫЩИК

Перевод Б. Грибанова

<i>Глава I.</i> Том и Гек получают приглашение	401
<i>Глава II.</i> Джек Данлеп	406
<i>Глава III.</i> Похищение брильянтов	410
<i>Глава IV.</i> Трое спящих	416
<i>Глава V.</i> Трагедия в роще	421
<i>Глава VI.</i> Как добыть брильянты	424
<i>Глава VII.</i> Ночное наблюдение	429
<i>Глава VIII.</i> Разговор с привидением	433
<i>Глава IX.</i> Юпитер Данлеп найден	439
<i>Глава X.</i> Арест дяди Сайласа	444
<i>Глава XI.</i> Том Сойер разоблачает убийц	447

<i>А. Елистратова «Личные воспоминания о Жанне д'Арк»</i>	469
---	-----

<i>Комментарии З. Александровой</i>	476
---	-----

Марк Твен

Собрание сочинений, т. 8

Редактор *А. Миронова*

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор *Л. Сутини*

Корректор *А. Иванова*

★

Сдано в набор 21/V 1960 г. Подписано к печати 27/VIII 1960 г. Бумага $84 \times 108^{1/32}$. 15,25 печ. л. 25,01 усл.-печ. л. 23,065 уч.-изд. л. Тираж 300 000. Цена 12 р. С 1/I 1961 г. цена 1 р. 20 к. Заказ № 898.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

★

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.